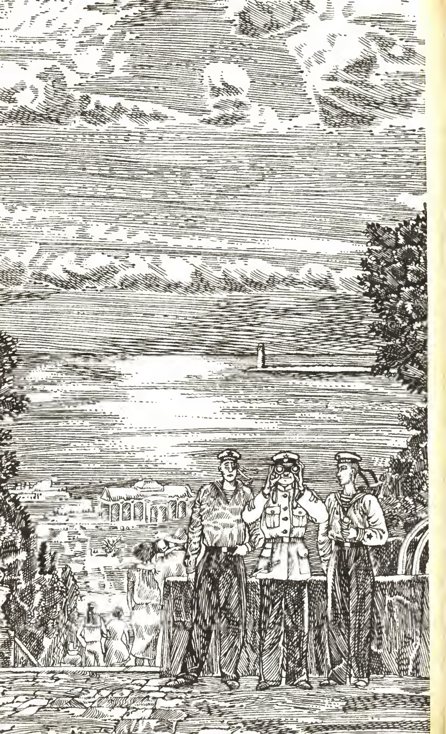
ОДЕССКАЯ ПЛЕЯДА

САТИРИЧЕСКИЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
20–30-х годов



ОДЕССКАЯ ПЛЕЯДА

Исаак
БАБЕЛЬ

Юрий
ОЛЕША

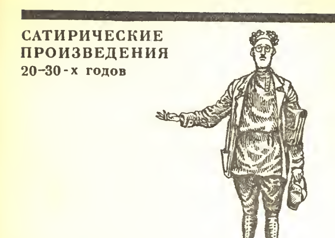
Ефим
ЗОЗУЛЯ

Валентин
КАТАЕВ

Илья
ИЛЬФ

Евгений
ПЕТРОВ

САТИРИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 20–30-х годов



ОДЕССКАЯ ПЛЕЯДА

Киев
Издательство
художественной литературы
«Дніпро»
1990

ББК 84Р7-4я43
О-41

В книгу вошли избранные произведения известных русских советских писателей, жизнь и творчество которых связаны с Одессой. Главная общая особенность рассказов и повестей сборника — искрометный юмор, самобытность которого подразумевает ироничное вышучивание недостатков, особый жаргон с присущей ему интонацией и стилистикой. Некоторые из произведений (например, рассказы И. Бабеля) не являются юмористическими или сатирическими в собственном смысле слова, однако и они окрашены авторской иронией.

Составление, примечания
О. В. Филимонова

Художник В. И. Барыба

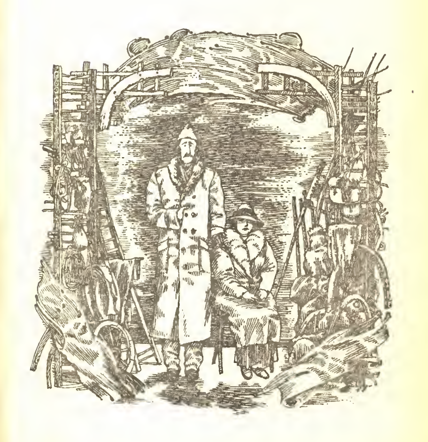
Редактор Т. П. Жилко

О $\frac{4702010101-132}{М205(04)-90}$ 132.90

ISBN 5-308-00669-5

Исаак БАБЕЛЬ

ИЗ „ОДЕССКИХ РАССКАЗОВ“



КОРОЛЬ

Венчание кончилось, раввин опустился в кресло, потом он вышел из комнаты и увидел столы, поставленные во всю длину двора. Их было так много, что они высовывали свой хвост за ворота на Госпитальную улицу. Перекрытые бархатом столы вились по двору, как змеи, которым на брюхо наложили заплаты всех цветов, и они пели густыми голосами — заплаты из оранжевого и красного бархата.

Квартиры были превращены в кухни. Сквозь закопченные двери било тучное пламя, пьяное и пухлое пламя. В его дымных лучах пеклись старушечьи лица, бабьи тряские подбородки, замусоленные груди. Пот, розовый, как кровь, розовый, как пена бешеной собаки, обтекал эти груды разросшегося, сладко воняющего человечьего мяса. Три кухарки, не считая судомоек, готовили свадебный ужин, и над ними царила восьмидесятилетняя Рейзл, традиционная, как свиток торы, крохотная и горбатая.

Перед ужином во двор затесался молодой человек, неизвестный гостям. Он спросил Беню Крика. Он отвел Беню Крика в сторону.

— Слушайте, Король,— сказал молодой человек,— я имею вам сказать пару слов. Меня послала тетя Хана с Костецкой...

— Ну, хорошо,— ответил Беня Крик, по прозвищу Король,— что это за пара слов?

— В участок вчера приехал новый пристав, велела вам сказать тетя Хана.

— Я знал об этом позавчера,— ответил Беня Крик.— Дальше.

— ...Пристав собрал участок и сказал участку речь...

— Новая метла чисто метет,— ответил Беня Крик.— Он хочет облаву. Дальше...

— А когда будет облава, вы знаете, Король?

— Она будет завтра.

— Король, она будет сегодня.

— Кто сказал тебе это, мальчик?

— Это сказала тетя Хана. Вы знаете тетю Хану?

— Я знаю тетю Хану. Дальше.

— ...Пристав собрал участок и сказал им речь. «Мы должны задушить Беню Крика,— сказал он,— потому что там, где есть государь император, там нет короля. Сегодня, когда Крик выдает замуж сестру и все они будут там, сегодня нужно сделать облаву...»

— Дальше.

— ...Тогда шпики начали бояться. Они сказали: если мы сделаем сегодня облаву, когда у него праздник, так Беня рассерчает, и уйдет много крови. Так пристав сказал: самолюбие мне дороже...

— Ну, иди,— ответил Король.

— Что сказать тете Хане за облаву?

— Скажи: Беня знает за облаву.

И он ушел, этот молодой человек. За ним последовали человека три из Бениных друзей. Они сказали, что вернутся через полчаса. И они вернулись через полчаса. Вот и все.

За стол садились не по старшинству. Глупая старость жалка не менее, чем трусливая юность. И не по богатству. Подкладка тяжелого кошелька сшита из слез.

За столом на первом месте сидели жених с невестой. Это их день. На втором месте сидел Сендер Эйхбаум, тесть Короля. Это его право. Историю Сендера Эйхбаума следует знать, потому что это непростая история.

Как сделался Беня Крик, налетчик и король налетчиков, зятем Эйхбаума? Как сделался он зятем человека, у которого было шестьдесят дойных коров без одной? Тут все дело в налете. Всего год тому назад Беня написал Эйхбауму письмо.

«Мосье Эйхбаум,— написал он,— *положите, прошу вас, завтра утром под ворота на Софийевскую, 17,— двадцать тысяч рублей. Если вы этого не сделаете, так вас ждет такое, что это не слыхано, и вся Одесса будет о вас говорить. С почтением Беня Король».*

Три письма, одно яснее другого, остались без ответа. Тогда Беня принял меры. Они пришли ночью — девять человек с длинными палками в руках. Палки были обмотаны просмоленной паклей. Девять пылающих звезд зажглись на скотном дворе Эйхбаума. Беня отбил замки у сарая и стал выводить коров по одной. Их ждал парень с ножом. Он опрокидывал корову с одного удара и погружал нож в коровье сердце. На земле, залитой кровью, расцвели факелы, как огненные розы, и загремели выстрелы. Выстрелами Беня отгонял работниц, сбежавшихся к коровнику. И вслед за ним и другие налетчики стали стрелять в воздух, потому что если не стрелять в воздух, то можно убить человека. И вот, когда шестая корова с предсмертным мычанием упала к ногам Короля,— тогда во двор в одних кальсонах выбежал Эйхбаум и спросил:

— Что с этого будет, Беня?

— Если у меня не будет денег — у вас не будет коров, мосье Эйхбаум. Это дважды два.

— Зайди в помещение, Беня.

И в помещении они договорились. Зарезанные коровы были поделены ими пополам. Эйхбауму была гарантирована неприкосновенность и выдано в том удостоверение с печатью. Но чудо пришло позже.

Во время налета, в ту грозную ночь, когда мычали подкалываемые коровы и телки скользили в материнской крови, когда факелы плясали, как черные девы, и бабы-молочницы шарахались и визжали под дулами дружелюбных браунингов,— в ту грозную ночь во двор выбежала в вырезанной рубашке дочь старика Эйхбаума — Циля. И победа Короля стала его поражением.

Через два дня Беня без предупреждения вернул Эйхбауму все забранные у него деньги и после этого явился вечером с визитом. Он был одет в оранжевый костюм, под его манжеткой сиял бриллиантовый браслет; он вошел в комнату, поздоровался и попросил у Эйхбаума руки его дочери Цили. Старика хватил легкий удар, но он поднялся. В старике было еще жизни лет на двадцать.

— Слушайте, Эйхбаум,— сказал ему Король,— когда вы умрете, я похороню вас на первом еврейском кладбище, у самых ворот. Я поставлю вам, Эйхбаум, памятник из розового мрамора. Я сделаю вас старостой Бродской синагоги. Я брошу специальность, Эйхбаум, и поступлю в ваше дело компаньоном. У нас будет двести коров, Эйхбаум. Я убью всех молочников, кроме вас. Вор не будет ходить по той улице, на которой вы живете. Я выстрою вам дачу на шестнадцатой станции... И вспомните, Эйхбаум, вы ведь тоже не были в молодости раввином. Кто подделал завещание, не будем об этом говорить громко?.. И зять у вас будет Король, не сопляк, а Король, Эйхбаум...

И он добился своего, Беня Крик, потому что он был страстен, а страсть владычествует над мирами. Новобрачные прожили три месяца в тучной Бессарабии, среди винограда, обильной пищи и любовного пота. Потом Беня вернулся в Одессу для того, чтобы выдать замуж сорокалетнюю сестру свою Двойру, страдающую базедовой болезнью. И вот теперь, рассказав историю Сендера Эйхбаума, мы можем вернуться на свадьбу Двойры Крик, сестры Короля.

На этой свадьбе к ужину подали индюков, жареных куриц, гусей, фаршированную рыбу и уху, в которой перламутром отсвечивали лимонные озера. Над мертвыми гусиными головками покачивались цветы, как пышные плюмажи. Но разве жареных куриц выносит на берег пенистый прибой одесского моря?

Все благороднейшее из нашей контрабанды, все, чем славна земля из края в край, делало в ту звездную, в ту синюю ночь свое разрушительное, свое обольстительное дело. Нездешнее вино разогревало желудки, сладко переламывало ноги, дурманило мозги и вызывало отрыжку, звучную, как призыв боевой трубы. Черный кок с «Плутарха», прибывшего третьего дня из Порт-Саида, вынес за таможенную черту пузатые бутылки ямайского рома, маслянистую мадеру, сигары с плантаций Пирпонта Моргана и апельсины из окрестностей Иерусалима. Вот что выносит на берег пенистый прибой одесского моря, вот что достается иногда одесским нищим на еврейских свадьбах. Им достался ямайский ром на свадьбе Двойры Крик, и поэтому, насосавшись, как трефные свиньи, еврейские нищие оглушительно стали стучать костылями. Эйхбаум, распустив жилет, сощуренным глазом оглядывал бушующее собрание и любовно икал. Оркестр играл туш. Это было как дивизионный смотр. Туш — ничего, кроме туша. Налетчики,

сидевшие сомкнутыми рядами, вначале смущались присутствием посторонних, но потом они разошлись. Лева Кацап разбил на голове своей возлюбленной бутылку водки, Моня Артиллерист выстрелил в воздух. Но пределов своих восторг достиг тогда, когда, по обычаю старины, гости начали одарять новобрачных. Синагогальные шамесы, вскочив на столы, выпевали под звуки бурлящего туша количество подаренных рублей и серебряных ложек. И тут друзья Короля показали, чего стоит голубая кровь и неугасшее еще молдаванское рыцарство. Небрежным движением руки кидали они на серебряные подносы золотые монеты, перстни, коралловые нити.

Аристократы Молдаванки, они были затянуты в малиновые жилеты, их плечи охватывали рыжие пиджаки, а на мясистых ногах лопалась кожа цвета небесной лазури. Выпрямившись во весь рост и выпячивая животы, бандиты хлопали в такт музыке, кричали «горько» и бросали невесте цветы, а она, сорокалетняя Двойра, сестра Бени Крика, сестра Короля, изуродованная болезнью, с разросшимся зобом и вылезающими из орбит глазами, сидела на горе подушек рядом с щуплым мальчиком, купленным на деньги Эйхбаума и онемевшим от тоски.

Обряд дарения подходил к концу, шамесы осипли и контрабас не ладил со скрипкой. Над двориком протянулся внезапно легкий запах гари.

— Беня,— сказал папаша Крик, старый биндюжник, слывший между биндюжниками грубияном,— Беня, ты знаешь, что мине сдается? Мине сдается, что у нас горит сажа...

— Папаша,— ответил Король пьяному отцу,— пожалуйста, выпивайте и закусывайте, пусть вас не волнует этих глупостей...

И папаша Крик последовал совету сына. Он закусил и выпил. Но облачко дыма становилось все ядовитее. Где-то розовели уже края неба. И уже стрельнул в вышину узкий, как шпага, язык пламени. Гости, привстав, стали обнюхивать воздух, и бабы их взвизгнули. Налетчики переглянулись тогда друг с другом. И только Беня, ничего не замечавший, был безутешен.

— Мине нарушают праздник,— кричал он, полный отчаяния,— дорогие, прошу вас, закусывайте и выпивайте...

Но в это время во дворе появился тот самый молодой человек, который приходил в начале вечера.

— Король,— сказал он,— я имею вам сказать пару слов...

— Ну, говори,— ответил Король,— ты всегда имеешь в запасе пару слов...

— Король,— произнес неизвестный молодой человек и захихикал,— это прямо смешно, участок горит, как свечка...

Лавочники онемели. Налетчики усмехнулись. Шестидесятилетняя Манька, родоначальница слободских бандитов, вложив два пальца в рот, свистнула так пронзительно, что ее соседи покачнулись.

— Маня, вы не на работе,— заметил ей Беня,— холоднокровней, Маня...

Молодого человека, принесшего эту поразительную новость, все еще разбирал смех.

— Они вышли с участка человек сорок,— рассказывал он, двигая челюстями,— и пошли на облаву; так они отошли шагов пятнадцать, как уже загорелось... Побежите смотреть, если хотите...

Но Беня запретил гостям идти смотреть на пожар. Отправился он с двумя товарищами. Участок исправно пылал с четырех сторон. Городовые, тряся задами, бегали по задымленным лестницам и выкидывали из окон сундуки. Под шумок разбегались арестованные. Пожарные были исполнены рвения, но в ближайшем кране не оказалось воды. Пристав — та самая метла, что чисто метет,— стоял на противоположном тротуаре и покусывал усы, лезшие ему в рот. Новая метла стояла без движения. Беня, проходя мимо пристава, отдал ему честь по-военному.

— Доброго здоровьичка, ваше высокоблагородие,— сказал он сочувственно.— Что вы скажете на это несчастье? Это же кошмар...

Он уставился на горящее здание, покачал головой и почмокал губами:

— Ай-ай-ай...

. . . .

А когда Беня вернулся домой — во дворе потухали уже фонарики и на небе занималась заря. Гости разошлись, и музыканты дремали, опустив головы на ручки своих контрабасов. Одна только Двойра не собиралась спать. Обеими руками она подталкивала оробевшего мужа к дверям их брачной комнаты и смотрела на него плотоядно, как кошка, которая, держа мышь во рту, легонько пробует ее зубами.

КАК ЭТО ДЕЛАЛОСЬ В ОДЕССЕ

Начал я.

— Реб Арье-Лейб,— сказал я старику,— поговорим о Бене Крике. Поговорим о молниеносном его начале и ужасном конце. Три тени загромождают пути моего воображения. Вот Фроим Грач. Сталь его поступков — разве не выдержит она сравнения с силой Короля? Вот Колька Паковский. Бешенство этого человека содержало в себе все, что нужно для того, чтобы властвовать. И неужели Хаим Дронг не сумел различить блеск новой звезды? Но почему же один Беня Крик взошел на вершину веревочной лестницы, а все остальные повисли внизу на шатких ступенях?

Реб Арье-Лейб молчал, сидя на кладбищенской стене. Перед нами расстилалось зеленое спокойствие могил. Человек, жаждущий ответа, должен запастись терпением. Человеку, обладающему знанием, приличествует важность. Поэтому Арье-Лейб молчал, сидя на кладбищенской стене. Наконец он сказал:

— Почему он? Почему не они, хотите вы знать? Так вот — забудьте на время, что на носу у вас очки, а в душе осень. Перестаньте скандалить за вашим письменным столом и заикаться на людях. Представьте себе на мгновенье, что вы скандалите на площадях и заикаетесь на бумаге. Вы тигр, вы лев, вы кошка. Вы можете переночевать с русской женщиной, и русская женщина останется вами довольна. Вам двадцать пять лет. Если бы к небу и к земле были приделаны кольца, вы схватили бы эти кольца и притянули бы небо к земле. А папаша у вас биндюжник Мендель Крик. Об чем думает такой папаша? Он думает об выпить хорошую стопку водки, об дать кому-нибудь по морде, об своих конях — и ничего больше. Вы хотите жить, а он заставляет вас умирать двадцать раз на день. Что сделали бы вы на месте Бени Крика? Вы ничего бы не сделали. А он сделал. Поэтому он Король, а вы держите фигу в кармане.

Он — Бенчик — пошел к Фроиму Грачу, который тогда уже смотрел на мир одним только глазом и был тем, что он есть. Он сказал Фроиму:

— Возьми меня. Я хочу прибиться к твоему берегу. Тот берег, к которому я прибьюсь, будет в выигрыше.

Грач спросил его:

— Кто ты, откуда ты идешь и чем ты дышишь?

— Попробуй меня, Фроим,— ответил Беня,— и перестанем размазывать белую кашу по чистому столу.

— Перестанем размазывать кашу,— ответил Грач,— я тебя попробую.

И налетчики собрали совет, чтобы подумать о Бене Крике. Я не был на этом совете. Но говорят, что они собрали совет. Старшим был тогда покойный Левка Бык.

— Что у него делается под шапкой, у этого Бенчика? — спросил покойный Бык.

И одноглазый Грач сказал свое мнение:

— Беня говорит мало, но он говорит смачно. Он говорит мало, но хочется, чтобы он сказал еще что-нибудь.

— Если так,— воскликнул покойный Левка,— тогда попробуем его на Тартаковском.

— Попробуем его на Тартаковском,— решил совет, и все, в ком еще квартировала совесть, покраснели, услышав это решение. Почему они покраснели? Вы узнаете об этом, если пойдете туда, куда я вас поведу.

Тартаковского называли у нас «полтора жида», или «девять налетов». «Полтора жида» называли его потому, что ни один еврей не мог вместить в себе столько дерзости и денег, сколько было у Тартаковского. Ростом он был выше самого высокого городового в Одессе, а весу имел больше, чем самая толстая еврейка. А «девятью налетами» прозвали Тартаковского потому, что фирма «Левка Бык и компания» произвела на его контору не восемь и не десять налетов, а именно девять. На долю Бени, который не был тогда еще Королем, выпала честь совершить на «полтора жида» десятый налет. Когда Фроим передал ему об этом, он сказал «да» и вышел, хлопнув дверью. Почему он хлопнул дверью? Вы узнаете об этом, если пойдете туда, куда я вас поведу.

У Тартаковского душа убийцы, но он наш. Он вышел из нас. Он наша кровь. Он наша плоть, как будто одна мама нас родила. Пол-Одессы служит в его лавках. И он пострадал через своих же молдаванских. Два раза они выкрадывали его для выкупа, и однажды во время погрома его хоронили с певчими. Слободские громилы били тогда евреев на Большой Арнаутской. Тартаковский убежал от них и встретил похоронную процессию с певчими на Софийской. Он спросил:

— Кого это хоронят с певчими?

Прохожие ответили, что это хоронят Тартаковского. Процессия дошла до Слободского кладбища. Тогда наши вынули из гроба пулемет и начали сыпать по слободским громилам. Но «полтора жида» этого не предвидел.

«Полтора жида» испугался до смерти. И какой хозяин не испугался бы на его месте?

Десятый налет на человека, уже похороненного однажды, это был грубый поступок. Беня, который еще не был тогда Королем, понимал это лучше всякого другого. Но он сказал Грачу «да» и в тот же день написал Тартаковскому письмо, похожее на все письма в этом роде:

«Многоуважаемый Рувим Осипович! Будьте настолько любезны положить к субботе под бочку с дождевой водой... и так далее. В случае отказа, как вы это себе в последнее время стали позволять, вас ждет большое разочарование в вашей семейной жизни. С почтением знакомый вам Бенцион Крик».

Тартаковский не поленился и ответил без промедления.

«Беня! Если бы ты был идиот, то я бы написал тебе как идиоту. Но я тебя за такого не знаю, и упаси боже тебя за такого знать. Ты, видно, представляешься мальчиком. Неужели ты не знаешь, что в этом году в Аргентине такой урожай, что хоть завались, и мы сидим с нашей пшеницей без почина?.. И скажу тебе, положа руку на сердце, что мне надоело на старости лет кушать такой горький кусок хлеба и переживать эти неприятности, после того как я отработал всю жизнь, как последний ломовик. И что же я имею после этих бессрочных каторжных работ? Язвы, болячки, хлопоты и бессонницу. Брось этих глупостей, Беня. Твой друг, гораздо больше, чем ты это предполагаешь,— Рувим Тартаковский».

«Полтора жида» сделал свое. Он написал письмо. Но почта не доставила письмо по адресу. Не получив ответа, Беня рассерчал. На следующий день он явился с четырьмя друзьями в контору Тартаковского. Четыре юноши в масках и с револьверами ввалились в комнату.

— Руки вверх! — сказали они и стали махать пистолетами.

— Работай спокойнее, Соломон,— заметил Беня одному из тех, кто кричал громче других,— не имей эту привычку быть нервным на работе,— и, оборотившись к приказчику, белому, как смерть, и желтому, как глина, он спросил его:

— «Полтора жида» в заводе?

— Их нет в заводе,— ответил приказчик, фамилия которого была Мугинштейн, а по имени он звался Иосиф и был холостым сыном тети Песи, куриной торговки с Серединской площади.

— Кто будет здесь, наконец, за хозяина? — стали допрашивать несчастного Мугинштейна.

— Я здесь буду за хозяина,— сказал приказчик, зеленый, как зеленая трава.

— Тогда отчини нам, с божьей помощью, кассу! — приказал ему Беня, и началась опера в трех действиях.

Нервный Соломон складывал в чемодан деньги, бумаги, часы и монограммы; покойник Иосиф стоял перед ним с поднятыми руками, и в это время Беня рассказывал истории из жизни еврейского народа.

— Коль раз он разыгрывает из себя Ротшильда,— говорил Беня о Тартаковском,— так пусть он горит огнем. Объясни мне, Мугинштейн, как другу: вот получает он от меня деловое письмо; отчего бы ему не сесть за пять копеек на трамвай и не подъехать ко мне на квартиру и не выпить с моей семьей стопку водки и закусить чем бог послал? Что мешало ему выговорить передо мной душу? «Беня,— пусть бы он сказал,— так и так, вот тебе мой баланс, повремени мне пару дней, дай вздохнуть, дай мне развести руками». Что бы я ему ответил? Свинья со свиньей не встречается, а человек с человеком встречается. Мугинштейн, ты меня понял?

— Я вас понял,— сказал Мугинштейн и солгал, потому что совсем ему не было понятно, зачем «полтора жида», почтенный богач и первый человек, должен был ехать на трамвае закусывать с семьей биндюжника Менделя Крика.

А тем временем несчастье шлялось под окнами, как нищий на заре. Несчастье с шумом ворвалось в контору. И хотя на этот раз оно приняло образ еврея Савки Буциса, но оно было пьяно, как водовоз.

— Го-гу-го,— закричал еврей Савка,— прости меня, Бенчик, я опоздал,— и он затопал ногами и стал махать руками. Потом он выстрелил, и пуля попала Мугинштейну в живот.

Нужны ли тут слова? Был человек, и нет человека. Жил себе невинный холостяк, как птица на ветке,— и вот он погиб через глупость. Пришел еврей, похожий на матроса, и выстрелил не в какую-нибудь бутылку с сюрпризом, а в живот человека. Нужны ли тут слова?

— Тикать с конторы! — крикнул Беня и побежал последним. Но, уходя, он успел сказать Буцису:

— Клянусь гробом моей матери, Савка, ты ляжешь рядом с ним...

Теперь скажите мне вы, молодой господин, режущий купоны на чужих акциях, как поступили бы вы на месте Бени Крика? Вы не знаете, как поступить. А он знал. Поэтому он Король, а мы с вами сидим на стене второго еврейского кладбища и отгораживаемся от солнца ладонями.

Несчастный сын тети Песи умер не сразу. Через час после того, как его доставили в больницу, туда явился Беня. Он велел позвать к себе старшего врача и сиделку и сказал им, не вынимая рук из кремовых штанов:

— Я имею интерес,— сказал он,— чтобы больной Иосиф Мугинштейн выздоровел. Представляюсь на всякий случай — Бенцион Крик. Камфору, воздушные подушки, отдельную комнату — давать с открытой душой. Если нет, то на всякого доктора, будь он даже доктором философии, приходится не более трех аршин земли.

И все же Мугинштейн умер в ту же ночь. И тогда только «полтора жида» поднял крик на всю Одессу.

— Где начинается полиция,— вопил он,— и где кончается Беня?

— Полиция кончается там, где начинается Беня,— отвечали резонные люди, но Тартаковский не успокаивался, и он дождался того, что красный автомобиль с музыкальным ящиком проиграл на Серединской площади свой первый марш из оперы «Смейся, паяц». Среди бела дня машина подлетела к домику, в котором жила тетя Песя.

Автомобиль гремел колесами, плевался дымом, сиял медью, вонял бензином и играл арии на своем сигнальном рожке. Из автомобиля выскочил некто и прошел в кухню, где на земляном полу билась маленькая тетя Песя. «Полтора жида» сидел на стуле и махал руками.

— Хулиганская морда,— прокричал он, увидя гостя,— бандит, чтобы земля тебя выбросила! Хорошую моду себе взял — убивать живых людей...

— Мосье Тартаковский,— ответил ему Беня Крик тихим голосом,— вот идут вторые сутки, как я плачу за дорогим покойником, как за родным братом. Но я знаю, что вы плевать хотели на мои молодые слезы. Стыд, мосье Тартаковский,— в какой несгораемый шкаф упрятали вы стыд? Вы имели сердце послать матери нашего покойного Иосифа сто жалких карбованцев. Мозг вместе с волосами поднялся у меня дыбом, когда я услышал эту новость.

Тут Беня сделал паузу. На нем был шоколадный пиджак, кремовые штаны и малиновые штиблеты.

— Десять тысяч единовременно,— заревел он,— десять тысяч единовременно и пенсию до ее смерти, пусть она живет сто двадцать лет. А если нет, тогда выйдем из этого помещения, мосье Тартаковский, и сядем в мой автомобиль...

Потом они бранились друг с другом. «Полтора жида» бранился с Беней. Я не был при этой ссоре. Но те, кто был, те помнят. Они сошлись на пяти тысячах наличными и пятидесяти рублях ежемесячно.

— Тетя Песя,— сказал тогда Беня всклокоченной старушке, валявшейся на полу,— если вам нужна моя жизнь, вы можете получить ее, но ошибаются все, даже бог. Вышла громадная ошибка, тетя Песя. Но разве со стороны бога не было ошибкой поселить евреев в России, чтобы они мучились, как в аду? И чем было бы плохо, если бы евреи жили в Швейцарии, где их окружали бы первоклассные озера, гористый воздух и сплошные французы? Ошибаются все, даже бог. Слушайте меня ушами, тетя Песя. Вы имеете пять тысяч на руки и пятьдесят рублей в месяц до вашей смерти,— живите сто двадцать лет. Похороны Иосифа будут по первому разряду: шесть лошадей, как шесть львов, две колесницы с венками, хор из Бродской синагоги, сам Миньковский придет отпевать покойного вашего сына...

И похороны состоялись на следующее утро. О похоронах этих спросите у кладбищенских нищих. Спросите о них у шамесов из синагоги, торговцев кошерной птицей или у старух из второй богадельни. Таких похорон Одесса еще не видала, а мир не увидит. Городовые в этот день надели нитяные перчатки. В синагогах, увитых зеленью и открытых настежь, горело электричество. На белых лошадях, запряженных в колесницу, качались черные плюмажи. Шестьдесят певчих шли впереди процессии. Певчие были мальчиками, но они пели женскими голосами. Старосты синагоги торговцев кошерной птицей вели тетю Песю под руки. За старостами шли члены общества приказчиков-евреев, а за приказчиками-евреями — присяжные поверенные, доктора медицины и акушерки-фельдшерицы. С одного бока тети Песи находились куриные торговки со Старого базара, а с другого бока находились почетные молочницы с Бугаевки, завороченные в оранжевые шали. Они топали ногами, как жандармы на параде в табельный день. От их широких бедер шел запах моря и молока. И позади всех плелись

служащие Рувима Тартаковского. Их было сто человек, или двести, или две тысячи. На них были черные сюртуки с шелковыми лацканами и новые сапоги, которые скрипели, как поросята в мешке.

И вот я буду говорить, как говорил господь на горе Синайской из горящего куста. Кладите себе в уши мои слова. Все, что я видел, я видел своими глазами, сидя здесь, на стене второго кладбища, рядом с шепелявым Мойсейкой и Шимшоном из погребальной конторы. Видел это я, Арье-Лейб, гордый еврей, живущий при покойниках.

Колесница подъехала к кладбищенской синагоге. Гроб поставили на ступени. Тетя Песя дрожала, как птичка. Кантор вылез из фаэтона и начал панихиду. Шестьдесят певчих вторили ему. И в эту минуту красный автомобиль вылетел из-за поворота. Он проиграл «Смейся, паяц» и остановился. Люди молчали как убитые. Молчали деревья, певчие, нищие. Четыре человека вылезли из-под красной крыши и тихим шагом поднесли к колеснице венок из невиданных роз. А когда панихида кончилась, четыре человека подвели под гроб свои стальные плечи, с горящими глазами и выпяченной грудью зашагали вместе с членами общества приказчиков-евреев.

Впереди шел Беня Крик, которого тогда никто еще не называл Королем. Первым приблизился он к могиле, взошел на холмик и простер руку.

— Что хотите вы делать, молодой человек? — подбежал к нему Кофман из погребального братства.

— Я хочу сказать речь,— ответил Беня Крик.

И он сказал речь. Ее слышали все, кто хотел слушать. Ее слышал я, Арье-Лейб, и шепелявый Мойсейка, который сидел на стене со мною рядом.

— Господа и дамы,— сказал Беня Крик,— господа и дамы,— сказал он, и солнце встало над его головой, как часовой с ружьем.— Вы пришли отдать последний долг честному труженику, который погиб за медный грош. От своего имени и от имени всех, кто здесь не присутствует, благодарю вас. Господа и дамы! Что видел наш дорогой Иосиф в своей жизни? Он видел пару пустяков. Чем занимался он? Он пересчитывал чужие деньги. За что погиб он? Он погиб за весь трудящийся класс. Есть люди, уже обреченные смерти, и есть люди, еще не начавшие жить. И вот пуля, летевшая в обреченную грудь, пробивает Иосифа, не видевшего в своей жизни ничего, кроме пары пустяков. Есть люди, умеющие пить водку, и есть люди, не умеющие

пить водку, но все же пьющие ее. И вот первые получают удовольствие от горя и от радости, а вторые страдают за всех тех, кто пьет водку, не умея пить ее. Поэтому, господа и дамы, после того как мы помолимся за нашего бедного Иосифа, я прошу вас проводить к могиле неизвестного вам, но уже покойного Савелия Буциса...

И, сказав эту речь, Беня Крик сошел с холмика. Молчали люди, деревья и кладбищенские нищие. Два могильщика пронесли некрашеный гроб к соседней могиле. Кантор, заикаясь, окончил молитву. Беня бросил первую лопату и перешел к Савке. За ним пошли, как овцы, все присяжные поверенные и дамы с брошками. Он заставил кантора пропеть над Савкой полную панихиду, и шестьдесят певчих вторили кантору. Савке не снилась такая панихида — поверьте слову Арье-Лейба, старого старика.

Говорят, что в тот день «полтора жида» решил закрыть дело. Я при этом не был. Но то, что ни кантор, ни хор, ни погребальное братство не просили денег за похороны,— это видел я глазами Арье-Лейба. Арье-Лейб — так зовут меня. И больше я ничего не мог видеть, потому что люди, тихонько отойдя от Савкиной могилы, бросились бежать, как с пожара. Они летели в фаэтонах, в телегах и пешком. И только те четыре, что приехали на красном автомобиле, на нем же и уехали. Музыкальный ящик проиграл свой марш, машина вздрогнула и умчалась.

— Король,— глядя ей вслед, сказал шепелявый Мойсейка, тот самый, что забирает у меня лучшие места на стенке.

Теперь вы знаете все. Вы знаете, кто первый произнес слово «король». Это был Мойсейка. Вы знаете, почему он не назвал так ни одноглазого Грача, ни бешеного Кольку. Вы знаете все. Но что пользы, если на носу у вас по-прежнему очки, а в душе осень?..

ОТЕЦ

Фроим Грач был женат когда-то. Это было давно, с того времени прошло двадцать лет. Жена родила тогда Фроиму дочку и умерла от родов. Девочку назвали Басей. Ее бабушка по матери жила в Тульчине. Старуха не любила своего зятя. Она говорила о нем: Фроим по занятию ломовой извозчик, и у него есть вороные лошади, но душа Фроима чернее, чем вороная масть его лошадей...

Старуха не любила зятя и взяла новорожденную к себе. Она прожила с девочкой двадцать лет и потом умерла. Тогда Баська вернулась к своему отцу. Это все случилось так.

В среду, пятого числа, Фроим Грач возил в порт на пароход «Каледония» пшеницу из складов общества Дрейфус. К вечеру он кончил работу и поехал домой. На повороте с Прохоровской улицы ему встретился кузнец Иван Пятирубель.

— Почтение, Грач,— сказал Иван Пятирубель,— какая-то женщина колотится до твоего помещения...

Грач поехал дальше и увидел на своем дворе женщину исполинского роста. У нее были громадные бока и щеки кирпичного цвета.

— Папаша,— сказала женщина оглушительным басом,— меня уже черти хватают со скуки. Я жду вас целый день... Знайте, что бабушка умерла в Тульчине.

Грач стоял на биндюге и смотрел на дочь во все глаза.

— Не крутись перед конями,— закричал он в отчаянии,— бери уздечку у коренника, ты мне коней побить хочешь...

Грач стоял на возу и размахивал кнутом. Баська взяла коренника за уздечку и подвела лошадей к конюшне. Она распрягла их и пошла хлопотать на кухню. Девушка повесила на веревку отцовские портянки, она вытерла песком закопченный чайник и стала разогревать зразу в чугунном котелке.

— У вас невыносимый грязь, папаша,— сказала она и выбросила за окно прокисшие овчины, валявшиеся на полу,— но я выведу этот грязь,— прокричала Баська и подала отцу ужинать.

Старик выпил водки из эмалированного чайника и съел зразу, пахнущую как счастливое детство. Потом он взял кнут и вышел за ворота. Туда пришла и Баська вслед за ним. Она надела мужские штиблеты и оранжевое платье, она надела шляпу, обвешанную птицами, и уселась на лавочке. Вечер шатался мимо лавочки, сияющий глаз заката падал в море за Пересыпью, и небо было красно, как красное число в календаре. Вся торговля прикрылась уже на Дальницкой, и налетчики проехали на глухую улицу к публичному дому Иоськи Самуэльсона. Они ехали в лаковых экипажах, разодетые, как птицы колибри, в цветных пиджаках. Глаза их были выпучены, одна нога отставлена к подножке, и в стальной протянутой руке они держали букеты,

завороченные в папиросную бумагу. Отлакированные их пролетки двигались шагом, в каждом экипаже сидел один человек с букетом, и кучера, торчавшие на высоких сиденьях, были украшены бантами, как шафера на свадьбах. Старые еврейки в наколках лениво следили течение привычной этой процессии — они были ко всему равнодушны, старые еврейки, и только сыновья лавочников и корабельных мастеров завидовали королям Молдаванки.

Соломончик Каплун, сын бакалейщика, и Моня Артиллерист, сын контрабандиста, были в числе тех, кто пытался отвести глаза от блеска чужой удачи. Оба они прошли мимо нее, раскачиваясь, как девушки, узнавшие любовь, они пошептались между собой и стали двигать руками, показывая, как бы они обнимали Баську, если б она этого захотела. И вот Баська тотчас же этого захотела, потому что она была простая девушка из Тульчина, из своекорыстного подслеповатого городишки. В ней было весу пять пудов и еще несколько фунтов, всю жизнь прожила она с ехидной порослью подольских маклеров, странствующих книгонош, лесных подрядчиков и никогда не видела таких людей, как Соломончик Каплун. Поэтому, увидев его, она стала шаркать по земле толстыми ногами, обутыми в мужские штиблеты, и сказала отцу:

— Папаша,— сказала она громовым голосом,— посмотрите на этого господинчика: у него ножки, как у куколки, я задушила бы такие ножки...

— Эге, пани Грач,— прошептал тогда старый еврей, сидевший рядом, старый еврей, по фамилии Голубчик,— я вижу, дите ваше просится на травку...

— Вот морока на мою голову,— ответил Фроим Голубчику, поиграл кнутом и пошел к себе спать и заснул спокойно, потому что не поверил старику. Он не поверил старику. Он не поверил старику и оказался кругом неправ. Прав был Голубчик. Голубчик занимался сватовством на нашей улице, по ночам он читал молитвы над зажиточными покойниками и знал о жизни все, что можно о ней знать. Фроим Грач был неправ. Прав был Голубчик.

И действительно, с этого дня Баська все свои вечера проводила за воротами. Она сидела на лавочке и шила себе приданое. Беременные женщины сидели с ней рядом; груды холста ползли по ее раскоряченным могущественным коленям; беременные бабы наливались всякой всячиной, как коровье вымя наливается на пастбище розовым молоком весны, и в это время мужья их, один за другим, приходили

с работы. Мужья бранчливых жен отжимали под водопроводным краном всклокоченные свои бороды и уступали потом место горбатым старухам. Старухи купали в корытах жирных младенцев, они шлепали внуков по сияющим ягодицам и заворачивали их в поношенные свои юбки. И вот Баська из Тульчина увидела жизнь Молдаванки, щедрой нашей матери,— жизнь, набитую сосущими младенцами, сохнущим тряпьем и брачными ночами, полными пригородного шику и солдатской неутомимости. Девушка захотела и себе такой же жизни, но она узнала тут, что дочь одноглазого Грача не может рассчитывать на достойную партию. Тогда она перестала называть отца отцом.

— Рыжий вор,— кричала она ему по вечерам,— рыжий вор, идите вечерять...

И это продолжалось до тех пор, пока Баська не сшила себе шесть ночных рубашек и шесть пар панталон с кружевными оборками. Кончив подшивку кружев, она заплакала тонким голосом, непохожим на ее голос, и сказала сквозь слезы непоколебимому Грачу:

— Каждая девушка,— сказала она ему,— имеет свой интерес в жизни, и только одна я живу как ночной сторож при чужом складе. Или сделайте со мной что-нибудь, папаша, или я сделаю конец моей жизни...

Грач выслушал до конца свою дочь, он надел парусовую бурку и на следующий день отправился в гости к бакалейщику Каплуну на Привозную площадь.

Над лавкой Каплуна блестела золотая вывеска. Это была первая лавка на Привозной площади. В ней пахло многими морями и прекрасными жизнями, неизвестными нам. Мальчик поливал из лейки прохладную глубину магазина и пел песню, которую прилично петь только взрослым. Соломончик, хозяйский сын, стоял за стойкой; на стойке этой были поставлены маслины, пришедшие из Греции, марсельское масло, кофе в зернах, лиссабонская малага, сардины фирмы «Филипп и Кано» и кайенский перец. Сам Каплун сидел в жилетке на солнцепеке, в стеклянной пристроечке, и ел арбуз — красный арбуз с черными косточками, с косыми косточками, как глаза лукавых китаянок. Живот Каплуна лежал на столе под солнцем, и солнце ничего не могло с ним сделать. Но потом бакалейщик увидел Грача в парусовой бурке и побледнел.

— Добрый день, мосье Грач,— сказал он и отодвинулся.— Голубчик предупредил меня, что вы будете, и я приготовил для вас фунтик чаю, что это — редкость...

И он заговорил о новом сорте чая, привезенном в Одессу на голландских пароходах. Грач слушал его терпеливо, но потом прервал, потому что он был простой человек, без хитростей.

— Я простой человек, без хитростей,— сказал Фроим,— я нахожусь при моих конях и занимаюсь моим занятием. Я даю новое белье за Баськой и пару старых грошей, и я сам есть за Баськой,— кому этого мало, пусть тот горит огнем...

— Зачем нам гореть? — ответил Каплун скороговоркой и погладил руку ломового извозчика.— Не надо такие слова, мосье Грач, ведь вы же у нас человек, который может помочь другому человеку, и, между прочим, вы можете обидеть другого человека, а то, что вы не краковский раввин, так я тоже не стоял под венцом с племянницей Мозеса Монтефиоре, но... но мадам Каплун... есть у нас мадам Каплун, грандиозная дама, у которой сам бог не узнает, чего она хочет...

— А я знаю,— прервал лавочника Грач,— я знаю, что Соломончик хочет Баську, но мадам Каплун не хочет меня...

— Да, я не хочу вас,— прокричала тогда мадам Каплун, подслушивавшая у дверей, и она взошла в стеклянную пристроечку, вся пылая, с волнующейся грудью,— я не хочу вас, Грач, как человек не хочет смерти; я не хочу вас, как невеста не хочет прыщей на голове. Не забывайте, что покойный дедушка наш был бакалейщик, и мы должны держаться нашей бранжи...

— Держитесь вашей бранжи,— ответил Грач пылающей мадам Каплун и ушел к себе домой.

Там ждала его Баська, разодетая в оранжевое платье, но старик, не посмотрев на нее, разостлал кожух под телегами, лег спать и спал до тех пор, пока могучая Баськина рука не выбросила его из-под телеги.

— Рыжий вор,— сказала девушка шепотом, не похожим на ее шепот,— отчего должна я переносить биндюжницкие ваши манеры и отчего вы молчите как пень, рыжий вор?..

— Баська,— произнес Грач,— Соломончик тебя хочет, но мадам Каплун не хочет меня... Там ищут бакалейщика.

И, поправив кожух, старик снова полез под телеги, а Баська исчезла со двора...

Все это случилось в субботу, в нерабочий день. Пурпурный глаз заката, обшаривая землю, наткнулся вечером на Грача, храпевшего под своим биндюгом. Стремительный луч уперся в спящего с пламенной укоризной и вывел его

на Дальницкую улицу, пылившую и блестевшую, как зеленая рожь на ветру. Татары шли вверх по Дальницкой, татары и турки со своими муллами. Они возвращались с богомолья из Мекки к себе домой в Оренбургские степи и в Закавказье. Пароход привез их в Одессу, и они шли из порта на постоялый двор Любки Шнейвейс, прозванной Любкой Казак. Полосатые несгибаемые халаты стояли на татарах и затопляли мостовую бронзовым потом пустыни. Белые полотенца были замотаны вокруг их фесок, и это обозначало человека, поклонившегося праху пророка. Богомольцы дошли до угла, они повернули к Любкиному двору, но не смогли там пройти, потому что у ворот собралось множество людей. Любка Шнейвейс, с кошелем на боку, била пьяного мужика и толкала его на мостовую. Она била сжатым кулаком по лицу, как в бубен, и другой рукой поддерживала мужика, чтобы он не отваливался. Струйки крови ползли у мужика между зубами и возле уха, он был задумчив и смотрел на Любку, как на чужого человека, потом он упал на камни и заснул. Тогда Любка толкнула его ногой и вернулась к себе в лавку. Ее сторож Евзель закрыл за ней ворота и помахал рукой Фроиму Грачу, проходившему мимо...

— Почтение, Грач,— сказал он,— если хотите что-нибудь наблюдать из жизни, то зайдите к нам на двор, есть с чего посмеяться...

И сторож повел Грача к стене, где сидели богомольцы, прибывшие накануне. Старый турок в зеленой чалме, старый турок, зеленый и легкий, как лист, лежал на траве. Он был покрыт жемчужным потом, он трудно дышал и ворочал глазами.

— Вот,— сказал Евзель и поправил медаль на истертом своем пиджаке,— вот вам жизненная драма из оперы «Турецкая хвороба». Он кончается, старичок, но к нему нельзя позвать доктора, потому что тот, кто кончается по дороге от бога Мухамеда к себе домой, тот считается у них первый счастливец и богач... Халваш,— закричал Евзель умирающему и захохотал,— вот идет доктор лечить тебя...

Турок посмотрел на сторожа с детским страхом и ненавистью и отвернулся. Тогда Евзель, довольный собою, повел Грача на противоположную сторону двора к винному погребу. В погребе горели уже лампы и играла музыка. Старые евреи с грузными бородами играли румынские и еврейские песни. Мендель Крик пил за столом вино из зеленого стакана и рассказывал о том, как его искалечили

собственные сыновья — старший Беня и младший Левка. Он орал свою историю хриплым и страшным голосом, показывал размолотые свои зубы и давал щупать раны на животе. Волынские цадики с фарфоровыми лицами стояли за его стулом и слушали с оцепенением похвальбу Менделя Крика. Они удивлялись всему, что слышали, и Грач презирал их за это.

— Старый хвастун,— пробормотал он о Менделе и заказал себе вина.

Потом Фроим подозвал к себе хозяйку Любку Казак. Она сквернословила у дверей и пила водку стоя.

— Говори,— крикнула она Фроиму и в бешенстве скосила глаза.

— Мадам Любка,— ответил ей Фроим и усадил рядом с собой,— вы умная женщина, и я пришел до вас, как до родной мамы. Я надеюсь на вас, Любка,— сначала на бога, потом на вас.

— Говори,— закричала Любка, побежала по всему погребу и потом вернулась на свое место.

И Грач сказал:

— В колониях,— сказал он, немцы имеют богатый урожай на пшеницу, а в Константинополе бакалея идет за половину даром. Пуд маслин покупают в Константинополе за три рубля, а продают их здесь по тридцать копеек за фунт... Бакалейщикам стало хорошо, мадам Любка, бакалейщики гуляют очень жирные, и если подойти к ним с деликатными руками, так человек мог бы стать счастливым... Но я остался один в моей работе, покойник Лева Бык умер, мне нет помощи ниоткуда, и вот я один, как бывает один бог на небе.

— Беня Крик,— сказала тогда Любка,— ты пробовал его на Тартаковском, чем плох тебе Беня Крик?

— Беня Крик? — повторил Грач, полный удивления.— И он холостой, мне сдается?

— Он холостой,— сказала Любка,— окрути его с Баськой, дай ему денег, выведи его в люди...

— Беня Крик,— повторил старик, как эхо, как дальнее эхо,— я не подумал о нем...

Он встал, бормоча и заикаясь. Любка побежала вперед, и Фроим поплелся за ней следом. Они прошли во двор и поднялись во второй этаж. Там, во втором этаже, жили женщины, которых Любка держала для приезжающих.

— Наш жених у Катюши,— сказала Любка Грачу,— подожди меня в коридоре,— и она прошла в крайнюю комнату, где Беня Крик лежал с женщиной, по имени Катюша.

— Довольно слюни пускать,— сказала хозяйка молодому человеку,— сначала надо пристроиться к какому-нибудь делу, Бенчик, и потом можно слюни пускать... Фроим Грач ищет тебя. Он ищет человека для работы и не может найти его...

И она рассказала все, что знала о Баське и о делах одноглазого Грача.

— Я подумаю,— ответил ей Беня, закрывая простыней Катюшины голые ноги,— я подумаю, пусть старик обождет меня.

— Обожди его,— сказала Любка Фроиму, оставшемуся в коридоре,— обожди его, он подумает...

Хозяйка придвинула стул Фроиму, и он погрузился в безмерное ожидание. Он ждал терпеливо, как мужик в канцелярии. За стеной стонала Катюша и заливалась смехом. Старик продремал два часа и, может быть, больше. Вечер давно уже стал ночью, небо почернело, и млечные его пути исполнились золота, блеска и прохлады. Любкин погреб был закрыт уже, пьяницы валялись во дворе, как сломанная мебель, и старый мулла в зеленой чалме умер к полуночи. Потом музыка пришла с моря, валторны и трубы с английских кораблей, музыка пришла с моря и стихла, но Катюша, обстоятельная Катюша все еще накаляла для Бени Крика свой расписной, свой русский и румяный рай. Она стонала за стеной и заливалась смехом; старый Фроим сидел, не двигаясь, у ее дверей, он ждал до часу ночи и потом постучал.

— Человек,— сказал он,— неужели ты смеешься надо мной?

Тогда Беня открыл, наконец, двери Катюшиной комнаты.

— Мосье Грач,— сказал он, конфузясь, сияя и закрываясь простыней,— когда мы молодые, так мы думаем на женщин, что это товар, но это же всего только солома, которая горит ни от чего...

И, одевшись, он поправил Катюшину постель, взбил ее подушки и вышел со стариком на улицу. Гуляя, дошли они до русского кладбища, и там, у кладбища, сошлись интересы Бени Крика и кривого Грача, старого налетчика. Они сошлись на том, что Баська приносит своему будущему мужу три тысячи рублей приданого, две кровные лошади и жемчужное ожерелье. Они сошлись еще на том, что Каплун обязан уплатить две тысячи рублей Бене, Баськиному жениху. Он был повинен в семейной гордости — Каплун с Привоз-

ной площади, он разбогател на константинопольских маслинах, он не пощадил первой Баськиной любви, и поэтому Беня Крик решил взять на себя задачу получения с Каплуна двух тысяч рублей.

— Я возьму это на себя, папаша,— сказала он будущему своему тестю,— бог поможет нам, и мы накажем всех бакалейщиков...

Это было сказано на рассвете, когда ночь прошла уже,— и вот тут начинается новая история, история падения дома Каплунов, повесть о медленной его гибели, о поджогах и ночной стрельбе. И все это — судьба высокомерного Каплуна и судьба девушки Баськи — решилось в ту ночь, когда ее отец и внезапный ее жених гуляли вдоль русского кладбища. Парни тащили тогда девушек за ограды, и поцелуи раздавались на могильных плитах.

ЛЮБКА КАЗАК

На Молдаванке, на углу Дальницкой и Балковской улиц, стоит дом Любки Шнейвейс. В ее доме помещается винный погреб, постоялый двор, овсяная лавка и голубятня на сто пар крюковских и николаевских голубей. Лавки эти и участок номер сорок шесть на одесских каменоломнях принадлежат Любке Шнейвейс, прозванной Любкой Казак, и только голубятня составляет собственность сторожа Евзеля, отставного солдата с медалью. По воскресеньям Евзель выходит на Охотницкую и продает голубей чиновникам из города и соседским мальчишкам. Кроме сторожа, на Любкином дворе живут еще Песя-Миндл, кухарка и сводница, и управляющий Цудечкис, маленький еврей, похожий ростом и бороденкой на молдаванского раввина нашего — Бен Захарью. О Цудечкисе я знаю много историй. Первая из них — история о том, как Цудечкис поступил управляющим на постоялый двор Любки, прозванной Казак.

Лет десять тому назад Цудечкис смаклеровал одному помещику молотилку с конным приводом и вечером повел помещика к Любке для того, чтобы отпраздновать покупку. Покупщик его носил возле усов подусники и ходил в лаковых сапогах. Песя-Миндл дала ему на ужин фаршированную еврейскую рыбу и потом очень хорошую барышню, по имени Настя. Помещик переночевал, и на утро Евзель

разбудил Цудечкиса, свернувшегося калачиком у порога Любкиной комнаты.

— Вот,— сказал Евзель,— вы хвалились вчера вечером, что помещик купил через вас молотилку, так будьте известны, что, переночевав, он убежал на рассвете, как самый последний. Теперь вынимайте два рубля за закуску и четыре рубля за барышню. Видно, вы тертый старик.

Но Цудечкис не отдал денег. Евзель втолкнул его тогда в Любкину комнату и запер на ключ.

— Вот,— сказал сторож,— будешь здесь, а потом приедет Любка с каменоломни и с божьей помощью выймет из тебя душу. Аминь.

— Каторжанин,— ответил солдату Цудечкис и стал осматриваться в новой комнате,— ты ничего не знаешь, каторжанин, кроме своих голубей, а я верю еще в бога, который выведет меня отсюда, как вывел всех евреев — сначала из Египта и потом из пустыни...

Маленький маклер много еще хотел высказать Евзелю, но солдат взял с собой ключ и ушел, громыхая сапогами. Тогда Цудечкис обернулся и увидел у окна сводницу Песю-Миндл, которая читала книгу «Чудеса и сердце Баал-Шема». Она читала хасидскую книгу с золотым обрезом и качала ногой дубовую люльку. В люльке этой лежал Любкин сын, Давидка, и плакал.

— Я вижу хорошие порядки на этом Сахалине,— сказал Цудечкис Песе-Миндл,— вот лежит ребенок и разрывается на части, что это жалко смотреть, и вы, толстая женщина, сидите, как камень в лесу, и не можете дать ему соску...

— Дайте вы ему соску,— ответила Песя-Миндл, не отрываясь от книжки,— если только он возьмет у вас, старого обманщика, эту соску, потому что он уже большой, как кацап, и хочет только мамашенькиного молока, и мамашенька его скачет по своим каменоломням, пьет чай с евреями в трактире «Медведь», покупает в гавани контрабанду и думает о своем сыне, как о прошлогоднем снеге...

— Да,— сказал тогда самому себе маленький маклер,— ты у фараона в руках, Цудечкис,— и он отошел к восточной стене, пробормотал всю утреннюю молитву с прибавлениями и взял потом на руки плачущего младенца. Давидка посмотрел на него с недоумением и помахал малиновыми ножками в младенческом поту, а старик стал ходить по комнате и, раскачиваясь, как цадик на молитве, запел нескончаемую песню.

— А-а-а,— запел он,— вот всем детям дули, а Давидочке нашему калачи, чтобы он спал и днем и в ночи... А-а-а, вот всем детям кулаки...

Цудечкис показал Любкиному сыну кулак с серыми волосами и стал повторять про дули и калачи до тех пор, пока мальчик не заснул и пока солнце не дошло до середины блистающего неба. Оно дошло до середины и задрожало, как муха, обессиленная зноем. Дикие мужики из Нерубайска и Татарки, остановившиеся на Любкином постоялом дворе, полезли под телеги и заснули там диким заливистым сном, пьяный мастеровой вышел к воротам и, разбросав рубанок и пилу, свалился на землю, свалился и захрапел посредине мира, весь в золотых мухах и голубых молниях июля. Неподалеку от него, в холодке, уселись морщинистые немцы-колонисты, привезшие Любке вино с бессарабской границы. Они закурили трубки, и дым от их изогнутых чубуков стал путаться в серебряной щетине небритых и старческих щек. Солнце свисало с неба, как розовый язык жаждущей собаки, исполинское море накатывалось вдали на Пересыпь, и мачты дальних кораблей колебались на изумрудной воде Одесского залива. День сидел в разукрашенной ладье, день подплывал к вечеру, и навстречу вечеру, только в пятом часу, вернулась из города Любка. Она приехала на чалой лошаденке с большим животом и с отросшей гривой. Парень с толстыми ногами в ситцевой рубахе открыл ей ворота, Евзель поддержал узду ее лошади, и тогда Цудечкис крикнул Любке из своего заточения:

— Почтение вам, мадам Шнейвейс, и добрый день. Вот вы уехали на три года по делам и набросили мне на руки голодного ребенка...

— Цыть, мурло,— ответила Любка старику и слезла с седла,— кто это разевает там рот в моем окне?

— Это Цудечкис, тертый старик,— ответил хозяйке солдат с медалью и стал рассказывать ей всю историю с помещиком, но он не досказал до конца, потому что маклер, перебивая его, завизжал изо всех сил.

— Какая нахальства,— завизжал он и швырнул вниз ермолку,— какая нахальства набросить на руки чужого ребенка и самой пропасть на три года... Идите дайте ему цицю...

— Вот я иду к тебе, аферист,— пробормотала Любка и побежала по лестнице. Она вошла в комнату и вынула грудь из запыленной кофты.

Мальчик потянулся к ней, искусал чудовищный ее сосок, но не добыл молока. У матери надулась жила на лбу, и Цудечкис сказал ей, тряся ермолкой:

— Вы все хотите захватить себе, жадная Любка; весь мир тащите вы к себе, как дети тащат скатерть с хлебными крошками; первую пшеницу хотите вы и первый виноград; белые хлебы хотите вы печь на солнечном припеке, а маленькое дитя ваше, такое дитя, как звездочка, должно захлянуть без молока...

— Какое там молоко,— закричала женщина и надавила грудь,— когда сегодня прибыл в гавань «Плутарх» и я сделала пятнадцать верст по жаре?.. А вы, вы запели длинную песню, старый еврей,— отдайте лучше шесть рублей...

Но Цудечкис опять не отдал денег. Он распустил рукав, обнажил руку и сунул Любке в рот худой и грязный локоть.

— Давись, арестантка,— сказал он и плюнул в угол.

Любка подержала во рту чужой локоть, потом вынула его, заперла дверь на ключ и пошла во двор. Там уже дожидался ее мистер Троттибэрн, похожий на колонну из рыжего мяса. Мистер Троттибэрн был старшим механиком на «Плутархе». Он привез с собой к Любке двух матросов. Один из матросов был англичанином, другой был малайцем. Все втроем они втащили во двор контрабанду, привезенную из Порт-Саида. Их ящик был тяжел, они уронили его на землю, и из ящика выпали сигары, запутавшиеся в японском шелку. Множество баб сбежалось к ящику, и две пришлые цыганки, колеблясь и гремя, стали заходить сбоку.

— Прочь, галота! — крикнула им Любка и увела моряков в тень под акацию. Они сели там за стол. Евзель подал им вина, и мистер Троттибэрн развернул свои товары. Он вынул из тюка сигары и тонкие шелка, кокаин и напильники, необандероленный табак из штата Виргиния и черное вино, купленное на острове Хиосе. Всякому товару была особая цена, каждую цифру запивали бессарабским вином, пахнущим солнцем и клопами. Сумерки побежали по двору, сумерки побежали, как вечерняя волна на широкой реке, и пьяный малаец, полный удивления, тронул пальцем Любкину грудь. Он тронул ее одним пальцем, потом всеми пальцами по очереди.

Желтые и нежные его глаза повисли над столом, как бумажные фонари на китайской улице; он запел чуть слышно и упал на землю, когда Любка толкнула его кулаком.

— Смотрите, какой хорошо грамотный,— сказала о нем Любка мистеру Троттибэрну,— последнее молоко пропадет у меня от этого малайца, а вот тот еврей съел уже меня за это молоко...

И она указала на Цудечкиса, который, стоя в окне, стирал свои носки. Маленькая лампа коптила в комнате у Цудечкиса, лоханка его пенилась и шипела, он высунулся из окна, почувствовав, что говорят о нем, и закричал с отчаянием.

— Ратуйте, люди! — закричал он и помахал руками.

— Цыть, мурло! — захохотала Любка.— Цыть.

Она бросила в старика камнем, но не попала с первого раза. Женщина схватила тогда пустую бутылку из-под вина. Но мистер Троттибэрн, старший механик, взял у нее бутылку, нацелился и угодил в раскрытое окно.

— Мисс Любка,— сказал старший механик, вставая, и он собрал к себе пьяные ноги,— много достойных людей приходят ко мне, мисс Любка, за товаром, но я никому не даю его, ни мистеру Кунинзону, ни мистеру Батю, ни мистеру Купчику, никому, кроме вас, потому что разговор ваш мне приятен, мисс Любка...

И, утвердившись на вздрогнувших ногах, он взял за плечи своих матросов, одного — англичанина, другого — малайца, и пошел танцевать с ними по захолодевшему двору. Люди с «Плутарха» — они танцевали в глубокомысленном молчании. Оранжевая звезда, скатившись к самому краю горизонта, смотрела на них во все глаза. Потом они получили деньги, взялись за руки и вышли на улицу, качаясь, как качается висячая лампа на корабле. С улицы им видно было море, черная вода Одесского залива, игрушечные флаги на потонувших мачтах и пронизывающие огни, зажженные в просторных недрах. Любка проводила танцующих гостей до переезда; она осталась одна на пустой улице, засмеялась своим мыслям и вернулась домой. Заспанный парень в ситцевой рубахе запер за нею ворота, Евзель принес хозяйке дневную выручку, и она отправилась спать к себе наверх. Там дремала уже Песя-Миндл, сводница, и Цудечкис качал босыми ножками дубовую люльку.

— Как вы замучили нас, бессовестная Любка,— сказал он и взял ребенка из люльки,— но вот учитесь у меня, паскудная мать...

Он приставил мелкий гребень к Любкиной груди и положил сына ей на кровать. Ребенок потянулся к матери, накололся на гребень и заплакал. Тогда старик подсунул ему соску, но Давидка отвернулся от соски.

— Что вы колдуете надо мной, старый плут? — пробормотала Любка засыпая.

— Молчать, паскудная мать! — ответил ей Цудечкис.— Молчать и учитесь, чтоб вы пропали...

Дитя опять укололось о гребень, оно нерешительно взяло соску и стало сосать ее.

— Вот,— сказал Цудечкис и засмеялся,— я отлучил вашего ребенка, учитесь у меня, чтоб вы пропали...

Давидка лежал в люльке, сосал соску и пускал блаженные слюни. Любка проснулась, открыла глаза и закрыла их снова. Она увидела сына и луну, ломившуюся к ней в окно. Луна прыгала в черных тучах, как заблудившийся теленок.

— Ну хорошо,— сказала тогда Любка,— открой Цудечкису дверь, Песя-Миндл, и пусть он придет завтра за фунтом американского табаку...

И на следующий день Цудечкис пришел за фунтом необандероленного табаку из штата Виргиния. Он получил его и еще четвертку чаю в придачу. А через неделю, когда я пришел к Евзелю покупать голубей, я увидел нового управляющего на Любкином дворе. Он был крохотный, как раввин наш Бен Зхарья. Цудечкис был новым управляющим.

Он пробыл в своей должности пятнадцать лет, и за это время я узнал о нем множество историй. И, если сумею, я расскажу их все по порядку, потому что это очень интересные истории.

ФРОИМ ГРАЧ

В девятнадцатом году люди Бени Крика напали на арьергард добровольческих войск, вырезали офицеров и отбили часть обоза. В награду они потребовали у Одесского Совета три дня «мирного восстания», но разрешения не получили и вывезли поэтому мануфактуру из всех лавок, расположенных на Александровском проспекте. Деятельность их перенеслась потом на Общество взаимного кредита. Пропуская вперед клиентов, они входили в банк и обращались к артельщикам с просьбой положить в автомобиль, ждавший на улице, тюки с деньгами и ценностями. Прошел месяц, прежде чем их стали расстреливать. Тогда нашлись люди, сказавшие, что к делам поимки и арестов имеет отношение Арон Пескин, владелец мастерской. В чем состояла работа этой мастерской — установлено не было. На квартире Пескина стоял станок — длинная машина

с покоробленным свинцовым валом; на полу валялись опилки и картон для переплетов.

Однажды в весеннее утро приятель Пескина Миша Яблочко постучался к нему в мастерскую.

— Арон,— сказал гость Пескину,— на улице дивная погода. В моем лице ты имеешь типа, который способен захватить с собой полбутылки с любительской закуской и поехать кататься по воздуху в Аркадию... Ты можешь смеяться над таким субъектом, но я любитель сбросить иногда все эти мысли с головы...

Пескин оделся и поехал с Мишей Яблочко на штейгере в Аркадию. Они катались до вечера: в сумерках Миша Яблочко вошел в комнату, где мадам Пескина мыла в корыте четырнадцатилетнюю свою дочь.

— Приветствую,— сказал Миша, снимая шляпу,— мы бесподобно провели время. Воздух — это что-то небывалое, но только надо наесться горохом, прежде чем говорить с вашим мужем... Он имеет надоедливый характер.

— Вы нашли кому рассказывать,— произнесла мадам Пескина, хватая дочь за волосы и мотая ее во все стороны,— где он, этот авантюрист?

— Он отдыхает в палисаднике.

Миша снова приподнял шляпу, простился и уехал на штейгере. Мадам Пескина, не дождавшись мужа, пошла за ним в палисадник. Он сидел в шляпе панама, облокотившись о садовый стол, и скалил зубы.

— Авантюрист,— сказала ему мадам Пескина,— ты еще смеешься... У меня делается припадок от твоей дочери, она не хочет мыть голову... Пойди, имей беседу с твоей дочерью...

Пескин молчал и все скалил зубы.

— Бонабак,— начала мадам Пескина, заглянула мужу под шляпу панама и закричала. Соседи сбежались на ее крик.— Он не живой,— сказала им мадам Пескина.— Он мертвый.

Это была ошибка. Пескину в двух местах прострелили грудь и проломили череп, но он жил еще. Его отвезли в еврейскую больницу. Не кто другой, как доктор Зильберберг сделал раненому операцию, но Пескину не посчастливилось — он умер под ножом. В ту же ночь Чека арестовала человека по прозвищу Грузин и его друга Колю Лапидуса. Один из них был кучером Миши Яблочко, другой ждал экипаж в Аркадии, на берегу моря у поворота, ведущего в степь. Их расстреляли после допроса, длившегося

недолго. Один Миша Яблочко ушел из засады. След его потерялся, и несколько дней прошло, прежде чем на двор к Фроиму Грачу пришла старуха, торговавшая семечками. Она несла на руке корзину со своим товаром. Одна бровь ее, мохнатым угольным кустом, была поднята кверху, другая, едва намеченная, загибалась над веком. Фроим Грач сидел, расставив ноги, у конюшни и играл со своим внуком Аркадием. Мальчик этот три года назад выпал из могучей утробы дочери его Баськи. Дед протянул Аркадию палец, тот схватил его, повис и стал качаться на нем, как на перекладине.

— Ты — чепуха...— сказал внуку Фроим, глядя на него единственным глазом.

К ним подошла старуха с мохнатой бровью и в мужских штиблетах, перевязанных бечевкой.

— Фроим,— произнесла старуха,— я говорю тебе, что у этих людей нет человечества. У них нет слова. Они давят нас в погребах, как собак в яме. Они не дают нам говорить перед смертью. Их надо грызть зубами, этих людей, и вытаскивать из них сердце...

— Ты молчишь, Фроим,— прибавил Миша Яблочко,— ребята ждут, что ты перестанешь молчать...

Миша встал, переложил корзину из одной руки в другую и ушел, подняв черную бровь. Три девочки с заплетенными косицами встретились с ним на Алексеевской площади у церкви. Они прогуливались, взявшись за талии.

— Барышни,— сказал им Миша Яблочко,— я не угощу вас чаем с семитатью...

Он насыпал им в карман платьиц семечек из стакана и исчез, обогнув церковь.

Фроим Грач остался один на своем дворе. Он сидел неподвижно, устремив в пространство свой единственный глаз. Мулы, отбитые у колониальных войск, хрустели сеном на конюшне, разъевшиеся матки паслись с жеребятами на усадьбе. В тени под каштаном кучера играли в карты и прихлебывали вино из черепков. Жаркие порывы ветра налетали на меловые стены, солнце в голубом своем оцепенении лилось над двором. Фроим встал и вышел на улицу. Он пересек Прохоровскую, чадившую в небо нищим тающим дымом своих кухонь, и площадь Толкучего рынка, где люди, завернутые в занавеси и гардины, продавали их друг другу. Он дошел до Екатерининской улицы, свернул у памятника императрице и вошел в здание Чека.

— Я Фроим,— сказал он коменданту,— мне надо до хозяина.

Председателем Чека в то время был Владислав Симен, приехавший из Москвы. Узнав о приходе Фроима, он вызвал следователя Борового, чтобы расспросить о посетителе.

— Это грандиозный парень,— ответил Боровой,— тут вся Одесса пройдет перед вами...

И комендант ввел в кабинет старика в парусиновом балахоне, громадного, как здание, рыжего, с прикрытым глазом и изуродованной щекой.

— Хозяин,— сказал вошедший,— кого ты бьешь?.. Ты бьешь орлов. С кем ты останешься, хозяин, со смитьем?..

Симен сделал движение и приоткрыл ящик стола.

— Я пустой,— сказал тогда Фроим,— в руках у меня ничего нет, и в чоботах у меня ничего нет, и за воротами на улице я никого не оставил... Отпусти моих ребят, хозяин, скажи твою цену.

Старика усадили в кресло, ему принесли коньяку. Боровой вышел из комнаты и собрал у себя следователей и комиссаров, приехавших из Москвы.

— Я покажу вам одного парня,— сказал он,— это эпопея, второго нет...

И Боровой рассказал о том, что одноглазый Фроим, а не Беня Крик был истинным главой сорока тысяч одесских воров. Игра его была скрыта, но все совершалось по планам старика — разгром фабрик и казначейства в Одессе, нападение на добровольцев и на союзные войска. Боровой ждал выхода старика, чтобы поговорить с ним. Фроим не появлялся. Соскучившийся следователь отправился на поиски. Он обошел все здание и под конец заглянул на черный двор. Фроим Грач лежал там, распростертый под брезентом у стены, увитой плющом. Два красноармейца курили самодельные папиросы над его трупом.

— Чисто медведь,— сказал старший, увидев Борового,— это сила напомерная... Такого старика не убить, ему б износу не было... В нем десять зарядов сидит, а он все лезет...

Красноармеец раскраснелся, глаза его блестели, картуз сбился набок.

— Мелешь больше пуду,— прервал его другой конвоир,— помер и помер, все одинакие...

— Ан не все,— вскричал старший,— один просится, кричит, другой слова не скажет... Как это так можно, чтобы все одинакие...

— У меня они все одинакие,— упрямо повторил красноармеец помоложе,— все на одно лицо, я их не разбираю...

Боровой наклонился и отвернул брезент. Гримаса движения осталась на лице старика.

Следователь вернулся в свою комнату. Это был циркульный зал, обитый атласом. Там шло собрание о новых правилах делопроизводства. Симен делал доклад о непорядках, которые он застал, о неграмотных приговорах, о бессмысленном ведении протоколов следствия. Он настаивал на том, чтоб следователи, разбившись на группы, начали занятия с юрисконсультами и вели бы дело по формам и образцам, утвержденным Главным управлением в Москве.

Боровой слушал, сидя в своем углу. Он сидел один, далеко от остальных. Симен подошел к нему после собрания и взял за руку.

— Ты сердишься на меня, я знаю,— сказал он,— но только мы — власть, Саша, мы — государственная власть, это надо помнить...

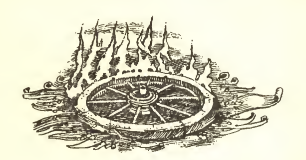
— Я не сержусь,— ответил Боровой и отвернулся,— вы не одессит, вы не можете этого знать, тут целая история с этим стариком...

Они сели рядом, председатель, которому исполнилось двадцать три года, со своим подчиненным. Симен держал руку Борового в своей руке и пожимал ее.

— Ответь мне как чекист,— сказал он после молчания,— ответь мне как революционер,— зачем нужен этот человек в будущем обществе?

— Не знаю,— Боровой не двигался и смотрел прямо перед собой,— наверное, не нужен...

Он сделал усилие и прогнал от себя воспоминания. Потом, оживившись, он снова начал рассказывать чекистам, приехавшим из Москвы, о жизни Фроима Грача, об изворотливости его, неуловимости, о презрении к ближнему, все эти удивительные истории, отошедшие в прошлое...



Юрий ОЛЕША

ЗАВИСТЬ

РОМАН

Часть первая

I

Он поет по утрам в клозете. Можете представить себе, какой это жизнерадостный, здоровый человек. Желание петь возникает в нем рефлекторно. Эти песни его, в которых нет ни мелодии, ни слов, а есть только одно «та-ра-ра», выкрикиваемое им на разные лады, можно толковать так:

«Как мне приятно жить... та-ра! та-ра!.. Мой кишечник упруг... ра-та-та-та-ра-ри... Правильно движутся во мне соки... ра-та-та-ду-та-та... Сокращайся, кишка, сокращайся... трам-ба-ба-бум!»

Когда утром он из спальни проходит мимо меня (я притворяюсь спящим) в дверь, ведущую в недра квартиры, в уборную, мое воображение уносится за ним. Я слышу сутолоку в кабинке уборной, где узко его крупному телу. Его спина трется по внутренней стороне захлопнувшейся двери, и локти тыкаются в стенки, он перебирает ногами. В дверь уборной вделано матовое овальное стекло. Он поворачивает выключатель, овал освещается изнутри и становится прекрасным, цвета опала, яйцом. Мысленным взором я вижу это яйцо, висящее в темноте коридора.

В нем весу шесть пудов. Недавно, сходя где-то по лестнице, он заметил, как в такт шагам у него трясутся груди.

Поэтому он решил прибавить новую серию гимнастических упражнений.

Это образцовая мужская особь.

Обычно занимается он гимнастикой не у себя в спальне, а в той неопределенного назначения комнате, где помещаюсь я. Здесь просторней, воздушней, больше света, сияния. В открытую дверь балкона льется прохлада. Кроме того, здесь умывальник. Из спальни переносится циновка. Он гол до пояса, в трикотажных кальсонах, застегнутых на одну пуговицу посредине живота. Голубой и розовый мир комнаты ходит кругом в перламутровом объективе пуговицы. Когда он ложится на циновку спиной и начинает поднимать поочередно ноги, пуговица не выдерживает. Открывается пах. Пах его великолепен. Нежная подпалина. Заповедный уголок. Пах производителя. Вот такой же замшевой матовости пах видел я у антилопы-самца. Девушек, секретарш и конторщиц его, должно быть, пронизывают любовные токи от одного его взгляда.

Он моется, как мальчик, дудит, приплясывает, фыркает, испускает вопли. Воду он захватывает пригоршнями и, не донося до подмышек, расшлепывает по циновке. Вода на соломе рассыпается полными, чистыми каплями. Пена, падая в таз, закипает, как блин. Иногда мыло ослепляет его,— он, чертыхаясь, раздирает большими пальцами веки. Полощет горло он с клекотом. Под балконом останавливаются люди и задирают головы.

Розовейшее, тишайшее утро. Весна в разгаре. На всех подоконниках стоят цветочные ящики. Сквозь щели их просачивается киноварь очередного цветения.

(Меня не любят вещи. Мебель норовит подставить мне ножку. Какой-то лакированный угол однажды буквально укусил меня. С одеялом у меня всегда сложные взаимоотношения. Суп, поданный мне, никогда не остывает. Если какая-нибудь дрянь — монета или запонка — падает со стола, то обычно закатывается она под трудно отодвигаемую мебель. Я ползаю по полу и, поднимая голову, вижу, как буфет смеется.)

Синие лямки подтяжек висят по бокам. Он идет в спальню, находит на стуле пенсне, надевает его перед зеркалом и возвращается в мою комнату. Здесь, стоя посредине, он поднимает лямки подтяжек, обе разом, таким движением, точно взваливает на плечи кладь. Со мной не говорит он ни слова. Я притворяюсь спящим. В металлических

пластинках подтяжек солнце концентрируется двумя жгучими пучками. (Вещи его любят.)

Ему не надо причесываться и приводить в порядок бороду и усы. Голова у него низко острижена, усы короткие — под самым носом. Он похож на большого мальчика-толстяка.

Он взял флакон; щебетнула стеклянная пробка. Он вылил одеколон на ладонь и провел ладонью по шару головы — от лба к затылку и обратно.

Утром он пьет два стакана холодного молока: достает из буфета кувшинчик, наливает и пьет, не садясь.

Первое впечатление от него ошеломило меня. Я не мог допустить, предположить. Он стоял передо мной в элегантном сером костюме, пахнущий одеколоном. Губы у него были свежие, слегка выпяченные. Он, оказалось, щеголь.

Очень часто ночью я просыпаюсь от его храпа. Осовелый, я не понимаю, в чем дело. Как будто кто-то с угрозой произносит одно и то же: «Кракатоу... Крра... ка... тоууу...»

Прекрасную квартиру предоставили ему. Какая ваза стоит у дверей балкона на лакированной подставке! Тончайшего фарфора ваза, округлая, высокая, просвечивающая нежной кровеносной краснотою. Она напоминает фламинго. Квартира на третьем этаже. Балкон висит в легком пространстве. Широкая загородная улица похожа на шоссе. Напротив внизу — сад: тяжелый, типичный для окраинных мест Москвы, деревастый сад, беспорядочное сборище, выросшее на пустыре между трех стен, как в печи.

Он обжора. Обедает он вне дома. Вчера вечером вернулся он голодный, решил закусить. Ничего не нашлось в буфете. Он спустился вниз (на углу магазин) и притащил целую кучу: двести пятьдесят граммов ветчины, банку шпротов, скумбрию в консервах, большой батон, голландского сыру доброе полулуние, четыре яблока, десяток яиц и мармелад «Персидский горошек». Была заказана яичница и чай (кухня в доме общая, обслуживают две кухарки в очередь).

— Лопайте, Кавалеров,— пригласил он меня и сам навалился. Яичницу он ел со сковороды, откалывая куски белка, как облупливают эмаль. Глаза его налились кровью, он снимал и надевал пенсне, чавкал, сопел, у него двигались уши.

Я развлекаюсь наблюдениями. Обращали ли вы внимание на то, что соль спадает с кончика ножа, не оставляя никаких следов,— нож блещет, как нетронутый; что пенсне

переезжает переносицу, как велосипед; что человека окружают маленькие надписи, разбредшийся муравейник маленьких надписей: на вилках, ложках, тарелках, оправе пенсне, пуговицах, карандашах? Никто не замечает их. Они ведут борьбу за существование. Переходят из вида в вид, вплоть до громадных вывесочных букв! Они восстают — класс против класса; буквы табличек с названиями улиц воюют с буквами афиш.

Он наелся до отвала. Потянулся к яблокам с ножом, но только рассек желтую скулу яблока и бросил.

Один нарком в речи отозвался о нем с высокой похвалой:

«Андрей Бабичев — один из замечательных людей государства».

Он, Андрей Петрович Бабичев, занимает пост директора треста пищевой промышленности. Он великий колбасник, кондитер и повар.

А я, Николай Кавалеров, при нем шут.

II

Он заведует всем, что касается жранья.

Он жаден и ревнив. Ему хотелось бы самому жарить все яичницы, пироги, котлеты, печь все хлеба. Ему хотелось бы рожать пищу. Он родил «Четвертак».

Растет его детище. «Четвертак» — будет дом-гигант, величайшая столовая, величайшая кухня. Обед из двух блюд будет стоить четвертак.

Объявлена война кухням.

Тысячу кухонь можно считать покоренными.

Кустарничанию, восьмушкам, бутылочкам он положит конец. Он объединит все мясорубки, примуса, сковороды, краны... Если хотите, это будет индустриализация кухонь.

Он организовал ряд комиссий. Машины для очистки овощей, изготовленные на советском заводе, оказались превосходными. Немецкий инженер строит кухню. На многих предприятиях выполняются бабичевские заказы.

Я узнал о нем такое.

Он, директор треста, однажды утром, имея под мышкой портфель,— гражданин очень солидного, явно государственного облика,— взошел по незнакомой лестнице среди прелестей черного хода и постучал в первую попавшуюся дверь. Гарун-аль-Рашидом посетил он одну из кухонь

в окраинном, заселенном рабочими доме. Он увидел копоть и грязь, бешеные фурии носились в дыму, плакали дети. На него сразу набросились. Он мешал всем — громадный, отнявший у них много места, света, воздуха. Кроме того, он был с портфелем, в пенсне, элегантный и чистый. И решили фурии: это, конечно, член какой-то комиссии. Подбоченившись, задирали его хозяйки. Он ушел. Из-за него (кричали ему вслед) потух примус, лопнул стакан, пересолился суп. Он ушел, не сказав того, что хотел сказать. У него нет воображения. Он должен был сказать так:

«Женщины! Мы сдуем с вас копоть, очистим ваши ноздри от дыма, уши — от галдежа, мы заставим картошку волшебно, в одно мгновенье, сбрасывать с себя шкуру; мы вернем вам часы, украденные у вас кухней,— половину жизни получите вы обратно. Ты, молодая жена, варишь для мужа суп. И лужице супа отдаешь ты половину своего дня! Мы превратим ваши лужицы в сверкающие моря, щи разольем океаном, кашу насыплем курганами, глетчером поползет кисель! Слушайте, хозяйки, ждите! Мы обещаем вам: кафельный пол будет залит солнцем, будут гореть медные чаны, лилейной чистоты будут тарелки, молоко будет тяжелое, как ртуть, и такое поплывет благоухание от супа, что станет завидно цветам на столах».

Он, как факир, пребывает в десяти местах одновременно.

В служебных записках он часто прибегает к скобкам, подчеркиваниям,— боится, что не поймут и напутают.

Вот образцы его записок:

«Товарищу Прокудину!

Обертки конфет (12 образцов) сделайте соответственно покупателю (шоколад, начинка), но по-новому. Но не «Роза Люксембург» (узнал, что такое имеется,— пастила!!),— лучше всего что-нибудь от науки (поэтическое — география? астрономия?), с названием серьезным и по звуку заманчивым: «Эскимо»? «Телескоп»? Сообщите по телефону завтра, в среду, между часом и двумя, мне в правление. Обязательно».

«Товарищу Фоминскому!

Прикажите, чтоб в каждую тарелку первого (и 50-и и 75-*копеечного обеда*) клали кусок мяса (аккуратно отрезанный, *как у частника*). Настойчиво следите за этим. Правда ли, что: 1) пивную закуску подают без подносов? 2) горох мелкий и плохо вымоченный?»

Он мелочен, недоверчив и кропотлив, как ключница.

В десять часов утра он приехал с картонажной фабрики. Приема ждало восемь человек. Он принял: 1) заведующего коптильней, 2) уполномоченного дальневосточного консервного треста (схватил жестянку крабов и выбежал из кабинета кому-то показывать; вернувшись, поставил ее рядом, возле локтя, и долго не мог успокоиться, все время поглядывал на голубую жестянку, смеялся, почесывал нос), 3) инженера с постройки склада, 4) немца — относительно грузовых автомобилей (говорили по-немецки; он окончил разговор, должно быть, пословицей, потому что вышло в рифму и оба рассмеялись), 5) художника, принесшего проект рекламного плаката (не понравилось; сказал, что должен быть глухой синий цвет — химический, а не романтический), 6) какого-то контрагента-ресторатора, с запонками в виде молочно-белых бубенчиков, 7) жиденького человека с витой бородой, который говорил о головах скота, и, наконец, 8) некоего восхитительного сельского жителя. Эта последняя встреча носила особый характер. Бабичев встал и двинулся вперед, почти раскрывая объятия. Тот заполнил весь кабинет — этакий пленительно-неуклюжий, застенчивый, улыбающийся, загорелый, ясноглазый, этакий Левин из Толстого. Пахло от него полевыми цветами и молочными блюдами. Шел разговор о совхозе. На лицах присутствующих появилось мечтательное выражение.

В четыре двадцать он уехал на заседание в Высший Совет Народного Хозяйства.

III

Вечером, дома, он сидит, осененный пальмовой зеленью абажура. Перед ним листы бумаги, записные книжки, маленькие листочки с колонками цифр. Он перебрасывает странички настольного календаря, вскакивает, ищет в этажерке, вынимает пачки, становится коленями на стул и — животом на столе, подперши толстое лицо руками,— читает. Зеленая площадка стола прикрыта стеклянной пластиной. В конце концов что же особенного? Человек работает, человек дома, вечером, работает. Человек, уставившись в лист, ковыряет в ухе карандашом. Ничего особенного. Но все его поведение говорит: ты — обыватель, Кавалеров. Конечно, он не заявляет этого. Должно быть, и в мыслях его ничего похожего нет. Но это понятно без слов. Кто-то

третий заявляет мне об этом. Кто-то третий заставляет меня беситься в то время, когда я слежу за ним.

— Четвертак! Четвертак-с! — кричит он.— Четвертэк-с!

Он внезапно начинает хохотать. Он что-то уморительное прочел в бумагах или увидел в колонке цифр. Он подзывает меня, давясь от хохота. Он ржет, тычет пальцем в лист. Я смотрю и ничего не вижу. Что рассмешило его? Там, где я не мог различить даже начал, от которых можно вести сравнение, он видит нечто настолько отступающее от этих начал, что разражается хохотом. Я с ужасом внимаю ему. Это хохот жреца. Я слушаю его, как слепой слушает разрыв ракеты.

«Ты — обыватель, Кавалеров. Ты ничего не понимаешь».

Он этого не говорить, но это понятно без слов.

Иногда он не возвращается до поздней ночи. Тогда по телефону я получаю распоряжение:

— Это Кавалеров? Слушайте, Кавалеров! Мне будут звонить из Хлебопродукта. Пусть позвонят два — семьдесят три — ноль пять, добавочный шестьдесят два, запишите. Записали? Добавочный шестьдесят два, Главконцесском. Привет.

Действительно, ему звонят из Хлебопродукта.

Я переспрашиваю:

— Хлебопродукт? Товарищ Бабичев в Главконцесскоме... Что? В Главконцесском, два — семьдесят три — ноль пять. Добавочный шестьдесят два, Главконцесском. Привет.

Хлебопродукт вызывает директора треста Бабичева. Бабичев в Главконцесскоме. Какое мне дело до этого? Но я ощущаю приятность от того, что принимаю косвенное участие в судьбе Хлебопродукта и Бабичева. Я испытываю административный восторг. Но ведь роль моя ничтожна. Холуйская роль. В чем же дело? Я уважаю его? Боюсь его? Нет. Я считаю, что я не хуже, чем он. Я не обыватель. Я докажу это.

Мне хочется поймать его на чем-то, обнаружить слабую сторону, незащищенный пункт. Когда мне в первый раз случилось увидеть его во время утреннего туалета, я был уверен, что поймал его, что прорвалась его непроницаемость.

Вытираясь, он вышел из своей комнаты к порогу балкона и, ковыряя полотенцем в ушах, повернулся ко мне спиной. Я увидел эту спину, этот тучный торс сзади, в солнечном свете, и чуть не вскрикнул. Спина выдала все.

Нежно желтело масло его тела. Свиток чужой судьбы развернулся передо мною. Прадед Бабичев холил свою кожу, мягко расположились по туловищу прадеда валики жира. По наследству передались комиссару тонкость кожи, благородный цвет и чистая пигментация. И самым главным, что вызвало во мне торжество, было то, что на пояснице его я увидел родинку, особенную, наследственную дворянскую родинку,— ту самую, полную крови, просвечивающую, нежную штучку, отстающую от тела на стебельке, по которой матери через десятки лет узнают украденных детей.

«Вы — барин, Андрей Петрович! Вы притворяетесь!» — едва не сорвалось с моих уст.

Но он повернулся грудью.

На груди у него, под правой ключицей, был шрам. Круглый, несколько топорщащийся, как оттиск монеты на воске. Как будто в этом месте росла ветвь и ее отрубили. Бабичев был на каторге. Он убегал, в него стреляли.

— Кто такая Иокаста? — спросил он меня однажды ни с того ни с сего. Из него выскакивают (особенно по вечерам) необычайные по неожиданности вопросы. Весь день он занят. Но глаза его скользят по афишам, по витринам, но края ушей улавливают слова из чужих разговоров. В него попадает сырье. Я единственный его неделовой собеседник. Он ощущает необходимость завязать разговор. На серьезный разговор он считает меня неспособным. Ему известно, что люди, отдыхая, болтают. Он решает отдать какую-то дань общечеловеческим обыкновениям. Тогда он задает мне праздные вопросы. Я отвечаю на них. Я дурак при нем. Он думает, что я дурак.

— Вы любите маслины? — спрашивает он.

«Да, я знаю, кто такая Иокаста! Да, я люблю маслины, но я не хочу отвечать на дурацкие вопросы. Я не считаю себя глупее вас». Так бы следовало ответить ему. Но у меня не хватает смелости. Он давит меня.

IV

Я живу под его кровом две недели. Две недели тому назад он подобрал меня, пьяного, ночью у порога пивной... Из пивной меня выкинули.

Ссора в пивной завязалась исподволь; сперва ничто и не предвещало скандала — напротив, могла завязаться между двумя столиками дружба; пьяные общительны;

та большая компания, где сидела женщина, предлагала мне присоединиться, и я готов был принять приглашение, но женщина, которая была прелестна, худа, в синей шелковой блузке, болтающейся на ключицах, отпустила шуточку по моему адресу — и я оскорбился и с полдороги вернулся к своему столику, неся впереди кружку, как фонарь.

Тогда целый град шуток посыпался мне вслед. Я и в самом деле мог показаться смешным; этакий вихрастый фрукт. Мужчина вдогонку гоготал басом. Швырнули горошиной. Я обошел свой столик и стал лицом к ним,— пиво ляпало на мрамор, я не мог высвободить большого пальца, запутавшегося в ручке кружки,— хмельной, я разразился признаниями: самоуничижение и заносчивость слились в одном горьком потоке:

— Вы... труппа чудовищ... бродячая труппа уродов, похитившая девушку... (Окружающие прислушались: вихрастый фрукт выражался странно, речь его вышла из общего гомона.) Вы, сидящие справа под пальмочкой,— урод номер первый. Встаньте и покажитесь всем... Обратите внимание, товарищи, почтеннейшая публика... Тише! Оркестр, вальс! Мелодический нейтральный вальс! Ваше лицо представляет собой упряжку. Щеки стянуты морщинами,— и не морщины это, а вожжи; подбородок ваш — вол, нос — возница, больной проказой, а остальное — поклажа на возу... Садитесь. Дальше: чудовище номер второй... Человек со щеками, похожими на колени. Очень красиво! Любуйтесь, граждане, труппа уродов проездом... А вы? Как вы вошли в эту дверь? Вы не запутались ушами? А вы, прильнувший к украденной девушке, спросите ее, что думает она о ваших угрях? Товарищи... (я повернулся во все стороны) они... вот эти... они смеялись надо мною! Вон тот смеялся... Знаешь ли ты, как ты смеялся? Ты издавал те звуки, какие издает пустой клистир... Девушка... «в садах, украшенных весною, царица, равной розы нет, чтобы идти на вас войною, на ваши восемнадцать лет!..» Девушка! Кричите! Зовите на помощь! Мы спасем вас. Что случилось с миром? Он щупает вас, и вы ежитесь? Вам приятно? (Я сделал паузу и затем торжественно сказал.) Я зову вас. Сядьте здесь со мной. Почему вы смеялись надо мной? Я стою перед вами, незнакомая девушка, и прошу: не теряйте меня. Просто встаньте, оттолкните их и шагните сюда. Чего вы ждете от него, от них всех?.. Чего?.. Нежности? ума? ласк? преданности? Идите ко мне. Мне смешно даже равняться с ними. Вы получите от меня неизмеримо больше...

Я говорил, ужасаясь тому, что говорю. Я резко вспомнил те особенные сны, в которых знаешь: это сон — и делаешь что хочешь, зная, что проснешься. Но тут видно было: пробуждения не последует. Бешено наматывался клубок непоправимости.

Меня выбросили.

Я лежал в беспамятстве. Потом, очнувшись, я сказал:

— Я зову их, и они не идут. Я зову эту сволочь, и они не идут. (Ко всем женщинам разом относились мои слова.)

Я лежал над люком, лицом на решетке. В люке, воздух которого втягивал я, была затхлость, роение затхлости; в черном клубе люка что-то шевелилось, жил мусор. Я, падая, увидел на момент люк, и воспоминание о нем управляло моим сном. Оно было конденсацией тревоги и страха, пережитого в пивной, унижения и боязни наказания; и во сне облеклось оно в фабулу преследования — я убегал, спасался,— все силы мои напряглись, и сон прервался.

Я открыл глаза, трепеща от радости избавления. Но бодрствование было так неполно, что я воспринял его как переход от одного видения к другому, и в новом видении главную роль играл избавитель — тот, кто спас меня от преследования, тот некто, кому осыпал я руки и рукава поцелуями, думая, что целую во сне,— кого обнял я за шею, горько рыдая.

— Почему я так несчастен?.. Как трудно мне жить на свете! — лепетал я.

— Положите его головой повыше,— сказал спаситель.

Меня везли в автомобиле. Приходя в себя, я видел небо, бледное, светлеющее небо; оно неслось от пяток за голову. Видение это гремело, было головокружительно и всякий раз оканчивалось приступом тошноты. Когда я проснулся утром, в страхе я протянул руку к ногам. Еще не разобравшись, где я, что со мной, я вспомнил толчки и покачивания. Меня пронзила мысль, что везли меня в карете «скорой помощи», что, пьяному, мне отрезало ноги. Я протянул руки, уверенный, что нащупаю толстую, бочоночную округлость бинтов. Но оказалось просто: я лежу на диване в большой, чистой и светлой комнате, имеющей балкон и два окна. Было раннее утро. Розовея, мирно нагревался камень балкона.

Когда мы утром познакомились, я рассказал ему о себе.

— Жалкий был вид у вас,— сказал он,— очень вас стало жаль. Вы, может быть, обижаетесь: вмешивается, мол человек

в чужую жизнь? Тогда извините, пожалуйста. Но хотите вот: поживите нормально. Очень буду рад. Места много. Свет и воздух. И есть для вас работа: вот корректура кое-какая, выборка материалов. Хотите?

Какие причины заставили знаменитую личность снизойти настолько к неизвестному, подозрительного вида молодому человеку?

V

В один вечер открылись две тайны.

— Андрей Петрович,— спросил я,— кто это, в рамке? На столе у него стоит фотография чернявого юноши.

— Что-с? — он всегда переспрашивает. Мысли его прилипают к бумаге, он не может оторвать их сразу.— Что-с? — И он отсутствует еще.

— Кто этот молодой человек?

— А... Это некто Володя Макаров. Замечательный молодой человек. (Он никогда не говорит со мной нормально. Как будто ни о чем серьезном я не могу его спросить. Мне всегда кажется, что в ответ от него я получу пословицу, или куплет, или просто мычание. Вот — вместо того чтобы ответить обыкновенной модуляцией: «замечательный молодой человек», он скандирует, почти речитативом произносит: «Че-лоо-ве-эк!»)

— Чем же он замечателен? — спрашиваю я, мстя озлобленностью тона.

Но он никакой озлобленности не замечает.

— Да нет. Просто молодой человек. Студент. Вы спите на его диване,— сказал он.— Дело в том, что это как бы сын мой. Десять лет он живет со мной. Володя Макаров. Сейчас он уехал. К отцу. В Муром.

— Ах, вот как...

— Вот-с.

Он встал из-за стола, прошелся.

— Ему восемнадцать лет. Он известный футболист. («А, футболист»,— подумал я.)

— Что ж,— сказал я,— это и вправду замечательно! Быть известным футболистом — это и вправду большое качество. («Что я говорю?»)

Он не слышал. Он во власти блаженных мыслей. С порога балкона смотрит он вдаль, в небо. Он думает о Володе Макарове.

— Это совершенно ни на кого не похожий юноша,— вдруг сказал он, поворачиваясь ко мне. (Я вижу, что то, что я присутствую здесь, когда в мыслях его этот самый Володя Макаров, кажется ему оскорбительным.) — Я обязан ему жизнью, во-первых. Он спас меня десять лет тому назад от расправы. Меня должны были положить затылком на наковальню и должны были молотом ударить меня по лицу. Он спас меня. (Ему приятно говорить о подвиге того. Видно, часто он вспоминает подвиг.) Но это не важно. Другое важно. Он совершенно новый человек. Ну, ладно. (И он вернулся к столу.)

— Зачем вы подобрали меня и привезли?

— Что-с? А? — Он мычит, через секунду только он услышит мой вопрос.— Зачем привез? Жалкий у вас был вид. Нельзя было не растрогаться. Вы рыдали. Страшно стало вас жаль.

— А диван?

— Что диван?

— А когда вернется ваш юноша...

Он, нисколько не задумываясь, просто и весело отвечал:

— Тогда вам придется диван освободить...

Мне надо встать и побить ему морду. Он, видите ли, сжалился, он, прославленная личность, пожалел несчастного, сбившегося с пути молодого человека. Но временно. Пока вернется главный. Ему просто скучно по вечерам. А потом он меня выгонит. С цинизмом он говорит об этом.

— Андрей Петрович,— говорю я.— Вы понимаете, что вы сказали? Вы хам!

— Что-с? А? — Мысли его отрываются от бумаги. Сейчас слух повторит ему мою фразу, и я молю судьбу, чтобы слух ошибся. Неужели он услышал? Ну и пусть. Разом.

Но вмешивается внешнее обстоятельство. Мне не суждено еще вылететь из этого дома.

На улице, под балконом, кто-то кричит:

— Андрей!

Он поворачивает голову.

— Андрей!

Он резко встает, отталкиваясь от стола ладонью.

— Андрюша! Дорогой!

Он выходит на балкон. Я подхожу к окну. Оба мы смотрим на улицу. Темнота. Только окнами кое-как освещена мостовая. Посредине стоит маленького роста широкоплечий человек.

— Добрый вечер, Андрюша. Как поживаешь? Как «Четвертак»?

(Я вижу из окна балкон и громадного Андрюшу. Он сопит, слышно мне.)

Человек на улице продолжает восклицать, но несколько тише:

— Отчего ты молчишь? Я пришел тебе сообщить новость. Я изобрел машину. Машина называется «Офелия».

Бабичев быстро поворачивается. Тень его бросается вбок по улице и чуть ли не производит бурю в листве противоположного сада. Он садится за стол. Барабанит пальцами по пластине.

— Берегись, Андрей! — слышен крик.— Не заносись! Я погублю тебя, Андрей...

Тогда Бабичев снова вскакивает и со сжатыми кулаками вылетает на балкон. Определенно бушуют деревья. Тень его Буддой низвергается на город.

— Против кого ты воюешь, негодяй? — говорит он. Затем сотрясаются перила. Он ударяет кулаком.— Против кого ты воюешь, негодяй? Убирайся отсюда. Я велю тебя арестова-а-ать!

— До свидания,— раздается внизу.

Толстенький человек снимает головной убор, вытягивает руку, машет головным убором (котелок? Кажется, котелок?), вежливость его аффектированна. Андрея на балконе уже нет; человечек, быстро сея шажки, удаляется серединой улицы.

— Вот! — кричит на меня Бабичев.— Вот, полюбуйтесь. Братец мой Иван. Какая сволочь!

Он ходит, кипя, по комнате. И вновь кричит на меня:

— Кто он — Иван? Кто? Лентяй, вредный, заразительный человек. Его надо расстрелять!

(Чернявый юноша на портрете улыбается. У него плебейское лицо. Он показывает особенно, по-мужски, блестящие зубы. Це́лую сверкающую клетку зубов выставляет он — как японец.)

VI

Вечер. Он работает. Я сижу на диване. Между нами лампа. Абажур (так видно мне) уничтожает верхнюю часть его лица, ее нет. Висит под абажуром нижнее полушарие головы. В целом она похожа на глиняную крашеную копилку.

— Моя молодость совпала с молодостью века,— говорю я.

Он не слушает. Оскорбительно его равнодушие ко мне.

— Я часто думаю о веке. Знаменит наш век. И это прекрасная судьба — правда? — если так совпадает: молодость века и молодость человека.

Слух его реагирует на рифму. Рифма — это смешно для серьезного человека.

— Века — человека! — повторяет он. (А скажи ему, что только что он услышал и повторил два слова,— он не поверит.)

— В Европе одаренному человеку большой простор для достижения славы. Там любят чужую славу. Пожалуйста, сделай только что-нибудь замечательное, и тебя подхватят под руки, поведут на дорогу славы... У нас нет пути для индивидуального достижения успеха. Правда ведь?

Происходит то же, как если бы я говорил с самим собой. Я звучу, произношу слова,— ну и звучи. И звучание мое ему не мешает.

— В нашей стране дороги славы заграждены шлагбаумами... Одаренный человек либо должен потускнеть, либо решиться на то, чтобы с большим скандалом поднять шлагбаум. Мне, например, хочется спорить. Мне хочется показать силу своей личности. Я хочу моей собственной славы. У нас боятся уделить внимание человеку. Я хочу большего внимания. Я хотел бы родиться в маленьком французском городке, расти в мечтаниях, поставить себе какую-нибудь высокую цель и в прекрасный день уйти из городка и пешком прийти в столицу и там, фанатически работая, добиться цели. Но я не родился на Западе. Теперь мне сказали: не то что твоя,— самая замечательная личность — ничто. И я постепенно начинаю привыкать к этой истине, против которой можно спорить. Я думаю даже так: ну, вот можно прославиться, ставши музыкантом, писателем, полководцем, пройти через Ниагару по канату... Это законные пути для достижения славы, тут личность старается, чтобы показать себя... А вот представляете себе, когда у нас говорят столько о целеустремленности, полезности, когда от человека требуется трезвый, реалистический подход к вещам и событиям,— вдруг взять да и сотворить что-нибудь явно нелепое, совершить какое-нибудь гениальное озорство и сказать потом: «Да, вот вы так, а я так». Выйти на площадь, сделать что-нибудь с собой и раскланяться: я жил, я сделал то, что хотел.

Он ничего не слышит.

— Хотя бы взять и сделать так: покончить с собой. Самоубийство без всякой причины. Из озорства. Чтобы показать, что каждый имеет право распоряжаться собой. Даже теперь. Повеситься у вас под подъездом.

— Повесьтесь лучше под подъездом ВСНХ, на Варварской площади, ныне Ногина. Там громадная арка. Видали? Там получится эффектно.

В той комнате, где жил я до переселения сюда, стоит страшная кровать. Я боялся ее, как привидения. Она крутая, словно бочонок. В ней лязгают кости. На ней синее одеяло, купленное мною в Харькове на Благовещенском базаре, в голодный год. Баба торговала пирогами. Они укрыты были одеялом. Они, остывающие, еще не испустившие жара жизни, почти что лопотали под одеялом, возились, как щенки. В то время я жил плохо, как все, и такой благодатью, домовитостью, теплотой дышала эта композиция, что в этот день я принял твердое решение: купить себе такое же одеяло. Мечта исполнилась. В прекрасный вечер я влез под синее одеяло. Я кипел под ним, возился, теплота приводила меня в шевеление, точно был я желатиновый. Это было восхитительное засыпание. Но время шло, и узоры одеяла разбухли и превратились в кренделя.

Теперь я сплю на отличном диване.

Умышленным шевелением я вызываю звон его новых, тугих, девственных пружин. Получаются отдельные, из глубины бегущие, капельки звона. Возникает представление о пузырьках воздуха, стремящихся на поверхность воды. Я засыпаю, как ребенок. На диване я совершаю полет в детство. Меня посещает блаженство. Я, как ребенок, снова распоряжаюсь маленьким промежутком времени, отделяющим первое изменение тяжести век, первое посоловение от начала настоящего сна. Я снова умею продлить этот промежуток, смаковать его, заполнять угодными мне мыслями и, еще не погрузившись в сон, еще применяя контроль бодрствующего сознания,— уже видеть, как мысли приобретают сновиденческую плоть, как пузырьки звона из подводных глубин превращаются в быстро катящиеся виноградины, как возникает тучная виноградная гроздь, целая ограда, густо замешанные виноградные гроздья; путь вдоль винограда, солнечная дорога, зной...

Мне двадцать семь лет.

Меняя как-то рубашку, я увидел себя в зеркале и вдруг как бы поймал на себе разительное сходство с отцом.

В действительности такого сходства нет. Я вспомнил: родительская спальня, и я, мальчик, смотрю на меняющего рубашку отца. Мне было жаль его. Он уже не может быть красивым, знаменитым, он уже готов, закончен, уже ничем иным, кроме того, что он есть, он не может быть. Так думал я, жалея его и тихонько гордясь своим превосходством. А теперь я узнал в себе отца. Это было сходство форм,— нет, нечто другое: я бы сказал — половое сходство: как бы семя отца я вдруг ощутил в себе, в своей субстанции. И как бы кто-то сказал мне: ты готов. Закончен. Ничего больше не будет. Рожай сына.

Я не буду уже ни красивым, ни знаменитым. Я не приду из маленького города в столицу. Я не буду ни полководцем, ни наркомом, ни ученым, ни бегуном, ни авантюристом. Я мечтал всю жизнь о необычайной любви. Скоро я вернусь на старую квартиру, в комнату со страшной кроватью. Там грустное соседство: вдова Прокопович. Ей лет сорок пять, а во дворе ее называют «Анечка». Она варит обеды для артели парикмахеров. Кухню она устроила в коридоре. В темной впадине — плита. Она кормит кошек. Тихие худые кошки взлетают за ее руками гальваническими движениями. Она расшвыривает им какие-то потроха. Пол поэтому украшен как бы перламутровыми плевками. Однажды я поскользнулся, наступив на чье-то сердце — маленькое и туго оформленное, как каштан. Она ходит опутанная кошками и жилами животных. В ее руке сверкает нож. Она раздирает кишки локтями, как принцесса паутину.

Вдова Прокопович стара, жирна и рыхла. Ее можно выдавливать, как ливерную колбасу. Утром я застигал ее у раковины в коридоре. Она была неодета и улыбалась мне *женской* улыбкой. У дверей ее, на табуретке, стоял таз, и в нем плавали вычесанные волосы.

Вдова Прокопович — символ моей мужской униженности. Получается так: пожалуйста, я готова, ошибитесь ночью дверьми, я нарочно не запру, я приму вас. Будем жить, наслаждаться. А мечты о необычайной любви бросьте. Все прошло. Вот и сами вы какой стали, сосед: толстенький, в укоротившихся брючках. Ну, что вам еще нужно? Та? Тонкорукая? Воображаемая? С яйцевидным личиком? Оставьте. Вы папаша уже. Валяйте, а? Кровать у меня замечательная. Покойник на лотерее выиграл. Стеганое одеяло. Присмотрю за вами. Пожалею. А?

Иногда явную неприличность выражал ее взгляд. Иногда при встрече со мной из горла ее выкатывается некий

маленький звук, круглая голосовая капля, вытолкнутая спазмой восторга.

Я не папаша, стряпуха! Я не пара тебе, гадина!

Я засыпаю на бабичевском диване.

Мне снится, что прелестная девчонка, мелко смеясь, лезет ко мне под простыню. Мои мечтания сбываются. Но чем, чем я отблагодарю ее? Мне делается страшно. Меня никто не любил безвозмездно. Проститутки и те старались содрать с меня как можно больше,— что же она потребует от меня? Она, как полагается во сне, угадывает мои мысли и говорит:

— О, не беспокойся. Всего четвертак.

Вспоминаю из давних лет: я, гимназист, приведен в музей восковых фигур. В стеклянном кубе красивый мужчина во фраке, с огнедышащей раной в груди, умирал на чьих-то руках.

— Это французский президент Карно, раненный анархистом,— объяснил мне отец.

Умирал президент, дышал, закатывались веки. Медленно, как часы, шла жизнь президента. Я смотрел как зачарованный. Прекрасный мужчина лежал, задрав бороду, в зеленоватом кубе. Это было прекрасно. Тогда услышал я впервые гул времени. Времена неслись надо мною. Я глотал восторженные слезы. Я решил стать знаменитым, чтобы некогда мой восковой двойник, наполненный гудением веков, которое услышать дано лишь немногим, вот так же красовался в зеленоватом кубе.

Теперь я пишу репертуар для эстрадников: монологи и куплеты о фининспекторе, совбарышнях, нэпманах и алиментах:

В учрежденье шум и тарарам,
Все давно смешалось там:
Машинистке Лизочке Каплан
Подарили барабан...

А может быть, все же когда-нибудь в великом паноптикуме будет стоять восковая фигура странного человека, толстоносого, с бледным добродушным лицом, с растрепанными волосами, по-мальчишески полного, в пиджаке, сохранившем только одну пуговицу на пузе; и будет на кубе дощечка:

НИКОЛАЙ КАВАЛЕРОВ

И больше ничего. И все. И каждый увидевший скажет: «Ах!» И вспомнит кое-какие рассказы, может быть, легенды: «Ах, это тот, что жил в знаменитое время, всех ненавидел и всем завидовал, хвастал, заносился, был томим великими планами, хотел многое сделать и ничего не делал — и кончил тем, что совершил отвратительное, гнусное преступление...»

VII

С Тверской я свернул в переулок. Мне надо было на Никитскую. Раннее утро. Переулок суставчат. Я тягостным ревматизмом двигаюсь из сустава в сустав. Меня не любят вещи. Переулок болеет мною.

Маленький человечек в котелке шел впереди меня.

Сначала я подумал: он спешит,— но вскоре обнаружилось, что торопящаяся походка с подбрасыванием всего туловища свойственна человеку вообще.

Он нес подушку. Он на весу держал за ухо большую подушку в желтом напернике. Она ударялась об его колено. От этого в ней появлялись и исчезали впадины.

Бывает, что в центре города, где-нибудь в переулке, заводится цветущая, романтическая изгородь. Мы шли вдоль изгороди.

Птица на ветке сверкнула, дернулась и щелкнула, чем-то напомнив машину для стрижки волос. Идущий впереди оглянулся на птицу. Мне, идущему сзади, удалось увидеть только первую фазу, полумесяц его лица. Он улыбался.

«Правда, похоже?» — едва не воскликнул я, уверенный, что то же сходство пришло и ему в голову.

Котелок.

Он снимает его и несет, как кулич, обняв. В другой руке — подушка.

Окна раскрыты. В одном, на втором этаже, виднеется синяя вазочка с цветком. Человечка привлекает вазочка. Он сходит с тротуара, выходит на середину мостовой и останавливается под окном, подняв лицо. Котелок его съехал на затылок. Он цепко держит подушку. Колено уже цветет пухом.

Я наблюдаю из-за выступа.

Он позвал вазочку:

— Валя!

Тотчас же в окне, опрокинув вазочку, бурно появляется девушка в чем-то розовом.

— Валя,— сказал он,— я за тобой пришел.

Наступила тишина. Вода из вазочки бежала на карниз.

— Смотри, я принес... Видишь? (Он поднял подушку обеими руками перед животом.) Узнаешь? Ты спала на ней. (Он засмеялся.) Вернись, Валя, ко мне. Не хочешь? Я тебе покажу «Офелию». Не хочешь?

Снова наступила тишина. Девушка лежала на подоконнике ничком, свесив растрепанную голову. Рядом каталась вазочка. Я вспомнил, что через секунду после появления своего девушка, едва увидев стоящего на улице, уже упала локтями на подоконник, и локти подломились.

По небу шли облака, и по стеклам и в стеклах перепутывались их пути.

— Я прошу тебя, Валя, вернись! Просто: сбеги по лестнице.

Он подождал.

Остановились зеваки.

— Не хочешь? Ну, до свидания.

Он повернулся, поправил котелок и пошел серединой переулка в мою сторону.

— Подожди! Подожди, папа! Папа! Папа!

Он ускорил шаги, побежал. Мимо меня. Я увидел: он не молод. Он задыхался и побледнел от бега. Смешноватый, полненький человек бежал с подушкой, прижатой к груди. Но ничего в том не было безумного.

Окно опустело.

Она бросилась в погоню. Она добежала до угла,— там кончалось безлюдье переулка; она его не нашла. Я стоял у изгороди. Девушка возвращалась. Я шагнул навстречу. Она подумала, что я могу помочь ей, что я что-то знаю, и остановилась. Слеза, изгибаясь, текла у ней по щеке, как по вазочке. Она вся приподнялась, готовая страстно спросить о чем-то, но я перебил ее, сказав:

— Вы прошумели мимо меня, как ветвь, полная цветов и листьев.

Вечером я корректирую:

«...Так, собираемая при убое кровь может быть перерабатываема или в пищу, для изготовления колбас, или на выработку светлого и черного альбумина, клея, пуговиц, красок, землеудобрительных туков и корма для скота, птицы и рыбы. Сало-сырец всякого рода скота и жиросодержащие органические отбросы — на изготовление

съедобных жиров: сала, маргарина, искусственного масла — и технических жиров: стеарина, глицерина и смазочных масел. Головы и бараньи ножки при помощи электрических спиральных сверл, автоматически действующих очистительных машин, газовых опалочных станков, резальных машин и шпарильных чанов перерабатываются на пищевые продукты, технический костяной жир, очищенный волос и кости разнообразных изделий...»

Он говорит по телефону. Раз десять в вечер его вызывают. Мало ли с кем он может разговаривать. Но вдруг до меня доносится:

— Это не жестокость.

Я прислушиваюсь.

— Это не жестокость. Ты спрашиваешь, я и говорю. Это не жестокость. Нет, нет! Можешь быть совершенно спокойна. Ты слышишь? — Унижается? Что? Ходит под окнами? — Не верь. Это его штучки. Он и под моими окнами ходит. Это ему нравится, что он ходит под окнами. Я его знаю.— Что? А? Плакала? Весь вечер? Напрасно весь вечер плакала.— Сойдет с ума? Отправим на Канатчикову. Офелия? Какая? А... Плюнь. Офелия — это бред.— Как хочешь. Но я говорю: ты поступаешь правильно.— Да, да.— Что? Подушка? Неужели? (Хохот.) Воображаю. Как? Как? На которой ты спала? Подумаешь.— Что? Каждая подушка имеет свою историю. Словом, брось сомнения.— Что? — Да-да! (Тут он замолчал и долго слушал. Я сидел на угольях. Он разразился хохотом.) Ветвь? Как? Какая ветвь? Полная цветов? Цветов и листьев? Что? Это, наверное, какой-нибудь алкоголик из его компании.

VIII

Представьте себе обыкновенную вареную чайную колбасу: толстый, ровно округлый брус, отрезанный от начала большой, многовесной штуки. В слепом конце его, из сморщенной и связанной узелком кожи, свисает веревочный хвостик. Колбаса как колбаса. Весу, вероятно, немногим больше кило. Вспотевшая поверхность, желтеющие пузырьки подкожного жира. На месте отреза то же сало имеет вид белых крапинок.

Бабичев держал колбасу на ладони. Он говорил. Открывались двери. Люди входили. Теснились. Колбаса свисала с розовой сановной ладони Бабичева, как нечто живое.

— Здорово? — вопрошал он, обращаясь ко всем сразу.— Нет, вы посмотрите... Жаль, что нет здесь Шапиро. Обязательно позовем Шапиро. Хо-хо. Здорово! Звонили Шапиро? Занято? Еще позвоните...

Затем колбаса на столе. Бабичев любовно устроил подстилку. Сам же, пятясь и не спуская с нее глаз, сел в кресло, найдя его задом, уперся кулаками в ляжки и залился хохотом. Поднял кулак, увидел жир, лизнул.

— Кавалеров! (После хохота.) Вы свободны сейчас? Пойдите, пожалуйста, к Шапиро. На склад. Знаете? Прямо идите к нему и несите ее. (Глазами на колбасу.) Принесете,— пусть он посмотрит и звонит мне.

Я понес колбасу к Шапиро на склад. А Бабичев звонил во все концы.

— Да, да,— ревел он,— да! Совершенно превосходнейшая! Пошлем на выставку. В Милан пошлем! Именно та! Да! Да! Семьдесят процентов телятины. Большая победа... Нет, не полтинник, чудак вы... Полтинник! Хо-хо! По тридцать пять. Здорово? Красавица!

Он уехал.

Смеющееся лицо — румяный горшок — качалось в окне автомобиля. Он на ходу совал швейцару тирольку и, выпучив глаза, бежал по лестнице, тяжелый, шумный и порывистый, как вепрь. «Колбаса! — звучит во многих кабинетах.— Именно та... я же говорил вам... Анекдот!..» Из каждого кабинета, пока я брел еще по залитым солнцем улицам, он звонил к Шапиро:

— Несут ее вам! Соломон, вы увидите! Лопнете...

— Еще не принесли? Хо-хо, Соломон...

Он вытирал потную шею, глубоко залезая платком за воротник, почти раздирая его, морщась, страдая.

Я пришел к Шапиро. Все видели, что я несу колбасу, и все расступались. Путь магически расчищался. Все знали, что идет посланец с бабичевской колбасой. Шапиро, меланхолический старый еврей, с носом, похожим в профиль на цифру шесть, стоял во дворе склада, под деревянным навесом. Дверь, наполненная движущейся летней темнотой, как все двери, открытые из пакгаузов (такая нежно-хаотическая темнота возникает перед глазами, если закрыть и прижать пальцами веки), вела внутрь огромного сарая. У косяка снаружи висел телефон. Рядом торчал гвоздь с навешанными желтыми листками каких-то документов.

Шапиро взял у меня брус колбасы, попробовал на вес, покачал на ладони (одновременно качая головой), поднес к носу, понюхал. После этого вышел из-под навеса, положил колбасу на ящик и перочинным ножом осторожно отрезал маленький мягкий ломтик. В полной тишине ломтик был жеван, прижимаем к небу, посасываем и медленно глотаем. Рука с перочинным ножом была отведена в сторону, подрагивала: обладатель руки прислушивался к ощущениям.

— Ах,— вздохнул он, проглотив.— Молодец Бабичев. Он сделал колбасу. Слушайте, правда, он добился. Тридцать пять копеек такая колбаса — вы знаете, это даже невероятно.

Зазвенел телефон. Шапиро медленно поднялся и пошел к двери.

— Да, товарищ Бабичев. Поздравляю вас и хочу вас поцеловать.

Где-то там с такой силой кричал Бабичев, что здесь, на порядочном расстоянии от телефона, я слышал его голос, треск и лопающиеся звуки в трубке. Трубка, сотрясаемая мощными колебаниями, почти вырывалась из слабых пальцев Шапиро. Он даже махнул на нее другой рукой, поморщившись, как машут на шалуна, мешающего слушать.

— Что же мне делать? — спросил я.— Колбаса останется у вас?

— Он просит принести ее домой к нему, на квартиру. Он приглашает меня вечером кушать ее.

Я не вытерпел:

— Неужели тащить домой? Разве нельзя купить другую?

— Купить такой колбасы нельзя,— молвил Шапиро.— Она еще не поступила в продажу. Это проба с фабрики.

— Она протухнет.

Шапиро, складывая ножик и скольжением руки по боку ища карман, произносил медлительно: чуть улыбаясь и опустив веки,— как старые евреи,— поучал:

— Я поздравлял товарища Бабичева с колбасой, которая не прованивается в один день. Иначе я не поздравлял бы товарища Бабичева. Мы ее скушаем сегодня. Положите ее на солнце, не бойтесь, на жаркое солнце,— она будет пахнуть, как роза.

Он исчез в темноте сарая, вернулся с бумагой, пергаментной и масленой, и через несколько секунд я держал в руках мастерски сделанный пакет.

С первых дней моего знакомства с Бабичевым уже слышал я разговоры о знаменитой колбасе. Где-то шли опыты по изготовлению какого-то особенного сорта — питательного, чистого и дешевого. Постоянно Бабичев справлялся в разных местах; переходя на заботливые нотки, расспрашивал и давал советы; то томный, то сладко-взволнованный, отходил от телефона. Наконец порода была выведена. Из таинственных инкубаторов вылезла, покачиваясь грузным качанием хобота, толстая, плотно набитая кишка.

Бабичев, получив в руки отрезок этой кишки, побагровел, даже застыдился сперва, подобно жениху, увидевшему, как прекрасна его молодая невеста и какое чарующее впечатление производит она на гостей. В счастливой растерянности он оглядел всех и тотчас же положил кусок и отстранил его с таким выражением приподнятых ладоней, точно хотел сказать: «Нет, нет. Не надо. Я сразу отказываюсь. Чтобы потом не терзаться. Не может быть, чтобы такие удачи случались в простой человеческой жизни. Тут подвох судьбы. Заберите. Я недостоин».

Неся кило удивительной колбасы, я шагал в неопределенном направлении.

Я стою на мосту.

Дворец труда по левую руку, сзади — Кремль. На реке лодки, пловцы. Быстро скользит под мой птичий полет катер. С высоты то, что я вижу вместо катера, похоже по форме на гигантскую, разрезанную впродоль миндалину. Миндалина скрывается под мостом. Тогда только я вспоминаю трубу катера и то, что поблизости трубы какие-то двое ели из котелка борщ. Белый клуб дыма, прозрачный и исчезающий, летит по направлению ко мне. Долететь не успевает, переходит в другие измерения и достигает меня только последним своим следом, свивающимся в еле видный астральный обруч.

Я хотел бросить колбасу в реку.

Замечательный человек, Андрей Бабичев, член Общества политкаторжан, правитель, считает сегодняшний свой день праздником. Только потому, что ему показали колбасу нового сорта... Неужели это праздник? Неужели это слава?

Он сиял сегодня. Да, печать славы лежала на нем. Почему же я не чувствую влюбленности, ликования, поклонения при виде этой славы? Меня разбирает злоба. Он — правитель, коммунист, он строит новый мир. А слава в этом новом мире вспыхивает оттого, что из рук колбасника вышел

новый сорт колбасы. Я не понимаю этой славы, что же значит это? Не о такой славе говорили мне жизнеописания, памятники, история... Значит, природа славы изменилась? Везде или только здесь, в строящемся мире? Но я ведь чувствую, что этот новый, строящийся мир есть главный, торжествующий... Я не слепец, у меня голова на плечах. Меня не надо учить, объяснять мне... Я грамотен. Именно в этом мире я хочу славы! Я хочу сиять так, как сиял сегодня Бабичев. Но новый сорт колбасы меня не заставит сиять.

Я мотаюсь по улицам со свертком. Кусок паршивой колбасы управляет моими движениями, моей волей. Я не хочу!

Несколько раз я готов был швырнуть сверток через перила. Но стоило мне представить себе, как, освобождаясь на лету от обертки, падает и с эффектностью торпеды исчезает в волнах злосчастный кусок колбасы,— как мгновенно другое представление бросало меня в дрожь. Я видел надвигающегося на меня Бабичева, грозного, неодолимого идола с выпученными глазами. Я боюсь его. Он давит меня. Он не смотрит на меня — и видит насквозь. Он на меня не смотрит. Только сбоку я вижу его глаза, когда лицо его повернуто в мою сторону, взгляда его нет: только сверкает пенсне, две круглые слепые бляшки. Ему не интересно смотреть на меня, нет времени, нет охоты, но я понимаю, что он видит меня насквозь.

Вечером пришел Соломон Шапиро, пришли еще два, и Бабичев устроил угощение. Старый еврей принес бутылку водки, и они пили, закусывая знаменитой колбасой. Я отказался от участия в трапезе. С балкона я наблюдал их.

Живопись увековечила многие пиры. Пируют полководцы, дожи и просто жирные чревоугодники. Эпохи запечатлены. Веют перья, ниспадают ткани, лоснятся щеки.

Новый Тьеполо! Спеши сюда! Вот для тебя пирующие персонажи... Они сидят под яркой стосвечовой лампой вокруг стола, оживленно беседуют. Пиши их, новый Тьеполо, пиши «Пир у хозяйственника»!

Я вижу полотно твое в музее. Я вижу посетителей, стоящих перед картиной твоей. Они ломают голову, они не знают, о чем с таким вдохновением говорит написанный тобою тучный гигант в синих подтяжках... На вилке держит он кружок колбасы. Уже давно пора исчезнуть кружку во рту говорящего, и он никак не может исчезнуть, потому что говорящий слишком увлечен своей речью. О чем говорит он?

— Сосисок у нас не умеют делать! — говорил гигант в синих подтяжках.— Разве это сосиски у нас? Молчите, Соломон. Вы еврей, вы ничего не понимаете в сосисках,— вам нравится кошерное худосочное мясо... У нас нет сосисок. Это склеротические пальцы, а не сосиски. Настоящие сосиски должны прыскать. Я добьюсь, вот увидите, я сделаю такие сосиски.

IX

Мы собрались на аэродроме.

Я говорю: «мы»! Уж я-то был с боку припека, случайно прихваченный человек. Никто не обращался ко мне, никого не интересовали мои впечатления. Я мог бы со спокойной совестью оставаться дома.

Должен был состояться отлет советского аэроплана новой конструкции. Пригласили Бабичева. Гости вышли за барьер. Бабичев главенствовал и в этом избранном обществе. Стоило ему вступить с кем-нибудь в разговор, как возле него смыкался круг. Все слушали его с почтительным вниманием. Он красовался в своем сером костюме, грандиозный, выше всех плечами, аркой плечей. На животе у него на ремнях висел черный бинокль. Слушая собеседника, он закладывал руки в карманы и тихо качался на широко расставленных ногах с пятки на носок и с носка на пятку. Он часто почесывает нос. Почесав, он смотрит на пальцы, сложенные щепоткой и близко поднесенные к глазам. Слушатели, как школьники, непроизвольно повторяют его движения и игру его лица. Они тоже почесывают нос, сами себе удивляясь.

Взбешенный, я отошел от них. Я сидел в буфете и, ласкаемый полевым ветерком, пил пиво. Я тянул пиво, наблюдая, как ветерок лепит нежные орнаменты из концов скатерти моего столика.

На аэродроме соединились многие чудеса: тут на поле цвели ромашки, очень близко, у барьера,— обыкновенные, дующие желтой пылью ромашки; тут низко, по линии горизонта, катились круглые, похожие на пушечный дым облака; тут же ярчайшим суриком алели деревянные стрелы, указывающие разные направления; тут же на высоте качался, сокращаясь и раздуваясь, шелковый хобот — определитель ветра; и тут же по траве, по зеленой траве старинных битв, оленей, романтики, ползали летательные

машины. Я смаковал этот вкус, эти восхитительные противоположения и соединения. Ритм сокращений шелкового хобота располагал к раздумью.

Сквозное, трепещущее, как надкрылья насекомого, имя Лилиенталя с детских лет звучит для меня чудесно... Летательное, точно растянутое на легкие бамбуковые планки, имя это связано в моей памяти с началом авиации. Порхающий человек Отто Лилиенталь убился. Летательные машины перестали быть похожими на птиц. Легкие, просвечивающие желтизной крылья заменились ластами. Можно поверить, что они бьются по земле при подъеме. Во всяком случае, при подъеме вздымается пыль. Летательная машина похожа теперь на тяжелую рыбу. Как быстро авиация стала промышленностью.

Грянул марш. Приехал наркомвоен. Быстро, опережая спутников, прошел наркомвоен по аллее. Напором и быстротой своего хода он производил ветер. Листва понеслась за ним. Оркестр играл щеголевато. Наркомвоен щеголевато шагал, весь в ритме оркестра.

Я бросился к калитке, к выходу на поле. Но меня задержали. Военный сказал «нельзя» и положил руку на верхнее ребро калитки.

— Как это? — спросил я.

Он отвернулся. Его глаза устремились туда, где разворачивались интересные события. Пилот-конструктор, в куртке румяной кожи, стоял во фронт перед наркомвоеном. Ремень туго перетягивал коренастую спину наркомвоена. Оба держали под козырек. Все лишилось движения. Только оркестр был весь в движении. Бабичев стоял, выпятив живот.

— Пропустите меня, товарищ! — повторил я, тронув военного за рукав, и в ответ услышал:

— Я вас удалю с аэродрома.

— Но я же там был. Я только на минуту уходил. Я с Бабичевым!

Нужно было показать пригласительный билет. Я не имел его: Бабичев просто захватил меня с собой. Конечно, меня никак бы не огорчило, если бы я и не попал на поле. И здесь, за барьером, было отличное место для наблюдения. Но я настаивал. Нечто более значительное, чем просто желание видеть все вблизи, заставило меня полезть на стену. Я вдруг ясно осознал свою непринадлежность к тем, которых созвали ради большого и важного дела, полную ненужность моего присутствия среди них, оторванность

от всего большого, что делали эти люди,— здесь ли, на поле, или где-либо в других местах.

— Товарищ, я же не простой гражданин,— заволновался я (лучшей фразы для упорядочения мешанины, происшедшей в моих мыслях, я не мог бы придумать). Что я вам? Обыватель? Будьте добры пропустить. Я оттуда. (Рукой я махнул на группу людей, встречавших наркомвоена.)

— Вы не оттуда,— улыбнулся военный.

— Спросите товарища Бабичева!

В рупор, сделанный из ладоней, я закричал; поднялся на носки:

— Андрей Петрович!

Как раз умолк оркестр. Подземным гулом убегал последний удар барабана.

— Товарищ Бабичев!

Он услышал. Наркомвоен повернулся тоже. Все повернулись. Пилот поднес руку к шлему, картинно защищаясь от солнца.

Меня пронзил страх. Я топтался где-то за барьером; толстопузый, в укоротившихся брючках человек — как я посмел отвлечь их? И когда наступила тишина, когда они, еще не определив, кто зовет одного из них, застыли в выжидательных позах,— я не нашел в себе силы позвать еще раз.

Но он знал, он видел, он слышал, что это я его зову. Секунда — и все кончилось. Участники группы приняли прежние позы. Я готов был заплакать.

Тогда снова я поднялся на носки и сквозь тот же рупор, оглушая военного, послал в ту недостижимую сторону звенящий вопль:

— Колбасник!

И еще раз:

— Колбасник!

И еще много раз:

— Колбасник! Колбасник! Колбасник!

Я видел только его, Бабичева, возвышавшегося тиролькой своей над остальными. Помню желание закрыть глаза и присесть за барьер. Не помню, закрыл ли я глаза, но если закрыл, то, во всяком случае, самое главное еще успел увидеть. Лицо Бабичева обратилось ко мне. Одну десятую долю секунды оно пребывало ко мне обращенным. Глаз не было. Были две ртутно сверкающие бляшки пенсне. Страх какого-то немедленного наказания вверг меня в состояние, подобное сну. Я видел сон. Так мне показалось,

что я сплю. И самым страшным в том сне было то, что голова Бабичева повернулась ко мне на неподвижном туловище, на собственной оси, как на винте. Спина его оставалась неповернутой.

X

Я покинул аэродром.

Но праздник, шумевший там, манил меня. Я остановился на зеленом валу и стоял, прислонившись к дереву, задутый пылью. Меня, как святого, окружал кустарник. Я обламывал кисловатые нежные веточки, обсасывал их. Я стоял, подняв бледное добродушное лицо, и смотрел в небо.

С аэродрома вылетела машина. Со страшным мурлыканьем она покатилась надо мной, желтая на солнце, косо, как вывеска, почти раздирая листву моего дерева. Выше, выше,— я следил за нею, топчась на валу: она уносилась, то вспыхивала она, то чернела. Менялось расстояние, и менялась она, принимая формы разных предметов: ружейного затвора, перочинного ножа, растоптанного цветка сирени...

Торжество отлета новой советской машины прошло без меня. Война объявлена. Я оскорбил Бабичева.

Сейчас они вывалятся кучей из ворот аэродрома. Шоферы уже проявляли деятельность. Вот бабичевская синяя машина. Шофер Альперс видит меня, делает мне знаки. Я поворачиваюсь спиной. Мои башмаки запутались в зеленой лапше травы.

Я должен поговорить с ним. Он должен понять. Я должен объяснить ему, что это он виноват,— что не я, но именно он виноват! Он выйдет не один. Мне надо поговорить с ним с глазу на глаз. Отсюда он поедет в правление. Я его опережу.

В правлении сказали: он сейчас на стройке.

«Четвертак»? Значит, к «Четвертаку»!

Меня понесла нелегкая; какое-то слово, которое нужно было сказать ему, как будто уже вырвалось из моих губ, и я догонял его, спеша, боясь не догнать, потерять и забыть.

Постройка явилась мне желтеющим, висящим в воздухе миражем. Вот он, «Четвертак»! Она была за домами, далеко,— отдельные части лесов слились в одно; легчайшим ульем реяла она вдали...

Я приближаюсь. Грохот и пыль. Я глохну и заболеваю катарактой. Я пошел по деревянному настилу. Воробей слетел с пенька, слегка гнулись доски, смеша детскими воспоминаниями о катании на перевесах,— я шел, улыбаясь тому, как оседают опилки и как седеют в опилках плечи.

Где его искать?

Грузовик поперек пути. Он никак не может въехать. Он возится, приподнимается и спадает, как жук, влезающий с горизонтальной плоскости на отвесную.

Ходы запутаны, точно иду я в ухе.

— Товарищ Бабичев?

Указывают: туда. Где-то выбивают днища.

— Куда?

— Туда.

Иду по балке над бездной. Балансирую. Нечто вроде трюма зияет внизу.

Необъятно, черно и прохладно. Все вместе напоминает верфь. Я всем мешаю.

— Куда?

— Туда.

Он неуловим.

Он мелькнул один раз: прошло его туловище над каким-то деревянным бортом. Исчезло. И вот опять он появляется наверху, далеко,— между нами огромная пустота, все то, что вскоре будет одним из дворов здания.

Он задержался. С ним еще несколько — фуражки, фартуки. Все равно, отзову его, чтобы сказать одно слово: «Простите».

Мне указали кратчайший путь на ту сторону. Осталась только лестница. Я слышу уже голоса. Осталось одолеть только несколько ступенек...

Но происходит вот что. Я должен пригнуться, иначе меня сметет. Я пригибаюсь, хватаюсь руками за деревянную ступеньку. Он пролетает надо мной. Да, он пронесся по воздуху.

В диком ракурсе я увидел летящую в неподвижности фигуру — не лицо, только ноздри я увидел: две дыры, точно я смотрел снизу на монумент.

«Что это было?»

Я покатился по лестнице.

Он исчез. Он улетел. На железной вафле он перелетел в другое место. Решетчатая тень сопровождала его полет. Он стоял на железной штуке, с лязгом и воем описавшей полукруг. Мало ли что: техническое приспособление, кран.

Площадка из рельсовых брусьев, сложенных накрест. Сквозь пространства, в крадраты, я и увидел его ноздри.

Я сел на ступеньке.

— Где он? — спросил я.

Рабочие смеялись вокруг, и я улыбался на все стороны, как клоун, закончивший антре забавнейшим каскадом.

— Это не я виноват,— сказал я.— Это он виноват.

XI

Я решил не возвращаться к нему.

Мое прежнее жилище уже принадлежало другому. На дверях висел замок. Новый жилец отсутствовал. Я вспомнил: лицом вдова Прокопович похожа на висячий замок. Неужели снова она вступит в мою жизнь?

Ночь была проведена на бульваре. Прелестнейшее утро расточилось надо мною. Еще несколько бездомных спало поблизости на скамьях. Они лежали скрючившись, с засунутыми в рукава и прижатыми к животу руками, похожие на связанных и обезглавленных китайцев. Аврора касалась их прохладными перстами. Они охали, стонали, встряхивались и садились, не открывая глаз и не разнимая рук.

Проснулись птицы. Раздались маленькие звуки: маленькие — промеж себя — голоса птиц, голоса травы. В кирпичной нише завозились голуби.

Дрожа, я поднялся. Зевота трясла меня, как пса.

(Открывались калитки. Стакан наполнился молоком. Судьи вынесли приговор. Человек, проработавший ночь, подошел к окну и удивился, не узнав улицы в непривычном освещении. Больной попросил пить. Мальчик прибежал в кухню посмотреть, поймалась ли в мышеловку мышь. Утро началось.)

В этот день я написал Андрею Бабичеву письмо.

Я ел во Дворце труда, на Солянке, зразы «нельсон», пил пиво и писал:

«Андрей Петрович!

Вы меня пригрели. Вы пустили меня к себе под бок. Я спал на удивительном вашем диване. Вы знаете, как паршиво жил я до этого. Наступила благословенная ночь. Вы пожалели меня, подобрали пьяного.

Вы окружили меня полотняными простынями. Гладкость и холодок ткани как будто и были рассчитаны на то, чтобы смирить мою горячечность, унять беспокойство.

В моей жизни даже появились костяные пуговицы пододеяльника, и в них — только найди нужную точку — плавало радужное кольцо спектра. Я сразу признал их. Они вернулись из давным-давно забытого, самого дальнего, детского уголка памяти.

Я получил постель.

Само это слово было для меня таким же поэтически отдаленным, как слово «серсо».

Вы мне дали постель.

С высот благополучия спустили вы на меня облако постели, ореол, прильнувший ко мне волшебным жаром, окутавший воспоминаниями, негорькими сожалениями и надеждами. Я стал надеяться на то, что можно еще многое вернуть из предназначенного для моей молодости.

Вы меня облагодетельствовали, Андрей Петрович! Подумать: меня приблизил к себе прославленный человек! Замечательный деятель поселил меня в своем доме. Я хочу выразить вам свои чувства.

Собственно, чувство-то всего одно: ненависть.

Я вас ненавижу, товарищ Бабичев.

Это письмо пишется, чтобы сбить вам спеси.

С первых же дней моего существования при вас я начал испытывать страх. Вы меня подавили. Вы сели на меня.

Вы стоите в кальсонах. Распространяется пивной запах пота. Я смотрю на вас, и ваше лицо начинает странно увеличиваться, увеличивается торс,— выдувается, выпукляется глина какого-то изваяния, идола. Я готов закричать.

Кто дал ему право давить меня?

Чем я хуже него?

Он умнее?

Богаче душой?

Тоньше организован?

Сильнее? Значительнее?

Больше не только по положению, но и по существу?

Почему я должен признать его превосходство?

Такие вопросы я себе поставил. Каждый день наблюдений давал мне частицу ответа. Прошел месяц. Ответ я знаю. И уже не боюсь вас. Вы просто тупой сановник. И больше ничего. Не значимостью личности подавили вы меня. О нет! Теперь я уже явственно понимаю вас, рассматриваю, посадив на ладонь. Мой страх перед вами прошел как некое ребячество. Я свалил вас с себя. Вы — липа.

Одно время меня мучили сомнения. «Быть может, я ничтожество перед ним? — подумал я.— Быть может, он

мне, честолюбцу, и впрямь являет пример большого человека?»

Но оказалось, вы просто сановник, невежественный и тупой, как все сановники, которые были до вас и будут после вас. И, как все сановники, вы самодур. Только самодурством можно объяснить ураган, поднятый вами вокруг куска посредственной колбасы, или то, что вы привезли с улицы к себе неизвестного молодого человека. И, может быть, из того же самодурства приблизили вы к себе Володю Макарова, о котором я знаю только одно, что он футболист. Вы — барин. Вам нужны шуты и нахлебники. Не сомневаюсь, что тот Володя Макаров сбежал от вас, не вытерпев издевательств. Как и меня, вы, должно быть, систематически превращали его в дурака.

Вы заявили, что живет он при вас, как сын, что он спас вам жизнь, вы размечтались даже, вспомнив о нем. Я помню. Но это все ложь. Вам неловко признать в себе барские наклонности. Но я видел родинку у вас на пояснице.

Сперва, когда вы сказали, что диван принадлежит тому и что по возвращении того мне придется выкинуться к чертовой матери,— я оскорбился. Но понял через минуту, что и к нему и ко мне вы холодны и безразличны. Вы — барин, мы — приживальщики.

Но, смею вас уверить, ни он, ни я — мы не возвратимся к вам более. Вы не уважаете людей. Он вернется лишь в том случае, если он глупее меня.

Судьба моя сложилась так, что ни каторги, ни революционного стажа нет за мной. Мне не поручат столь ответственного дела, как изготовление шипучих вод или устройство пасек.

Но значит ли это, что я плохой сын века, а вы — хороший? Значит ли это, что я — ничто, а вы — большое нечто?

Вы меня нашли на улице...

Как тупо вы повели себя!

«На улице,— решили вы,— ну ладно, серенькая личность, пусть поработает. Корректор так корректор, правщик, читчик, ладно». Вы не снизошли к молодому человеку с улицы. Тут и сказалось ваше упоение самим собой. Вы — сановник, товарищ Бабичев!

Кем я показался вам? Погибающим люмпен-пролетарием? Вы решили меня поддержать? Спасибо вам. Я силен — слышите ли вы? — я силен настолько, чтобы погибать и подниматься и снова погибать.

Мне интересно, как поступите вы, прочитав мое письмо. Быть может, вы постараетесь, чтобы меня выслали, или, быть может, посадите в сумасшедший дом? Вы все можете, вы — большой человек, член правительства. Вы же сказали о своем брате, что его надо расстрелять. Вы же сказали: посадим на Канатчикову.

Ваш брат, производящий необычайное впечатление, загадочен для меня, непонятен. Тут тайна, тут ничего я не знаю. Имя «Офелия» странно волнует меня. А вы, мне кажется, боитесь этого имени.

Кое-какие догадки я строю все же. Я предвижу кое-что. Я помешаю вам. Да, я почти уверен, что это так. Но я не позволю вам. Вы хотите завладеть дочкою вашего брата. Один раз только я видел ее. Да, это я сказал ей о ветви, полной цветов и листьев. У вас нет воображения. Вы высмеяли меня. Я слышал телефонный разговор. Вы так же очернили меня в глазах девушки, как очернили его, отца. Вам невыгодно допустить, чтобы девушка, которую вы хотите покорить, сделать дурой при себе, как нас пытались сделать дураками,— чтобы девушка эта имела душу нежную, взволнованную. Вы хотите использовать ее, как использовываете (нарочно применяю это ваше слово) «головы и бараньи ножки при помощи остроумно применяемых электрических спиральных сверл» (из вашей брошюры).

Но нет, я не позволю вам. Еще бы: какой лакомый кусочек! Вы обжора и чревоугодник. Разве вы остановитесь перед чем-нибудь ради физиологии своей? Что помешает вам развратить девушку? То, что она племянница ваша? Вы же смеетесь над семьей, над родом. Вам хочется приручить ее.

И потому с таким бешенством вы громите вашего брата. А каждый скажет, едва взглянув на него: это замечательный человек. Я думаю, еще не зная его: он гениален, в чем — не знаю... Вы травите его. Я слышал, как стучали вы кулаком по перилам. Вы заставили дочку покинуть отца.

Но меня вы не затравите.

Я становлюсь на защиту брата вашего и его дочки. Послушайте, вы, тупица, смеявшийся над ветвью, полной цветов и листьев, послушайте,— да, только так, только этим восклицанием я мог выразить свой восторг при виде ее. А какие же слова готовите вы для нее? Вы назвали меня алкоголиком только потому, что я обратился к девушке на непонятном для вас образном языке? Непонят-

ное — либо смешно, либо страшно. Сейчас вы смеетесь, но я заставлю вас вскоре ужасаться. Не думайте, не только образно,— вполне реально я умею мыслить. Что же! О ней, о Вале, я могу сказать и обычными словами,— и вот, пожалуйста, я вам приведу сейчас ряд понятных для вас определений, умышленно, чтобы разжечь вас, чтобы раздразнить тем, чего вы не получите, уважаемый колбасник!

Да, она стояла передо мной,— да, сперва по-своему скажу: она была легче тени, ей могла бы позавидовать самая легкая из теней — тень падающего снега: да, сперва по-своему; не ухом она слушала меня, а виском, слегка наклонив голову; да, на орех похоже ее лицо: по цвету — от загара, и по форме — скулами, округлыми, сужающимися к подбородку. Это понятно вам? Нет? Так вот еще. От бега платье ее пришло в беспорядок, открылось, и я увидел: еще не вся она покрылась загаром, на груди у нее увидел я голубую рогатку вены...

А теперь — по-вашему. Описание той, которой вы хотите полакомиться. Передо мной стояла девушка лет шестнадцати, почти девочка, широкая в плечах, сероглазая, с подстриженными и взлохмаченными волосами — очаровательный подросток, стройный, как шахматная фигурка — (это уже по-моему!), невеликий ростом.

Вы не получите ее.

Она будет моей женой. О ней я мечтал всю жизнь.

Повоюем! Сразимся! Вы старше меня на тринадцать лет. Они сзади вас и впереди меня. Еще одно-другое достижение в колбасном деле, еще одна-другая удешевленная столовая — вот пределы вашей деятельности.

О, мне другое снится!

Не вы — я получу Валю. Мы прогремим в Европе — там, где любят славу.

Я получу Валю — как приз — за все: за унижения, за молодость, которую я не успел увидеть, за собачью мою жизнь.

Я рассказывал вам о стряпухе. Помните: о том, как она моется в коридоре. Так вот, я увижу другое: комната где-то, когда-то будет ярко освещена солнцем, будет синий таз стоять у окна, в тазу будет плясать окно, и Валя будет мыться над тазом, сверкая, как сазан, плескаться, перебирать клавиатуру воды...

Ради того, чтобы исполнилась эта мечта, я сделаю все! Вы не используете Валю.

До свиданья, товарищ Бабичев!

Как мог я целый месяц играть такую унизительную роль? Я к вам не вернусь больше. Ждите: быть может, вернется первый дурак ваш. Кланяйтесь ему от меня. Какое счастье, что больше я не вернусь к вам!

Всякий раз, когда мое самолюбие отчего-либо будет страдать, то знаю, что тотчас же, по ассоциации идей, вспомнится мне какой-нибудь из вечеров, проведенных вблизи вашего письменного стола. Какие тягостные видения!

Вечер. Вы за столом. Самоупоение излучается из вас. «Я работаю,— трещат эти лучи,— слышишь ли ты, Кавалеров, я работаю, не мешай... тсс... обыватель».

А утром из разных уст несется хвала:

— Большой человек! Удивительный человек! Совершенная личность — Андрей Петрович Бабичев!

Но вот в то время как подхалимы пели вам гимны, в то время как самодовольство пыжило вас,— жил рядом с вами человек, с которым никто не считался и у которого никто не спрашивал мнения; жил человек, следивший за каждым вашим движением, изучавший вас, наблюдавший вас — не снизу, не раболепно, а по-человечески, спокойно — и пришедший к заключению, что вы высокопоставленный чиновник — и только, заурядная личность, вознесенная на завидную высоту благодаря единственно внешним условиям.

Дурака валять нечего.

Вот все, что я хотел вам высказать.

Шута вы хотели сделать из меня,— я стал вашим врагом. «Против кого ты воюешь, негодяй?» — крикнули вы вашему брату. Не знаю, кого имели вы в виду: себя ли, партию вашу, фабрики ваши, магазины ли, пасеки,— не знаю. А я воюю против вас: против обыкновеннейшего барина, эгоиста, сластолюбца, тупицы, уверенного в том, что все сойдет ему благополучно. Я воюю за брата вашего, за девушку, которая обманута вами, за нежность, за пафос, за личность, за имена, волнующие, как имя «Офелия», за все, что подавляете вы, замечательный человек. Кланяйтесь Соломону Шапиро...»

XII

Меня впустила уборщица. Бабичева уже нет. Традиционное молоко выпито. На столе мутный стакан. Рядом тарелка с печеньем, похожим на еврейские буквы.

Жизнь человеческая ничтожна. Грозно движение миров. Когда я поселился здесь, солнечный «заяц» в два часа

дня сидел на косяке двери. Прошло тридцать шесть дней. «Заяц» перепрыгнул в другую комнату. Земля прошла очередную часть пути. Солнечный «зайчик», детская игрушка, напоминает нам о вечности.

Я вышел на балкон.

На углу кучка людей слушала церковный звон. Звонили в невидимой с балкона церкви. Эта церковь славится звонарем. Зеваки задирали головы. Им была видна работа знаменитого звонаря.

Однажды и я добрый час простоял на углу. В пролетах арки открывалась внутренность колокольни. Там, в копотной темноте, какая бывает на чердаках, среди чердачных, окутанных паутиной балок, бесился звонарь. Двадцать колоколов раздирали его. Как ямщик, он откидывался, нагибал голову, может быть, гикал. Он вился в серединной точке, в центре мрачной паутины веревок, то замирал, повисая на распростертых руках, то бросался в угол, перекашивая весь чертеж паутины,— таинственный музыкант, неразличимый, черный, может быть, безобразный, как Квазимодо.

(Впрочем, таким страшным малевало его расстояние. При желании можно было бы сказать и так: мужичок распоряжается посудой, тарелочками. А звон знаменитой колокольни назвать смесью ресторанного и вокзального звона.)

Я слушал с балкона.

— Том-вир-лир-ли! Том-вир-лир-ли! Том-вир-лир-ли! Том Вирлирли. Некий Том Вирлирли реял в воздухе.

Том Вирлирли,
Том с котомкой,
Том Вирлирли молодой!

Всклоченный звонарь переложил на музыку многие мои утра. Том — удар большого колокола, большого котла. Вирлирли — мелкие тарелочки.

Том Вирлирли проник в меня в одно из прекрасных утр, встреченных мною под этим кровом. Музыкальная фраза превратилась в словесную. Я живо представлял себе этого Тома.

Юноша, озирающий город. Никому не известный юноша уже пришел, уже близок, уже видит город, который спит, ничего не подозревает. Утренний туман только рассеивается. Город клубится в долине зеленым мерцающим облаком. Том Вирлирли, улыбаясь и прижимая руку к сердцу, смотрит на город, ища знакомых по детским картинкам очертаний.

Котомка за спиной юноши.

Он сделает все.

Он — это само высокомерие юности, сама затаенность гордых мечтаний.

Пройдут дни — и скоро (не много раз перескочит солнечный «зайчик» с косяка в другую комнату) мальчики, сами мечтающие о том, чтоб так же, с котомкой за спиной, пройти в майское утро по предместьям города, по предместьям славы, будут распевать песенку о человеке, который сделал то, что хотел сделать:

Том Вирлирли,
Том с котомкой,
Том Вирлирли молодой!

Так в романтическую, явно западноевропейского характера грезу превратился во мне звон обыкновенной московской церковки.

Я оставлю письмо на столе, соберу пожитки (в котомку?) и уйду. Письмо, сложенное в квадратик, положил я на стеклянную пластинку, по соседству с портретом того, кого считал я товарищем по несчастью.

В дверь постучали. Он?

Я открыл.

В дверях, держа котомку в руке, весело улыбающийся (японской улыбкой), точно увидевший сквозь дверь дорогого, взлелеянного в мечтах друга, застенчивый, чем-то похожий на Валю, стоял Том Вирлирли.

Это был чернявый юноша, Володя Макаров. Он посмотрел на меня с удивлением, затем обвел глазами комнату. Несколько раз взгляд его возвращался к дивану, вниз, под диван, где виднелись мои полуботинки.

— Здорово! — приветствовал я его.

Он пошел к дивану, сел, посидел, затем направился в спальню, побывал там, вернулся и, остановившись у вазы-фламинго, спросил меня:

— Где Андрей Петрович? В правлении?

— Не ручаюсь. Андрей Петрович вернется вечером. Возможно, что он привезет с собой нового дурака. Вы первый, я второй, он будет третий. Или до вас уже были дураки? А возможно, что он привезет с собой девочку.

— Кого? — спросил Том Вирлирли.— Как? — спросил он, морщась от непонимания. Приподнялись его виски.

Он сел снова на диван. Полуботинки под диваном беспокоили его. Видно было: он не прочь потрогать их задником своего сапога.

— Зачем вы вернулись? — спросил я.— Какого черта вы вернулись? Наша роль с вами окончена. Сейчас он занят другим. Он развращает девочку. Племянницу свою, Валю. Поняли! Уходите отсюда. Слушайте!

(Я бросился к нему. Он недвижно сидел).

— Слушайте! Сделайте так, как сделал я! Скажите ему всю правду... Вот (я схватил со стола письмо), вот письмо, которое я ему написал...

Он отстранил меня. Котомка привычно легла в уголок около дивана. Он пошел к телефону и вызвал правление.

Так и остались мои пожитки несобранными.

Я обратился в бегство.

XIII

Письмо осталось при мне. Я решил его уничтожить. Футболист живет при нем, как сын. По тому, как котомка устроилась в углу, по тому, как оглядывал он комнату, как снимал телефонную трубку, как назвал номер, видно было: он давний, он свой человек в доме,— это дом его. Дурно проведенная ночь повлияла на меня. Я писал не то, что хотел написать. Бабичев не понял бы негодования моего. Он объяснил бы его завистью. Он подумал бы: я завидую Володе.

Хорошо, что письмо осталось при мне.

Иначе получился бы холостой выстрел.

Я ошибся, думая, что Володя — дурак при нем и развлекатель. Следовательно, в письме своем я не должен был брать его под защиту. Напротив. Теперь, встретившись с ним, я увидел высокомерие его. Бабичев растит и холит себе подобного. Вырастет такой же надутый, слепой человек.

Его взгляд говорил: «Извините, вы ошиблись. Приживальщик — это вы. А я — полноправный. Я — барчук».

Я сидел на скамье. И тут обнаружилось ужасное.

Квадратик оказался не тем,— мой был побольше; это не мое письмо. Мое осталось там. Впопыхах я схватил другое письмо. Вот оно:

«Дорогой, милый Андрей Петрович! Здравствуй, здравствуй! В добром ли ты здравии? Не задушил ли тебя твой новый жилец? Не натравил ли на тебя Иван Петрович «Офелию»? Смотри: сопьются они оба — Кавалеров твой да Иван Петрович — и изведут тебя. Смотри берегись. А то ты слабенький, обидеть тебя легко, смотри ты...

С чего ты такой доверчивый стал? Всякую шпану в дом пускаешь. Гони его к черту! На другой же день сказал бы: «Ну, отоспались, молодой человек, и до свиданья!» Подумаешь: нежности! Я как прочел письмо твое, что, мол, вспомнил ты обо мне и пожалел пьяницу под стеночкой, поднял да повез ради меня, потому-де, что и со мной где-нибудь несчастье может случиться и буду я так же лежать,— как прочел я это — стало мне смешно и непонятно. Словно не ты это, а Иван Петрович.

Как я предполагал, так и вышло: привез ты этого хитрованца к себе, а потом и растерялся, конечно,— сам не знаешь, что делать с ним. И попросить убраться неловко, и что делать — черт его знает! Верно? Видишь: я тебе мораль читаю. Это у тебя работа такая, настраивает на чувствительность: фрукты, травки, пчелки, телята и всякое такое. А я человек индустриальный. Смейся, смейся, Андрей Петрович! Ты всегда надо мной смеешься. Я, понимаешь ли, уже новое поколение.

Как же теперь будет? Ну, вернусь я,— как с чудаком твоим будет? А вдруг расплачется твой чудак, не захочет с дивана уходить? А ты и пожалеешь его. Да, я ревную. Выгоню его, морду набью. Это ты добрый такой, только кричишь, кулаком стучишь, хорохоришься, а дойдет до дела, ты сейчас — жалеть. Если бы не я, то Валька до сих пор бы мучилась у Ивана Петровича. Как ты там удерживаешь ее? Не вернулась она обратно? Ты же сам знаешь: Иван Петрович хитрый человек, прикидывается, сам же о себе говорит, что дешевка он и шарлатан. Верно? Так и не жалей его.

Вот попробуй устрой его в диспансер. Сбежит. Или Кавалерову твоему в диспансер предложи? Обидится.

Ну, ладно. Ты не сердись. Да ведь твои слова были: «Учи меня, Володя, и я учить тебя буду». Вот и учимся.

Скоро приеду. На днях. Папаша кланяется тебе. Прощай, Муром-городок! Ночью, когда иду, тогда понимаю, что, собственно говоря, и города никакого не существует. Одни мастерские есть, а городок — это что! Так просто, отложение мастерских. Все для них, ради них. Над всем мастерские. Ночью в городе тьма египетская, мрак, понимаешь ли, домовые. А в сторонке, в поле, огнями горят мастерские, сияют,— праздник!

А в городе (видел я) теленок бежал за участковым надзирателем, за портфелем (тот под мышкой держал). Бежит, шлепает губами, пожевать, что ли, хотел... Такая

картина: изгородь, лужица, надзиратель шагает в красной шапке, честь честью, а теленок прицеливается к портфелю. Противоречия, понимаешь ли.

Не люблю я этих самых телят. Я — человек-машина. Не узна́ешь ты меня. Я превратился в машину. Если еще не превратился, то хочу превратиться. Машины здесь — зверье! Породистые! Замечательно равнодушные, гордые машины. Не то что в твоих колбасных. Кустарничаете. Вам только телят резать. Я хочу быть машиной. С тобой хочу посоветоваться. Хочу стать гордым от работы, гордым — потому что работаю. Чтоб быть равнодушным, понимаешь ли, ко всему, что не работа! Зависть взяла к машине — вот оно что! Чем я хуже ее? Мы же ее выдумали, создали, а она оказалась куда свирепее нас. Даешь ей ход — пошла! Проработает так, что ни цифирки лишней. Хочу и я быть таким. Понимаешь ли, Андрей Петрович,— чтоб ни цифирки лишней. Как хочется с тобой поговорить!

Подражаю тебе во всем. Чавкаю даже, как ты, в подражание.

Сколько раз думаю о том, что вот-де как повезло мне! Поднял ты меня, Андрей Петрович! Не все комсомольцы так живут. А я живу при тебе, при мудрейшей, удивительной личности. Каждый дорого даст за такую жизнь. Я ведь знаю: многие мне завидуют. Спасибо тебе, Андрей Петрович! Ты не смейся — в любви, мол, объясняюсь. Машина, скажешь, а в любви объясняется. Верно? Нет, правду говорю: буду машиной.

Как дела? «Четвертак» строится? Не обвалилось ничего? Как с «Теплом и силой»? Уладил? А Кампфер?

А дома что? Значит, на диванчике-то на моем неизвестный гражданин спит? Вшей напустит. Помнишь, как притащили меня с футбола? До сих пор отзывается. Помнишь, привезли меня? А ты испугался, Андрей Петрович? Правда ведь, испугался? Ты ж у меня слюнтяй! Я лежал на диване; нога тяжелая, как рельса. Сам на тебя смотрю,— ты за столом, за колпаком зеленым, пишешь. Смотрю на тебя,— вдруг и ты на меня; я сразу закрываю глаза,— как с мамой!

О футболе кстати. Буду играть против немцев в московской сборной. И, может быть, если не Шухов,— в сборной СССР. Красота!

Что Валька! Конечно, поженимся! Через четыре года. Ты смеешься, говоришь — не выдержим. А я вот заявляю тебе: через четыре года. Да. Я буду Эдисоном нового века.

Первый раз мы поцелуемся с ней, когда откроется твой «Четвертак». Да. Ты не веришь? У нас с ней союз. Ты ничего не знаешь. В день открытия «Четвертака» мы на трибуне под музыку поцелуемся.

Ты не забывай меня, Андрей Петрович. А вдруг я приеду и окажется такое: твой Кавалеров — первый тебе друг, обо мне забыто, он тебе заменил меня. Гимнастику с тобой вместе делает, на постройку ездит. Мало ли что? А может, он парень оказался замечательный, гораздо приятней, чем я,— может, ты с ним подружился, и я, Эдисон нового века, должен буду убраться к чертовой матери? Может, сидишь ты с ним, да с Иваном Петровичем, да с Валькой — и смеетесь надо мной? А Кавалеров твой на Вальке женился? Скажи правду. Тогда я убью тебя, Андрей Петрович. Честное слово. За измену нашим разговорам, планам. Понял?

Ну, расписался, занятому человеку мешаю. Чтобы цифры лишней не было,— а самого-то разнесло. Это потому, что в разлуке,— правда? Ну, до свидания, дорогой и многоуважаемый, до свидания, скоро увидимся».

XIV

Огромное облако с очертаниями Южной Америки стояло над городом. Оно блистало, но тень от него была грозной. Тень астрономически медленно надвигалась на бабичевскую улицу.

Все, которые вступили уже в устье той улицы и шли против течения, видели движения тени, у них темнело в глазах, она отнимала у них почву из-под ног. Они шли как бы по вращающемуся шару.

Я пробивался вместе с ними.

Висел балкон. На перилах — куртка. Уже не звонили в церкви. Я заменил зевак на углу. Юноша появился на балконе. Его удивила наступившая пасмурность. Он поднял голову, выглянул, перевалившись через перила.

Лестница, дверь. Стучу. От боя сердца дергается лацкан. Я пришел драться.

Меня впускают. Открывший мне дверь отступает, беря дверь на себя. И первое, что я вижу,— Андрей Бабичев. Андрей Бабичев стоит посредине комнаты, расставив ноги, под которыми должна пройти армия лилипутов. Руки его засунуты в карманы брюк. Пиджак расстегнут и отобран

назад. Полы по обеим сторонам позади, оттого что руки в карманах, образуют фестоны. Поза его говорит:

«Нну-с?»

Я вижу только его. Володю Макарова я только слышу.

Я шагаю на Бабичева. Идет дождь.

Сейчас я упаду перед ним на колени.

«Не прогоняйте меня! Андрей Петрович, не прогоняйте меня! Я понял все. Верьте мне, как верите Володе! Верьте мне: я тоже молодой, я тоже буду Эдисоном нового века, я тоже буду молиться на вас! Как я мог прозевать, как мог я остаться слепым, не сделать всего, чтобы вы полюбили меня! Простите меня, дайте сроку мне четыре года...»

Но, не падая на колени, я спрашиваю ехидно:

— Отчего ж это вы не на службе?

— Убирайтесь отсюда вон! — слышу я в ответ.

Он ответил тотчас же, точно мы сыгрались. Но реплика дошла до сознания моего спустя некоторый промежуток времени.

Произошло нечто необычайное.

Шел дождь. Возможно, была молния.

Я не хочу говорить образно. Я хочу говорить просто. Я читал некогда «Атмосферу» Камилла Фламмариона. (Какое планетное имя! Фламмарион — это сама звезда!) Он описывает шаровидную молнию, ее удивительный эффект: полный, гладкий шар бесшумно вкатывается в помещение, наполняя его ослепительным светом... о, я далек от намерения прибегать к пошлым сравнениям. Но облако было подозрительно. Но тень надвигалась, как во сне. Но шел дождь. В спальне было открыто окно. Нельзя в грозу оставлять окна открытыми! Сквозняк!

С дождем, с каплями горькими, как слезы, с порывами ветра, под которыми ваза-фламинго бежит, как пламя, воспламеняя занавески, которые также бегут под потолок, появляется из спальни Валя.

Но только меня ошеломляет это явление. На самом же деле все просто: приехал друг, и друзья поспешили с ним увидеться.

Возможно, Бабичев заехал за Валей, мечтавшей, возможно, об этом дне. Все просто. А меня надо отправить в диспансер, лечить гипнозом, чтоб не мыслил образами и не приписывал девушке эффектов шаровидной молнии.

Так я же испорчу вам простоту!

— Убирайтесь отсюда вон! — повторяет слух.

— Не так все просто...— начинаю я.

Сквозит. Дверь осталась открытой. От ветра выросло у меня одно крыло. Оно бешено вертится над плечом, придувая веки. Сквозняком анестезирована половина моего лица.

— Не так все просто,— говорю я, прижавшись к косяку, чтобы сломать ужасное крыло.— Вы уезжали, Володя, а в это время товарищ Бабичев жил с Валей. Пока там четыре года вы будете ждать, Андрей Петрович успеет побаловаться Валей в достаточной степени...

Я оказался за дверью. Половина лица была анестезирована. Может быть, я не почувствовал удара.

Замок щелкнул надо мной так, точно обломилась ветка, и я свалился с прекрасного дерева, как перезревший, ленивый, шмякающий при падении плод.

— Все кончено,— спокойно сказал я, поднимаясь.— Теперь я убью вас, товарищ Бабичев.

XV

Идет дождь.

Дождь ходит по Цветному бульвару, шастает по цирку, сворачивает на бульвары направо и, достигнув вершины Петровского, внезапно слепнет и теряет уверенность.

Я пересекаю «Трубу», размышляя о сказочном фехтовальщике, который прошел под дождем, отбивая рапирой капли. Рапира сверкала, развевались полы камзола, фехтовальщик вился, рассыпался, как флейта,— и остался сух. Он получил отцовское наследство. Я промок до ребер и, кажется, получил пощечину.

Я нахожу, что ландшафт, наблюдаемый сквозь удаляющие стекла бинокля, выигрывает в блеске, яркости и стереоскопичности. Краски и контуры как будто уточняются. Вещь, оставаясь знакомой вещью, вдруг делается до смешного малой, непривычной. Это вызывает в наблюдателе детские представления. Точно видишь сон. Заметьте, человек, повернувший бинокль на удаление, начинает просветленно улыбаться.

После дождя город приобрел блеск и стереоскопичность. Все видели: трамвай крашен кармином; булыжники мостовой далеко не одноцветны, среди них есть даже зеленые; маляр на высоте вышел из ниши, где прятался от дождя, как голубь, и пошел по канве кирпичей; мальчик в окне ловит солнце на осколок зеркала...

Я купил у бабы яйцо и французскую булку. Я стукнул яйцом о трамвайную мачту на глазах у пассажиров, летевших от Петровских ворот.

Я направился вверх. Скамьи проходили на высоте моих колен. Здесь аллея несколько выпукла. Прекрасные матери сидели на скамьях, подложив платочки. На покрытых загаром лицах светились глаза — светом рыбьей чешуи. Загар покрывал также и шеи и плечи. Но молодые большие груди, видные в блузах, белели. Одинокий и загнанный, с тоской пил я эту белизну, чье имя было — молоко, материнство, супружество, гордость и чистота.

Нянька держала младенца, похожего по облачению на римского папу.

У девчонки в красной повязке повисло на губе семечко. Девчонка слушала оркестр, не заметив, как влезла в лужу. Раструбы басов смахивали на слоновьи уши.

Для всех: для матерей, для нянек, для девушек, для музыкантов, опутанных трубами, я был — комик. Трубачи косили на меня глазом, еще более раздувая щеки. Девчонка фыркнула, отчего семечко наконец упало. Тут же она обнаружила лужу. Собственную неудачливость поставила она в вину мне и со злобой отвернулась.

Я докажу, что я не комик. Никто не понимает меня. Непонятное кажется смешным или страшным. Всем станет страшно.

Я подошел к уличному зеркалу.

Я очень люблю уличные зеркала. Они возникают неожиданно поперек пути. Ваш путь обычен, спокоен — обычный городской путь, не сулящий вам ни чудес, ни видений. Вы идете, ничего не предполагая, поднимаете глаза, и вдруг, на миг, вам становится ясно: с миром, с правилами мира произошли небывалые перемены.

Нарушена оптика, геометрия, нарушено естество того, что было вашим ходом, вашим движением, вашим желанием идти именно туда, куда вы шли. Вы начинаете думать, что видите затылком, вы даже растерянно улыбаетесь прохожим, вы смущены таким своим преимуществом.

— Ах...— тихо вздыхаете вы.

Трамвай, только что скрывшийся с ваших глаз, снова несется перед вами, сечет по краю бульвара, как нож по торту. Соломенная шляпа, повисшая на голубой ленте через чью-то руку (вы сию минуту видели ее, она привлека-

ла ваше внимание, но вы не удосужились оглянуться), возвращается к вам, проплывает поперек глаз.

Перед вами открывается даль. Все уверены: это дом, стена, но вам дано преимущество: это не дом! Вы обнаружили тайну: здесь не стена, здесь таинственный мир, где повторяется все только что виденное вами,— и притом повторяется с той стереоскопичностью и яркостью, которые подвластны лишь удаляющим стеклам бинокля.

Вы, как говорится, заходитесь. Так внезапно нарушение правил, так невероятно изменение пропорций. Но вы радуетесь головокружению... Догадавшись, вы спешите к голубеющему квадрату. Ваше лицо неподвижно повисает в зеркале, оно одно имеет естественные формы, оно одно — частица, сохранившаяся от правильного мира, в то время как все рухнуло, переменилось и приобрело новую правильность, с которой вы никак не освоитесь, простояв хоть целый час перед зеркалом, где лицо ваше — точно в тропическом саду. Чересчур зелена зелень, чересчур сине небо.

Вы никак не скажете наверняка (пока не отвернетесь от зеркала), в какую сторону направляется пешеход, наблюдаемый вами в зеркале... Лишь повернувшись...

Я смотрел в зеркало, дожевывая булку.

Я отвернулся.

Пешеход шел к зеркалу, появившись откуда-то сбоку. Я помешал ему отразиться. Улыбка, приготовленная им для самого себя, пришлась мне. Он был ниже меня на голову и поднял лицо.

Спешил он к зеркалу, чтобы найти и скинуть гусеницу, свалившуюся на далекую часть его плеча. Он и скинул ее щелчком, вывернув плечо, как скрипач.

Я продолжал думать про оптические обманы, про фокусы зеркала и потому спросил подошедшего, еще не узнав его:

— С какой стороны вы подошли? Откуда вы взялись?

— Откуда? — ответил он.— Откуда я взялся? (Он посмотрел на меня ясными глазами.) Я сам себя выдумал.

Он снял котелок, обнаружив плешь, и преувеличенно шикарно раскланялся. Так приветствуют жертвователя милостыни бывшие люди. И, как у бывшего человека, мешки под глазами свисали у него, как лиловые чулки. Он сосал конфетку.

Немедленно я осознал: вот мой друг, и учитель, и утешитель.

Я схватил его за руку и, едва не припав к нему, заговорил:

— Скажите мне, ответьте мне!..

Он поднял брови.

— Что это... Офелия?

Он собирался ответить. Но сквозь уголок губ сладким соком прорвался флюс леденца. Чувствуя восторг и умиление, я ждал ответа.

Часть вторая

I

Приближение старости не пугало Ивана Бабичева. Иногда, впрочем, из уст его раздавались жалобы по поводу быстро текущей жизни, утраченных лет, предполагаемого рака желудка... Но жалобы эти были слишком светлы, по всей вероятности даже мало искренни — риторического характера жалобы.

Случалось, прикладывал он ладонь к левой стороне груди, улыбался и спрашивал:

— Интересно, какой звук бывает при разрыве сердца?

Однажды поднял он руку, показывая друзьям внешнюю сторону ладони, где вены расположились в форме дерева, и разразился следующей импровизацией.

— Вот,— молвил он,— дерево жизни. Вот дерево, которое мне говорит о жизни и смерти более, нежели цветущие и увядающие деревья садов. Не помню, когда именно обнаружил я, что кисть моя цветет деревом... Но, должно быть, в прекрасную пору, когда еще цветение и увядание деревьев говорило мне не о жизни и смерти, но о конце и начале учебного года! Оно голубело тогда, это дерево, оно было голубое и стройное, и кровь, о которой тогда думалось, что не жидкость она, а свет, зарею всходила над ним и всему пейзажу пясти придавала сходство с японской акварелью...

Шли годы, менялся я, и менялось дерево.

Помню превосходную пору,— оно разрослось. Минуты гордости испытывал я, видя его неодолимое цветение. Оно стало корявым и бурым,-- и в том таилась мощь! Я мог

назвать его могучей снастью руки. А ныне, друзья мои! Как дряхло оно, как трухляво!

Мне кажется, ломаются ветки, появились дупла... Это склероз, друзья мои! И то, что кожа стекленеет, а под ней водянистой становится ткань,— не есть ли это оседание тумана на дерево моей жизни, того тумана, который вскоре окутает всего меня?

Бабичевых было три брата. Иван был второй. Старшего звали Романом. Он был членом боевой организации и был казнен за участие в террористическом акте.

Младший брат — Андрей — жил в эмиграции. «Как тебе нравится, Андрей? — написал ему Иван в Париж.— У нас в роду мученик! Вот бы обрадовалась бабушка!» На что брат Андрей, со свойственной ему грубостью, ответил коротко: «Ты просто мерзавец». Так определились разногласия между братьями.

С детства Иван удивлял семью и знакомых.

Двенадцатилетним мальчиком продемонстрировал он в кругу семьи странного вида прибор, нечто вроде абажура с бахромой из бубенчиков, и уверял, что при помощи своего прибора может вызвать у любого — по заказу — любой сон.

— Хорошо,— сказал отец, директор гимназии и латинист.— Я верю тебе. Я хочу видеть сон из римской истории.

— Что именно? — деловито спросил мальчик.

— Все равно. Битву при Фарсале. Но если не выйдет, я тебя высеку.

Поздно вечером по комнатам носился, мелькал чудный звон. Директор гимназии лежал в кабинете, ровный и прямой от злости, как в гробу. Мать реяла у желчно закрытых дверей. Маленький Ваня, добродушно улыбаясь, похаживал вдоль дивана, потрясая своим абажуром, как потрясает канатоходец китайским зонтом. Утром отец в три прыжка, неодетый, из кабинета пронесся в детскую и вынул толстого, доброго, сонного, ленивого Ваню из постели. Еще день был слаб, еще, может быть, кое-что и вышло бы, но директор разодрал занавески, фальшиво приветствуя наступление утра. Мать хотела помешать порке, мать подкладывала руки, кричала:

— Не бей его, Петенька, не бей... Он ошибся... Честное слово... Ну что ж, что тебе не приснилось?... Звон отнесся в другую сторону. Знаешь, какая квартира у нас... сырая. Я, я видела битву при Фарсале! Мне приснилась битва, Петенька!

— Не лги,— сказал директор.— Расскажи подробности. Чем отличалось обмундирование балеарских стрелков от обмундирования нумидийских пращников?.. Нуте-с?

Он подождал минуту, мать зарыдала, и маленький экспериментатор был выпорот. Он вел себя, как Галилей. Вечером того же дня горничная сообщила хозяйке, что не пойдет за сделавшего ей предложение некоего Добродеева.

— Он врет все, нельзя ему верить,— так объяснила горничная.— Всю ночь я лошадей видела. Все скачут, все страшные лошади, вроде как в масках. А лошадь видеть — ложь.

Потеряв власть над нижней челюстью, мать — лунатиком — пошла к дверям кабинета. Кухарка остолбенела у печки, чувствуя, что тоже теряет власть над нижней челюстью.

Жена коснулась мужниного плеча. Он сидел за столом, прикрепляя к портсигару отпавшую монограмму.

И мать пролепетала:

— Петруша, расспроси Фросю... Кажется, Фросе приснилась битва при Фарсале...

Неизвестно, как отнесся директор к сновидению горничной. Что касается Ивана, то известно, что спустя месяц или два после истории с искусственными снами он уже рассказывал о новом своем изобретении.

Будто изобрел он особый мыльный состав и особую трубочку, пользуясь которыми, можно выпустить удивительный мыльный пузырь. Пузырь этот будет в полете увеличиваться, достигая поочередно размеров елочной игрушки, мяча, затем шара с дачной клумбы, и дальше, дальше, вплоть до объема аэростата,— и тогда он лопнет, пролившись над городом коротким золотым дождем.

Отец был в кухне. (Он принадлежал к мрачной породе отцов, гордящихся знанием кое-каких кулинарных секретов и считающих исключительной своей привилегией, скажем, определение количества лаврового листа, необходимого для какого-нибудь прославленного по наследству супа, или, скажем, наблюдение за сроком пребывания в кастрюле яиц, коим положено достигнуть идеального состояния,— так называемых «яиц в мешочке».)

За кухонным окном, во дворике, под самой стеной, маленький Иван предавался мечтаниям. Желтым ухом слушал отец и выглянул. Мальчики окружили Ивана. И врал Иван о мыльном пузыре. Он будет большой, как воздушный шар.

Снова в директоре взыграла желчь. Старший сын Роман год тому назад ушел из семьи. Отец отводил душу на младших.

Бог обидел его сыновьями.

Он отпрянул от окна, даже улыбаясь от злобы. За обедом ждал он высказываний Ивана, но Иван не подал голоса. «Он, кажется, презирает меня. Он, кажется, считает меня дураком»,— кипел директор. И в исходе дня, когда отец Бабичева пил на балконе чай, вдруг где-то очень далеко, над самым задним, тающим, стекловидным, мелко и желто поблескивающим в лучах заходящего солнца планом его поля зрения появился большой оранжевый шар. Он медленно плыл, пересекая план по косой линии.

Директор шмыгнул в комнату и тотчас же, сквозь пролет дверей, увидел в соседней комнате Ивана на подоконнике. Гимназист, весь устремившись в окно, громко бил в ладоши.

— Я получил в тот день полное удовлетворение,— вспоминал Иван Петрович.— Отец был напуган. Долго затем искал его взгляда, но он прятал глаза. И мне стало жалко его. Он почернел,— я думал, что он умрет. И великодушно я сбросил мантию. Он сухой был человек, мой папа, мелочный, но невнимательный. Он не знал, что в тот день над городом пролетел аэронавт Эрнест Витолло. Прекрасные афиши извещали об этом. Я сознался в невольном мошенничестве. Надо вам сказать, что опыты мои над мыльными пузырями не привели к тем результатам, о которых я мечтал.

(Факты говорят о том, что в те времена, когда Иван Бабичев был двенадцатилетним гимназистом, воздухоплавание не достигло еще широкого развития, и вряд ли над провинциальным городом устраивались в те времена полеты.

Но если это и выдумка — то что же! Выдумка — это возлюбленная разума.)

Друзья с наслаждением внимали импровизации Ивана Бабичева.

— И мне кажется, что ночью, после того огорчительного дня, папа мой видел во сне фарсальскую битву. Он не ушел утром в гимназию. Мама понесла ему в кабинет боржом. По всей вероятности, его потрясли подробности битвы. Быть может, он не мог примириться с тем издевательством над историей, которым побаловалось сновидение...

Возможно, приснилось ему, что исход битвы решили балеарские пращники, прилетевшие на воздушных шарах...

Такой концовкой заключил Иван Бабичев новеллу о мыльных пузырях.

В другой раз поделился он с друзьями таким случаем из эпохи своего отрочества:

— Студент, по фамилии Шемиот, ухаживал за барышней... а вот хуже — барышниной фамилии не помню... Позвольте... позвольте... скажем, Лиля Капитанаки звали барышню, по-козьи стучавшую каблуками. Нам, мальчишкам, все было известно, что происходило во дворе. Студент маялся под Лилиным балконом, готовый и боящийся вызвать из золотистых недр балконной двери эту девушку, которой, должно быть, исполнилось лет шестнадцать и которая казалась нам, мальчикам, старухой.

Синела студентова фуражка, алели студентовы щеки. На велосипеде приезжал студент. И неописуемой была студентова тоска, когда в воскресенье, в мае, в одно из тех воскресений, коих не больше десятка числится на памяти метеорологической науки, в воскресенье, когда ветерок был так мил и ласков, что хотелось повязать ему голубую ленточку, студент, разлетевшись к балкону, увидел облокотившуюся на перила Лилину тетку, пеструю и цветастую, как чехол на кресле в местечковой гостиной,— всю в крендельках, рогульках и оборочках и с прической, смахивающей на улитку. И тетка явно обрадовалась явлению студента Шемиота,— она с высоты раскрыла, можно сказать, студенту объятия и возвестила картофельным голосом, таким смоченным слюной и полным языка голосом, точно говорила, пережевывая горячее:

«А Лилечка уезжает в Херсон. Сегодня уезжает. В семь сорок. Надолго уезжает. На все лето уезжает. Велела передать вам привет, Сергей Сергеевич! Привет!»

Но студент чутьем влюбленного понял все. Он знал, что в золотистой глубине комнаты рыдала Лилечка и что Лилечка рвется к балкону и видит, не видя, студента, чей китель, будучи белым, впитал в себя, по законам физики, наибольшее количество лучей и блистает ослепительной альпийской белизной,— но вырваться нельзя, но тетка всесильна...

«Подарите мне велосипед, и я отомщу за вас,— сказал я студенту.— Я знаю, Лилька не хотела никуда ехать. Ее выпроваживают со скандалом. Подарите велосипед».

«Как же ты отомстишь?» — спросил студент, пугаясь меня. И через несколько дней я с невинным видом принес Лилиной тетке, будто от моей мамы, средство от бородавок. У тетки возле нижней губы, в извилине, была большая бородавка. Стареющая эта дама расцеловала меня, причем поцелуи ее произвели на меня такое впечатление, как если бы в меня в упор стреляли из новой рогатки... Друзья мои, студент был отомщен. Из теткиной бородавки вырос цветок, скромный полевой колокольчик. Он нежно подрагивал от теткиного дыхания. Позор упал на ее голову. С воздетыми к небесам руками пронеслась тетка по двору, ввергая всех в панику...

Моя радость была двойной. Во-первых, блестяще разрешился эксперимент выращивания цветов из бородавок, а во-вторых — студент подарил мне велосипед.

А в ту эпоху, друзья мои, велосипед являлся редкостью. Тогда рисовали еще на велосипедистов карикатуры.

— А что стало с теткой?

— О мой друг! Она так и жила с цветком до осени. С упованием ждала она ветреных дней и, дождавшись, отправлялась задами, минуя оживленные части города, куда-нибудь в зеленеющие местности... Моральные муки терзали ее. Она прятала лицо в шарф, цветок любовно щекотал ей губы, и щекотанье это звучало, как шепот уныло прожитой молодости, как призрак какого-то единственного, чуть ли не топотом ног выгнанного поцелуя... Она останавливалась на холме, опускала шарф.

«Ну, разнеси, разнеси его на все четыре стороны! Ну, сдуй же, сдуй его проклятые лепестки»,— молила она.

Ветер, как назло, прекращался, Но зато прилетела с ближайшей дачи очумелая пчела и, прицеливаясь к цветку, начинала оплетать бедную женщину гудящими восьмерками. Тетка обращалась в бегство и дома, велев прислуге никого не впускать, сидела перед зеркалом, озирая мифическое свое, украшенное цветком лицо, распухшее у нее на глазах от укуса и превращавшееся в некий тропический корнеплод. Ужас! А просто отрезать цветок — это было бы слишком рискованно: все-таки бородавка! А вдруг заражение крови!

Ваня Бабичев был мастер на все руки. Сочинял он стихи и музыкальные пьески, отлично рисовал, множество вещей умел он делать, даже придумал некий танец, рассчитанный на использование внешних своих особенностей: полноты, лености,— был он увалень (как многие замечательные люди в отроческие годы). Назывался танец «Кувшинчик».

Он торговал бумажными змеями, свистульками, фонариками; мальчики завидовали умелости его и славе. Во дворе получил он прозвище «Механик».

Затем в Петербурге Иван Бабичев окончил Политехнический институт по механическому отделению как раз в том году, когда казнен был брат Роман. Инженером работал Иван в городе Николаеве, близ Одессы, на заводе Наваль, вплоть до начала европейской войны.

Тут...

II

Да был ли он когда-либо инженером?

В тот год, когда строился «Четвертак», Иван занимался промыслом малопочтенным, а для инженера — просто позорным.

Представьте, в пивных рисовал он портреты с желающих, сочинял экспромты на заданные темы, определял характер по линиям руки, демонстрировал силу своей памяти, повторяя пятьсот любых прочитанных ему без перерыва слов.

Иногда он вынимал из-за пазухи колоду карт, мгновенно приобретая сходство с шулером, и показывал фокусы.

Его угощали. Он присаживался, и тогда начиналось главное: Иван Бабичев проповедовал.

О чем он говорил?

— Мы — это человечество, дошедшее до последнего предела,— говорил он, стуча кружкой по мрамору, как копытом.— Сильные личности, люди, решившие жить по-своему, эгоисты, упрямцы, к вам обращаюсь я, как к более умным,— авангард мой! Слушайте, стоящие впереди! Кончается эпоха. Вал разбивается о камни, вал закипает, сверкает пена. Что же хотите вы? Чего? Исчезнуть, сойти на нет капельками, мелким водяным кипением? Нет, друзья мои, не так должны вы погибнуть! Нет! Придите ко мне, я научу вас.

Слушатели внимали ему с некоторой почтительностью, но с малым вниманием, однако поддерживали его возгласами «правильно!» и порою аплодисментами. Исчезал он внезапно, произнося на прощание всякий раз одно и то же четверостишие; звучало оно так:

Ведь я не шарлатан немецкий,
И не обманщик я людей!

Я — скромный фокусник советский,
Я — современный чародей!

Было сказано им и такое:

— Ворота закрываются. Слышите ли вы шипение створок? Не рвитесь. Не стремитесь проникнуть за порог! Остановитесь! Остановка — гордость. Будьте горды. Я вождь ваш, я король пошляков. Тому, кто поет и плачет и мажет носом по столику, когда уже все выпито пиво и пива не дают больше,— тому место здесь, рядом со мной. Придите, тяжелые горем, несомые песней. Убивающий из ревности или ты, вяжущий петлю для самого себя,— я зову вас обоих, дети гибнущего века: приходите, пошляки и мечтатели, отцы семейств, лелеющие дочерей своих, честные мещане, люди, верные традициям, подчиненные нормам чести, долга, любви, боящиеся крови и беспорядка, дорогие мои — солдаты и генералы — двинем походом! Куда? Я поведу вас.

Любил он есть раков. Рачье побоище сыпалось под его руками. Он был неопрятен. Рубаха его, похожая на трактирную салфетку, всегда была раскрыта на груди. Вместе с тем появлялся он, случалось, и в крахмальных манжетах, но грязных. Если можно соединить неопрятность со склонностью к щегольству, то ему это удалось вполне. Например: котелок. Например: цветок в петлице (остававшийся там чуть ли не до превращения в плод). И например: бахрома на штанах, и от нескольких пуговиц пиджака — лишь хвостики.

— Я — пожиратель раков. Смотрите: я их не ем, я разрушаю их, как жрец. Видите? Прекрасные раки. Они опутаны водорослями. Ах, не водоросли? Простая зелень, говорите вы? Не все ли равно? Условимся, что водоросли. Так можно сравнить рака с кораблем, поднятым со дна морского. Прекрасные раки. Камские.

Он облизывал кулак и, заглянув в манжет, извлекал оттуда рачий обломок.

Да был ли он когда-либо инженером? Да не врал ли он? Как не вязалось с ним представление об инженерской душе, о близости к машинам, к металлу, чертежам! Скорее его можно было принять за актера или попа-расстригу. Он сам понимал, что слушатели не верят ему. Он и сам говорил с некоторым поигрыванием в уголке глаза.

То в одной пивной, то в другой появлялся толстенький проповедник. Однажды до того он дошел, что позволил себе влезть на стол... Неуклюжий и никак не подготовленный к подобным трюкам, он лез по головам, хватаясь за

пальмовые листья; разбивались бутылки, повалилась пальма,— он утвердился на столе и, размахивая двумя пустыми кружками, как гирями, стал кричать:

— Вот я стою на высотах, озирая сползающую армию! Ко мне! Ко мне! Велико мое воинство! Актерики, мечтающие о славе! Несчастные любовники! Старые девы! Счетоводы! Честолюбцы! Дураки! Рыцари! Трусы! Ко мне! Пришел король ваш, Иван Бабичев! Еще не настало время,— скоро, скоро мы выступим... Сползайте, воинство!

Он швырнул кружку и, выхватив из чьих-то рук гармонию, распустил ее по брюху. Стон, извлеченный им, вызвал бурю; под потолок взлетели бумажные салфетки...

Из-за прилавка спешили люди в фартуках и клеенчатых манжетах.

— Пива! Пива! Дайте нам еще пива! Дайте нам бочку пива! Мы должны выпить за великие события!

Но больше пива не дали, компанию вытолкали в темь и проповедника Ивана гнали вслед — самого маленького из них, тяжелого, трудно поддающегося выпроваживанию человека. От упорства и гнева он внезапно обрел тяжесть и мертвенную неподвижность железной нефтяной бочки.

Постыдно нахлобучили на него котелок.

По улице он шел, шатаясь в разные стороны,— точно передавали его из рук в руки,— и жалобно не то пел, не то выл, смущая прохожих.

— Офелия! — пел он.— Офелия! — Одно только это слово; оно носилось над его путем, казалось, летело оно над улицами быстро выплетающей самое себя, сияющей восьмеркой.

В ту ночь он посетил своего знаменитого брата. За столом сидели двое. Один напротив другого. Посередине стояла лампа под зеленым абажуром. Сидел брат Андрей и Володя. Володя спал, положив голову на книгу. Иван, пьяный, устремился к дивану. Он долго мучился, пытаясь подвинуть диван под себя, как подвигают стул.

— Ты пьян, Ваня,— сказал брат.

— Я тебя ненавижу,— ответил Иван.— Ты идол.

— Как тебе не стыдно, Ваня! Ложись, спи. Я тебе дам подушку. Сними котелок.

— Ты не веришь ни одному моему слову. Ты — тупица, Андрей! Не перебивай меня. Иначе я разобью абажур о Володину голову. Молчи. Почему ты не веришь в существование «Офелии»? Почему ты не веришь, что я изобрел удивительную машину?

— Ты ничего не изобрел, Ваня! Это у тебя навязчивая идея. Ты нехорошо шутишь. Ну как тебе не стыдно, а? Ведь ты меня за дурака считаешь. Ну что это за машина? Ну разве может быть такая машина? И почему «Офелия»? И почему ты котелок носишь? Что ты — старьевщик или посол?

Иван помолчал. Потом, как бы разом протрезвев, он поднялся и, сжимая кулаки, пошел на брата:

— Не веришь? Не веришь? Андрей, встань, когда с тобой говорит вождь многомиллионной армии. Ты смеешь мне не верить? Ты говоришь, такой машины нет? Андрей, обещаю тебе: ты погибнешь от этой машины.

— Не бузи,— ответил брат,— ты разбудишь Володю.

— Плевать на твоего Володю. Я знаю, я знаю твои планы. Ты хочешь мою дочь отдать Володе. Ты хочешь вывести новую породу. Моя дочь — не инкубатор. Ты ее не получишь. Я не отдам ее Володе. Собственными руками я ее задушу.

Он сделал паузу и с поигрыванием в уголке глаза, засунув руки в карманы и как будто подняв руками брюшко, которое выпятилось, сказал полным ехидства тоном:

— Ты ошибаешься, братец! Ты самому себе очки втираешь. Хо-хо, миляга. Ты думаешь, что Володю ты любишь, потому что Володя новый человек? Дудки, Андрюша, дудки... Не то, Андрюша, не то... Совсем другое.

— Что же? — спросил грозно Андрей.

— Просто стареешь ты, Андрюша! И просто тебе сын нужен. И просто отцовские ты питаешь чувства. Семья — она вечна, Андрей! А символизация нового мира в образе малозамечательного юноши, известного только на футбольном поприще,— это чепуха...

Володя поднял голову.

— Привет Эдисону нового века! — воскликнул Иван.— Ура! — и пышно раскланялся.

Володя молча смотрел на него. Иван хохотал.

— Что ж, Эдисон? И ты не веришь, что есть такая «Офелия»?

— Вас, Иван Петрович, надо посадить на Канатчикову дачу,— сказал, зевая, Володя.

Андрей издал короткое ржанье.

Тогда проповедник швырнул котелок на пол.

— Хамы! — крикнул он. И после паузы: — Андрей! Ты позволяешь? Почему ты позволяешь приемышу оскорблять твоего брата?

Тут Иван не увидел глаз брата,— увидел Иван только блеск стекол.

— Иван,— сказал Андрей.— Прошу тебя никогда ко мне не приходить. Ты не сумасшедший. Ты скотина.

III

Пошли разговоры о новом проповеднике.

Из пивных перекинулся слух в квартиры, прополз по черным ходам в общие кухни,— в час утренних умываний, в час разжигания примусов люди, следящие за норовящим сбежать молоком, и другие, пляшущие под краном, трепали сплетню.

Слух проник в учреждения, в дома отдыха, на рынки.

Сочинен был рассказ о том, как пришел на свадьбу к инкассатору, на Якиманку, неизвестный гражданин (в котелке, указывались подробности, потертый, подозрительный человек — не кто иной, как он, Бабичев Иван) и, представ перед всеми в самом разгаре пира, потребовал внимания, с тем чтобы произнести речь — обращение к новобрачным. Он сказал:

— Не надо любить вам друг друга. Не надо соединяться. Жених, покинь невесту! Какой плод принесет вам ваша любовь? Вы произведете на свет своего врага. Он сожрет вас.

Жених полез будто в драку. Невеста грохнулась оземь. Гость удалился в большой обиде, и тотчас же будто обнаружилось, что портвейн во всех бутылках, стоявших на пиршественном столе, превратился в воду.

Выдумана была и другая удивительная история.

Проезжал будто по очень шумному месту (одни называли Неглинный у Кузнецкого моста, другие — Тверскую у Страстного монастыря) автомобиль, в котором сидел солидный гражданин, полный, краснощекий, с портфелем на коленях.

И как будто выбежал из толпы с тротуара его брат Иван, тот самый, знаменитый человек. Он, завидев катящего брата, стал на пути машине, распахнув руки, как стоит огородное чучело или как останавливают, пугая, понесшую лошадь. Шофер успел замедлить ход. Он подавал сигналы, продолжая медленно накатываться, но чучело не сходило с дороги.

— Стой! — воскликнул во весь голос человек.— Стой, комиссар. Стой, похититель чужих детей!

И ничего не оставалось шоферу, как затормозить. Поток движения осекся. Чуть ли не вздыбились многие машины, налетев на переднюю, а автобус, заревев, остановился, весь придя в беспокойство, готовый покориться, поднять слоновьи свои шины и попятиться...

Распростертые руки стоящего на мостовой требовали тишины.

И все смолкло.

— Брат,— проговорил человек.— Почему ты ездишь в автомобиле, а я хожу пешком? Открой дверцу, отодвинься, впусти меня. Мне тоже не подобает ходить пешком. Ты вождь, но я вождь также.

И действительно, на эти слова подбежали к нему с разных сторон люди, из автобуса выскочили некоторые, другие покинули окрестные пивные, с бульвара примчались третьи,— и тот, сидевший в автомобиле, брат, поднявшись, громадный, увеличившийся от стояния в автомобиле, увидел перед собой живую баррикаду.

Грозный вид его был таков, что казалось, он сейчас шагнет и пойдет по машине, по спине шофера, на них, на баррикаду, сокрушающим — на всю высоту улицы — столбом...

А Ивана — точно подняли на руки: он вознесся над толпой приверженцев, покачивался, проваливался, выдергивался; котелок его съехал на затылок, и открылся большой, ясный, усталого человека лоб.

И стащил его брат Андрей с высоты, схватив за штаны на животе жменей. Так он и швырнул его милиционеру.

— В ГПУ! — сказал он.

Едва произнесено было волшебное слово, как все, встрепенувшись, вышло из летаргии: сверкнули спицы, втулки завертелись, захлопали двери, и все те действия, которые начаты были до летаргии, получили свое дальнейшее развитие.

Иван находился под арестом десять дней.

Когда ему вернули свободу, друзья собутыльники спросили его, правда ли, что был он арестован братом на улице при столь удивительных обстоятельствах. Он хохотал.

— Это ложь. Легенда. Просто в пивной меня задержали. Полагаю, что давно уже было за мной наблюдение. Но, однако, хорошо, что уже сочиняются легенды. Конец эпохи, переходное время, требует своих легенд и сказок. Что же, я счастлив, что буду героем одной из таких сказок. И будет еще одна легенда: о машине, носившей имя «Офелия»...

Эпоха умрет с моим именем на устах. К тому и прилагаю я свои старания.

Его отпустили, пригрозив высылкой.

Что могли инкриминировать ему в ГПУ?

— Вы называли себя королем? — спросил его следователь.

— Да... королем пошляков.

— Что это значит?

— Видите ли, я открываю глаза большой категории людей...

— На что вы открываете им глаза?

— Они должны понять свою обреченность.

— Вы сказали: большая категория людей. Кого вы подразумеваете под этой категорией?

— Всех тех, кого вы называете упадочниками. Носителей упадочных настроений. Разрешите, я объясню подробней.

— Я буду вам благодарен.

— ...целый ряд человеческих чувств кажется мне подлежащим уничтожению...

— Например? Чувства...

— ...жалости, нежности, гордости, ревности, любви — словом, почти все чувства, из которых состояла душа человека кончающейся эры. Эра социализма создаст взамен прежних чувствований новую серию состояний человеческой души.

— Так-с.

— Я вижу, вы не понимаете меня. Гонениям подвергается коммунист, ужаленный змеей ревности. И жалостливый коммунист тоже подвергается гонениям. Лютик жалости, ящерица тщеславия, змея ревности — эта флора и фауна должна быть изгнана из жизни нового человека.

...вы меня извините, я говорю несколько красочно, вам покажется: витиевато? Вам не трудно? Благодарю вас. Воды? Нет, я не хочу воды... Я люблю говорить красиво...

...знаем мы, что могила комсомольца, наложившего на себя руки, украшается, вперемежку с венками, также и проклятиями соратников. Человек нового мира говорит: самоубийство есть акт упадочнический. А человек старого мира говорил: он должен был покончить с собой, чтобы спасти свою честь. Таким образом, видим мы, что новый человек приучает себя презирать старинные, прославленные

поэтами и самой музой истории чувства. Ну вот-с. Я хочу устроить последний парад этих чувств.

— Это и есть то, что вы называете заговором чувств?

— Да. Это и есть заговор чувств, во главе которого стою я.

— Продолжайте.

— Да. Я хотел бы объединить вокруг себя некую труппу... Понимаете ли вы меня?

...видите ли, можно допустить, что старинные чувства были прекрасны. Примеры великой любви, скажем, к женщине или отечеству. Мало ли что! Согласитесь, кое-что из воспоминаний этих волнует и до сих пор. Ведь правда? И вот хотелось бы мне...

...знаете, бывает, электрическая лампочка неожиданно тухнет. Перегорела, говорите вы. И эту перегоревшую лампочку если встряхнуть, то она вспыхнет снова и будет еще гореть некоторое время. Внутри лампы происходит крушение. Вольфрамовы нити обламываются, и от соприкосновения обломков лампе возвращается жизнь. Короткая, неестественная, нескрываемо обреченная жизнь — лихорадка, слишком яркий накал, блеск. Затем наступит тьма, жизнь не вернется, и во тьме лишь будут позванивать мертвые, обгоревшие нити. Вы понимаете меня? Но короткий блеск прекрасен!

...Я хочу встряхнуть...

...Я хочу встряхнуть сердце перегоревшей эпохи. Лампу-сердце, чтобы обломки соприкоснулись...

...и вызвать мгновенный прекрасный блеск...

...я хочу найти представителей оттуда, из того, что называете вы старым миром. Те чувства я имею в виду: ревность, любовь к женщине, честолюбие. Глупца я хочу найти такого, чтоб показать вам: вот, товарищи, представитель того человеческого состояния, которое называется «глупость».

...многие характеры разыгрывали комедию старого мира. Занавес закрывается. Персонажи должны сбежаться к авансцене и пропеть последние куплеты. Я хочу быть посредником между ними и зрительным залом. Я буду дирижировать хором и последним уйду со сцены.

...мне выпала честь провести последним парадом старинные человеческие страсти...

...в глазные прорези маски мерцающим взглядом следит за нами история. И я хочу показать ей: вот влюбленный, вот честолюбец, вот предатель, вот безрассудный храбрец,

вот верный друг, вот блудный сын,— вот они, носители великих чувств, ныне признанных ничтожными и пошлыми. Пусть в последний раз, прежде чем исчезнуть, прежде чем подвергнуться осмеянию, пусть проявятся они в высоком напряжении.

...Я слушаю чужой разговор. О бритве говорят. О безумце, перерезавшем себе горло. Тут же порхает женское имя. Он не умер, безумец, горло ему зашили,— и снова полоснул он по тому же месту. Кто ж он? Покажите его, он нужен мне, я ищу его. И ее ищу. Ее, демоническую женщину, и его, трагического любовника. Но где его искать? В больнице Склифосовского? А ее? Кто она? Конторщица? Нэпманша?

...мне очень трудно найти героев...

...героев нет...

...я заглядываю в чужие окна, поднимаюсь по чужим лестницам. Порой я бегу за чужой улыбкой, вприпрыжку, как за бабочкой бежит натуралист! Мне хочется крикнуть: «Остановитесь! Чем цветет тот куст, откуда вылетел непрочный и опрометчивый мотылек вашей улыбки? Какого чувства этот куст? Розовый шиповник грусти или смородина мелкого тщеславия? Остановитесь! Вы нужны мне...»

...я хочу собрать вокруг себя множество. Чтобы иметь выбор и выбрать лучших, ярчайший из них, сделать ударную, что ли группу... группу чувств.

...да, это заговор, мирное восстание. Мирная демонстрация чувств.

...скажем, где-нибудь отыщу я полнокровного, стопроцентного честолюбца. Я скажу ему: «Проявись! Покажи тем, что затирают тебя, покажи им, что есть честолюбие. Соверши поступок, о котором сказали бы: «О, подлое честолюбие! о, какова сила честолюбия!» Или, скажем, посчастливится мне найти идеального легкомысленного человека. И также я попрошу его: «Проявись, покажи силу легкомыслия, чтобы зрители всплеснули руками».

...гении чувств завладевают душами. Одной душой правит гений гордости, другой — гений сострадания. Я хочу извлечь их, этих бесов, и выпустить их на арену.

Следователь. И что же вам, удавалось уже найти кого-либо?

Иван. Я долго звал, долго искал. Это очень трудно. Быть может, меня не понимают. Но одного я нашел.

Следователь. Кого именно?

Иван. Вас интересует чувство, носителем которого он является, или его имя?

Следователь. И то и другое.

Иван. Николай Кавалеров. Завистник.

IV

Они отошли от зеркала.

Теперь уж два комика шли вместе. Один, пониже и потолще, опережал на шаг другого. Это была особенность Ивана Бабичева. Разговаривая со спутником, он принужден был постоянно оглядываться. Если приходилось произносить ему длинную фразу (а фразы его никогда не бывали короткими), то не раз, шагая с лицом, повернутым на спутника, он натыкался на встречных. Тогда немедленно срывал он котелок и рассыпался в высокопарных извинениях. Человек он был учтивый. С лица его не сходила приветливая улыбка.

День сворачивал лавочку. Цыган, в синем жилете, с крашеными щеками и бородой, нес, подняв на плечо, чистый медный таз. День удалялся на плече цыгана. Диск таза был светел и слеп. Цыган шел медленно, таз легко покачивался, и день поворачивался в диске.

Путники смотрели вслед.

И диск зашел, как солнце. День окончился.

Путники тотчас завернули в пивную.

Кавалеров рассказал Ивану о том, как выгнало его из своего дома значительное лицо. Имени он не назвал. Иван рассказал ему о том же: и его выгнало значительное лицо.

— И вы его, наверное, знаете. Его знают все. Это брат мой, Андрей Петрович Бабичев. Слышали?

Кавалеров, покраснев, опустил глаза. Он ничего не ответил.

— Таким образом, судьба наша схожа, и мы должны быть друзьями,— сказал Иван, сияя.— А фамилия Кавалеров мне нравится: она высокопарна и низкопробна.

Кавалеров подумал: «Я и есть высокопарный и низкопробный».

— Прекрасное пиво! — воскликнул Иван.— Поляки говорят: у нее глаза пивного цвета. Не правда ли, хорошо?

...Но самое главное то, что этот знаменитый человек, брат мой, украл у меня дочь...

...Я отомщу брату моему.

...Он украл у меня дочь. Ну, не буквально украл, конечно... Не делайте, Кавалеров, больших глаз. И нос бы не мешало вам сделать меньше. С толстым носом вы должны быть знамениты, как герой, чтобы быть счастливым, как простой обыватель. Он оказал на нее моральное воздействие. А ведь за это судить можно? К прокурору, а? Она покинула меня. Я даже не так обвиняю Андрея, как ту сволочь, которая живет при нем.

Он рассказал о Володе.

У Кавалерова на ногах шевелились от смущения большие пальцы.

— ...Этот мальчишка испортил мне жизнь. О, если бы на футболе отбили ему почки! Андрей слушается его во всем. Он, тот мальчишка, видите ли,— новый человек! Мальчишка сказал, что Валя несчастна, потому что я, отец,— сумасшедший и что я (сволочь) систематически свожу ее с ума. Сволочь! Они вместе уговаривали ее. И Валя сбежала. Какая-то подруга приютила ее.

...Я проклял подругу эту. Я пожелал ей, чтоб пищевод ее и прямая кишка поменялись местами. Представляете себе такую картину? Это компания твердолобых...

...женщина была лучшим, прекраснейшим, чистейшим светом нашей культуры. Я искал существо женского пола. Я искал такое существо, в котором соединились бы все женские качества. Я искал завязь женских качеств. Женское — было славой старого века. Я хотел блеснуть этим женским. Мы умираем, Кавалеров. Я хотел, как факел, пронести над головой женщину. Я думал, что женщина потухнет вместе с нашей эрой. Тысячелетия стоят выгребной ямой. В яме валяются машины, куски чугуна, жести, винты, пружины... Темная, мрачная яма. И светятся в яме гнилушки, фосфоресцирующие грибки — плесень. Это наши чувства! Это все, что осталось от наших чувств, от цветения наших душ. Новый человек приходит к яме, шарит, лезет в нее, выбирает, что ему нужно,— какая-нибудь часть машины пригодится, гаечка,— а гнилушку он затопчет, притушит. Я мечтал найти женщину, которая расцвела бы в этой яме небывалым чувством. Чудесным цветением папоротника. Чтобы новый человек, пришедший воровать наше железо, испугался, отдернул руку, закрыл глаза, ослепленный светом того, что ему казалось гнилушкой.

...Я нашел такое существо. Возле себя. Валю. Я думал, что Валя просияет над умирающим веком, осветит ему путь на великое кладбище. Но я ошибся. Она выпорхнула.

Она бросила изголовье старого века. Я думал, что женщина — это наше, что нежность и любовь — это только наше, но вот... я ошибся. И вот блуждаю я, последний мечтатель земли, по краям ямы, как раненый нетопырь...

Кавалеров подумал: «Я вырву у них Валю». Ему хотелось сказать, что он был свидетелем происшествия в переулке, где цвела изгородь. Но почему-то он удержался.

— Наша судьба схожа,— продолжал Иван.— Дайте мне вашу руку. Так. Приветствую вас. Очень рад вас видеть, молодой человек. Чокнемся. Так вас прогнали, Кавалеров? Расскажите, расскажите. Впрочем, вы уже рассказывали. Очень важное лицо вас выставило? Вы не хотите назвать имени? Ну ладно. Вы очень ненавидите этого человека?

Кавалеров кивает.

— Ах, как понятно мне все, мой милый! Вы, насколько я понял вас, нахамили власть имущему человеку. Не перебивайте меня. Вы возненавидели всеми признанного человека. Вам кажется, конечно, что это он обидел вас. Не перебивайте меня. Пейте.

...вы уверены, что это он мешает вам проявиться, что он захватил ваши права, что там, где нужно, по вашему мнению, господствовать вам, господствует он. И вы беситесь...

В дыму парит оркестр. Лежит бледное лицо скрипача на скрипке.

— Скрипка похожа на самого скрипача,— говорит Иван.— Этот маленький скрипач в деревянном фраке. Слышите? Поет дерево. Слышите голос дерева? Дерево в оркестре поет разными голосами. Но как они скверно играют! Боже, как скверно они играют!

Он оборотился к музыкантам.

— Вы думаете, барабан у вас? Вы думаете, барабан исполняет свою партию? Нет, это бог музыки стучит на вас кулаком.

...мой друг, нас гложет зависть. Мы завидуем грядущей эпохе. Если хотите, тут зависть старости. Тут зависть впервые состарившегося человеческого поколения. Поговорим о зависти. Дайте нам еще пива...

Они сидели у широкого окна.

Еще раз прошел дождь. Был вечер. Город сверкал, точно высеченный из угля кардифа. Люди заглядывали в окно с Самотеки, прижимая носы.

— ...да, зависть. Тут должна разыграться драма, одна из тех грандиозных драм на театре истории, которые долго

вызывают плач, восторги, сожаления и гнев человечества. Вы, сами того не понимая, являетесь носителем исторической миссии. Вы, так сказать, сгусток. Вы сгусток зависти погибающей эпохи. Погибающая эпоха завидует тому, что идет ей на смену.

— Что же мне делать? — спросил Кавалеров.

— Милый мой, тут надо примириться или... устроить скандал. Или надо уйти с треском. Хлопните, как говорится, дверью. Вот самое главное: уйдите с треском. Чтоб шрам остался на морде истории,— блесните, черт вас подери! Ведь все равно вас не пустят туда. Не сдавайтесь без боя... Я хочу вам рассказать один случай из моего детства...

...Был устроен бал. Дети разыгрывали пьесу, исполняли балет на специально устроенной в большой гостиной сцене. И девочка... представляете ли себе? — такая типичная девочка, двенадцати лет, тонконожка в коротком платьице, вся розовая, атласная, расфуфыренная,— ну, знаете, в целом, со своими оборочками, бантами, похожая на цветок, известный под именем «львиной пасти»; красотка, высокомерная, балованная, потряхивающая локонами,— вот такая девочка хороводила на том балу. Она была королевой. Она делала все, что хотела, все восхищались ею, все шло от нее, все стягивались к ней. Она лучше всех танцевала, пела, прыгала, придумывала игры. Лучшие подарки попали к ней, лучшие конфеты, цветы, апельсины, похвалы... Мне было тринадцать лет, я был гимназистом. Она затерла меня. А между тем я тоже привык к восторгам, я тоже был избалован поклонением. У себя в классе и я главенствовал, был рекордсменом. Я не вытерпел. Я поймал девчонку в коридоре и поколотил ее, оборвал ленты, пустил локоны по ветру, расцарапал прелестную ее физиономию. Я схватил ее за затылок и несколько раз стукнул ее лбом о колонну. В тот момент я любил эту девчонку больше жизни, поклонялся ей — и ненавидел всеми силами. Разодрав красоткины кудри, я думал, что опозорю ее, развею ее розовость, ее блеск, и думал, что исправлю допущенную всеми ошибку. Но ничего не вышло. Позор упал на меня. Я был изгнан. Однако, мой милый, обо мне помнили весь вечер; однако бал я испортил им; однако обо мне говорили везде, где появлялась красотка... Так впервые познал я зависть. Ужасна изжога зависти. Как тяжело завидовать! Зависть сдавливает горло спазмой, выдавливает глаза из орбит. Когда терзал я ее там, в коридоре, жертву пойманную, слезы катились из моих глаз, я захлебывался,— и все-таки я рвал восхитительную ее

одежду, содрогаясь от прикосновения к атласу,— оно вызывало почти оскомину на зубах и губах. Вы знаете, что такое атлас, ворс атласа,— вы знаете, как прикосновение к нему пронизывает позвоночник, всю нервную систему, какие вызывает гримасы! Так все силы восстали на меня в защиту скверной девчонки. Оскомина, яд, таившийся в кустах и корзинах, вытек из того, что казалось таким очаровательно невинным в гостиной,— из ее платья, из розового, такого сладкого для глаз атласа. Не помню, издавал ли я какие-либо возгласы, совершая свою расправу. Должно быть, я шептал: «Вот тебе месть! Не затирай! Не забирай того, что может принадлежать мне...»

...Вы внимательно прослушали меня? Я хочу провести некоторую аналогию. Я имею в виду борьбу эпох. Конечно, на первый взгляд сравнение покажется легкомысленным. Но вы понимаете меня? Я говорю о зависти.

Оркестранты закончили номер.

— Ну, слава богу,— сказал Иван.— Они умолкли. Смотрите: виолончель. Она блестела гораздо менее до того, как за нее взялись. Долго терзали ее. Теперь она блестит, как мокрая,— прямо-таки освеженная виолончель. Надо записывать мои суждения, Кавалеров. Я не говорю — я высекаю свои слова на мраморе. Не правда ли?..

...Мой милый, мы были рекордсменами, мы тоже избалованы поклонением, мы тоже привыкли главенствовать там... у себя... Где у себя?.. Там, в тускнеющей эпохе. О, как прекрасен поднимающийся мир! О, как разблистается праздник, куда нас не пустят! Все идет от нее, от новой эпохи, все стягивается к ней, лучшие дары и восторги получит она. Я люблю его, этот мир, надвигающийся на меня, больше жизни, поклоняюсь ему и всеми силами ненавижу его! Я захлебываюсь, слезы катятся из моих глаз градом, но я хочу запустить пальцы в его одежду, разодрать. Не затирай! Не забирай того, что может принадлежать мне...

...Мы должны отомстить. И вы и я — нас многие тысячи,— мы должны отомстить. Кавалеров, не всегда враги оказываются ветряными мельницами. Иногда то, что так хотелось бы принять за ветряную мельницу,— есть враг, завоеватель, несущий гибель и смерть. Ваш враг, Кавалеров,— настоящий враг. Отомстите ему. Верьте мне, мы уйдем с треском. Мы собьем спеси молодому миру. Мы тоже не лыком шиты. Мы тоже были баловнями истории.

...Заставьте о себе говорить, Кавалеров. Ясно: все идет к гибели, все предначертано, выхода нет,— вам погибать,

толстоносый! Каждая минута будет умножать унижения, с каждым днем будет расцветать, как лелеемый юноша, враг. Погибать: это ясно. Так обставьте ж свою гибель, украсьте ее фейерверком, порвите одежду тому, кто затирает вас, попрощайтесь так, чтоб ваше «до свиданья» раскатилось по векам.

Кавалеров подумал: «Он читает мои мысли».

— Вас обидели? Вас выгнали?

— Меня страшно обидели,— горячо сказал Кавалеров,— меня долго унижали.

— Кто обидел вас? Один из избранников эпохи?

«Ваш брат,— хотел крикнуть Кавалеров,— тот же, кто обидел и вас». Но он промолчал.

— Вам повезло. Вы не знаете в лицо завоевателя. У вас есть конкретный враг. И у меня тоже.

— Что же мне делать?

— Вам повезло. Вы расплату за себя можете соединить с расплатой за эпоху, которая была вам матерью.

— Что же мне делать?

— Убейте его. Почетно оставить о себе память как о наемном убийце века. Прищемите вашего врага на пороге двух эпох. Он кичится, он уже там, он уже гений, купидон, вьющийся со свитком у ворот нового мира, он уже, задрав нос, не видит вас,— тресните его на прощанье. Благословляю вас. И я (Иван поднял кружку), и я тоже уничтожу своего врага. Выпьем, Кавалеров, за «Офелию». Это орудие моей мести.

Кавалеров открыл рот, чтобы сообщить главное: у нас общий враг, вы благословили меня на убийство вашего брата,— но не сказал ни слова, потому что к столу их подошел человек, пригласивший Ивана, немедленно и не задавая вопросов, следовать за ним. Он был арестован, о чем известно из предыдущей главы.

— До свидания, мой милый,— сказал Иван,— меня ведут на Голгофу. Пойдите к дочке моей (он назвал переулок, уже давно блиставший в памяти Кавалерова), пойдите и посмотрите на нее. Вы поймете, что если такое создание изменило нам, то остается одно: месть.

Он допил пиво и пошел впереди таинственного человека на шаг.

По дороге подмигивал он посетителям, расточал улыбки, заглянул в раструб кларнета и у самых дверей повернулся и, держа котелок в вытянутой руке, продекламировал:

Ведь я не шарлатан немецкий,
И не обманщик я людей!
Я — скромный фокусник советский,
Я — современный чародей!

V

— Что ты смеешься? Ты думаешь, я хочу спать? — спросил Володя.

— Да я не смеюсь. Я кашляю.

И Володя снова засыпал, добравшись до стула.

Молодой уставал раньше. Тот, старший — Андрей Бабичев,— был гигант. Он работал день, работал половину ночи. Андрей ударял кулаком по столу. Абажур на лампе подскакивал, как крышка на чайнике, но тот спал. Абажур прыгал. Андрей вспоминал: Джемс Уатт смотрит на крышку чайника, прыгающую над паром.

Известная легенда. Известная картинка.

Джемс Уатт изобрел паровую машину.

— Что же ты изобретаешь, мой Джемс Уатт? Какую машину изобретаешь ты, Володя? Какую новую тайну природы обнаружишь ты, новый человек?

И тут начинался разговор Андрея Бабичева с самим собой. На самое короткое время бросал он работу и, глядя на спящего, думал:

«А может быть, Иван прав? Может быть, я просто обыкновенный обыватель и семейное живет во мне? Потому ли он дорог мне, что с детских лет живет со мной, я просто привык к нему, полюбил, как сына? Только ли потому? Так ли просто? А если бы был он тупица? То, ради чего я живу, сосредоточилось в нем. Мне посчастливилось. Жизнь нового человечества далека. Я верю в нее. И мне посчастливилось. Вот он заснул так близко от меня, прекрасный мой новый мир. Новый мир живет в моем доме. Я души в нем не чаю. Сын? Опора? Закрыватель век? Неправда! Не это мне нужно! Я не хочу умирать на высокой постели, на подушках. Я знаю: масса, а не семья примет мой последний вздох. Чепуха! Как мы лелеем тот новый мир, так я лелею его. И он дорог мне, как воплотившаяся надежда. Я выгоню его, если обманусь в нем, если он не новый, не совсем отличный от меня, потому что я еще стою по брюхо в старом и уже не вылезу. Я выгоню его тогда: мне не нужен сын, я не отец, и он не сын, мы не семья. Я тот, что верил в него, а он тот, что оправдал веру.

Мы не семья, мы — человечество?

Значит, что же? Значит, человеческое чувство отеческой любви надо уничтожить? Почему же он любит меня, он, новый? Значит, там, в новом мире, будет тоже цвести любовь между сыном и отцом? Тогда я получаю право ликовать: тогда я вправе любить его и как сына, и как нового человека. Иван, Иван, ничтожен твой заговор. Не все чувства погибнут. Зря ты бесишься, Иван!»

Давным-давно, в темную ночь, проваливаясь в овраги, по колено в звездах, спугивая звезды с кустарников, бежали двое: комиссар и мальчик. Мальчик спас комиссара. Комиссар был огромен, мальчик — крошка. Увидевшие подумали б: бежит один — великан, припадающий к земле, и мальчика приняли б за ладонь великана.

Они соединились навсегда.

Мальчик жил при великане, рос, вырос, стал комсомольцем и стал студентом. Он родился в железнодорожном поселке, был сын ремонтного литейного рабочего.

Его полюбили товарищи, его полюбили взрослые. Его иногда беспокоило то, что он всем нравится,— это порой казалось ему незаслуженным и ошибочным. Чувство товарищества было в нем самым сильным. Как бы заботясь о каком-то равновесии и пытаясь исправить какую-то неправильность, допущенную природой в распределении даров, он иногда прибегал даже к ухищрениям с целью как-нибудь сгладить впечатление о себе, снизить его, спешил потушить свой блеск.

Ему хотелось вознаградить менее удачливых сверстников своей преданностью, готовностью к самопожертвованию, пылким проявлением дружбы, отысканием в каждом из них замечательных черт и способностей. Его общество толкало товарищей к соревнованию.

— Я думал, почему злятся люди или обижаются,— сказал он.— У таких людей нет понятия о времени. Тут незнакомство с техникой. Время — ведь это тоже понятие техническое. Если бы все были техниками, то исчезли бы злоба, самолюбие и все мелкие чувства. Ты улыбаешься? Понимаешь ли: нужно понимать время, чтобы освободиться от мелких чувств. Обида, скажем, продолжается час или год. У них хватает воображения на год. А на тысячу лет они не разгонятся. Они видят только три-четыре деления на циферблате, ползут, тычутся... Куда им! Всего циферблата не охватят. Да вообще: скажи им, что есть циферблат,— не поверят!

— Так почему же только мелкие чувства? Ведь и высокие чувства коротки. Ну... великодушие?

— Видишь ли. Ты меня вот послушай. В великодушии есть какая-то правильность... техническая. Ты не улыбайся. Да, да. Нет, в самом деле... я, кажется, запутался. Ты меня смущаешь. Нет, подожди! Революция была... ну, как? Конечно, очень жестокая. Хо! Но ради чего она злобствовала? Была она великодушна, верно? Добра была — для всего циферблата... Верно? Надо обижаться не в промежутке двух делений, а во всем круге циферблата... Тогда нет разницы между жестокостью и великодушием. Тогда есть одно: время. Железная, как говорится, логика истории. А история и время одно и то же, двойники. Не смейся, Андрей Петрович. Я говорю: главным чувством человека должно быть понимание времени.

Он сказал также:

— Я собью спеси буржуазному миру. Они издеваются над нами. Старики брюзжат: где ваши новые инженеры, хирурги, профессора, изобретатели? Я соберу большую группу товарищей, человек сто. Мы организуем союз. По сбиванию спеси буржуазному миру. Ты думаешь, я хвастаю? Ты ничего не понимаешь. Я вовсе не заношусь. Мы будем работать как звери. Вот увидишь. К нам приедут кланяться. И Валя будет в этом союзе.

Он проснулся.

— Видел сон,— засмеялся он,— будто я с Валькой сидим на крыше и смотрим в телескоп на луну.

— Что? А? Телескоп?

— И я ей говорю: «Вон там, внизу, «море кризисов». А она спрашивает: «Море крыс?»

В тот год весной Володя уехал на короткий срок повидаться с отцом в город Муром. Отец работал в муромских паровозостроительных мастерских. Прошло два дня разлуки, и в ночь на третий день ехал Андрей домой. На повороте шофер уменьшил скорость, светало, и Андрей увидел лежащего под стеной человека.

Напоминание об отсутствующем слетело к нему с того, лежащего на решетке. Оно приказало ему дернуться и нагнуться к шоферу. «Да ничего же нет между ними общего!» — едва не воскликнул Андрей. И действительно, никакого не было сходства между лежащим и отсутствующим. Просто он живо представил себе Володю. Он подумал: «А вдруг что-либо заставило Володю принять такую же жалкую позу». И просто он сделал глупость, дал разыграться чувствительности. Машина остановилась.

Николай Кавалеров был поднят, были выслушаны бредовые его слова.

Андрей привез его к себе, втащил на третий этаж и уложил на диване Володи, устроил ему постель и укрыл пледом по шею; тот лежал навзничь с вафельным следом решетки на щеке. Хозяин отошел ко сну в благодушии: диван не пустовал.

В ту же ночь ему приснилось, что молодой человек повесился на телескопе.

VI

В комнате Анечки Прокопович стояла замечательная кровать — из дорогого, покрытого темно-вишневым лаком дерева, с зеркальными арками на внутренней стороне спинок.

Однажды, в глубоко мирный год, на народном гулянье, под звуки фанфар, обсыпаемый конфетти, взошел на деревянный помост Анечкин муж и, предъявив лотерейный билет, получил от распорядителя квитанцию на право владения замечательной кроватью. Ее увезли гужевым способом. Свистали мальчишки.

Голубое небо отражалось в движущихся зеркальных арках, точно открывались и медленно опускались веки прекрасных глаз.

Семейство жило, развалилось,— кровать прошла через все невзгоды.

Кавалеров живет в углу за кроватью.

Он пришел к Анечке и сказал:

— Тридцать рублей в месяц я могу вам платить за угол.

Анечка, протяжно улыбнувшись, согласилась.

Деваться ему было некуда. В его прежней комнате крепко поселился новый жилец. Страшную кровать Кавалеров продал за четыре рубля, и она со стонами покинула его.

На орган походила Анечкина кровать. Полкомнаты было занято ею. Вершины ее таяли в сумраке потолка.

Кавалеров думал:

«Будь я ребенок, Анечкин маленький сын,— сколько поэтических, волшебных построений создал бы мой детский ум, отданный во власть зрелищу такой необычайной вещи! Теперь я взрослый, и теперь лишь общие контуры и лишь кой-какие детали улавливаю я, а тогда я умел бы...

...А тогда, не подчиняясь ни расстояниям, ни масштабам, ни времени, ни весу, ни тяготению, я ползал бы в коридорах, образовавшихся от пустоты между рамой пружинного матраца и бортами кровати; таился бы за колоннами, что теперь кажутся мне не больше мензурок; воображаемые катапульты устанавливал бы на барьерах ее и стрелял бы по врагам, теряющим силы в бегстве по мягкой, засасывающей почве одеяла; устраивал бы под зеркальной аркой приемы послов, как король только что прочитанного романа; отправлялся бы в фантастические путешествия по резьбе — все выше и выше — по ногам и ягодицам купидонов, лез бы по ним, как лезут по статуе Будды, не умея охватить ее взором, и с последней дуги, с головокружительной высоты, срывался бы в страшную пропасть, в ледовитую пропасть подушек...»

Иван Бабичев ведет Кавалерова по зеленому валу... Одуванчики летят из-под ног, плывут,— и плавание их есть динамическое отображение зноя... От зноя Бабичев бледнеет. Полное лицо его блестит, зной точно лепит маску с его лица.

— Сюда! — командует он.

Окраина цветет.

Они пересекают пустырь, идут вдоль заборов; овчарки бесятся за заборами, гремят цепями. Кавалеров свистит, дразня овчарок,— но все возможно: вдруг какая-нибудь словчится, порвет цепь и перемахнет через забор,— и поэтому капсюля жути растворяется где-то под ложечкой у дразнящего.

Путники спускаются по зеленеющей покатости, почти на крыши красных домиков, на верхушки садов. Местность Кавалерову незнакома, и, даже видя перед собой Крестовские башни, он не может ориентироваться. Доносятся свистки паровозов, железнодорожный лязг.

— Я покажу вам мою машину,— говорил Иван, оглядываясь на Кавалерова.— Ущипните-ка себя... так... еще раз... и еще раз... Не сон? Нет? Помните: вы не спали. Помните: все было просто, мы шли с вами через пустырь, блестела никогда не высыхающая лужа, на частокол надеты были горшки; запомните, мой друг, замечательные вещи можно было отметить в мусоре по пути, под заборами в канавах: например, смотрите,— листок из книги,— нагнитесь, посмотрите, пока не унес его ветер,— видите: иллюстрации к Тарасу Бульбе», узнаете? Должно быть, из того вот окош-

ка выбросили обертку от чего-то съестного, и попал листок сюда. Далее — это что? Вечный традиционный башмак в канаве? Не стоит обращать на него внимания — это слишком академический образ запустения! Далее — бутылка... подождите, она еще цела, но завтра раздавит ее колесо телеги, и если вскоре после нас еще какой-нибудь мечтатель пройдет по нашему пути, то получит он полное удовольствие от созерцания знаменитого бутылочного стекла, знаменитых осколков, прославленных писателями за свойство внезапно вспыхивать среди мусора и запустения и создавать одиноким путникам всякие такие миражи... Наблюдайте, мой друг, наблюдайте... Вот пуговицы, обручи, вот лоскут бинта, вот вавилонские башенки окаменелых человеческих испражнений... Словом, друг мой,— обычный рельеф пустыря... Запоминайте. Все просто было. И я вел вас, чтобы показать вам свою машину. Ущипните себя. Так. Значит, не сон? Ну, ладно. А то потом — я знаю, что будет потом,— вы скажете, что вам нездоровилось, что слишком было жарко, что, возможно, многое просто почудилось вам от жары, усталости и так далее. Нет, мой друг, я требую, чтобы вы подтвердили, что вы находитесь в самом нормальном состоянии. То, что вы сейчас увидите, может ошеломить вас слишком сильно.

Кавалеров подтвердил:

— Я нахожусь в самом нормальном состоянии.

И был забор, дощатый невысокий заборчик.

— Она там,—сказал Иван.— Обождите. Присядем. Вот сюда, над овражком. Я говорю вам: моей мечтой была машина машин, универсальная машина. Думал я о совершенном орудии, надеялся я в одном небольшом аппарате сконцентрировать сотни различных функций. Да, мой друг. Прекрасная, благородная задача. Ради этого стоило стать фанатиком: у меня была мысль укротить мастодонта техники, сделать его ручным, домашним... Дать человеку такой рычажок, простой, знакомый, который не испугал бы его, был бы привычным, как дверная задвижка...

— Я ничего не понимаю в механике,— молвил Кавалеров,— я боюсь машин...

— И мне удалось. Слушайте меня, Кавалеров. Я изобрел такую машину.

(Забор манил, и, однако, вероятнейше допускалось, что никакой тайны нет за серыми обычными досками.)

— Она может взрывать горы. Она может летать. Она поднимает тяжести. Она дробит руду. Она заменяет

кухонную плиту, детскую коляску, дальнобойное орудие... Это сам гений механики...

— Отчего вы улыбаетесь, Иван Петрович?

(Иван поигрывал уголком глаза).

— Я цвету. Я не могу говорить о ней без того, чтобы сердце мое не прыгало, как яйцо в кипятке. Слушайте меня. Я наделил ее сотней умений. Я изобрел машину, которая умеет делать все. Понимаете ли вы? Сейчас вы увидите, но...

Он встал и, положив ладонь на плечо Кавалерова, торжественно сказал:

— Но я запретил ей. В один прекрасный день я понял, что мне дана сверхъестественная возможность отомстить за свою эпоху... Я развратил машину. Нарочно. Назло.

Он рассмеялся счастливым смехом.

— Нет, вы поймите, Кавалеров, какое великое удовлетворение. Величайшее создание техники я наделил пошлейшими человеческими чувствами! Я опозорил машину. Я отомстил за мой век, давший мне тот мозг, который лежит в моем черепе, мой мозг, придумавший удивительную машину... Кому ее оставить? Новому миру? Они жрут нас, как пищу,— девятнадцатый век втягивают они в себя, как удав втягивает кролика... Жуют и переваривают. Что на пользу — то впитывают, что вредит — выбрасывают... Наши чувства выбрасывают они, нашу технику — впитывают! Я мщу за наши чувства. Они не получат моей машины, не используют меня, не впитают моего мозга... Моя машина могла бы осчастливить новый век, сразу, с первых же дней, ввести в расцвет техники. Но вот — они не получат ее! Машина моя — это ослепительный кукиш, который умирающий век покажет рождающемуся. У них слюнки потекут, когда они увидят ее. Машина — подумайте — идол их, машина... и вдруг... И вдруг лучшая из машин оказывается лгуньей, пошлячкой, сентиментальной негодяйкой! Идемте... я покажу вам... Она, умеющая делать все,— она поет теперь наши романсы, глупые романсы старого века, и старого века собирает цветы. Она влюбляется, ревнует, плачет, видит сны... Я сделал это. Я насмеялся над божеством этих грядущих людей, над машиной. И я дал ей имя девушки, сошедшей с ума от любви и отчаяния,— имя Офелии... Самое человеческое, самое трогательное...

Иван повлек Кавалерова за собой.

Иван приник к щелке, выставив на Кавалерова лоснившийся медный зад,— ни дать, ни взять две гири. Быть может, действительно влияла жара, непривычная захолустная

пустота, новизна ландшафта, неожиданного для Москвы, быть может, действительно сказывалась усталость, но только Кавалеров, оставшись один в безлюдье и отдаленности от узаконенных городских шумов, поддался кое-какому миражу, кое-какой слуховой галлюцинации. Как будто послышался голос Ивана, разговаривавшего с кем-то через щелку. Затем Иван отпрянул. И то же сделал Кавалеров, хотя и стоял на порядочном расстоянии от Ивана,— как если бы испуг прятался где-то в противоположных деревьях и держал обоих на одной нитке, которую и дернул.

— Кто свистит? — звенящим от страха голосом закричал Кавалеров.

Пронзительный свист пролетел над окрестностью. Кавалеров на миг отвернулся, пряча лицо ладонями, как отворачиваются на сквозняке. Иван бежал от забора на Кавалерова — будто сея шажки,— свист летел за ним, как будто Иван не бежал, а скользил, нанизанный на ослепительный свистовой луч.

— Я боюсь ее! Я боюсь ее! — услышал Кавалеров задыхающийся шепот Ивана.

Схватившись за руки, они побежали вниз, сопровождаемые проклятиями встревоженного бродяги, которого сперва с высоты приняли за брошенную кем-то старую сбрую...

Бродяга, вырванный охапкой из сна, сидел на кочке, шаря в траве,— искал камень. Они скрылись в уличку.

— Я боюсь ее,— быстро говорил Иван.— Она ненавидит меня... Она изменила мне... Она убьет меня...

Кавалеров, пришедши в себя, устыдился своего малодушия. Он вспомнил, что тогда же, когда увидел он обратившегося в бегство Ивана, еще нечто предстало его зрению, чего, испуганный, он не успел запечатлеть.

— Слушайте,— сказал он,— какая чепуха! Просто мальчик свистел в два пальца. Я видел. Мальчик появился на заборе и свистел... Ну да, мальчик...

— Я же говорил вам,— улыбнулся Иван,— я же говорил, что вы начнете искать всяких объяснений. Я же просил вас: ущипните себя побольнее.

Произошла ссора. Иван свернул в обретенную с трудом пивную. Он не приглашал Кавалерова. Тот поплелся, не зная пути, выискивая слухом трамвайный звон. Но на ближайшем углу, топнув ногой, Кавалеров повернул в пивную. Иван встретил его улыбкой и ладонью, направленной к стулу.

— Ну скажите же,— взмолился Кавалеров.— Ну ответьте мне, для чего вы мучите меня? Зачем вы обманываете нас? Ведь нет же никакой машины? Не может же быть такой машины! Это ложь и бред! Зачем вы врете нам?

В изнеможении Кавалеров опустился на стул.

— Послушайте, Кавалеров. Закажите себе пива, и я расскажу вам сказку. Слушайте.

СКАЗКА О ВСТРЕЧЕ ДВУХ БРАТЬЕВ

...Нежный, растущий остов «Четвертака» окружали леса.

Леса как леса: балки, ярусы, лестницы, ходы, переходы, навесы,— но разные были в толпе, собравшейся у подножия, характеры и глаза. Разным сходством улыбались люди. Одни были склонны к простоте и говорили: постройка заштрихована. Некто заметил:

— Деревянным сооружениям не положено расти слишком высоко. Глаз не уважает высоко вознесшихся досок. Леса уменьшают величие постройки. Самая высокая мачта кажется легко подверженной гибели. Такая громада дерева нежна, несмотря ни на что. Сразу напрашивается мысль о пожаре.

Другой воскликнул:

— А с другой стороны — смотрите! — брусья вытянулись, как струны. Гитара, прямо-таки гитара!

На что предыдущий заметил:

— Ну вот, я ж говорил о нежности дерева. Удел его — служить музыке.

Тогда вмешался чей-то насмешливый голос:

— А медь? Я, например, признаю только духовые инструменты.

Школьник узнал в расположении досок не замеченную никем арифметику, но определить, к чему относятся кресты умножения и куда ведут знаки равенства, он не успел: сходство мгновенно исчезло, оно было шаткое.

«Осада Трои,— подумал поэт.— Осадные башни».

И сравнение подкрепилось появлением музыкантов. Прикрываясь трубами, они поползли в деревянную какую-то траншею, к подножию постройки.

Был черен вечер, белы и шаровидны фонари, необычайно алели полотнища, провалы под деревянными сходнями

были смертельно черны. Раскачивались, звеня проволоками, фонари. Тень как бы взмахивала бровями. Вокруг фонарей летала и гибла мошкара. Издалека, заставляя мигать попутные окна, неслись сорванные фонарями контуры окрестных домов и кидались на постройку,— и тогда (до тех пор, пока не успокаивался раскаченный ветром фонарь) бурно оживали леса, все приходило в движение — и, как многоярусный парусник, плыла на толпу постройка.

К подножию постройки прошел по дереву и на дерево Андрей Бабичев. Сама собой строилась там трибуна. Оратор получал и лестницу, и помост, и поручень, и ослепительный черный фон позади себя, и прямо на себя — свет. Так много было дано света, что и далекие наблюдатели видели уровень воды в графине на столе президиума.

Бабичев двигался над толпой, очень цветной и блестящей, вроде как жестяной, похожий на электрическую фигурку. Он должен был произнести речь. Внизу, в естественно образовавшемся прикрытии, готовились к представлению актеры. Сладко, невидимый и непонятный толпе, завывал гобой. И непонятен был ставший серебряным от резкости освещения диск барабана, повернутого на толпу лицом. В деревянном ущелье украшались актеры. Каждый шаг проходящего наверху двигал над ними доски и сеял туманом опилки.

Появление на трибуне Бабичева развеселило публику. Его приняли за конферансье. Он был слишком свеж, умышлен, театрален по внешности.

— Толстый! Вот так толстый! — восхитился в толпе один.

— Браво! — заорали в разных местах.

Но: «Слово предоставляется товарищу Бабичеву»,— сказали из президиума; и от смешливости не осталось следа. Многие поднялись на носки. Внимание напрягалось. И каждому стало приятно. Было очень приятно видеть Бабичева по двум причинам: первая — он был известный человек, и вторая — он был толст. Толщина делала знаменитого человека своим. Бабичеву устроили овацию. Половина аплодисментов приветствовала его толщину. Он сказал речь.

Он говорил о том, какова будет деятельность «Четвертака»: столько-то и столько-то обедов, такая-то пропускная способность, такой-то процент питательности и — какие выгоды от коммунального питания.

Он говорил о питании детей: что, мол, в «Четвертаке» будет детское отделение, о научном приготовлении молочной каши, о росте детей, позвоночнике, малокровии. Он, как всякий оратор, смотрел вдаль, поверх передней массы зрителей, и потому до самого конца своей речи оставался безучастным к тому, что происходило внизу, под трибуной. А между тем некий человек в котелке уже давно расстроил внимание передних зрителей,— те уже не слушали оратора, всецело занятые поведением человека, которое, впрочем, было совершенно мирным. Он, правда, рискнул, отъединившись от толпы, перебраться за веревку, ограждающую подступы к трибуне; он, правда, стоял обособленно, что явно показывало какие-то его права, либо действительно ему принадлежавшие, либо просто захваченные им... Он — спиной к публике — стоял, опершись на веревку, вернее, полусидел на веревке, свесив через нее зад, и, не заботясь о том, что полный произойдет беспорядок, если веревка оборвется, преспокойно и, видимо, получая удовольствие, раскачивался себе на веревке.

Он, быть может, слушал оратора или, возможно, наблюдал за актерами. Вспыхивало за перекладинами платье балерины, выглядывали в деревянное окошечко разные смешные рожи.

И... Да! Ведь главное-то было что? Ведь он, чудаковатый этот человек, пришел с подушкой. Он нес большую, в желтом напернике, старую, выспанную многими головами подушку и, устроившись на веревке, опустил подушку на землю,— и села подушка рядом, как свинья.

И когда оратор окончил речь и, вытирая платком губы, другой рукой наливал из графина воду, пока затихали аплодисменты и публика переключала внимание, готовая слушать и смотреть актеров,— человек с подушкой, поднявши с веревки зад, встал во весь свой маленький рост, вытянул руку с подушкой и громко закричал:

— Товарищи! Я прошу слова!

Тогда оратор увидел брата своего Ивана. Кулаки у него сжались. Брат Иван стал подниматься по лестнице на трибуну. Он всходил медленно. Человек из президиума подбежал к барьеру. Он должен был жестами и голосом остановить незнакомца, но рука его повисла в воздухе, и, точно отсчитывая шаги незнакомца по ступенькам, рука эта опускалась толчками.

— Раз... два... пять... эть...

— Это гипноз! — взвизгнули в толпе.

А неизвестный шел, неся за шиворот подушку. И вот он на трибуне. Замечательная электрическая фигурка появилась на черном фоне. Аспидной доской чернел фон. Так был черен фон, что даже меловые линии чудились на нем, мерцало в глазах. Фигурка остановилась.

— Подушка! — шепотом прошло в толпе.

И незнакомец заговорил:

— Товарищи! От вас хотят отнять главное ваше достояние: ваш домашний очаг. Кони революции, гремя по черным лестницам, давя детей наших и кошек, ломая облюбованные нами плитки и кирпичи, ворвутся в ваши кухни. Женщины, под угрозой гордость ваша и слава — очаг! Слонами революции хотят раздавить кухню вашу, матери и жены!

...Что говорил он? Он издевался над кастрюлями вашими, над горшками, над тишиной вашей, над правом вашим всовывать соску в губы детей ваших... Он учит вас забывать что? Что хочет вытолкнуть он из сердца вашего? Родной дом — дом, милый дом! Бродягами по диким полям истории он хочет вас сделать. Жены, он плюет в суп ваш. Матери, он мечтает с личек младенцев ваших стереть сходство с вами — священное, прекрасное семейное сходство. Он врывается в закоулки ваши, шмыгает, как крыса, по полкам, залазит под кровати, под сорочки, в волосы подмышек ваших. Гоните его к черту!.. Вот подушка. Я король подушек. Скажите ему: мы хотим спать каждый на своей подушке. Не трогай подушек наших! Наши еще не оперившиеся, куриным пухом рыжеющие головы лежали на этих подушках, наши поцелуи попадали на них в ночи любви, на них мы умирали,— и те, кого мы убивали, умирали на них. Не трогай наших подушек! Не зови нас! Не мани нас, не соблазняй нас. Что можешь ты предложить нам взамен нашего умения любить, ненавидеть, надеяться, плакать, жалеть и прощать?.. Вот подушка. Герб наш. Знамя наше. Вот подушка. Пули застревают в подушке. Подушкой задушим мы тебя...

Его речь оборвалась. И то он сказал слишком много. Его как будто схватили за последнюю фразу, как можно схватить за руку,— фразу его загнули ему за спину. Он осекся, внезапно испугавшись, и повод для испуга был именно в том, что тот, кого громил он, стоял молча, слушал. Сцена вся и впрямь могла сойти за представление. Так многие и поняли. Часто ведь актеры появляются из публики. И тем более высыпали из деревянного сарайчика

настоящие актеры. Да, бабочкой, не чем иным, выпорхнула из-за досок балерина. Эксцентрик в обезьяньем жилете лез на трибуну, цепляясь одной рукой за перекладины, а в другой держа странного вида музыкальный инструмент — длиннющую трубу с тремя раструбами; и так как всего можно было ожидать от человека в обезьяньем жилете и рыжем парике, то легко получалось впечатление, что лезет он каким-то волшебным способом по этой самой трубе. Некто во фраке метался под трибуной, ловя разбегающихся актеров, а те стремились увидеть необычайного оратора. Да ведь и актеры предположили тоже, что кто-то из эстрадников, приглашенный участвовать в концерте, придумал трюк, пришел с подушкой, вступил в спор с докладчиком, а сейчас начнет обычный свой номер. Но нет. Но в страхе съехал по дурацкой трубе эксцентрик! И начиналась тревога. Но не слова, пышно брошенные незнакомцем в толпу, посеяли волнение. Напротив, речь человека воспринялась как умышленная, именно как эстрадный трюк; а вот наступившее молчание зашевелило волосы под многими шапками.

— Чего ты на меня смотришь? — спросил человечек, роняя подушку.

Голос великана (никто не знал, что брат говорит с братом), короткий выкрик великана слышала вся площадь, окна, подъезды, на кроватях приподнялись старики.

— Против кого ты воюешь, негодяй? — спросил великан.

Его лицо набрякло. Казалось, потечет из лица этого, как из бурдюка, отовсюду — из ноздрей, губ, ушей,— выступит из глаз какая-то темная жидкость, и все в ужасе закроют глаза... Не он сказал это. Это сказали доски вокруг него, бетон, скрепы, линии, формулы, обретшие плоть. Это их гнев распирал его.

Но брат Иван не попятился (даже все ожидали: пятясь и пятясь, сядет он на свою подушку) — напротив: вдруг он окреп, выпрямился, подошел к барьеру, устроил ладонь козырьком над глазами и позвал:

— Где ты? Я жду тебя! Офелия!

Налетел ветер. Порывы, впрочем, повторялись все время, качали фонари. К соединениям и распаду фигур тени (квадратов, пифагоровых штанов, гиппократовых луночек) уже привыкли присутствовавшие,— постоянно срывался с якорей и шел на толпу многоярусный парусник постройки,— так что новый порыв, повернувший многих за плечи,

пригнувший многие головы, был бы встречен обыкновенным недовольством и был бы немедля забыт, если бы не... И говорилось потом: оно пролетело над головами, оно вылетело сзади.

Плыл на толпу гигантский парусник, скрипя деревом, воя ветром, и черное летучее тело — как птица о снасти — ударилось о высокую балку, метнулось, разбив фонарь...

— Страшно тебе, брат? — спросил Иван.— Я вот что сделаю. Я пошлю ее на леса. Она разрушит твою постройку. Сами собой развинтятся винты, отпадут гайки, бетон развалится, как прокаженное тело. Ну? Все рухнет. Она превратит каждую цифру твою в бесполезный цветок. Вот, брат Андрей, что я могу сделать...

— Иван, ты тяжело болен. Ты бредишь, Иван,— вдруг мягко и сердечно заговорил тот, от которого ждали грозы.— О ком ты говоришь? Кто это «она»? Я ничего не вижу! Кто превратит мои цифры в цветы? Просто ветром толкнуло фонарь о балку, просто разбился фонарь. Иван, Иван...

И брат шагнул к Ивану, протягивая руки. Но тот отстранил его.

— Смотри! — воскликнул он, поднимая руку.— Нет, ты не туда смотришь... Вот-вот... левее... Видишь? Что это сидит там на балочке? Видишь? Выпей воды. Налейте товарищу Бабичеву воды... Что это присело там на жердочку? Видишь?!! Веришь?!! Боишься?!!

— Это тень! — сказал Андрей.— Брат, это просто тень. Идем отсюда. Я подвезу тебя. Пусть начинается концерт. Актеры томятся. Публика ждет. Едем, Ваня, едем.

— Ах, тень? Это не тень, Андрюша. Это машина, над которой ты смеялся... Это я сижу на жердочке, Андрюша, я, старый мир, век мой сидит там. Мозг моего века, Андрюша, умевший сочинять и песни и формулы. Мозг, полный снами, которые ты хочешь уничтожить.

Иван поднял руку и крикнул:

— Иди, Офелия! Я посылаю тебя!

И то, присевшее на балку, блеснув при повороте, повернулось, застучало, топчась, как стучит птица, и стало исчезать в темном провале между скрещений.

Была паника, давка, люди бежали, вопя. А оно лязгало, пробираясь по доскам. Вдруг выглянуло оно снова, испустив апельсинового цвета луч, посвистало — неуловимое по форме — и невесомой тенью, по-паучьи, сигануло по отвесу выше, в хаос досок, снова присело на каком-то ребре, оглянулось...

— Действуй, Офелия! Действуй! — кричал Иван, носясь по трибуне.— Ты слышала, что он говорит об очаге? Я приказываю тебе разрушить постройку...

Бежали люди, и бегство их сопровождалось бегством туч, бурной фугой неба.

«Четвертак» рухнул...

Рассказчик умолк...

...Барабан плашмя лежал среди развалин, и на барабан вскарабкался я, Иван Бабичев. Офелия спешила ко мне, волоча раздавленного, умирающего Андрея.

— Пусти меня на подушку, брат,— шептал он.— Я хочу умереть на подушке. Я сдаюсь, Иван...

Я положил на колени подушку, он приник к ней головой.

— Мы победили, Офелия,— сказал я.

VII

Утром в воскресенье Иван Бабичев посетил Кавалерова.

— Сегодня я хочу вам показать Валю,— торжественно заявил он.

Они отправились. Прогулку можно было назвать очаровательной. Она совершалась по пустому праздничному городу. Они пошли в обход на Театральную площадь. Движения почти не было. Голубел подъем по Тверской. Воскресенье утром — один из лучших видов московского лета. Освещение, не разрываемое движением, оставалось целым, как будто солнце только что взошло. Таким образом, они шли по геометрическим планам света и тени, вернее: сквозь стереоскопические тела, потому что свет и тень пересекались не только по плоскости, но и в воздухе. Не доходя до Моссовета, они очутились в полной тени. Но в пролет между двумя корпусами выпал большой массив света. Он был густ, почти плотен, здесь уже нельзя было сомневаться в том, что свет материален: пыль, носившаяся в нем, могла сойти за колебание эфира.

И вот переулок, соединяющий Тверскую с Никитской. Они постояли, любуясь цветущей изгородью.

Они вошли в ворота и поднялись по деревянной лестнице на застекленную галерею, запущенную, но веселую от обилия стекол и вида на небо сквозь решетчатость этих стекол.

Небо разбивалось на пластинки разной синевы и приближенности к зрителю. Четверть всех стекол была выбита. В нижний ряд окошечек пролезали зеленые хвостики какого-то растения, ползущего снаружи по борту галереи. Здесь все было рассчитано на веселое детство. В таких галереях водятся кролики.

Иван стремился к двери. Три двери было в галерее. Он шел к последней.

На ходу Кавалеров хотел оторвать один из зеленых хвостиков. Едва он дернул, как вся невидимая за бортом система потянулась за хвостиком, и где-то простонала какая-то проволока, впутавшаяся в жизнь этого плюща или черт его знает чего. (Как будто не в Москве, а в Италии...) Делая усилие, Кавалеров припал к окну виском и увидел двор, огражденный каменной стеной. Галерея находилась на высоте, средней между вторым и третьим этажом. С такой высоты за стеной ему открылся (Италия продолжалась) вид на страшно зеленую площадку.

Еще входя на крыльцо, он слышал голоса и смех. Они неслись с той площадки. Он ничего не успел разобрать, его отвлек Иван. Он стучал в дверь. Один, два, еще раз...

— Никого нет,— промычал он.— Она уже там...

Внимание Кавалерова осталось у выбитого стекла над лужайкой. Почему? Ведь пока еще ничего удивительного не прошло перед его глазами. Он захватил, повернувшись на стук Ивана, только одну стопу какого-то пестрого движения, один удар гимнастического ритма. Просто приятной, сладкой и холодной для зрения была зелень лужайки, неожиданная после обыкновенного двора. По всей вероятности, уже позже он уверил себя, что очарование лужайки сразу так сильно захватило его.

— Она уже ушла! — повторил Бабичев.— Позвольте-ка...

И он посмотрел в одно из окошечек. Кавалеров не замедлил сделать то же.

То, что произвело на него впечатление лужайки, оказалось маленьким, поросшим травой двориком. Главная сила зелени исходила от высоких густокронных деревьев, стоявших по бокам его. Вся зелень эта цвела под громадной глухой стеной дома. Кавалеров был наблюдателем сверху. В его восприятии дворику было тесно. Вся окрестность, потянувшаяся за высокой точкой наблюдения, взгромоздилась над двориком. Он лежал, как половик в комнате, полной мебели. Чужие крыши открывали Кавалерову свои

тайны. Он увидел флюгера в натуральную величину, слуховые окошечки, о которых внизу никто и не подозревает, и навсегда невозвратимый детский мяч, некогда слишком высоко взлетевший и закатившийся под желоб. Строения, обгвожденные антеннами, уходили по ступеням от дворика. Головка церкви, свежевыкрашенная суриком, попала в пустой промежуток неба и, казалось, летела до тех пор, пока Кавалеров не поймал ее взглядом. Он видел коромысло трамвайной мачты с тридевятой улицы, и какой-то другой наблюдатель, высунувшийся из далекого окна и что-то нюхавший или евший, покорившись перспективе, почти опирался на то коромысло.

И главным был дворик.

Они спустились вниз. В каменной стене, отделявшей двор от дворика, скучный, пустынный двор от таинственной лужайки, оказалась брешь. Не хватало нескольких камней, как хлебов, вынутых из печи. В эту амбразуру они увидели все. Солнце жгло Кавалерову макушку. Они увидели упражнения в прыжках. Между двух столбиков была протянута веревка. Юноша, взлетев, пронес свое тело над веревкой боком, почти скользя, вытянувшись параллельно препятствию,— точно он не перепрыгивал, а перекатывался через препятствие, как через вал. И, перекатываясь, он подкинул ноги и задвигал ими подобно пловцу, отталкивающему воду. В следующую долю секунды мелькнуло его опрокинутое искаженное лицо, летящее вниз, и тут же Кавалеров увидел его стоящим на земле, причем, столкнувшись с землей, он издал звук, похожий на «афф»,— не то усеченный выдох, не то удар пятки по траве.

Иван ущипнул Кавалерова за локоть.

— Вот она... смотрите... (Шепотом).

Все закричали и захлопали. Прыгун, почти голый, отходил в сторону, слегка припадая на одну ногу, должно быть, из спортсменского кокетства.

Это был Володя Макаров.

Кавалеров был растерян. Его охватило чувство стыда и страха. Целую сверкающую машинку зубов обнаружил Володя, улыбаясь.

Наверху, на галерее, снова стучали в дверь. Кавалеров обернулся. Очень глупо было попасться здесь, у стены, на подглядывании. По галерее идет кто-то. Окошки расчленяют идущего. Части тела движутся самостоятельно. Происходит оптический обман. Голова опережает туловище.

Кавалеров узнает голову. По галерее проплывает Андрей Бабичев.

— Андрей Петрович! — кричит на лужайке Валя.— Андрей Петрович! Сюда! Сюда!

Страшный гость исчез. Он покидает галерею, ищет пути на лужайку. Разные преграды скрывают его от глаз Кавалерова. Надо бежать.

— Сюда! Сюда! — звенит Валин голос.

Кавалеров видит: Валя стоит на лужайке, широко и твердо расставив ноги. На ней черные, высоко подобранные трусы, ноги ее сильно заголены, все строение ног на виду. Она в белых спортивных туфлях, надетых на босу ногу; и то, что туфли на плоской подошве, делает ее стойку еще тверже и плотней,— не женской, а мужской или детской. Ноги у нее испачканы, загорелы, блестящи. Это ноги девочки, на которые так часто влияют воздух, солнце, падения на кочки, на траву, удары, что они грубеют, покрываются восковыми шрамами от преждевременно сорванных корок на ссадинах, и колени их делаются шершавыми, как апельсины. Возраст и подсознательная уверенность в физическом своем богатстве дают обладательнице право так беззаботно содержать свои ноги, не жалеть их и не холить. Но выше, под черными трусами, чистота и нежность тела показывает, как прелестна будет обладательница, созревая и превращаясь в женщину, когда сама она обратит на себя внимание и захочет себя украшать,— когда заживут ссадины, отпадут все корки, загар сровняется и превратится в цвет.

Он отряхнулся и побежал вдоль глухой стены в обратную сторону от амбразуры, пачкая плечо о камень.

— Куда вы! — звал его Иван.— Куда вы удираете, подождите!

«Он громко кричит! Они услышат! — ужасался Кавалеров.— Они меня увидят!»

Действительно, за стеной стало резко тихо. Там прислушивались. Иван догнал Кавалерова.

— Слушайте, милый мой... Видали? Это мой брат! Видали? Володя, Валя... Все! Весь лагерь... Подождите, я сейчас влезу на стену и обругаю их... вы испачкались, Кавалеров, как мельник!

Кавалеров тихо сказал:

— Я отлично знаю вашего брата. Это он выгнал меня. Он — то важное лицо, о котором я говорил вам... Наша

судьба схожа. Вы сказали, что я должен убить вашего брата... Что же мне делать?..

На каменной стене сидела Валя.

— Папа! — вскрикнула она, ахнув.

Иван обхватил ее ноги, свисающие со стены.

— Валя, выколи мне глаза. Я хочу быть слепым,— говорил он, задыхаясь,— я ничего не хочу видеть: ни лужаек, ни ветвей, ни цветков, ни рыцарей, ни трусов,— мне надо ослепнуть, Валя. Я ошибся, Валя... Я думал, что все чувства погибли — любовь, и преданность, и нежность... Но все осталось, Валя... Только не для нас, а нам осталась только зависть... Выколи мне глаза, Валя, я хочу ослепнуть...

Он скользнул по потным ногам девушки руками, лицом, грудью и тяжко шлепнулся к подножию стены.

— Выпьем, Кавалеров,— сказал Иван.— Будем пить, Кавалеров, за молодость, которая прошла, за заговор чувств, который провалился, за машину, которой нет и не будет...

— Сукин ты сын, Иван Петрович! (Кавалеров схватил Ивана за ворот.) Не прошла молодость! Нет! Слышите ли вы? Неправда! Я докажу вам... Завтра же — слышите ли? — завтра на футболе я убью вашего брата...

VIII

Николай Кавалеров занимал место на трибунах. На высоте, направо от него, в деревянной ложе, среди полотнищ, громадного шрифта афиш, лесенок и скрещенных досок сидела Валя. Молодежь наполняла ложу.

Дул ветер, день был очень яркий, сквозной, просвистанный ветром со всех сторон. Огромное поле зеленело прибитой травой, блестящей, как лак.

Кавалеров, не спуская глаз, смотрел на ложу, напрягал зрение и, уставая, работал воображением, стараясь получить то, чего не мог издали увидеть или услышать. Не только он — многие из сидевших близко к ложе, несмотря на то что были возбуждены предвкушением исключительного зрелища, обращали внимание на очаровательную девушку в розовом платье, почти девочку, небрежную по-детски к своим позам и движениям и вместе с тем имевшую такой вид, что каждому хотелось быть ею замеченным, точно была она знаменитость или дочь знаменитого человека.

Двадцать тысяч зрителей переполнили стадион. Предстоял небывалый праздник — долгожданный матч между московской и германской командами.

На трибунах люди спорили, кричали, скандалили из-за пустяков. Огромное количество народа распирало стадион. Где-то с утиным криком сломались перила. Кавалеров, запутавшийся в чужих коленях в поисках своего места, видел, как на дорожке, у подножия трибун, лежал, тяжело дыша и разбросав руки, почтенный старичок в кремовом жилете. Мимо него перли, мало о нем думая. Тревога усиливалась ветром. На вышках, как молнии, били флаги.

Все существо Кавалерова стремилось к ложе. Валя помещалась над ним, наискосок, метрах в двадцати. Зрение издевалось над ним. Казалось ему: они встречаются глазами. Тогда он приподнимался. Казалось ему: медальон вспыхивает на ней. Ветер делал с ней что хотел. То и дело она хваталась за шляпу. Это был капор из красной блестящей соломы. Ветер сдувал рукав ее до самого плеча, открывая руку, стройную, как флейта. Афишка улетела от нее и упала в гущу, помахав крыльями.

Еще за месяц до матча предполагали, что с германской командой приедет знаменитый Гецкэ, играющий центрального форварда, то есть главного игрока из пяти нападающих. Действительно, Гецкэ приехал. Лишь только германская команда вышла под звуки марша на поле и еще игроки не успели распределиться по полю, как публика (как и всегда это бывает) узнала знаменитость, хотя знаменитость шла в толпе остальных гостей.

— Гецкэ! Гецкэ! — закричали зрители, испытывая особенную приятность от вида знаменитого игрока и оттого, что они хлопали ему.

Гецкэ, оказавшийся небольшим черномазым и сутулым человеком, шагнул немного в сторону, остановился, поднял руки над головой и потряс соединенными ладонями. Невиданный иностранный способ приветствия еще более воодушевил зрителей.

Группа немцев — одиннадцать человек — сияла на зелени, в чистоте воздуха, яркой маслянистой окраской одежды. На них были оранжевые, почти золотые фуфайки с зелено-лиловыми нашивками на правой стороне груди и черные трусы. Трусы бубнили по ветру.

Володя Макаров, поеживаясь от свежести только что надетой футбольной рубашки, высматривал из помещения футболистов в окно. Немцы достигли середины поля.

— Пошли, что ли? — спросил он.— Пошли?

— Пошли! — скомандовал капитан команды.

Выбежала советская команда в красных рубашках и белых трусах. Зрители валились на перила, лупили ногами в доски.

Рев заглушил музыку.

Немцам выпало играть первую половину игры по ветру.

Наши не только играли и старались делать все, что полагается делать, чтобы играть как можно лучше, но также не переставали наблюдать за игрой немцев как зрители и оценивать ее как профессионалы. Игра продолжается девяносто минут, с коротким перерывом на сорок пятой минуте. После перерыва команды меняются половинами поля. Так что при ветреной погоде выгоднее со свежими силами играть против ветра.

Так как немцы играли по ветру, а ветер был очень сильный, то всю игру сдуло к нашим воротам. Мяч почти не выходил из советской половины поля. Наши беки давали сильные «свечки», то есть высокие параболические удары, но мяч, скользнув по стене ветра, завертывался, блестя желтизной, и шастал обратно. Немцы яростно атаковали. Знаменитый Гецкэ оказался и вправду грозным игроком. Все внимание сосредоточилось на нем.

Когда мяч попадал к нему, Валя, сидевшая на высоте, взвизгивала, как будто сейчас же, немедленно, должна была увидеть что-то ужасное и преступное. Гецкэ прорывался к воротам, оставляя позади себя наших беков, присевших от его быстроты и натиска на корточки, и ударял в ворота. Тогда Валя, качнувшись к соседу, обеими руками обхватывала руку соседа, прижималась щекой к ней и, думая только об одном, чтобы спрятать лицо и не видеть ужасного, продолжала смотреть скошенными глазами на страшные движения черного от беганья по жаре Гецкэ.

Но Володя Макаров, вратарь советской команды, ловил мяч. Гецкэ, еще не окончив движения, сделанного для удара, изящно переменил это движение на другое, нужное для того, чтобы повернуться и бежать, поворачивался и бежал, нагнув спину, плотно обтянутую пропотевшей до черноты фуфайкой. Тотчас же Валя принимала естественную позу и начинала смеяться: во-первых, от удовольствия, что нашим не вбивали мяча, и во-вторых — оттого, что вспоминала о том, как давеча визжала и хваталась за руку соседа.

— Макаров! Макаров! Браво, Макаров! — кричала она со всеми.

Мяч каждую минуту летел в ворота. Он ударялся об их штанги, они стонали, с них сыпалась известь... Володя схватывал мяч в таком полете, когда это казалось математически невозможным. Вся публика, вся живая покатость трибун становилась как будто отвеснее,— каждый зритель приподнимался, выталкиваемый страшным, нетерпеливым желанием увидеть наконец самое интересное — вбитие гола. Судья вбрасывал на ходу свисток в губы, готовый засвистеть вбитие... Володя не схватывал мяч — он срывал его с линии полета и, как нарушивший физику, подвергался ошеломительному действию возмущенных сил. Он взлетал вместе с мячом, завертевшись, точь-в-точь навинчиваясь на него: он обхватывал мяч всем телом — коленями, животом и подбородком, набрасывая свой вес на скорость мяча, как набрасывают тряпки, чтобы потушить вспышку. Перехваченная скорость мяча выбрасывала Володю на два метра вбок, он падал в виде цветной бумажной бомбы. Неприятельские форварды бежали на него, но в конце концов мяч оказывался высоко над боем.

Володя оставался в воротах. Он не мог стоять. Он ходил по линии ворот от одного столба к другому, подавляя запал энергии, вызванной борьбой с мячом. Все гудело в нем. Он поводил руками, отряхивался, подкидывал носком кочки земли. Нарядный перед началом игры, теперь он состоял из тряпок, черного тела и кожи огромных беспалых перчаток. Передышки продолжались недолго. Снова нападение немцев катилось к московским воротам. Володя страстно желал победы своим и волновался за каждого своего игрока. Он думал, что только он знает, как надо играть против Гецкэ, какие у него слабые стороны, как защищаться от его атаки. Его интересовало также, какое мнение сложилось у знаменитого немца о советской игре. Когда он сам рукоплескал и кричал «ура» каждому из своих беков, ему тогда же хотелось крикнуть Гецкэ:

«Вот как мы играем! Хорошо ли мы играем, по-вашему?»

Как футболист, Володя представлял собой полную противоположность Гецкэ. Володя был профессионал-спортсмен,— тот был профессионал-игрок. Володе был важен общий ход игры, общая победа, исход,— Гецкэ стремился лишь к тому, чтобы показать свое искусство. Он был старый, опытный игрок, не собиравшийся поддерживать честь

команды; он дорожил только собственным успехом; он не состоял постоянным членом какой-нибудь спортивной организации, потому что скомпрометировал себя переходами из клуба в клуб за деньги. Ему запретили участвовать в матчах на розыгрыш первенства. Его приглашали только на товарищескую игру, на показательные матчи и на поездки в другие страны. Искусство соединялось в нем с везением. Его участие делало команду опасной. Он презирал игроков — и тех, с которыми играл, и противников. Он знал, что забьет любой команде мячи. Остальное ему было не важно. Он был халтурщик.

Уже в середине игры зрителям стало ясно, что советская команда не уступает немцам. Они не вели правильной атаки — Гецкэ мешал этому. Он портил, разрушал их комбинации. Он играл только для себя, на свой риск, без помощи и не помогая. Получив мяч, он стягивал все движение игры к себе, сжимал его в клубок, распускал и скашивал, переводил из одного края в другой — по собственным, не ясным для партнеров планам, надеясь только на себя, на свой бег и уменье обводить противника.

Отсюда зрители заключили, что вторая половина игры, когда Гецкэ выдохнется и когда наши получат поветренную сторону, окончится разгромом немцев. Лишь бы сейчас наши продержались, не пропустив в свои ворота ни одного мяча.

Но и на этот раз виртуоз Гецкэ добился своего. За десять минут до перерыва он вырвался к правому краю, пронес мяч туловищем, потом резко остановился, осекши погоню, которая, не ожидая остановки, выбежала вперед и вправо, повернул с мячом к центру и по чистому пространству, обведя только одного советского бека, погнал мяч прямо на ворота, часто взглядывая то под ноги, то на ворота, как бы соразмеряя и высчитывая скорость направления и срок удара.

Сплошное «о-о-о» воем катилось с трибун.

Володя, раскорячась и расставив руки так, как если бы держал он невидимую бочку, приготовился хватать мяч. Гецкэ, не ударяя, подбежал к воротам. Володя упал ему под ноги. Мяч забился между ними двумя, как в бочке; потом свистки и топот зрителей покрыли финал сцены. От удара кого-то из двух мяч легко и неверно взлетел над головой Гецкэ, и тот вбил его в сетку толчком головы, похожим на поклон.

Таким образом, советская команда получила гол.

Стадион грохотал. Бинокли повернулись в сторону советских ворот. Гецкэ, глядя на свои мелькающие башмаки, кокетливо бежал к центру.

Товарищи поднимали Володю.

IX

Валя повернулась вместе с остальными. Кавалеров увидел ее лицо, обращенное к нему. Он не сомневался, что она видит его. Он засуетился, странное предположение разозлило его. Ему показалось, что окружающие посмеиваются,— заметили его беспокойство.

Он оглянулся на сидящих рядом. И было очень неожиданным то, что в одном углу с ним, в близком соседстве, сидел Андрей Бабичев. Вновь Кавалерова возмутили две белые руки, регулирующие шарнир бинокля, крупное туловище в сером пиджаке, подстриженные усы...

Черным снарядом повис над Кавалеровым бинокль. Ремни бинокля поводьями свисали от щек Бабичева.

Уже снова наступали немцы.

Вдруг мяч, выброшенный чьим-то мощным и нерассчитанным ударом, взлетел высоко и вбок за поле, из игры, в сторону Кавалерова, просвистел над пригнувшимися головами нижних рядов, остановился на мгновенье и, завертевшись всеми своими пластинками, рухнул на доски, к ногам Кавалерова. Игра остановилась. Игроки застыли, застигнутые неожиданностью. Картина поля, зеленая и пестрая, все время двигавшаяся, теперь разом окаменела. Так разом останавливается фильм в момент разрыва пленки, когда в зал уже дают свет, а механик еще не успел выключить свет, и публика видит странно побелевший кадр и контуры героя, абсолютно неподвижного в той позе, которая говорит о самом быстром движении. Злоба Кавалерова усилилась. Все смеялись вокруг. Попадания мяча в ряды всегда вызывают смех: зрители в ту минуту как бы сознают истинную шуточность того, что люди полтора часа бегают за мячом, заставляя их — зрителей, посторонних людей — с такой серьезностью и страстностью воспринимать их совершенно несерьезное времяпрепровождение.

Все тысячи в эту минуту, насколько могли, одарили Кавалерова непрошеным вниманием, и внимание это было смешливым.

Возможно, что и Валя хохотала над ним, человеком, попавшим под мяч! Возможно, что она веселится вдвойне, потешаясь над врагом в смешном положении. Он ухмыльнулся, стороня ногу от мяча, который, потеряв опору, с кошачьей привязанностью вновь ткнулся в его каблук.

— Ну! — невольно и удивленно крикнул Бабичев.

Кавалеров был пассивен. Две белые большие ладони протянулись за мячом. Кто-то поднял мяч и передал Бабичеву. Он встал во весь рост и, выпятив живот, закинул руки с мячом за голову, размахиваясь, чтобы подальше бросить. Он не мог быть серьезным в таком деле и, понимая, что нужно быть серьезным, преувеличивал наружное выражение серьезности, насупившись и надув свежие, красные губы.

Бабичев, сильно качнувшись вперед, швырнул мяч, магически расковав поле.

«Он не узнает меня»,— копил злобу Кавалеров.

Первая половина игры кончилась со счетом «один на ноль» в пользу германской команды... Игроки, с темными потеками на лицах, облипшие зелеными нитками травы, шли к проходу, сильно и широко, как в воде, двигая голыми коленями. Немцы, не по-русски красные, с румянцем, начинающимся от висков, пестро перетасовались с москвичами. Игроки шли, видя всех сразу, всю толпу под дощатыми стенами прохода, и никого не видя в отдельности. Они мазали по толпе улыбками и неживыми, слишком прозрачными на потемневших лицах глазами. Те, кому только что представлялись они маленькими, бегающими и падающими разноцветными фигурками, теперь встретились с ними вплотную. Еще не остывший шум игры двигался вместе с ними. Гецкэ, похожий на цыгана, шел, посасывая только что полученную ранку выше локтя.

Зевакам новостью были подробности роста или сложения того или иного игрока, жестокость ссадин, тяжелое дыхание, полное смятение одежды. Издали все производило более легкое, праздничное впечатление.

Кавалеров выдавился между чужих боков под какую-то перекладину и облегченно ступил на траву. Здесь, в тени, он бежал с другими по дорожке, огибая с задней стороны круг трибун. Буфет, расставленный на лужайке под деревьями, заполнился вмиг. Помятый старичок в кремовом жилете, все еще недовольно и опасливо поглядывая на публи-

ку, ел мороженое. К помещению футболистов лепилась толпа.

— Ура! Макаров! Ура! — неслись оттуда восторженные крики. Болельщики взбирались на заборы, отбиваясь от колючей проволоки, как от пчел,— и выше: на деревья, в темную зелень, раскачиваясь от ветра и ловкости, как лесные человечки.

Косо над толпой взлетело блестящее, плещущее голизной тело. Качали Володю Макарова.

Кавалерову не хватало духу проникнуть за триумфальное кольцо. Он заглядывал в щели, топчась за толпой.

Володя стоял уже на земле. Чулок на одной ноге его спустился, обернувшись зеленым бубликом вокруг грушевидной, легко-волосатой икры. Истерзанная рубашка еле держалась на туловище его. Он целомудренно скрестил на груди руки.

И вот стоит Валя. И Андрей Бабичев с нею.

Всем троим рукоплещут зеваки.

Бабичев любовно смотрит на Володю.

Вмешался ветер. Повалился полосатый колышек, вся листва качнулась вправо. Кольцо зевак распалось, вся картина расстроилась, люди спасались от пыли. Больше всех досталось Вале. Розовое платье, легкое, как шелуха, взлетело над ногами, показав Кавалерову свою прозрачность. Ветер придул платье к лицу ее, и контур лица увидел Кавалеров в сиянии и просвечивании ткани, развернувшейся веером. Сквозь пыль увидел Кавалеров это и то, как, ловя свое платье, она закружилась, запуталась, едва не падая вбок. Она старалась прихлопнуть подол на коленях, прижать, но не справилась, и тогда, для прекращения неприличия, прибегла к полумерам: руками обхватила слишком открывшиеся ноги, пряча колени, складываясь в три погибели, как купальщица, застигнутая врасплох.

Где-то засвистел судья. Покатился марш. Так прервалось веселое замешательство. Начинали вторую половину игры. Володя умчался.

— Немцам два гола минимум! — провизжал мальчишка, несясь мимо Кавалерова.

Валя продолжала бороться с ветром. В погоне за подолом десять раз она переменяла позицию и под конец очутилась вблизи Кавалерова, на расстоянии шепота.

Она стояла, широко расставив ноги. Шляпу, сброшенную ветром и пойманную на лету, она держала в руке. Еще

не оправившись от прыжка, она смотрела на Кавалерова, не видя его, наклонив немного набок голову с короткими, резко и косо у щек подрезанными каштановыми волосами.

Солнечный свет скользнул по плечу ее, она качнулась, и ключицы вспыхнули, как кинжалы. Десятую долю минуты длилось разглядывание, и сразу же Кавалеров понял, холодея, какая неизлечимая тоска останется в нем навсегда оттого, что он увидел ее, существо другого мира, чуждое и необыкновенное, и ощутил, как безысходно мило выглядит она, как подавляюще недоступна ее чистота,— и потому, что она девочка, и потому, что она любит Володю,— и как неразрешима ее соблазнительность.

Бабичев ждал ее, протянув руку.

— Валя,— сказал Кавалеров.— Я ждал вас всю жизнь. Пожалейте меня...

Но она не слышала. Она бежала, подкошенная ветром.

X

Ночью Кавалеров вернулся домой пьяным.

Он прошел по коридору к раковине — напиться. Он раскрутил кран до отказа, весь замочился. Кран оставил, струя трубила. Войдя в Анечкину комнату, он остановился. Свет не был потушен. Обложенная желтой ватой света, вдова сидела на громадной своей кровати, свесив голые ноги за борт. Она была готова ко сну.

Кавалеров шагнул. Она молчала как зачарованная. Кавалерову показалось, что она улыбается, манит.

Он пошел на нее.

Она не сопротивлялась и даже открыла объятия.

— Ах ты поползенок,— шептала она,— ишь ты, поползенок.

Позже он просыпался. Терзала его жажда, пьяная, остервенелая мечта о воде. Он просыпался — тишина была. За секунду до пробуждения вспоминал он о том, как била струя в раковину,— пронзительное воспоминание подкидывало его,— но воды не было. Он снова валился. Пока спал он, вдова хозяйничала: она закрыла кран, раздела спящего и починила его подтяжки. Наступило утро. Сперва ничего Кавалеров не понял. Как пьяница-нищий в комедии, подобранный богачом и принесенный во дворец, он лежал, очумелый, среди незнакомой роскоши. Он уви-

дел небывалое свое отражение в зеркале — подошвами вперед. Он великолепно лежал, загнув руку за голову. Солнце освещало его сбоку. Точно в куполе храма, парил он в широких дымящихся полосах света. А над ним свисали виноградные гроздья, плясали купидоны, из рогов изобилия выкатывались яблоки,— и он почти слышал исходящее от всего этого торжественное органное гудение. Он лежал на Анечкиной кровати.

— Ты мне напоминаешь его,— жарко прошептала Анечка, склонившись над ним.

Над кроватью висел застекленный портрет. Висел мужчина, чей-то молодой дедушка, торжественно одетый,— в одном из последних сюртуков эпохи. Чувствовалось: у него крепкий, многоствольный затылок. Лет пятидесяти семи мужчина.

Кавалеров вспомнил: отец переодевает рубашку...

— Ты мне очень напомнил мужа,— повторяет Анечка, обнимая Кавалерова. И голова Кавалерова уходит в подмышку ее, как в палатку. Шатры подмышек раскрыла вдова. Восторг и стыд бушевали в ней.

— Он тоже взял меня... так... хитростью... тихо, молчалмолчал, ничего не говорил... и потом! Ах ты поползенок мой...

Кавалеров ударил ее.

Она опешила. Кавалеров вскочил с кровати, взрывая пласты постели; простыни потянулись за ним. Она бросилась к дверям, руки ее вопили о помощи, она бежала, преследуемая скарбом, как помпеянка. Рухнула корзина, накренился стул.

Он несколько раз ударил ее по спине, в поясницу, опоясанную жиром, как шиной.

Стул стоял на одной ноге.

— Он тоже меня бил,— сказала она, улыбаясь сквозь слезы.

Кавалеров вернулся на кровать. Он повалился, чувствуя, что заболевает. Он лежал в забытьи весь день. Вечером вдова легла рядом. Она храпела. Кавалерову представилась гортань ее в виде арки, ведущей в мрак. Он прятался за сводами арки. Все дрожало, сотрясалось, тряслась почва. Кавалеров скользил и падал под напором воздуха, летящего из бездны. Спящая ныла. Разом переставала она ныть, умолкала, громко чавкнув. Вся архитектура гортани перекашивалась. Храп ее становился пороховым, сельтерским.

Кавалеров метался и плакал. Она вставала и прикладывала ко лбу его мокрое полотенце. Он тянулся к влаге, весь приподымаясь, искал полотенце руками, комкал его, подкладывал под щеку, и целовал, шепча:

— Они украли ее. Как трудно мне жить на свете... Как трудно...

А вдова, не успев лечь, засыпала тотчас, приткнувшись к зеркальной арке. Сон обмазывал ее сладостью. Она спала с открытым ртом, булькая, как спят старушки.

Жили клопы, шуршали, как будто порол кто-то обои. Проявлялись неведомые дню клопиные тайники. Росло, разбухало дерево кровати.

Зарозовел подоконник.

Вокруг кровати клубился сумрак. Ночные тайны спускались из углов по стенам, обтекали спящих и уползали под кровать.

Кавалеров вдруг сел, широко раскрыв глаза.

Над кроватью стоял Иван.

XI

И немедленно Кавалеров стал собираться.

Анечка спала в сидячем положении под аркой, оцепив руками живот. Он осторожно, дабы не потревожить ее, совлек одеяло и, надев его, как плащ, предстал перед Иваном.

— Ну и отлично,— сказал тот.— Вы сверкаете, как ящерица. В таком виде вы и покажетесь народу. Идемте, идемте! Надо торопиться.

— Я очень болен,— вздохнул Кавалеров; он кротко улыбался, как бы извиняясь за то, что нет у него охоты отыскивать брюки, пиджак и башмаки.— Ничего, что я босой?

Иван уже был в коридоре. Кавалеров поспешил за ним.

«Я долго и беспричинно страдал,— подумал Кавалеров.— Сегодня наступил день искупления».

Поток людей захватил их. За ближайшим углом открывалась сияющая дорога.

— Вот он! — сказал Иван, сжимая руку Кавалерова.— Вот «Четвертак»!

Кавалеров увидел: сады, шаровидные купола листвы, арка из легкого прозрачного камня, галереи, полет мяча над зеленью...

— Сюда! — скомандовал Иван.

Они побежали по стене, увитой плющом, затем пришлось прыгать. Голубое одеяло облегчило Кавалерову прыжок, он поплыл по воздуху над толпой и опустился к подножию широчайшей каменной лестницы. Тотчас же, испугавшись, он стал уползать под одеялом своим, как насекомое, сложившее крылья. Его не заметили. Он присел за цоколем.

На вершине лестницы, окруженный многими людьми, стоял Андрей Бабичев. Он стоял, обняв за плечо и привлекши к себе Володю.

— Сейчас ее принесут,— говорил Андрей, улыбаясь друзьям.

И тут Кавалеров увидел следующее: по асфальтовой дороге, ведущей к ступеням лестницы, шел оркестр, и над оркестром парила Валя. Звучание инструментов держало ее в воздухе. Ее нес звук. Она то поднималась, то опускалась над трубами, в зависимости от высоты и силы звука. Ленты ее взлетали выше головы, вздувалось платье, волосы стояли кверху.

Последний пассаж выбросил ее на вершину лестницы, и она упала на руки Володи. Все расступились. В кругу остались они двое.

Дальнейшего Кавалеров не увидел. Внезапный ужас охватил его. Странная темь вдруг выдвинулась перед ним. Он, леденея, медленно оборотился. На траве, позади него, сидела Офелия.

— А-а-а! — страшно закричал он. Он ринулся бежать. Офелия, звякнув, схватила его за одеяло. Оно соскользнуло. В постыдном виде, спотыкаясь, падая, ударяясь челюстью о камень, он взбирался по лестнице. Те смотрели сверху. Нагнувшись, стояла прелестная Валя.

— Офелия, назад! — раздался голос Ивана.— Она не слушает меня... Офелия, стой!

— Держите ее!

— Она убьет его!

— О!

— Смотрите! Смотрите! Смотрите!

Кавалеров с середины лестницы оглянулся. Иван делал попытки вскарабкаться на стену. Плющ обрывался. Толпа отхлынула. Иван повис на стене на широко раскинутых руках. Страшная железная вещь медленно двигалась по траве по направлению к нему. Из того, что можно было назвать головой вещи, тихонько выдвигалась сверкающая

игла. Иван выл. Руки не выдержали. Он сорвался, котелок его покатился среди одуванчиков. Он сидел, прижавшись спиной к стене, руками закрыв лицо. Машина двигалась, срывая на ходу одуванчики.

Кавалеров поднялся и полным отчаяния голосом закричал:

— Спасите его! Неужели вы допустите, чтоб машина убила человека?!

Ответа не последовало.

— Мое место с ним! — сказал Кавалеров.— Учитель! Я умру с вами!

Но было уже поздно. Заячий вопль Ивана заставил его свалиться. Падая, увидел он Ивана, приколотого к стене иглой.

Иван тихо наклонился, поворачиваясь вокруг страшной оси.

Кавалеров закутал голову руками, чтобы ничего больше не видеть и не слышать. Но все же слышал он позванивание. Машина поднималась по лестнице.

— Я не хочу! — закричал он что было мочи.— Она убьет меня! Простите! Простите! Пощадите меня! Это не я опозорил машину! Я не виноват! Валя! Валя! Спаси меня!

XII

Кавалеров болел трое суток. Выздоровев, он бежал.

Он слез, глядя в одну точку, в угол, под кровать. Он одевался как автомат и вдруг ощутил новую кожаную петлю на подтяжках. Вдова удалила английскую булавку. Откуда взяла она петлю? Отпорола от старых подтяжек мужа? Кавалеров полностью понял мерзость своего положения. Он убежал без пиджака в коридор. По дороге отцепил и бросил красные подтяжки.

На пороге площадки он задержался. Голосов со двора не было слышно. Тогда шагнул он на площадку, и все мысли смешались. Возникли сладчайшие ощущения — томление, радость. Прелестно было утро. Был легкий ветерок (точно листали книгу), голубело небо. Над загаженным местом стоял Кавалеров. Кошка, испуганная его порывом, бросилась из сорного ящика; какая-то дрянь посыпалась за ней. Что могло быть поэтического в этом обложенном

многими проклятиями закутке? А он стоял, задрав голову и вытянув руки.

В ту секунду он почувствовал, что вот наступил срок, что вот проведена грань между двумя существованиями — срок катастрофы! Порвать, порвать со всем, что было... сейчас, немедленно, в два сердечных толчка, не больше,— нужно переступить грань, и жизнь, отвратительная, безобразная, не его — чужая, насильственная жизнь — останется позади...

Он стоял, широко раскрыв глаза, и все поле зрения от бега и волнения и оттого, что был он еще слаб, пульсировало перед ним и розовело.

Он понял степень своего падения. Оно должно было произойти. Слишком легкой, самонадеянной жизнью жил он, слишком высокого был он о себе мнения,— он, ленивый, нечистый и похотливый...

Понял Кавалеров все, летя над закутком.

Он вернулся, подобрал подтяжки, оделся. Звякнула ложка — вдова потянулась за ним,— но, не оглянувшись, он покинул дом. Снова он ночевал на бульваре. И снова он вернулся. Но он решил твердо!

«Я поставлю вдову на место. Я не позволю ей даже заикнуться о том, что было. Мало ли что случается по пьяному делу. А жить на улице я не могу».

Вдова жгла над плитой лучину. Она посмотрела на него из-за виска и самодовольно улыбнулась. Он вошел в комнату. На угол шкафа надет был котелок Ивана.

Иван сидел на кровати, похожий на брата своего, только поменьше. Одеяло окружало его, как облако. На столе стояла винная бутылка. Иван хлебал из стакана красное вино. Он недавно, видимо, проснулся; лицо его еще не выровнялось после сна, и еще сонно почесывался он где-то под одеялом.

— Что это значит? — задал Кавалеров классический вопрос.

Иван ясно улыбнулся.

— Это значит, мой друг, что нужно нам выпить. Анечка, стакан!

Анечка вошла. Полезла в шкаф.

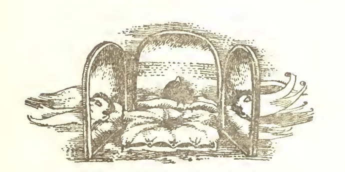
— Ты не ревнуй, Коля,— сказала она, обняв Кавалерова.— Он очень одинокий, такой же, как ты. Я вас обоих жалею.

— Что это значит? — тихо спросил Кавалеров.

— Ну, чего заладили? — рассердился Иван.— Ничего не значит.

Он слез с кровати, придерживая исподнее, и налил Кавалерову вина.

— Выпьем, Кавалеров... Мы много говорили о чувствах... И главное, мой друг, мы забыли... О равнодушии... Не правда ли? В самом деле... Я думаю, что равнодушие есть лучшее из состояний человеческого ума. Будем равнодушны, Кавалеров! Взгляните! Мы обрели покой, мой милый. Пейте. За равнодушие. Ура! За Анечку! И сегодня, кстати... слушайте: я... сообщу вам приятное... сегодня, Кавалеров, ваша очередь спать с Анечкой. Ура!



Ефим ЗОЗУЛЯ

РАССКАЗЫ

ЖИВАЯ МЕБЕЛЬ

1. КАК ЖИЛ ГОСПОДИН ИКАЙ

Господин Икай сидел на спине человека, стоявшего на четвереньках. Человек служил ему креслом. Это кресло было удобно: сиденье — теплое и прочное, спинка — нежная и ароматная, ибо это была грудь молодой здоровой женщины, умевшей стоять неподвижно, а перилами кресла, на которых покоились руки Икая, были изящные плечики двух девочек-подростков. Эти девочки были настолько крепки, чтобы выдерживать тяжелые руки Икая, и в то же время настолько чутки, чтобы улыбаться именно тогда, когда культурному человеку тоскливо и так хочется, чтобы ручки кресла улыбались.

Икай был мягок и по-своему сердечен: он берег свою живую мебель.

Выносливый человек, на спине которого он сидел, а также женщина и девочки — все составные части кресла — часто, в определенные сроки, чередовались. Их сменяли такого же роста, телосложения и качества люди.

Господин Икай любил свое кресло и сидел в нем всегда, когда размышлял. На этот раз его размышлениям помешал секретарь.

— Что вам нужно? — мягко спросил Икай.

— Испортилась спица в левом колесе,— сообщил секретарь.

— Совсем?

— Да.

— Похоронили?

— Да.

— Как же это случилось? Вы знаете, я не люблю неосторожности.

— Это был несчастный случай, господин Икай. Ваша супруга пожелала кататься с горы к морю. Колеса завертелись слишком быстро, и в четвертом колесе спица сорвалась. Смерть наступила мгновенно.

— А сколько учился неудачник? — задумчиво спросил Икай.

— Два года.

— Запасных спиц много?

— Достаточно, господин Икай.

— Кандидаты есть?

— Есть.

— Приведите!

Через несколько минут перед Икаем стоял стройный человек с сильными руками и ногами.

— Это для какого колеса? — деловито, не глядя на вошедшего, спросил Икай у секретаря.

— Для переднего, господин Икай. Для большой коляски.

— Ага! Хорошо. А вы уже говорили с ним?

— Нет.

— Ну, тогда я поговорю.

И, обратившись к новому служащему, Икай спокойно спросил:

— Вы хотите служить у меня в качестве спицы в колесе?

Нанимающийся человек подумал и осведомился:

— А в чем будут заключаться мои обязанности?

— Вы будете стоять в большом обруче, растопырив руки и ноги, и вертеться. В этом и будут заключаться ваши обязанности. Вас научат. Сразу не дадут столь ответственной работы. Не беспокойтесь.

— А для чего это вам? — спросил будущий служащий.

Господин Икай мягко, без раздражения ответил:

— Дорогой мой, я не обязан объясняться с мелкими служащими. Это ведь нигде не принято. К тому же это в значительной степени усложняет дело. Я вас не принуждаю. Если у вас есть другое призвание, посвятите себя ему. Каждый живет и работает, как хочет и может.

— Это зависит от обстоятельств, господин Икай!

— Все равно. Можете идти.

— Господин Икай, я чувствую призвание к бухгалтерии. У меня есть достаточный опыт. Не нужен ли вам бухгалтер?

— К сожалению, сейчас нет,— подумав, ответил Икай.— Их у меня много. Вот еще ножка для моей передвижной двухспальной кровати нужна. Мне кажется, что по телосложению своему вы подходите для этой должности.

— А по духовному укладу? — просто, без дерзости спросил нанимающийся.

Икай подумал и сказал:

— Не знаю. Я сейчас позову домашнего ученого и спрошу.

Он позвонил, и в комнату вбежал седой ученый, стоявший обыкновенно в огромной библиотеке Икая в рядах многих ученых, писателей и поэтов — живых книг Икая.

— Этот человек по своему духовному укладу может стать ножкой для кровати? — спросил Икай.

Седой ученый громко и отчетливо изрек:

— Почти каждый человек может стать ножкой для кровати. Все зависит от обстоятельств.

Ученый повернулся и выбежал из комнаты.

— Вот видите,— сказал Икай.— Наука подтверждает.

— А какое жалованье? — спросил нанимающийся.

— Какого заслужите. Я не торгуюсь. Но большой суммы не просите: не дам.

— Как бухгалтер я получал сто двадцать рублей в месяц и наградные к праздникам. А как ножка для кровати... Я, право, не знаю... Я еще не занимал такой должности. К тому же, господин Икай, я человек интеллигентный, я даже иностранные языки знаю. Подходит ли для меня такая должность?

— Вам лучше знать. Меня это не интересует,— мягко ответил Икай.— Ваша интеллигентность тоже не занимает меня. Для моих духовных потребностей у меня есть штат специальных служащих. У меня есть специалисты-справочники, как вы только что видели, специалисты-собеседники, специалисты-слушатели, спорщики, сочувствователи и, кроме того, есть особые специалисты-враги и специалисты-друзья. Я не люблю ни в чем дилетантизма. Все они получают жалованье и вполне удовлетворяют меня. В вас же меня интересует только некоторая физическая сила и рост. Вас научат держать мою кровать и гулять с нею в лунные ночи по саду.

— Я один буду носить кровать?

— Нет. Мою двухспальную передвижную кровать носят шесть ног. Шесть человек. Если вы выкажете способности, я вас сделаю одной из передних ножек. На них лежит большая ответственность, так как они выбирают дорогу и вообще проявляют инициативу в выборе красивых мест в моем саду.

— Я за это хочу получать пятьсот рублей в месяц и чтобы платили каждое первое и пятнадцатое.

— Хорошо. Идите, запишитесь. Мастерская номер четыре. Во дворе, налево.

Господин Икай поднялся и сказал своему креслу:

— Можете отдохнуть.

2. ЕЩЕ О ТОМ, КАК ЖИЛ ГОСПОДИН ИКАЙ

Господин Икай жаловался:

— Господа, я не могу больше. Я устал. Мне все надоело. Мои усилия пропадают зря. Моя мебель никуда не годится. Вчера заболел мой стул. Какая гадость! В библиотеке полный беспорядок. Мои живые книги ненавидят меня. Они плохо слушаются. В моем кабинете испортились обои. Смеются не вовремя. Смотрят издевательски. Это ужасно! Если так будет и впредь, я, право, не знаю, что и делать.

Главный Мебельщик живой мебели переминался с ноги на ногу и, упрямый, как все мастера, бормотал:

— Это невозможно, господин Икай! Не может быть! Разрешите посмотреть. Я хочу лично убедиться.

Господин Икай и Главный Мебельщик прошли в кабинет.

Это была самая интересная из комнат Икая. Стены ее состояли исключительно из золотых овалов и в каждом овале помещалось лицо стоявшего за сетью овалов человека. Эта комната строилась несколько лет знаменитым инженером-американцем и представляла собой чудо техники. Три тысячи человеческих лиц составляли обои большого кабинета Икая, а тел не было видно.

Живые обои были неподвижны. Шесть тысяч глаз смотрели сумрачно, с заученным выражением.

— Смотрите, они косят,— жаловался Икай.— А вот эти часто ехидно улыбаются. И, кроме того, они тяжелы — эти обои. Они уже не веселят меня, как веселили раньше.

Главный Мебельщик с деловито-озабоченным выражением смотрел на живые маски людей и, как механик,

пробующий в комнате электричество и поворачивающий для этого выключатель, захлопал в ладоши и крикнул:

— Весело!

Обои по знаку заулыбались. Улыбались три тысячи человеческих лиц — мужчин, женщин, юношей и подростков.

— Грустно! — крикнул Мебельщик.

Обои по знаку перестали улыбаться. Лица опять стали серьезными, сумрачными.

— Все в порядке, господин Икай.

— Нет! Вы ошибаетесь! Не все в порядке. Далеко не все,— вздохнул Икай.

Главный Мебельщик не возражал.

Он знал о подлинной причине жалоб Икая: его жена изменила ему с какой-то частью карниза из этого же кабинета. А он так верил глазам этого юноши! Так верил! Когда Икай грустил, он требовал от обоев сочувствия, и ему казалось, что именно эта часть карниза сочувствует ему больше других. Так казалось. Отчего так обманчива жизнь?..

Главный Мебельщик ушел.

Икай задумчиво побрел в библиотеку. Ему было скучно, и он хотел развлечься.

Поэт прочитал ему новые стихи.

— К черту,— тихо сказал Икай.

Затем позвал:

— Номер двадцать седьмой! Сюда!

Это был самый злой из специалистов-врагов.

Икай позвал свое кресло, уселся и приказал служащему-врагу:

— Говорите!

Враг начал:

— Я счастлив, что вы в дураках. Надеюсь, что все полетит к черту, и вы наконец погибнете. Вы — самый несчастный человек, какого мне довелось видеть когда-либо. Вы спите на людях, сидите на людях, заставляете людей удовлетворять все свои потребности. Ничего не выйдет, дорогой!.. Ни-че-го! Вы одиноки, как труп повешенного, как лошадь на живодерне.

— Хорошенькие сравненьица! Нечего сказать! — поморщился Икай.

— Вы не стоите лучших. Теперь вам изменила жена с каким-то карнизом... Ха-ха-ха! Завтра она вам изменит с ножкой стула или стола. Вот вам и ваше счастье и ваше

богатство! Вы гниете, милостивый государь! Разлагаетесь! Нельзя на людях, на их телах и душах, на их унижении строить счастье. Ни-че-го не выйдет. Будут платить презрением, а в конце концов и по физиономии дадут. Не думайте, что у вас все спокойно и ладно. Бунт нарастает. Все эти ваши столы и стулья, колеса и обои — вся ваша живая мебель, в которую вы изволили превратить людей, поднимется и взорвет вас. Что бы там ни было, а человек — это все-таки не спица в колесе! И не ножка для кровати! Бедное существо, утонувшее в людской покорности! Как мне жаль вас!

— Вы хорошо исполняете обязанности моего личного врага. Я, вероятно, прибавлю вам жалованья,— с кривой усмешкой сказал Икай.— Кроме того, я увеличу тираж ваших книг.

— Мне сейчас наплевать на ваше жалованье. Скоро вы погибнете, и мы все будем свободны.

Икай рассмеялся.

— Не смейтесь! Пройдемся по вашим «мастерским», где уродуют и мучают людей, посмотрим на все ваши живые коляски, на ваши живые спицы, на вашу живую мебель. Вы скоро увидите, можно ли людей превращать в мебель и думать, что это культура.

Икай неожиданно изъявил согласие:

— Идемте.

Они прошли по дворам роскошного имения Икая. Всюду был внешний порядок. Всюду шла работа. Сотни инструкторов, техников, учителей и погонщиков изготовляли из живых людей неподвижные статуи покоя и удобств для господина Икая.

Многие из этих людей имели изможденный вид, но многие успели приспособиться и сжиться с незавидной долей.

— Ты кто такой? — спросил враг Икая у какого-то раззолоченного, пестрого старика, бродившего по двору.

— Я лампа,— ответил тот.— Я стою на лестнице и освещаю путь господину Икаю. Лампа стоит на моей голове, а я заменяю столб.

— Почтенное занятие! — плюнул враг Икая.— Вот скоро, скоро увидите, во что превратятся эти столбы.

Навстречу им прошел отряд с лопатами. Эти люди имели обычный изможденный вид рабочих, одинаковый во все времена и эпохи.

— Вы кто такие?

— Мы — лопаты. Мы роем для господина Икая золото и уголь.

Вид у рабочих, несмотря на внешнее спокойствие, был такой, что даже враг Икая не сказал ни слова.

Далее стояли какие-то чудища с кусками железа вместо головы и рук.

— Вы кто такие? — спросил враг Икая.

— Мы — солдаты. Мы охраняем спокойствие и благополучие господина Икая.

3. ЕЩЕ О ТОМ, КАК ЖИЛ И ЖИВЕТ ГОСПОДИН ИКАЙ

Господин Икай забыл о словах своего специалиста-врага. Все было спокойно. Специалисты — друзья и враги, одинаково получавшие жалованье,— говорили Икаю о разных свойствах введенной им дисциплины, о природе людской, любящей покорность, и Икай успокоился.

Обои из человеческих лиц улыбались ему, когда он этого хотел. Столы, этажерки, диваны и мягкие ковры из прекрасных женщин пели ему песни, когда он подавал соответствующий знак. Живая библиотека услаждала его слух всячески. И даже жена перестала изменять Икаю. Только несколько раз из-за нее рассчитывались какие-то живые тюфяки, подножки и вешалки.

Жизнь текла спокойно, и все казалось нормальным, как всегда кажется, что бы ни происходило в жизни.

И вдруг, в один из обыкновенных дней, когда так же, как всегда, дышала жизнь и необъятные пространства были бездумны, а дали мудры и непонятны, и росы ложились на поля, и полчища туманов бились о землю, и ветры трепали шевелюры лесов,— возмутились люди.

В квартирах, подвалах, рудниках и мастерских забились трепетные комья сердец человеческих, восстали души, прозрели головы.

Во дворце Икая поднялся могучий и великий шум. Кричали спицы из колес, стулья, этажерки, лампы... Кричали поруганные, униженные, гнущиеся в рабстве.

— Мы не хотим быть спицами в колесах!

— Мы не хотим быть стульями и кроватями!

— Мы не хотим быть обоями в кабинете Икая! Наши лица не обои!

По коридорам, лестницам, комнатам, залам бежали ковры и лампы, диваны и тюфяки, во дворе собрались живые лопаты и молоты.

Великий шум разлился по всей земле...

4. И...

...и на этом пока кончается рассказ о живой мебели. Пока еще много осталось ее на свете, а когда ее не будет, кто-нибудь напишет о ней еще раз и — лучше.

ПОДВИГ ГРАЖДАНИНА КОЛСУЦКОГО

ГЛАВА ПЕРВАЯ —

(самая прозаическая —
ничего не поделаешь:
именно так произошло все это
(фабульная часть набрана
крупным шрифтом,
психология — мельче).

— Здесь живет Колсуцкий?
— Здесь.
— Дома?
— Дома.

И перед Колсуцким стоит худой рыженький военный человек, и Колсуцкий чувствует растерянность и страх. Глотать трудно. Нижняя губа начинает неудержимо прыгать.

То, что называется мыслью, сознательно и бессознательно, в словах и без слов, думает: кончилось благополучие. Кончилось. Кончилось. И быстро-быстро, как свет, как звук, пролетают образы: в Б. Гнездниковском арестанты за железными решетками. Ворота Чека на Лубянке. Расстрел. Это неясно, но страшно. До тошноты. А часовой у ворот будет так же сидеть. Наплевать, что расстреляли какого-то Колсуцкого, заведующего красноармейским складом. Будут носить чай в жестяных чайниках в караулку. Зимой у ворот Чека — следы-льдинки от пролитого кипятка. Автомобили будут мчаться, как всегда. Две девушки пройдут мимо страшных ворот и будут смеяться. Он видел однажды: под сильным конвоем ввели в ворота несчастного, а через минуту никто из проходивших не знал ничего об этом. Никто не знал. Те, что видели, ушли, а другие не видели. И две девушки прошли и смеялись. Образы девушек, смеющихся, захлестывают сердце.

Глотать трудно. Губа прыгает. Но Колсуцкий, привстав со стула и отодвинув немного начатый чай, говорит, закутывая слова в спокойствие:

— В чем дело? Вы ко мне?

— Вы Колсуцкий?

— Я.

Рыженький человек, в галифе, во френче-полушубке, с тяжелым револьвером на животе. Глаза маленькие, спокойные, осевшие, как сонные птички в клетках. Стоит и смотрит.

— Я — Колсуцкий. Что вам угодно, товарищ?

Внутренняя жизнь человека — океан, а логика — пароходик, скользящий по его поверхности. В океане — бездонная глубь, чудеса, бесконечное движение, непостижимая сложность, а пароходик плывет, стараясь не думать о бездне под ним.

— Я — Колсуцкий. Что вам угодно, товарищ?

— Вы заведующий четвертым складом обмундирования?

— Я.

— Одну минуточку...

Рыженький роется пальцами в кармане френчика на груди. Колсуцкий перестает дышать.

Такая должность! Такая должность! Проклятая должность! Прежний заведующий тоже пропал ни за что. Кто донес?! Рабочие! Артельщики! Сукины сыны!! А сами-то они с «экономией» как?! Он даже не знал до поступления на эту службу, что такое «экономия». Это когда выдают на фронт сто шинелей, две не додать, а получить расписку на все сто. Не всегда в суматохе неопытный получатель будет считать правильно. «Экономию» меняют на пшено, муку, яйца. Это, по традициям артельщиков, законно. Брать себе со склада сапоги для носки и даже на запас шинель и все остальное — тоже законно, по круговой поруке, а продавать нельзя. Молодой артельщик Снетков продал. Ему за это молча выбили несколько зубов. Неужели же артельщики донесли? За что?! Он не виноват ни в чем. Может быть, подрядчик? Этот ходил вокруг склада месяца два. Подарки предлагал, выпивать приглашал, знакомил с красивыми женщинами. Видит бог (Колсуцкий неверующий, но, кроме бога, нет свидетелей) — не поддавался! За что же? За что? Революция. Вот в чем дело! Это — революция. Самое главное: разобраться некому и, главное, некогда. Неужели расстреляют?! Неужели заберут из этой теплой квартирки, а жена будет спать, теплая под теплым одеялом, сначала одна, а потом с Ивашкиным, который на нее зарится. Господи, каким голосом начать кричать, чтобы не было всего этого...

За дверью. Шум. Кашель. Много ног. Стук винтовок.

Дверь открывается. Торжественно-деликатно всовывается изжеванная голова председателя домового комитета. Это враг. Ему уже, по-видимому, сообщили, что у Колсуцкого обыск. Он торжественно, почти лучезарно спокоен.

Он давно ждет гибели Колсуцкого. Он подходит к столу, на котором стоят недопитый чай и тарелка со сладкими коржиками. Внимательно и несколько иронически смотрит на них и садится за стол, свободно и широко садится, как у себя дома.

Военный вынул бумажку, развернул и поморщился: не та.

— Одну минуточку.

Повернулся и пошел к двери, к красноармейцам.

Колсуцкий смотрит на лицо председателя.

Горе. Да. Горе. Такие бывают лица у недоброжелательных или равнодушных ближних, когда у человека горе. Не к кому воззвать о помощи. Некого спросить. Некого умолять. Горе, горе! Вечер, скоро ночь. Будет утро, и все — беспрерывно. Когда горе — сутки перестают делиться на день и ночь.

Рыженький возвращается с новой бумажкой в руках. Смотрит на нее и спрашивает:

— Ваш склад находится на Самарской улице?

— Да.

— Будьте любезны, товарищ, пойти со мной.

Пароходик плывет на поверхности бездны-океана. Бездна бушует, качает, но он плывет, плывет, крепится, крепится. Даже ворочает над бездной винтиком.

— А позвольте вас спросить: ордер у вас есть?

Рыженький с недоумением, но просто, жестоко и в то же время добродушно говорит:

— Никакого ордера не надо. Будьте любезны пойти со мной.

Председатель домового комитета смотрит на стол. В секундном молчании раздается его голос — равнодушный и тайно лукавый:

— А где ваша супруга, Константин Федорович?

— В театре.

Председатель глубоко качает головой: очень хорошо понял — точно весьма сложное.

...Качает головой. Этим качанием он предает, доносит, клевещет. Он как бы говорит: в театре? Понимаю. Коржики? Понимаю. А почему тепло в комнате? Тоже поннмаю. Дело понятное: заведующий складом — должность тепленькая. А вот попался, голубчик, и посмотрим, какие у тебя теперь будут коржики... Господи, господи! К кому обратиться?! Кто поймет? Кто спасет? Как тяжело! Как одннoко и холодно. Если бы они знали, как он хлопотал об этом билете в театр для жены в Центральном управленнн складов! Если бы они знали! Но пароходик мужественно режет, расталкивает волны — он, маленькнй, знает, куда плывет, хочет знать.

— Скажите, товарищ, куда же мы идем? В чем, собственно, дело?

— Идемте, вам говорят,— и все тут. Все будете знать. Вы заведующий складом? Так знайте свой служебный долг. Требуют по делу — так идем. Одевайтесь поскорее, пожалуйста!

Тон — простой, ясный, деловитый.

— А обыска не будет? — вежливо спрашивает председатель.

— Не будет никаких обысков. Будьте любезны скорее, товарищ.

Колсуцкий, дрожа мелкой дрожью, надевает валенки, шинель и папаху. Он ни о чем не думает — он чувствует, обоняет запах несчастья. Это запах железа, холода, кислотошнотной гнили.

Оделся. Выходит. В дверях задерживается и видит, что председатель, медленно приподнимаясь со стула и тоже собираясь уходить, самовольно, без спроса берет коржик и спокойно, нахально, нагло начинает его есть...

Колсуцкому ясно: все кончено.

В дверях красноармейцы. На лестнице — тоже. Тяжелое топтанье, огоньки цигарок.

Рыженький — впереди. Колсуцкий за ним. В воротах тоже красноармейцы, и даже на улице ждет несколько человек. Всего человек тридцать.

За воротами рыженький негромко, просто, совсем по-домашнему командует:

— Построиться!

Тихо строятся на снегу — по четыре в ряд. Кого-то не хватает. Зовут:

— Елизаров! Ишь, черт...

Колсуцкий на тротуаре один. Его никто не охраняет. Разве так арестовывают? По-видимому. Им не впервые. Знают, что никуда не убежишь: пуля догонит. Обычное: «Убит при попытке к бегству». Страшно. Может быть, обратиться к ним, объяснить, что он ни в чем не виноват?.. Нет, не поймут. Да им это неинтересно. Им холодно и скучно. И лица какие мрачные... Жена придет домой из театра, узнает... Она холодная блондинка... Ляжет спать в платье, только и всего... А утром пойдет к Ивашкину, а Ивашкин, счастливый, будет звонить в Чека, спрашивать, где Колсуцкий... В десятой квартире, у Александры Игнатьевны, муж расстрелян... И что же? Ничего, живет. Вчера стояла в очереди за ботинками... Что жизнь человека! Что жена! Что родство! Что дружба...

Темно. Белеет снег. В домах — огни.

Рыженький пошел вперед. Отряд — без команды — за ним.

Колсуцкий рядом с рыженьким. Рыженький приближается к нему, касаясь плечом, и говорит:

— Видите ли, товарищ, в чем дело: мы получили сведения, что сегодня ночью готовится нападение на склад шайкой бандитов. Их будет человек пятнадцать, вооружены ножами, браунингами, маузерами. Надо, значит, засаду устроить и переловить их. Засада будет на складе. Склад большой. Огней зажигать нельзя. А мы, понимаете, не знаем внутренних ходов и вообще расположения склада,— вот вы и будете водить нас. Вы — заведующий, это ваша обязанность. Я не мог сказать вам дома, потому что были посторонние лица, а это служебная тайна. Вам же, между прочим, должно быть стыдно, товарищ, так дрейфить... Должно быть, грешны, коли так боитесь. Стыдно! Склад обмундирования — это народное добро. Надо свой долг всегда помнить и быть готовым защищать то, что вам вверено.

Не арест?!!

Не арест?!! Не арест?!! Не арест???!!! Не арест? Не арест?! Не арест?! Не арест?! Не арест?!! Не арест?!!!

В голове светло и пусто. Совершенно пусто, как всегда, когда человека ошеломляет счастье.

Сколько длится эта пустота — эта чудесная растерянность? Сколько? Секунду. Больше? Меньше? Неизвестно. Но человек поразительно быстро привыкает к новому.

Колсуцкий довольно спокойно, подчеркнуто недоумевающим тоном говорит:

— Я вовсе не испугался, и вообще бояться мне нечего, но я не знал, в чем дело. Вы ничего не говорили.

— Так я же не мог говорить у вас на квартире! Там были посторонние лица. Даже вам, по-настоящему, можно было сказать только на складе — не раньше. Служебная тайна. Надо понимать это.

— Ну да, конечно, я понимаю. Значит, мы будем их ловить?.. Засада?.. Это хорошо. А я, между прочим, нисколько не испугался, чего тут пугаться? Просто недоразумение вышло. А скажите, ключи от склада где? Ведь они у артельщика.

— Взяты. За ними пошли.

Так вот какая история... Однако тип какой... «Народное добро»... Ишь как!.. Высокие слова... Карьеру делает молодчик... Повышение по службе требуется...

Колсуцкий деловито шагает рядом с начальником отряда. Ноги идут по-новому. Хорошо идут. Несколько поодаль движется отряд. Снег хрустит. Прохожих нет. Темно. И чем ближе к складу, все темнее улицы, унылее пригородные пустыри.

Идут. Молчат. Прошли мимо низенького домика. В освещенном оконце отстала занавеска — видна комната, стол, уютная лампа, пианино. Несколько человек молодежи. Поют. Играют. Вечеринка...

...Да, такова жизнь. Такая революция, а вечеринка своим чередом. Таковы люди. И вдруг острая злоба: вспомнил, как председатель домового комитета начал есть коржики... От возмущения екнуло в челюсти. Какая наглость! Он думал, что его, Колсуцкого, уже нет... Он еще тут, но с ним можно уже не считаться... Точно с мертвым... И Колсуцкий с необычным для него напряжением начал думать, как бы так устроить, чтобы сейчас же вернуться, с этим же отрядом, и арестовать председателя... Это хорошо!! В голове запрыгали огненные слова: «Будьте любезны, гражданин!! Живо!! Не разговаривать!!» Вот посмотреть бы тогда на его рожу! Он думал: «Все кончено. Колсуцкий попался!» Не-ет, еще не попался!!! Он тебе еще покажет — Колсуцкий! Погоди! Сукин сын!

— Скажите, товарищ, кто вызвал председателя домового комитета? Это вы его вызвали? — спрашивает Колсуцкий.

— Нет.

— Значит, он сам пришел?! Понимаете, какой человек! Без спросу, сам угощается! Видали, печенье домашнее стояло на столе?.. Вы только подумайте, какой нахал! Он думал, что меня арестовали, и начал распоряжаться... Вот человек какой!.. Мне печенья, конечно, не жалко... Не в этом дело, но принципиально! Ведь обидно, знаете, такое отношение!

Рыженький ничего не ответил. Чуть-чуть только отвернулся, и Колсуцкий почувствовал, что его обожгло чужое, усталое и холодное презрение.

Подошли к огромному пустырю, за которым темнели корпуса склада.

— Стой!

Отряд остановился.

— По одному тихо и незаметно пройдите в главный корпус.

И, обратившись к Колсуцкому, рыженький повелительно добавил:

— Идите вперед и ждите у входа, пока я не приду. Всех сторожей созовите в сторожку.

Колсуцкий следил за Козиным (фамилия начальника отряда). Смотрел на его худенькое рыженькое лицо. Смотрел на контуры его строгой и бодрой фигурки, на прямой и твердый затылок. И все больше и больше проникался ненавистью к нему.

По-видимому, этот коммунист делает карьеру. Какие тут, к черту, бандиты? Полгода Колсуцкий служит на складе, и никаких бандитов не было. И вдруг — бандиты. Кто его знает, может быть, он и сам с банди-

тами сговорился, чтобы те пришли ночью. Красноармейцы постреляют, а молодчик получит повышение по службе... Все это хорошо, но он-то, Колсуцкий, тут при чем? «Народное добро». Подумаешь, какой охранитель народного добра нашелся!..

Склад ночью был чужд и не нужен Колсуцкому. Работать на нем днем было делом понятным, ясным. Но сейчас густой мрак и спертый запах сукна и кожи был чужд, враждебен, неприятен. И как-то глуповато, по-детски выходило, когда Козин серьезно и деловито расставлял часовых, знакомился с расположением склада.

— Товарищ,— сказал Колсуцкий,— я полагаю, что никаких бандитов не будет, и, право, нечего так беспокоиться.

— Вы почем знаете? — резко повернулся к нему Козин. (Большая пауза, резко): — Прошу не разговаривать, а делать, что вам приказывают. Отведите товарищей к запасному ходу и спрячьте за товаром. Предупреждаю: склад на осадном положении, и, если будете мешать делу защиты его,— немедленно арестую.

Колсуцкий ничего не ответил. Отвел красноармейцев в назначенное место и вернулся.

Он не чувствовал себя особенно обиженным словами Козина. Что с него взять? Чекист! И, кроме того, нечуткий, неприятный человек. В другой обстановке он поговорил бы с ним иначе. А тут что поделаешь? Да никто и не слышал. Пять красноармейцев? Наплевать! Это не его общество. Пройдет ночь, и все это уйдет в прошлое, о котором он постарается не вспоминать. И в потемках, где пахло овчиной, кожей, в тишине, в холодном мраке Колсуцкий продолжал думать о Козине: да, неприятный и властный человек. Голос какой — сухой и неприятный. Ограниченный человек, но с волей. Он знал таких. Был у него учитель такой. И хозяин в одной конторе. В центральном управлении складов тоже есть такой. И обида в темноте не казалась острой, хотя мучило сознание, что он таких людей боится и ничего с ними поделать не может. Но наплевать, ничего! Пройдет эта нелепая ночь, и все пойдет по-прежнему. Это случайность, возможная только во времена революции. Ничего. У себя, в его обществе, ничего подобного не может быть... Но эти потемки в ночном складе, среди неведомых, кажущихся или действительных шорохов, были мучительны. Время как-то остановилось. И Колсуцкий вдруг подумал о том, какое у него, в сущности, общество? Несколько человек знакомых и родственников. По праздникам приходят и сидят, растопырив ноги... И, главное, приходят, когда деньги есть... Жена живет с ним потому, что он кормит ее. Когда есть деньги — хорошо к нему относится, когда нет — почти избегает. Когда его соседу, председателю домового комитета, показалось, что его арестовывает Чека, он начинает бесцеремонно есть его печенье... В сущности, он одинок и беспомощен, как любой полушубок, лежащий здесь, на складе, в холодном мраке, придавленный такими же полушубками... И если вдуматься, то, собственно, нечего уж так бояться ареста. Жизнь сложилась неудачно. Близких людей нет, труд — унылый, нелюбимый. Удовольствия: выпивка и карты. В общем, черт знает что такое. А теперь ночью он сидит вот тут, защищает «народное добро» вместе с красноармейцами. В чем дело?

— Товарищ Козин, товарищ Козин!!

Голос тревожный, острый. Две руки цепко хватают Колсуцкого, стоящего рядом с Козиным, но тотчас же отскакивают. Нервный хрип:

— Кто это?! Кто это?!

— Успокойтесь, товарищ (голос Козина)! Что вы, в самом деле! Чего орете!

Взволнованный голос:

— Товарищ Козин, знаете, мы в ловушке?! Дверь внизу закрыта. Тот ушел с ключами... Мы в ловушке!!! Я не понимаю вашего плана. Знаете, сколько тут комнат? Восемьдесят! И пять коридоров. Не мы их, а они нас перестреляют как собак. А я еще черкесов рассыпал по пустырю вокруг склада! Они там ходят, а мы тут сидим. Форменная ловушка! Ушел, сукин сын, с ключами! Расстреляю его сам, сам расстреляю! Своими руками!! Сколько ни стучал, нет его. Да и что за план дурацкий!..

Колсуцкий по голосу узнал агента уголовного розыска. Он с небольшим отрядом черкесов ждал у склада, когда прибыл отряд Козина. Он же достал у артельщика ключи и передал другому агенту, который запер их всех снаружи, а сам ушел.

У Колсуцкого одеревенели руки и ноги. Открылся похолодевший рот, и именно ртом, а не ушами ловил он ответные слова Козина:

— Товарищи, призываю вас к порядку. План мой вполне правильный. Черкесов рассыпали по пустырю вокруг склада? Правильно. А мой отряд и мы все здесь. Тоже правильно. Нас закрыли снаружи? Я велел так. По моему приказу печати заделаны. Сторожа в сторожке. Их двое: один сегодня не явился,— значит, один. Его, конечно, бандиты снимут. Ничего не поделаешь! Затем пойдут сюда. Увидят, печати на дверях в целости,— значит, все в порядке. И либо откроют двери, и мы их сцапаем, либо будут пилить решетки на окнах, и тут они тоже от нас не уйдут, потому что хоть и темно, а окна выделяются. Притом на всякий случай он (Козин тронул Колсуцкого за плечо), он, заведующий, все ходы знает и проведет нас.

Огромный черный склад ожил от шорохов, дыхания, шагов, осторожных, чудовищных звуков. Ужасное предположение, одинаково пронизавшее всех, что бандиты, может быть, находятся здесь же и крадутся из-за кип товаров, стихийно гнало людей друг к другу, заставляло хватать друг друга во мраке и сумасшедшим шепотом

спрашивать полумертвыми губами: «Кто идет? Кто идет? Кто идет? Кто? Кто?.. Стой! Стой! Стой!..»

И Козин тоже не выдержал: заметался во мраке и запутался в клубке людей, хватающих друг друга и одинаково облитых холодным потом.

— Кто там? Кто там? Стой!..

— Кто там? Кто там?

Совсем близко щелкнул затвор. Почти одновременно панически защелкало еще несколько, и хриплый голос беззастенчиво громко крикнул:

— Товарищи! Вон из склада! Спасайся! Ловушка!

— Товарищи! Куда же из склада?? Ключей нет! Дверь закрыта!

— Товарищи, спокойно!!!

— В окно! В окно! Там... одно... без решетки... соскочить... второй этаж!!

— Где окно без решетки? Где?

— В коридоре.

— В каком коридоре? Где Колсуцкий??

— Колсуцкий!

— Колсуцкий!!

— Колсуцкий!!!

— Колсуцкий!!!!

— Колсуцкий!

— Колсуцкий!!!

— Веди к окну, Колсуцкий!!! Скорее! Иди вперед!!

И тут — в черной тишине, отмеренной ударами сердца, в пустоте, в холодном мраке — состоялось никем не высказанное решение, что он, Колсуцкий, должен прыгнуть первый. Почему? Потому, что он открывал тугую задвижку, потому, что он стоял на подоконнике, потому, что он первый с трудом оторвал окно от рамы и первый оказался в мутном четырехугольнике зимней ночи. И еще потому, что было холодно, жутко, что за спиной его стояли и тяжело дышали люди...

И Колсуцкий, чуть согнувшись, шагнул в мороз...

Холод, жар, свист, блеск в глазах, спертое дыхание, желудок поднялся до горла, удар в ноги, колено, бок, слегка в лицо, и он — на земле. На снегу.

Встал. Выдохнул воздух. Оглянулся. Цел. Ничего не болит. В груди — теплая волна радости. Но есть опасность: черкесы заметят и будут стрелять. Он отбежал за угол корпуса и...

Так это было просто, обыкновенно и ясно: за углом стояло человек шесть.

— Стой! Стой!

Но Колсуцкий метнулся назад, к открытому окну, из которого как тяжелые мешки, бухались на снег один за другим красноармейцы, и всем существом своим, всей жизнью закричал:

— Товарищи! Они! Сюда!!!

И в это мгновение почувствовал удар в бок.

Падая, он слышал выстрелы.

ГЛАВА ВТОРАЯ,

которую можно не читать:
в ней описано то же самое,
но по данным памяти Колсуцкого —
спустя четыре года.

Колсуцкий идет по Садовой мимо Третьего Дома Советов — делегатского общежития, смотрит: знакомое лицо. Кто бы это мог быть?.. Лицо очень уж знакомое...

— Здравствуйте, товарищ...

— Здравствуйте...

— Узнали?

— А как же!.. Как не узнать?..

А-га! Это... как его? Озоль... Рогозов... Лозов... Козов... Нет... Козин. Да, Козин. Тот самый, который пришел в госпиталь, когда Колсуцкий лежал раненый... Белое большое окно. У окна стоял и улыбался... А улыбка удивительная — большущая... Лицо у него небольшое, а улыбка — огромная. Бывает так: на большом лице — крохотная улыбка, как на огромной темной площади осенью один фонарь керосиновый с ограниченным кругом света. А у Козина наоборот: небольшое лицо, а улыбка больше лица. Даже неизвестно, как помещается...

— Не узнаете, товарищ Колсуцкий?

— Как не узнать! Как не узнать, товарищ Козин! Здравствуйте!

Милый человек! Тогда он первый в госпиталь пришел. Сообщил, что в приказе отмечен подвиг Колсуцкого, помогавшего защищать склад от бандитов. Осведомился о здоровье.

А вечером, на квартире, чудак такой, как напугал:

— Здесь живет Колсуцкий?

— Здесь.

— Дома?

— Дома. А в чем дело? Что вам угодно?

— Вы заведующий четвертым складом обмундирования?

— Я.

— Идемте со мною.

Куда идти? Зачем? С какой стати! Ночь. Мрак. Красноармейцы с винтовками. В чем дело? Никуда он не пойдет. Если это арест, то должен быть ордер. А ордера-то нет.

— Никуда я не пойду, товарищ! Вы мне объясните, в чем дело.

— Идемте, товарищ! Вы — заведующий складом? Так знайте свой служебный долг. Зовут — и идите.

Сказал бы толком: надо пойти на склад.

А он ничего не говорит. «Идемте» и «идемте», на животе револьвер. Тон — властный. Нехорошо. Портятся люди в Чека. Ведь милый же человек, а тогда сколько в нем было этой важности.

Но он все-таки пошел, чего там, в самом деле! Колсуцкий не из пугливых. Так, если посмотреть на него, обыкновенный человек, серенький. Ивашкин и то перед ним героем держится. А когда нужно было пойти — пошел. А когда нужно в окно прыгать — пожалуйста. Колсуцкий прыгает первый. Первый!! И все это без револьверов, без шума, без окриков... И, если это нужно, умеет уходить ночью из дому охранять и спасать склад...

Да как еще уходить!..

Некого было прижать к своей груди на прощанье,— ведь человек шел на смерть, на подвиг, о котором потом в приказе было. Не с кем даже было попрощаться...

Пустая была комната... Совершенно пустая... И только на кровати так небрежно, торопливо брошенные юбка, сорочка, полотенце... Это она, Зина, переодевалась и мылась перед тем, как идти в театр с Ивашкиным. Больно, очень больно видеть вещи, брошенные женщиной, торопящейся на свидание с другим...

Но — наплевать! Есть дела более важные, чем все эти личные переживания. Наплевать ему на то, что его предали... Ничего... Он один, один, в одиночестве, выдержит любые страдания, и вот пошел ночью, неизвестно куда, на увечье, на смерть, на подвиг, о котором даже в приказе говорилось... А она? Где теперь она? Вот уже четыре года, как он развелся с ней...

Он знал в ту ночь, что она в театре, но не знал, что с Ивашкиным. Об этом он узнал позже... Но какой этот Ивашкин! Вокруг голод, расстрелы, кровь, величайшая из революций, а тот ничего не видел, кроме Зины... И морда какая у него поганая — нижняя губа толстая... Он однажды сказал Белицкому, другу Колсуцкого: «Нравится мне эта

женщина — сил нету. Особенно когда она в валенках и в платочке... Не могу! Когда она с шуршанием вытягивает ноги из валенок — дыхание спирает в груди... А тело у нее какое, ноги, плечи!..»

Билет в тот вечер он так получил. Билеты распределялись по учреждениям и организациям. Купить нельзя было — не продавались. Для жены Колсуцкий получил один билет в Центральном управлении складов. Но как получил билет в тот же театр и на тот же спектакль Ивашкин? Оказывается, очень просто: Федосья Александровна, эта старая сволочь с шишкой на морде, из бухгалтерии, продала свой билет. Она видела своими черными глазами сводни, что Колсуцкий получил. Значит, ясно, что пойдет жена: он всегда уступал жене. Она и позвонила Ивашкину, который всюду легко втирается в знакомство, а с бухгалтершей он познакомился на встрече Нового года. Он и купил у нее, сукин сын, билет.

Итак, не было дома жены.

Один, один, в одиночестве, о т м е т а я л и ч н ы е п е р е ж и в а н и я (какое прекрасное выражение — его Колсуцкий в газете вычитал), уходил он из дому, чтобы быть раненным н а п о с т у, охраняя склад от грабителей. Даже в приказе...

Он шел на подвиг, а она в это время прижималась к Ивашкину... Жестоко все-таки устроена жизнь. Еще так недавно она была девочкой — робкой, чистой. Руки у нее были такие беспомощные, покорные. А как ловко она этими руками обнимала бычью шею Ивашкина! (Уж потом, попозже, наткнулся Колсуцкий на такую сцену.)

Вообще приходится отметить, что близость бывает чрезвычайно редко — точно так же, как и преданность. Многое, очень многое непрочно в этом мире. Только боль — она прочна, если уж охватила человека. И вот склад тогдашний, и Москва, и сугробы снежные, и бульвары — белые, пустынные, снежные бульвары Москвы 1919 года, и старик нищий на пустом бульваре, с флейтой,— какую свистящую, голодную, одинокую грусть навевал он! Ах, проклятый старик, сколько души выкачал он этим свистом из многих и многих ушибленных жизнью московских людей.

Итак, Ивашкину нужны были ноги из теплых валенок. И чтобы звук был ш у р ш а щ и й, когда ноги вытягиваются из валенок. Хорошо. Пожалуйста! Бери! Кому что. Тебе — это. А мне, Колсуцкому, подвиг, смерть, увечье. Ничего не поделаешь. Пожалуйста!

И вот он ушел ночью, ушел с красноармейцами и с Козиным. Красноармейцы строились на снегу. Кого-то не хватало. Звали:

— Елизаров! Ишь, черт...

Улицы были черные на белом снегу. Козин хмуро шел. Огрызался на все. Колсуцкий не помнит подробностей. Хороший человек, а тогда было в нем что-то неприятное. Суетился, нервничал — струсил, должно быть.

— Объявляю склад на осадном положении.

А какая была кутерьма на складе! Тьма, холод. Все кричали, бегали. Действительно, опасность была велика. Восемьдесят комнат. И коридоров сколько! Сам черт запутался бы. А если бы бандиты проникли — перестреляли бы красноармейцев, как зайцев, всех. Но вот тут и оказалась потребность в подвиге Колсуцкого. Кто знал все ходы-выходы? Он, Колсуцкий. Кто знал, где окно без решетки? Тоже он. Он заявил об этом. И он же, Колсуцкий, бросился к этому окну, открыл его — это тоже не так просто, надо было знать, как открыть задвижку. Кто бы это мог сделать, когда состояние у всех было взвинченное и тревожное до крайней степени? Он и открыл окно и выпрыгнул из него п е р в ы м. Он совершенно не знал, какая высота отделяет окно от земли. Он не помнил об этом. Он прыгнул. Это самое важное. Прыгнул первый. Прыгнул решительно и смело. Никто не предложил ему это, никто не сказал ни слова. А какие ощущения от прыжка? Он великолепно помнит их. Он упал на ноги, легко ударившись, он остался невредимым.

Бандиты были тут же, за углом. Колсуцкий их первый увидел, нисколько не растерялся и сообщил о них красноармейцам, за что в него и выстрелили.

Потом госпиталь...

Козин пришел первый... Какой милый человек... Настоящий товарищ.

А результаты дела были такие: самое главное — склад отстояли, из бандитов поймали пять человек. Убили в перестрелке двоих. Красноармейцев ранили троих.

В госпитале Колсуцкий пролежал два месяца. Зина, конечно, приходила. Но она была такой незначительной, серенькой... Он даже не рассказал ей, что произошло, какой он совершил подвиг, о котором сообщалось в приказе по Московскому округу. Зачем ему было рассказывать? Не лучше ли, чтобы она разузнала сама, чтобы ей рассказали чужие люди?

Он лежал с закрытыми глазами, притворяясь слабым, и отлично слышал, как ей рассказывали товарищи Колсуцкого по складу, тоже пришедшие его проведать. Когда они ей рассказали, он открыл глаза и посмотрел на нее: на ее лице было странное выражение — виноватого равнодушия. Да, виноватого равнодушия... Ей было это безразлично и в то же время почему-то неловко...

Чем скорее он поправлялся, тем реже приходила она, а когда он выздоровел, они разошлись. Это произошло без сцен, без объяснений. Она ушла. Просто ушла. Только через две недели пришла за вещами. Конечно, он отдал ей все.

— А шинель? — спросила она тихо.— Шинель ты берешь обратно?

— Нет, возьми и шинель. Раз я подарил тебе ее, значит, она твоя. Бери, пожалуйста!

И она взяла шинель. Шинель можно было перешить и сделать хорошее дамское пальто. Многие тогда так перешивали — из солдатской шинели — дамское пальто.

Она взяла шинель робко, глядя на пол, поблагодарила, тоже не поднимая глаз, и — ушла. Ушла тихо и поспешно.

Такова была Зина, и таков был Колсуцкий в этот тяжелый, мучительный, страшный год.

— Здравствуйте, товарищ Козин!
— Здравствуйте, товарищ Колсуцкий.
— Как поживаете? Сколько лет, сколько зим!
— Да, много прошло времени... Четыре года небось!
— А где вы теперь живете? Где работаете?
— Зайдем куда-нибудь, посидим...
— Давайте, что ж...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

о совершенно незаметном происшествии на пляже

И вот наступило лето 1924 года.

В трамвае № 13, по Тверской улице, едет гражданин Колсуцкий. Он едет в Покровское-Стрешнево. Говорят, в Покровском есть пляж. Гражданин Колсуцкий, таким образом, будет купаться, а потом лежать на пляже.

День — воскресный. Какой великолепный день! Это что-то невиданное! Какое солнце! Даже вот глазные

больные с синими очками грудами лежат на окнах старинной глазной лечебницы. Некоторые даже очутились на крыше и глядят полуслепыми глазами на солнце.

Сколько радости вокруг! Сколько красивых девушек и женщин в белых платьях...

И — шествия, шествия... Почти в каждом квартале отряды комсомольцев, пионеров, спортсменов... Что это сегодня? Парад какой-нибудь? Гулянье?..

Песни... Поют дружно, весело... Хорошая молодежь, безусловно...

Вообще жить теперь стало довольно хорошо. Было бы и совсем хорошо, если бы не эта вечная мелкая борьба, эта вечная напряженность, происходящая от бедности.

Живешь, например, в комнате и вечно дрожишь за нее. Склоки, подкопы... Семь аршин жилой площади. На службе, в тресте, то же самое. Колсуцкий служит больше двух лет, а в отпуск поехать страшновато... Черт их знает, поедешь, а в это время другого посадят или сократят... Иван Петрович, конечно, этого никогда не сделает, но за месяц может «слететь» и сам Иван Петрович, и на его месте может оказаться другой и наводить новые порядки... Вообще, твердого, долговечного «начальства» нет при Советской власти... Любой, самый важный начальник может в любую минуту получить «по шапке», и на его место может быть назначен другой... Вот как, например, слетел член правления Лобанов... Смешно, право... Рабкор написал в газете о том, как он «погулял» и, возвращаясь пьяный на извозчике, «рыгал в обе стороны».

И Колсуцкий неудержимо улыбается, как и всякий раз, когда вспоминает про эти «обе стороны»...

Вагон трамвая мчится мимо больших, чисто вымытых витринных стекол. Колсуцкий стоит на площадке. Он отражается в каждой витрине, как в зеркале, только несколько более темном.

Неужели это Колсуцкий? Как странно видеть себя со стороны в отражении...

Стоит на площадке вагона среди других людей этакий стройный человек, вполне приличный, лет тридцати на вид, не больше, а ведь на самом деле Колсуцкому тридцать три... Усы и борода — бритые... Ничего... Парень хоть куда!.. Вот только жирок небольшой есть... Это, впрочем, почти у всех сейчас... Жизнь нормальная...

Он переходит с площадки в вагон и садится. Сколько красивых девушек и женщин в вагоне. Они смеются, болтают... Вот как раз против Колсуцкого сидят две девушки. Они оживленно разговаривают и смеются. Заметив, что на них смотрит мужчина, они начинают разговаривать еще оживленнее, рисуются — смеются громче... Им хочется показать, что им очень интересно, весело, что они беззаботно и весело живут и, вот видите, как независимо беседуют и смеются, ни на кого не обращая внимания...

Колсуцкий внутренне морщится. Он не любит лжи, не любит пошлости, хотя бы прикрытой молодостью.

Он отворачивается и смотрит в открытое окно.

Вагон мчится мимо Петровского парка. Пахнет свежестью, листвой и клевером.

На даче, в Стрешневе, необычайно людно, шумно. Это пригородная дача, и прекрасная погода привлекла сюда из города множество людей.

Тут и юноши, и девушки, и дети, и взрослые мужчины и женщины. На лужайках, ведущих к реке,— группами и целыми семьями — рабочие. Берега реки тоже усеяны белыми и цветными платьями и розовыми комьями тел. Река залита солнцем, в ней плавают и плещутся люди — звенящий гул стоит от возгласов, смеха и плеска воды. На берегу кричат продавцы мороженого.

Поют комсомольцы. Вот на плотине плавают четверо. Они громко кричат и поют. И в них достаточно рисовки, как у тех девушек в трамвае. «Вот какие мы удалые, как нам хорошо! Смотрите все на нас и завидуйте!..»

Колсуцкий спускается по крутому берегу, быстро раздевается и бросается в воду.

Хорошо, что и говорить.

Надвигавшись и наплававшись, он выходит на берег, садится и вдруг замечает следы от раны на своем бедре — зарубцованные красные следы на месте извлечения пули, той пули, которую всадили в него бандиты тогда на складе...

Сердце начинает в нем биться так, точно что-то случилось... Он так давно не видел следов от своей раны, так давно не думал о том времени, когда он получил ее...

Какое это было время? Хорошее?

Да, хорошее.

Он вдруг понял, почувствовал, что это было хорошее время.

Колсуцкий смотрит на реку и людей, он смотрит на все это цветное и розовое благополучие, на всю эту купальную растительную блажь и вдруг видит все в ином, совершенно ином свете.

Кто они — эти люди, среди которых столько ленивых, упитанных фигур?

Советские чиновники? Торговцы? Служащие? Учащиеся?

Все равно, но они не знают борьбы.

Они не знают, что такое борьба... За что борьба? А за то, за что борются лучшие люди нашего времени. Они не знают, что такое подвиг, самопожертвование.

Вот этот долговязый москвич прильнул на песке к плотной подруге своей, он думает, что весь смысл жизни — в ней, в этой коротконогой дуре с овечьим выражением лица. Ведь стоит только посмотреть на его лицо, чтобы убедиться, что он именно так думает.

Колсуцкий знает, что есть на земле великие дела, и следы от раны на его боку говорят о том, что кое-какое участие в этих делах принял и он...

Да, конечно, он скромный, серенький человек... Каждый человек знает себе цену, и Колсуцкий не заблуждается насчет цены себе... Никто не знает и никогда не узнает насчет цены себе... Никто не знает и никогда не узнает о его подвиге. Его могут, конечно, сократить в тресте и даже перевести в меньшую комнату, но все это пустяки, ибо отнять у него то — большое и важное, что живет в его душе,— никто не может.

И сейчас оно — это большое и важное — ищет движения. Оно взвинчивает Колсуцкого, оно пронизывает его, и он не может лежать на солнышке. Не может...

Колсуцкий быстро одевается и, глядя на разбросанные повсюду людские тела, уходит — уходит с чувством, похожим на снисхождение.

Он идет энергичной походкой, сам не зная куда. Он снова хочет борьбы и подвига. Он чувствует, что все его существо жаждет этого. В мозгу его мелькают обрывки слышанных речей и рассказов о великой борьбе, в которой кое-какое участие принял он...

И сейчас, в этот светлый, горячий летний день, когда все нежатся и отдыхают, именно сейчас хочет он знать: где эти люди, где лучшие люди нашей эпохи? Где они? Где они? Он хочет присоединиться к ним, чтобы вместе с ними продолжать великую борьбу...

Где они? Где они? Он хочет пойти к ним, стать в их ряды!

Колсуцкий решительно подымается по берегу. Солнце освещает его снизу.

Он быстро шагает, и мороженщики, видя, что человек занят, не предлагают ему мороженого. Они тоже люди и, как все люди, умеют быть чуткими.

ИНТЕРЕСНАЯ ДЕВУШКА

У нас принято жаловаться на скуку, на то, что некуда пойти вечером. Конечно, это неверно. Если человек хочет, он всегда может найти возможность весело провести вечерок. Шутка ли! Столько вечеринок бывает у нас в разных клубах, в учреждениях — по случаю разных празднеств, годовщин, а то и просто так. Чем не интересно? На вечеринке всегда бывает доклад — очень короткий,— докладчики пошли умные, сами понимают, что долго размусоливать нечего. Потом идет концерт. Приезжают интересные певицы, рассказчики. Поэты читают стихи. А после этого танцы. Танцуют иногда даже фокстрот, а уж вальсы, польки, мазурки — это сколько угодно. Тут же буфет: есть и пиво, и разные лимонады, и закусить можно; и в шахматы сыграть можно, и в шашки. Что еще человеку нужно?

И Сергей Иванович с тех пор, как смирился и перестал мечтать о каком-то невероятном обществе, которого он, в сущности, никогда не видел, а только знал из рассказов, и стал посещать вечеринки своих сослуживцев, почувствовал себя значительно лучше и менее одиноко.

В конце концов, ему уже было под тридцать. Хотелось завести прочное знакомство с подходящей девушкой, жениться и жить, как люди живут. Годы прошли незаметно, пока он все искал какое-то особое общество из каких-то особых, равных ему, как он думал, людей. Но вдруг стало ясно, что ничем не плохи эти люди в гимнастерках, тужурках и френчах и что нет у него оснований пренебрегать ими.

Однажды, сидя на такой вечеринке с приятелем и глядя на девушек, одетых неважно, в бедных чулках и скромных платьях, но очень жизнерадостных, бодрых, весело танцующих, он сказал с неожиданным для себя убеждением, точно его приятель возражал ему:

— В конце концов, это и есть советское общество. Вот эти девушки и эти юноши подрастут и завладеют всем. Хозяевами являются они. Они и есть советская общественность. Вот посмотри на них внимательнее,— в конце концов, сколько среди них и красивых, и интересных, и благородных!

Приятель, который не совсем понимал, к чему все это, что-то промычал в ответ, вскочил, загородил путь пробегавшей стриженой блондинке в черном платье и предложил ей потанцевать. Блондинка согласилась и стала переваливаться на довольно плотных ножках, втягивая голову в плечи, толкая локтем других танцующих и весело смеясь.

— Ничего! В общем, хорошо, даже прекрасно! — сам себе говорил Сергей Иванович и зорко вглядывался в девушек, ища и для себя пару.

Вечеринка была в разгаре. Танцевало довольно много пар. Далеко не все смеялись при этом. Наоборот, лица в большинстве были серьезные,— народ танцует всегда серьезно. Привлекательных девушек было много. Музыка и движение волновали, и Сергей Иванович не решался, не решался, но все-таки подошел к бледной девушке в красном платье и предложил ей потанцевать. Он болезненно насторожился, боясь, что она откажется, но в это мгновение музыка прекратилась, прекратились и танцы, и девушка развела руками не без оттенка сожаления.

— Очень жаль,— сказал Сергей Иванович и, глядя на ее влажное лицо, предложил: — Не хотите ли пить?

Она не отказалась. Пошли в буфет, уже как знакомые, но в буфете ничего не было. Буфетчик убирал со стойки пустую посуду. Сергей Иванович осмелел и предложил девушке выйти на улицу: если она одна, то он проводит ее домой.

— Ладно,— сказала девушка,— идти так идти.— И добавила, точно размышляя вслух, но в то же время и обращаясь к нему: — Чем я рискую, не правда ли?

Его довольно сильно покоробила эта реплика, но девушка улыбнулась при этом, показалась еще более привлекательной. И Сергей Иванович подумал, что это не имеет значения — мало ли что болтают, если на все обращать внимание — с ума сойдешь.

Вышли на улицу. Он взял ее об руку и спросил, в каком районе она живет. Оказалось — по пути. И от удовольствия, что это так, он неожиданно сжал крепче ее руку. Девушка не отстранялась, но вид у нее был такой, что она здесь ни при чем, что его отношение к ее руке — всецело дело его такта и что она за это ответственности не несет.

— А вы где живете? Какой смысл вам проводить меня?

— Да ведь нам по пути! Это ж только что выяснилось...

— Ах да,— засмеялась девушка,— совершенно верно. Ну ладно!

На углу продавали апельсины. Сергей Иванович купил два апельсина и предложил один ей.

— Пить негде, а это все-таки утолит жажду.

Она взяла апельсин — правда, не без колебаний; колебание было довольно заметное, но все же взяла, начала очищать кожу и запросто поблагодарила. Сергея Ивановича, воспитанного в атмосфере щепетильности, опять покоробило, что она так просто взяла апельсин. Ему показалось, что она должна была, по крайней мере, раза два-три отказаться, а он должен был ее убеждать, настойчиво предлагать.

Но он посмотрел на нее, она опять улыбнулась, опять показалась ему весьма привлекательной, и он забыл об этом.

Через пять минут апельсин был ею съеден. Она вытирала губы платком, держа в другой руке кожу от апельсина. Сергей Иванович свой апельсин тоже съел, бросив куски кожи на мостовую.

Из-за угла, куда они повернули, налетел ветер, довольно резкий. Остатки тепла, вынесенные с вечеринки, ушли. Стало холодно. Но девушка продолжала держать в руке кожу от апельсина.

— Что же это вы? — спросил Сергей Иванович.— Почему не бросаете?

— Урну ищу,— просто ответила девушка.— Тут нет. Должно быть, дальше будет.

Он хотел что-то сказать, но осекся. Осечка была странная: он забыл, что хотел сказать, хотел вспомнить, как будто вспомнил, но опять забыл. И стало вдруг ясно, что совсем неважно то, что он хотел сказать, несущественно, неинтересно.

Он был удивлен тем внезапным удивлением, которое из-за внезапности своей волнует. Его сильно задело: неужели так просто обнаруживается превосходство людей? Оказывается, просто.

Он бросал кожу апельсина на мостовую, всю жизнь он делал так и никогда не думал об этом. И если бы девушка упрекнула его за это и стала бы доказывать, что так делать не следует, это было бы менее убедительно, чем то, что сделала она.

А она, собственно, ничего не сделала. Она так просто искала урну. Видно было, что это — привычка, обыкновенная привычка поддерживать чистоту. Поставили урны,— значит, надо в них бросать сор. Ведь для чего-то же их поставили! Вот и все. Совершенно ясно было, что она не понимает, как может быть иначе, не думает об этом и не догадывается, почему такое глубокое удивление на лице ее нового знакомого. Впрочем, она плохо его видела и вряд ли заметила его состояние.

«Вот что такое новое поколение! — подумал Сергей Иванович.— Тут что-то действительно новое. Оно начинается с незаметных мелочей, с пустяков, о которых не думаешь».

И он хотел ей сказать, что ему очень нравится то, что она не сорит на улице, очень нравится, но он вовремя почувствовал, что это будет глупо, что это не тема для разговора — ни для шутливого, ни, тем более, серьезного. А если принять во внимание, что одобрение ей выразил бы он, только что сам варварски швырявший куда попало апельсиновую корку, то, пожалуй, это будет вдвойне глупо.

Но вот урна наконец нашлась. Девушка бросила апельсиновую кожу, вытерла руки и сказала:

— Вот скоро я и дома. Вторая улица и второй дом налево.

Он задал ей несколько вопросов. Из ответов узнал, что она служит в экспедиции, до некоторой степени является выдвиженкой: раньше клеила ярлыки, а теперь работает на контроле. На вечеринку пришла с подругой, которая

встретила знакомых и осталась; она все равно живет в другом районе.

У ворот своего дома она остановилась, внимательно посмотрела на Сергея Ивановича и пожелала ему всего хорошего.

Обыкновенное, но свежее и привлекательное лицо ее показалось Сергею Ивановичу еще более привлекательным, и он спросил, можно ли ей позвонить.

Она подумала и ответила, что на службу звонить нельзя, дома у нее телефона нет, и вообще звонить еще рано. Пусть он придет в клуб, там он сможет увидеть ее, она обещает быть в субботу и будет очень рада, если придет и он.

— Поговорим тогда побольше, я посмотрю, какой вы человек есть,— улыбнулась она,— а тогда будете и звонить...

И улыбка расширилась на полных губах и превратилась в веселый, беззаботный, безобидный и милый смех.

На другой день Сергей Иванович рассказывал своему приятелю, что он познакомился с удивительно интересной девушкой. Он долго описывал ее наружность, восторгался, выражал необычайную радость и усиленно расспрашивал, будет ли в субботу вечеринка в клубе.

Приятель насвистывал что-то. Он вообще был легкомысленный человек, легкомыслие усиливалось вечной рассеянностью. Выражение лица у него было изумленное, он точно никогда не понимал, о чем, для чего и к чему говорят вокруг люди. Но иногда задавал вопросы, которые затрудняли собеседника. Так теперь, посвистывая и вертя вокруг пальца веревочку, он спросил:

— Та самая, к которой ты подошел на вечеринке? А что в ней интересного?

Сергей Иванович хотел произнести речь по этому поводу. Ему казалось, что можно многое сказать об этой девушке. Но когда он открыл рот, то оказалось, что рассказывать не о чем: об урне как-то не выходило... Он старался вспомнить, что она еще сказала или сделала такое, о чем можно было бы рассказать, но ничего такого не было.

И он досадливо поморщился:

— Что интересного... Да не в этом дело! Это новый человек! В ней все интересно!

И ярко подумал, что если бы у него был приятель — умный, серьезный и настоящий человек, он бы ему рассказал — он бы ему об урне рассказал, хорошо бы

рассказал, подробно. Но этому рассказывать не стоит: не поймет.

В субботу он опять встретился с девушкой. Она опоздала, сказала, что думала совсем не прийти, ибо чувствует себя плохо.

— Отчего же вы пришли?

— Да как же, ведь я обещала вам.

И опять остолбенел Сергей Иванович...

Ну, как рассказывать об этом? Кому рассказать? Кто поймет?

Где эти люди, которые могли бы понять все эти мелочи, из которых складывается новая жизнь? Подумайте, она обещала и, потому что обещала,— пришла!

Еще три раза встретился с девушкой Сергей Иванович.

С каждым разом он все больше и больше восторгался ею.

Затем между ними произошло то интересное, что происходит, как писал еще Пушкин, между каждым мужчиной и каждой женщиной. Они сказали друг другу немногие и такие интересные для них слова, которые, пожалуй, стоило бы выписать, как мечтал тот же Пушкин, со всей полнотой и тщательностью, ибо это всегда интересно и писать и читать, но, увы, у нас нет сейчас для этого достаточно места...

И поэтому мы ограничимся сухим сообщением факта: Сергей Иванович женился на ней.

КАПЛЮШКИ

Из полуподвальных окон ресторанной кухни, вместе с горячим воздухом и запахами пищи, неслась визгливая брань. Ссорились две судомойки.

Ссора была страстная. Это была не просто перебранка.

В бранных словах высказывались принципы. Я остановился около железных перил и прислушался. Через минуту мне даже удалось в кухонном и подвальном мраке различить фигуры ссорившихся. Они стояли друг против друга у лоханки и перемывали тарелки. Одна была помоложе, а другая совсем стара. Из старой и сыпался этот поток колючих слов. Остроносая, с почти по-старчески запавшим ртом, но еще вертлявая и подвижная, она размахивала белыми крепкими руками, в которых сверкали, как у жонглера, тарелки, и кричала:

— Это работа? Какая же это работа? Да за такую работу в шею гнать надо! Какая же это работа!

Другая судомойка, к которой явно относились эти слова, работала, в самом деле, более флегматично, хотя очень усердно. В ее руках тоже довольно живо вращались тарелки, вылетавшие из грязной воды, и, вытертые, отлетали на сухую полку. Было ясно, что человек работает как может и никаких упреков не заслуживает. Но, прислушавшись, я понял, что спор все-таки принципиального характера. Представление о труде у старой судомойки было очень требовательное. У нее был высокий идеал трудового напряжения. Не знаю, следовала ли она сама ему, но непримиримость ее была чисто идейная.

Она продолжала выкрикивать с озлобленным фанатизмом:

— Да нешто это работа, как нынче работают?! Тьфу на такую работу!

Она плевала в сторону необычайно выразительно, изгибаясь всем телом. Она содрогнулась от злобы. Мне казалось, что тарелки превратятся в порошок в ее руках.

Более флегматичная спокойно огрызалась:

— Да чего тебе надо? Как тебе еще надо работать? Сама не знаешь, чего мелешь.

Я перегнулся через железные перила и принял участие в споре (судомойки все равно заметили, что я прислушиваюсь).

— Как же нужно работать, тетка? В самом деле, как же нужно работать?

Я приблизился к окну, и меня обдало чадом и смрадом. Из всех видов труда черная кухонная работа мне издавна кажется наиболее непривлекательной, тяжелой, грязной. Особенно безрадостный труд, по-моему. Стоять в такой кухне, в таком смраде и изо дня в день, из недели в неделю, из года в год перемывать грязные тарелки. По-моему, это героическая работа. Чего же хочет еще эта старуха? Чем она недовольна? Как еще нужно работать, чтобы удовлетворить ее ненасытное требование?

Она продолжала ворчать и плеваться:

— Ишь, работа какая! Да за такую работу...

Но на мой вопрос она не ответила. Может быть, не слышала, может быть, глуховата. Но я хотел получить от нее ответ во что бы то ни стало. Меня заинтересовало это. В самом деле, что ей нужно?

Она работала хорошо. Другая тоже неплохо. Откуда это озлобленное неудовлетворение? Какая же существует норма для работы судомойки? Я громче спросил:

— Гражданка, да скажите же, как надо работать? Чего вы зря ругаетесь?

Она повернула ко мне лицо. Я увидел старое лицо подвального кухонного раба. Ясные, довольно еще большие глаза смотрели из сборища крупных морщин. В этих глазах была мука многолетнего трудового истязания, возведенного в закон, и, открыв старушечий полубеззубый рот, она ответила:

— Как работать? Чтобы каплюшки с носа капали, вот как надо работать!

Это была формула. В этой формуле было что-то вековое, тяжелое, неотвратимое. Я отогнулся наконец от железных перил и ушел.

ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО

На Плющихе в старом доме жил сапожник Кузьма Терентьевич Снетков. Когда он выпивал, он долго стоял перед поломанными воротами, отчаянно и безнадежно махал руками, тряс головой, а потом начинал свой замечательный обход квартир, к которому жильцы привыкли и относились терпеливо, потому что ничего нельзя было противопоставить стремительности сапожника.

Он являлся в квартиру, несмотря на нетрезвое состояние, в совершенно приличном виде. Где нужно — звонил; если не было звонка — тихо и корректно стучал, в передней снимал шапку, говорил негромко,— словом, вполне прилично заходил к соседу и спрашивал:

— Иван Петрович, будьте любезны мне сказать, не известно ли вам — убил я кого-нибудь?

— Нет,— отвечал сосед,— не убил.

— Может быть, ограбил кого?

— Нет, не ограбил.

— Обидел?

— Нет, как будто не обидел.

— Ущерб причинил?

— Нет, и ущерба не причинил. Ничего ты плохого не сделал, Кузьма Терентьевич. Ступай с миром.

Вопросы сапожника уже все знали наизусть. Тихий и незаметный, он от времени до времени обходил с ними без

исключения все квартиры маленького дома на Плющихе, в котором жил лет тридцать, и сапожнику это прощали. Другого беспокойства от него не было. На вопросы его отвечали кратко. Он и не требовал пространных ответов. Иногда отвечали с улыбкой. Чаще — без улыбки. Трудно было улыбаться, глядя на его лицо, особенно глаза, с глубоким страданием, напряжением, любопытством и надеждой ожидавшие ответа.

— Значит, не убил? — с глубокой радостью спрашивал он и облегченно вздыхал.— Не убил?

— Нет, не убил.

— И не ограбил?

— Нет, не ограбил.

— И не обидел никого?

— Не обидел, кажись.

После этого сапожник отправлялся спать. Он укладывался, если было лето, на дворе, недалеко от колодца, на травке. Перед сном, лежа, пел песни. Зимой он делал то же самое в своей каморке.

Я жил в этом доме года два, и ко мне Снетков заходил за это время раз шесть или восемь. Он задавал мне те же вопросы, и я отвечал ему кратко и серьезно, как и все жильцы.

В доме жили рабочие, ремесленники, всякий бедный и малограмотный люд, но все понимали, что в вопросах сапожника, смешных, наивных, анекдотических по форме, скрывалась важная суть: стремление индивидуума быть признанным со стороны коллектива... Это было естественное стремление к чистке и самокритике.

Но какой счастливец! Он удовлетворялся минимумом. Между тем каждый из нас тоже охотно обошел бы все квартиры своего дома и других домов, если бы надеялся получить положительные ответы, но на более сложные и трудные вопросы...

КОШКА

Около моей постели резкая возня, кошачий топот и писк. Просыпаюсь. Светло. Кошка поймала мышь.

Она уселась с нею посредине комнаты. Я имею возможность видеть все.

Страшные когти уже вонзились в несчастные худенькие бока. В глазах мыши — последние предсмертные рассужде-

ния. Чудовищные колебания между глубочайшим удивлением и смутной надеждой. Воображаю, как бьется крохотное сердце. Нет сил, но она пищит. Еще бы! Несчастье свалилось так неожиданно. Две вонючие, поганые, грязные и такие безнадежно каменные лапы держат ее. Сверху льется неописуемое по мерзости дыхание зверя. Видна адская машина белых безжалостных зубов. Гибель. Как это случилось? Что делать? За что это?

Впрочем, описывать состояние мыши не для чего. С ней через минуту будет кончено. Кошка ее съест.

Но интересно, почему она медлит? Сыта?

Странно, она даже отнимает от мыши свои лапы. Она их широко раскладывает. Она дает мыши иллюзию свободы. Удивительно — она даже отходит на шаг. Она предлагает мыши бежать... А ну-ка, попробуй!

Мышь одна на полу. Ее исколотые бока тяжело вздымаются. Но она не бежит. У нее нет сил, нет веры.

И — поразительно! Посмотрите, что делает кошка! Она лапой подталкивает ее: беги, мол, чего там.

Провокация для того и существует, чтобы ей поддаваться. Самые умные люди становятся жертвой провокации.

И мышь бежит, конечно...

Кошка одним прыжком, без усилий, с безмерным отвратительным самодовольством ловит ее, опять садически вкалывает в бедные бока когти.

Зажав жертву, она смотрит по сторонам. Конечно, это игра. Ей опять хочется испытать радость охотника.

Но уже не с кем, мышь еле дышит. И все же она опять — лапой, четким движением — подталкивает ее, полумертвую, и, когда та бежит, — просто швыряет ее. Швыряет и ловит, искусственно возбуждаясь и делая вид, что очень трудно ловить мышь.

Она как бы говорит:

— Вы думаете, легко поймать мышь?! О, с мышью нужно бороться! Вы видите, как она вырывается и бежит, сколько раз ее нужно ловить!

Но это гнусная ложь. Полицейская провокационная ложь. Провокатору всегда нужно иметь оправдание кровавой своей победы. Ему, мерзавцу, мало душить, надо еще дискредитировать жертву. Ему нужно, чтобы жертва была плохая, чтобы она оказывала сопротивление.

Большая, толстая, она хочет из этой крохотной жертвы своей выжать и оправдание и славу для себя.

Она задумывается и мяучит. Ей уже скучно немного. Слава на земле относительна...

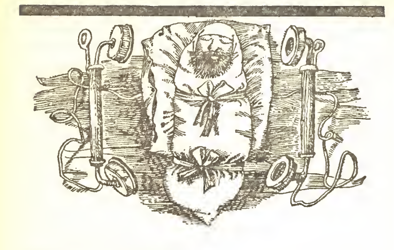
Через полминуты она опять душит мышь, опять швыряет ее... Изогнув хребет, подняв хвост, налетает на нее — уже совершенно мертвую, как на опасного врага. Какая мерзость! Зачем это ей нужно?

Она ни за что не хочет, чтобы победа ее казалась легкой. Она хочет, чтобы лавры победителя были облагорожены усилиями, риском, борьбой...

...Я никогда не бью животных. Но тут рука сама тянется к ботинку. С полным убеждением я размахиваюсь им и швыряю во всю эту гнусность. К чертовой матери! Не люблю лжи!

Валентин КАТАЕВ

РАССКАЗЫ
ФЕЛЬЕТОНЫ



КОЗЕЛ В ОГОРОДЕ

Товарищ лектор, в чем цель жизни?
Г. Шенгели *

На эстраду провинциального клуба вылез громадный небритый человек в зловещем фраке.

Он громко откашлялся и затем сиплым шепотом спросил:

— А где же аккомпаниатор?

— Помилуйте, товарищ лектор,— встревожился Саша,— лекция ведь! Самогон ведь. И борьба с ним. Какая же может быть тут музыка?

— Лекция? Гм... А может быть, спеть все-таки что-нибудь, а? Из «Демона», а?

— Хе-хе! Лекция ведь.

— А я, ей-богу, лучше спою! Чесс... слов... Этакое что-нибудь...

Н... на земле весь р-р-род людской
Ча-тит адин кум-м-мир свящ... е-э-ээ...

— Что вы, что вы! Лекция ведь. Самогон ведь и, так сказать, борьба. Так у нас и на афише написано.

— Разве? Ну ладно! Гм... гм...

Человек во фраке густо откашлялся, взялся руками за шею, мотнул головой и стал в позу.

Председатель позвонил.

— Товарищи, призываю вас к порядку! Сейчас товарищ из центра будет докладать на тему о самогоне и так и далее. Тема очень важная в общественном смысле трудящихся, и которые, может, предпочитают танцы, то те могут покинуть аудиторию. Слово представляется товарищу из центра.

Докладчик посмотрел вокруг голубоватыми глазами, качнулся и сказал:

— Товарищи! В этот грозный час, когда Республика Советов стонет перед кознями наемников мирового капитализма, мы не можем оставаться индифферентными. Все, как один! Верно я говорю?

— Верно,— одобрительно подтвердили из зала.

— Да, товарищи! Мы все, как один, должны встать на борьбу с самогоном! Тысячи людей пьют самогон, и тысячи людей отравляются ежедневно этим злостным ядом, который разрушает организм. Верно я говорю?

— И даже слепнут,— сказал из зала деловитый бабий голос.

— В-в-верно, гражданка! Оч-чень дельное замечание! Именно — слепнут. Бывает. И глохнут. Чесс... слово... Итак, товарищи, мы видим, что самогон — это страшный яд, который бич. А почему?

Докладчик обвел притихшую аудиторию грозным взглядом.

— А па-а-чему?

Он выдержал эффектную паузу и, в достаточной мере насладившись тишиной, повысил голос:

— А потому, дорогие товарищи, самогон приносит вред, что очищать его как следует до сих пор не научились... А что может быть проще — очистить самогон? Пара пустяков. На одно ведро самогона берется три фунта простой, обыкновенной, ничем не замеч тельной соли.

— Крупной или мелкой? — быстро спросили из зала.

— Лучше всего мелкой. Но, конечно, можно и крупной. Ну-с, затем насыпают эту соль в самогон и сверху ведро прикрывают чем-нибудь теплым. Одеялом, например.

— А подушкой, товарищ лектор, можно?

— Можно и подушкой! Даже подушкой лучше. Да, дорогие товарищи! Затем надо взять фунтов пять-шесть простой, примитивной клюквы...

— Клюквы! — восторженно взвизгнула баба из третьего ряда, хлопая себя по бедрам.— Ах ты ж боже ж мой! Клю-у-квы!

— Именно — клюквы! — торжествующе воскликнул лектор.— Обыкновенной что ни на есть клюквы. И варить вышеупомянутую клюкву на медленном огне, подмешивая туда квасцов, мелу, соды...

— А квасцов-то много?

— А соды-то?

— Товарищ лектор, а как же, ежели...

— Тише! Тише! Дайте слушать! Не напирайте! Квасцов-то много надо подмешивать?

В зрительном зале начался шум. Задние напирали на передних. Женщины пищали. На кафедру летели записки.

— Товарищи, не все сразу! Прошу по порядку. Вот тут поступила записка с вопросом: «Можно ли для крепости в самогон подмешивать перцу и табаку?» Отвечаю: ка-а-нечно, нет! Перец и табак, подмешанные в самогон, действительно создают впечатление крепости, но в действительности никакой крепости не увеличивают, а голова потом болит как проклятая. Ну-с... Итак, я продолжаю. А когда, дорогие товарищи, клюква уварится и пустит сок, надо взять сито, простое, наипримитивнейшее кухонное сито, которое...

Председатель побледнел.

— Товарищ докладчик, прошу держаться ближе к теме!

Публика заревела:

— Пущай выскажет! Просим, просим! Не мешай докладчику! Соды-то сколько? Мел толченый аль куском? Да пущай еще раз про сито скажет!

Докладчик же, склонив голову и полузакрыв глаза, продолжал говорить:

— Засим, дорогие товарищи, всю эту музыку надо протереть сквозь сито в сосуд...

— Сосут?! Ах ты ж боже ж мой, и уже сосут? А?

— Вот так здорово!

...— в глиняный сосуд, в который перед этим положить...

Председатель схватился за голову и бросился за кулисы. Саша стоял, прислонившись холодным потным лбом к боковому софиту.

— Саша,— тоскливо провыл председатель,— он деморализует аудиторию! И на доктора не похож! Может, ты ошибся, кого другого привез?

— Ничего не ошибся,— глухо сказал Саша.— Сам в гостиницу ездил, в номер восьмой.

Председатель затрясся.

— Восемнадцатый, а не восьмой! Зарезал! Тащи его с эстрады! Не восьмой, а восемнадцатый! Занавес! Занавес! Перепутал! В восьмом актер. Шляпа!

Саша судорожно задергал занавес.

Но было уже поздно. Лектор стоял посредине зала, окруженный восторженной аудиторией, и отвечал на записки.

Председатель припал к щелке занавеса. Минуту его лицо выражало отчаяние. В следующую минуту оно слегка прояснилось. Затем председатель озабоченно покачнулся и вдруг хриплым голосом крикнул в зал:

— Товарищ лектор! Ну а как же, ежели, например, в закваску слишком много дрожжей положишь, а она и загустеет, подлая?..

И с этими словами ринулся в самую гущу любознательной аудитории.

БОРОДАТЫЙ МАЛЮТКА

Год тому назад, приступая к изданию еженедельного иллюстрированного журнала, редактор был бодр, жизнерадостен и наивен, как начинающая стенографистка.

Редактора обуревали благие порывы, и он смотрел на мир широко раскрытыми, детскими голубыми глазами.

Помнится мне, этот нежный молодой человек, щедро оделив всех сотрудников авансами, задушевно сказал:

— Да, друзья мои! Перед нами стоит большая и трудная задача. Нам с вами предстоит создать еженедельный иллюстрированный советский журнал для массового чтения. Ничего не поделаешь. По нэпу жить — по нэпу и выть, хе-хе!..

Сотрудники одобрительно закивали головами.

— Но, дорогие мои товарищи, прошу обратить особенное внимание, что журнал у нас должен быть все-таки советский... красный, если так можно выразиться. А поэтому — ни-ни! Вы меня понимаете? Никаких двухголовых телят! Никаких сенсационных близнецов! Новый, советский, красный быт — вот что должно служить для нас неиссякающим материалом. А то что же это? Принесут портрет собаки, которая курит папиросы и читает вечернюю газету, и потом печатают вышеупомянутую собаку в четырехстах тысячах экземпляров. К черту собаку, которая читает газету!

— К черту! Собаку! Которая! Читает! Газету!! — хором подхватили сотрудники, отправляясь в пивную.

Это было год тому назад.

Раздался телефонный звонок. Редактор схватил трубку и через минуту покрылся очень красивыми розовыми пятнами.

— Слушайте! — закричал он.— Слушайте все! Появился младенец! С бородой! И с усами! Это же нечто феерическое! Фотографа! Его нет? Послать за фотографом автомобиль!

Через четверть часа в редакцию вошел фотограф.

— Поезжайте! — задыхаясь, сказал редактор.— Поезжайте поскорее! Поезжайте снимать малютку, у которого есть борода и усы. Сенсация! Сенсация! Клянусь бородой малютки, что мы подымем тираж вдвое. Главное только, чтобы наши конкуренты не успели перехватить у нас бородатого малютку.

— Не беспокойтесь,— сказал фотограф.— Мы выходим в среду, а они — в субботу. Малютка будет наш. Мы первые покажем миру бакенбарды малютки.

Но те, которые выходили в субботу, были тоже не лыком шиты.

Впрочем, об этом мы узнаем своевременно.

На следующий день редактор пришел в редакцию раньше всех.

— Фотограф есть? — спросил он секретаря.

— Не приходил.

Редактор нетерпеливо закурил и, чтобы скрасить время ожидания, позвонил к тем, которые выходили в субботу:

— Алло! Вы ничего не знаете?

— А что такое? — наивно удивился редактор тех.

— Младенец-то с бородой, а?

— Нет, а что такое?

— И с усами. Младенец.

— Ну да. Так в чем же дело?

— Портретик будете печатать?

— Будем. Отчего же.

— В субботку, значит?

— Разумеется, в субботу. Нам не к спеху.

— А мы — в среду... хи-хи!

— В час добрый!

Редактор повесил трубку.

— Ишь ты! «Мы, говорит, не торопимся». А сам небось лопается от зависти. Шутка ли! Младенец с бородой! Раз в тысячу лет бывает!

Вошел фотограф.

— Ну что? Как? Показывайте!

Фотограф пожал плечами:

— Да ничего особенного. Во-первых, ему не два года, а пять. А во-вторых, у него никакой бороды нет. И усов тоже. И бакенбардов нету тоже. Пожалуйста!

Фотограф протянул редактору карточку.

— Гм... Странно... Мальчик как мальчик. Ничего особенного. Жалко. Очень жалко.

— Я же говорил,— сказал фотограф,— некуда было и торопиться. И мальчику только беспокойство. Все время его снимают. Как раз передо мной его снимал фотограф этих самых, которые выходят в субботу. Такой нахальный блондин. Верите ли, целый час его снимал. Никого в комнату не впускал.

Редактор хмуро посмотрел на карточку малютки.

— Тут что-то не так,— сказал он мрачно.— Мне Подражанский лично звонил по телефону, и я не мог ошибиться. Говорят, большая черная борода. И усы... тоже черные... большие... Опять же бакенбарды... Не понимаю.

Редактор тревожно взялся за телефонную трубку.

— Алло! Так, значит, вы говорите, что помещаете в субботу портрет феноменального малютки?

— Помещаем.

— Который с бородой и с усами?

— Да... И с бакенбардами... Помещаем... А что такое?

— Гм... И у вас есть карточка? С усами и с бородой?

— Как же! И с бакенбардами. Есть.

Редактор похолодел.

— А почему же,— пролепетал он,— у меня... мальчик без усов... и без бороды... и без бакенбардов?

— А это потому, что наш фотограф лучше вашего.

— Что вы этим хотите сказать?.. Алло! Алло! Черт возьми! Повесил трубку. Негодяй!

Редактор забегал по кабинету и остановился перед фотографом.

— Берите автомобиль. Поезжайте. Выясните. Но если окажется, что они ему приклеили бороду, то я составлю протокол и пригвозжу их к позорному столбу, то есть пригвоздю... Поезжайте!

Редактор метался по кабинету, как тигр. Через час приехал фотограф.

— Ну? Что?

Фотограф, пошатываясь, подошел к стулу и грузно сел. Он был бледен, как свежий труп.

— Выяснили?

— В-выяснил,— махнул рукой фотограф и зарыдал.

— Да говорите же! Не тяните! Фу! Приклеили бороду?

— Хуже!..

— Ну что же? Что?

— Они сначала... сфотографировали бородатого младенца... а потом... побрили его!..

Редактор потерял сознание. Очнувшись, он пролепетал:

— Наш... советский... красный малютка с бородой... И побрили! Я этого не вынесу. Боже! За что я так мучительно несчастлив?!

ВЫДЕРЖАЛ

Всю неделю, до самой чистки, кассир Диабетов ходил с полузакрытыми глазами и зубрил по бумажке:

— Кто великий учитель? Маркс. Что является высшим органом? СТО. Что такое социал-патриотизм? Служение буржуазии в маске социализма. Что характеризует капитализм? Бешеная эксплуатация на основе частной собственности. Как развивается плановое хозяйство? На основе электрификации. Где участвовали разные страны? На Первом конгрессе Второго Интернационала в тысяча восемьсот восемьдесят девятом году, в городе Париже. Какой бывает капитал? Постоянный и переменный. Какова будет форма организации в будущем коммунистическом строе? Неизвестно. Кто ренегат? Каутский. Кто депутат? Пенлеве. Кто кандидат? Лафолетт. Кто, несмотря на кажущееся благополучие?.. Польша. Кто социал-предатели? Шейдеман и Носке. Кто Абрамович? Социал-идиот...

Усердный Диабетов лихорадочно сжимал в руках спасительную бумажку. Он бормотал:

— Только бы не перепутать... Только бы не перепутать!.. Кто депутат? Пенлеве... Кто ренегат? Каутский... Кто кандидат? Лафолетт.

Когда Диабетова пригласили в комнату, где заседала комиссия, перед его глазами плавал розовый туман и в ушах стоял колокольный звон. Диабетов преодолел жуткий страх, подошел к столу и зажмурился.

— Как ваша фамилия, товарищ? — спросил председатель комиссии.

— Маркс,— твердо ответил кассир.

— Сколько вам лет?

— Сто.

— Род занятий?

— Служение буржуазии в маске социализма.

Председатель комиссии, который до сих пор пропускал ответы Диабетова мимо ушей, высоко поднял левую бровь.

— Гм... Довольно откровенное заявление... Ваше отношение к службе, гражданин?

— Бешеная эксплуатация на основе частной собственности.

— Вот как!.. О-ч-ч-чень приятно... Как же вы втерлись в советское учреждение?

— На основе электрификации.

Члены комиссии странно переглянулись.

— А когда вы, товарищ, в последний раз себе температуру мерили? — осторожно осведомился секретарь.

— На Первом конгрессе Второго Интернационала, в тысяча восемьсот восемьдесят девятом году, в городе Париже,— твердо отчеканил главный кассир.

— У вас, товарищ,— мягко сказал председатель,— какой-то лихорадочный блеск глаз...

— Постоянный и переменный,— любезно пояснил Диабетов. Щеки его от волнения и торжества тряслись, как у мопса. Левая нога выбивала дробь. Зубы лязгали, а пальцы судорожно сжимали в кармане заветную бумажку.

— Очень хорошо... Прекрасно! Прекрасно!.. Но вы, главное, не волнуйтесь! Может быть, вы устали, товарищ? Присядьте,— придавая голосу как можно больше задушевной теплоты, сказал председатель, который начал кое-что соображать. И вдруг быстро и в упор спросил: — А какое сегодня число?

— Неизвестно,— гаркнул Диабетов, обливаясь крупным потом и чувствуя, что он наносит врагам последний удар.

Члены комиссии тревожно зашептались. Секретарь на цыпочках вышел из комнаты.

— Очень хорошо, товарищ! — воскликнул председатель в фальшивом восторге.— Вот и прекрасно! Вот и отлично! Вы, главное, не волнуйтесь! Поедете в Крым... в Ялту, можно сказать... Там, знаете, солнышко... А главное — не расстраивайтесь! До свидания, товарищ!

Диабетов потоптался на месте и слегка охрипшим голосом сказал:

— Я и дальше знаю... Кто ренегат? Каутский. Кто депутат? Пенлеве. Кто кандидат? Лафолетт... Кто, несмотря на кажущееся благополучие...

— Главное — не волнуйтесь,— сказал председатель, осторожно сползая со стула,— мы вам верим на слово... До свидания, товарищ!..

Сияющий Диабетов раскланялся и, остановившись у двери, широко улыбнулся.

— Кто социал-предатель? Шейдеман и Носке... А кто Абрамович? — И, сделав эффектную паузу, отчеканил, интимно подмигивая комиссии: — Социал-идиот!

Встревоженные сотрудники окружили Диабетова:

— Ну как?.. Что?..

— Всех покрыл! Восемь вопросов как одна копейка! Остальные шесть сказал сам. Верите ли, председатель даже попятился. Отпуск предлагал. В Крым. Как одна копейка...

ЛУННАЯ СОНАТА

(С успехом разыгрывается на столбцах американских газет)

Полет ракеты на Луну откладывается на неопределенное время.

Хроника

15 января 1925 г.

Вчера в большой аудитории Ньюйоркского общества оглушительных изобретений действительный член Общества, известный профессор мистер Вор, сделал сенсационный доклад об изобретенной им ракете, которую он намерен пустить с Земли на Луну. Ракета эта будет иметь форму яйца на палке, в верхней части которого будет находиться 12 тысяч тонн динамита. При падении ракеты на поверхность Луны должен произойти настолько сильный взрыв, что его можно будет ясно наблюдать в телескопы с Земли.

Энтузиазм аудитории не поддавался описанию. Спешно производится подписка на скорейшее осуществление гени-

ального плана. Несколько виднейших финансовых королей заинтересовались изобретением.

30 января

В дополнение к нашей заметке от 15 января по поводу изобретения уважаемого профессора Вора мы можем сообщить, что на осуществление гениального проекта уже собрано 8 миллионов долларов.

31 января

Во вчерашний номер нашей газеты вкралась досадная опечатка. На изобретение профессора Вора собрано не 8 миллионов, как сообщалось, а 18. Редакцией командируется специальный сотрудник, которому поручено информировать общество о ходе работ гениального профессора.

10 февраля

На вопрос сотрудника нашей газеты, что он думает о международном положении, гениальный изобретатель межпланетного яйца заявил:

— Я склонен думать, что международное положение в настоящий момент весьма удовлетворительное.

Касаясь вопроса о своих ближайших работах в области гениального изобретения, маститый ученый заметно оживился и даже порозовел.

— О! — сказал профессор.— Уже кое-что сделано. Мною куплена в окрестностях Лос-Анджелеса прелестная вилла, где я буду производить свои работы. Кроме того, мною приобретены паровая яхта и пара превосходных арабских лошадей.

На наш вопрос, для чего профессору понадобились яхта и лошади, он шаловливо погрозил пальцем и деликатно заметил, что он, к сожалению, не может коснуться этих вопросов, так как они являются одним из секретов его изобретения.

25 февраля

Министр иностранных дел мистер Юз выступил с новыми сенсационными разоблачениями Коминтерна. На руках у Юза имеются документы, с полной очевидностью доказывающие, что известный изобретатель нашумевшего яйца профессор Вор является агентом Коминтерна, а вся его ловкая махинация с полетом на Луну есть не что иное, как

попытка взорвать Белый дом в Вашингтоне и провозгласить в Америке Советскую власть. На документах имеются подписи Карла Маркса, Бакунина и Демьяна Бедного. Юз требует расследования и отставки прокурора Догерти, как виновного в попустительстве.

28 февраля

Прокурор Догерти, отвечая на выпады Юза, заявил в сенате следующее:

— У мистера Юза до сих пор сюртук пахнет керосином *(смех в центре)*, и пусть он не пытается отвести глаза общественного мнения, устремленные на ту панаму, в которой он играет далеко не последнюю роль. Что же касается того, что будто бы в верхней части популярного яйца находится динамит, то мы хорошо знаем, что это не динамит, а нефтяные акции, на которых так здорово спекульнул Юз. *(Одобрение левой.)*

15 марта

Юз опубликовал новые документы, из которых ясно, как дважды два, что профессор Вор — переодетый Ю. Стеклов, популярный редактор «Известий ЦИК СССР».

25 марта

Профессор Вор вчера женился на королеве экрана Настурции Джимперс. Спрошенный по этому поводу маститый автор яйца ответил:

— Любви все возрасты покорны.

Кроме того, великий профессор, по слухам, перевел во французские банки 10 миллионов долларов. О целях этого перевода профессор выразился весьма туманно, однако подчеркнул, что ракета-яйцо строится и 1 июля непременно полетит на Луну. Приток пожертвований продолжается.

1 мая

В связи с предполагаемым 4 июля опытом полета ракеты на Луну, президент запретил празднование Первого мая как не соответствующее серьезности момента.

10 июня

Срок полета ракеты-яйца окончательно установлен. Ракета полетит 4 июля в 12 часов ночи и пробудет в пути четыре дня, так что 8 июля человечество будет иметь воз-

можность наблюдать в телескопы на поверхности Луны сильный взрыв.

20 июня

Состоялась манифестация влюбленных, которые требовали отмены зверского покушения на Луну. К влюбленным присоединились собаки, выразившие в резкой форме опасения, что, в случае если Луна будет уничтожена сильным взрывом, им не на что будет выть. Одновременно с этим состоялась внушительная демонстрация воров, требовавших, со своей стороны, скорейшего уничтожения Луны по чисто профессиональным соображениям.

1 июля

К месту отправки ракеты выехали представители ученого мира.

В беседе с нашим сотрудником профессор Вор заявил, что к полету все готово, за исключением кое-каких мелочей.

3 июля

В ночь со 2-го на 3 июля профессор Вор вылетел со своей молодой женой в неизвестном направлении. Перед отъездом маститый профессор успел сообщить нашему сотруднику, что полет откладывается на неопределенное время.

Итак, налицо *полет* и *взрыв*. Полет Вора и взрыв общественного негодования.

ИСКУССТВО ОПРОВЕРЖЕНИЙ

(Нечто вроде самоучителя танцев)

КРАТКОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ

Ни тебе на казенном автомобиле покататься, ни тебе родственников на службу устроить, ни тебе благодарность с подрядчика получить... Уж насколько невинное развлечение — работницу в темном уголке облапить, и то в суд тягают. Одним словом, неинтересная пошла жизнь. Скучная жизнь, паршивая.

А кто виноват? Рабкор виноват.

Вполне разделяя вышеупомянутое справедливое негодование некоторой части своих многоуважаемых читателей и, как говорится, идя навстречу, наша редакция, не щадя затрат, решила дать краткое, но исчерпывающее руководство, как писать опровержения на заметки нехороших рабкоров.

№ 1. ПРОСТЕЙШИЙ ВИД (ОПРОВЕРЖЕНИЕ А НАТЮРЕЛЬ)

Милостивый государь тов. редактор! Позвольте на столбцах Вашей уважаемой газеты сделать следующее опровержение по поводу заметки «Куда смотрит РКК» неизвестного, но многоуважаемого рабкора т. Гайка. Все написанное в означенной заметке от начала до конца ложь. Я не буду голословным (как это позволяют себе некоторые) и, имея в руках ряд неопровержимых фактов, которые говорят сами за себя, постараюсь раз и навсегда прекратить дикую травлю и свистопляску, которую подымают некоторые безответственные лица вокруг моего честного советского имени. Автор заметки обвиняет меня в том, что я, якобы пользуясь своим высоким служебным положением, устроил на службу двух своих теток и племянника по 15-му разряду, а также пользуюсь для личных надобностей служебным автомобилем и прочее. Все это с начала до конца ложь, хотя бы уже по одному тому, что никакого высокого служебного положения я не занимаю, а, наоборот, являюсь помощником (sic!) директора треста, так что эта часть обвинений отпадает.

Конечно, никаких теток по 15-му разряду я на службу не устраивал, хотя бы уже по одному тому, что они не тетки, а, наоборот, одна из них свояченица, а другая — сноха. Так что и эта часть обвинений целиком отпадает. Что же касается какого-то якобы племянника, то полагаю, что неизвестный автор многоуважаемой заметки не хуже меня знает, что это не племянник, а бедная девушка, сирота, из хорошей семьи, и не устроить ее с моей стороны было бы нравственным преступлением. Так что и эта часть целиком отпадает. Что же касается 15-го разряда, то всем известно, что это не так: сноха получает по 14-му разряду, а свояченица и бедная девушка — по 16-му разряду (sic!), так что как сноха, так и бедная девушка отпадают. Остальные

пункты обвинения настолько вздорны, что не заслуживают внимания. Надеюсь, что после настоящего сего опровержения дикая травля и свистопляска сами собой отпадут. Автора вышеупомянутой заметки не привлекаю к судебной ответственности, потому что считаю это ниже своего достоинства.

С ком. приветом (с коммечерским приветом) пом. дир. мебельного треста «Красноватый шик» *Я. М. Гусь*

№ 2. ОПРОВЕРЖЕНИЕ АВАНСОМ

Тов. редактор! По дошедшим до меня сведениям, рабкор тов. Николаев в присутствии многих рабочих двусмысленно улыбался по моему адресу. Поэтому спешу предупредить, что работницу Дуню я отнюдь не обнимал и никаких двусмысленных предложений до нее не делал, а что касается будто бы вышиб зуб столяру Анисиму, то это просто брехня. А сам Николаев между тем на моих глазах выпил вчера бутылку пива, после чего в присутствии всех распевал революционные песни. Так что в случае чего вы ему не верьте.

Старший мастер *Степан Горчица*

№ 3. ОПРОВЕРЖЕНИЕ-БУФФ

— Ты, сукин сын, писал обо мне заметку?

— Я.

— Так получай...

Трах, трах, трах... (три раза ударить палкой корреспондента по голове). После этого вас посадят не меньше чем на три месяца, и все убедятся в вашей невиновности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Хорошенько усвойте себе эти три основных способа опровержений и можете считать себя обеспеченным. Не надо благодарностей. Не надо оваций. Я такой. Я добрый.

ИГНАТИЙ ПУДЕЛЯКИН

На прошлой неделе мой друг художник Игнатий Пуделякин наконец возвратился из кругосветного путешествия, которое он совершил «с целью познакомиться с бытом и культработой Западной Европы и Северной Америки, а также сделать серию эскизов и набросков флоры, фауны и архитектуры упомянутых выше стран и вообще», как было собственной Пуделякина рукою написано в соответствующей анкете.

Надо признаться, что в обширной истории мировых кругосветных путешествий научное турне Пуделякина занимает далеко не последнее место. Поэтому я считаю своим нравственным долгом поведать всему цивилизованному человечеству историю о том, как путешествовал мой друг художник Игнатий Пуделякин вокруг света.

Еще задолго до отъезда Пуделякина вокруг света я сказал Пуделякину:

— Ты бы себе, Пуделякин, туфли новые купил. Гляди, Пуделякин, у тебя пальцы из обуви наружу выглядывают. Что подумают о тебе, Пуделякин, Западная Европа и Северная Америка? От людей за тебя, Пуделякин, совестно!

Однако у Пуделякина, по-видимому, была своя точка зрения на общественное мнение Западной Европы и Северной Америки. Не такой был человек Игнатий Пуделякин, чтобы унывать. Наоборот, Игнатий Пуделякин загадочно усмехнулся и зашипел:

— Ни хрена! Туфли — это пустяк. Главное — визы. А пальцы пускай, если хотят, выглядывают, это их частное дело. Вот приеду в Европу — в Европе, между прочим, обувь дешевая. Замечательные штиблеты — восемь рублей на наши деньги. Факт!

На вокзале я нежно обнял Пуделякина.

— Смотри же, не забывай, пиши. На твою долю выпало редкое счастье — объехать вокруг света. Не упускай случая.

— Уж не упущу,— задумчиво подтвердил Пуделякин.— Будьте уверены.

Я прослезился.

— Ну, всего тебе, Пуделякин, доброго! Я с нетерпением буду ожидать от тебя открыток. Пиши обо всем, не упускай ни одной подробности. Опиши сиреневые огни Парижа, когда весенние сумерки ласково окутывают мощный скелет Эйфелевой башни, опиши жемчужные струи Рейна, опиши

величественные очертания римского Колизея и геометрическую мощь Бруклинского моста в Нью-Йорке. Не позабудь, Пуделякин, также загадочного сфинкса и трансатлантического парохода, на борту которого тебе, Пуделякин, предстоит пересечь Атлантический океан.

— Уж не забуду,— бесшабашно пообещал Пуделякин, нетерпеливо двигая большим пальцем правой ноги, выглядывающим из совершенно дырявой туфли.— Мне бы только до Европы дорваться, а там — ого-го!

— Смотри же, Пуделякин! Я твердо рассчитываю, Пуделякин, на тебя. Я надеюсь, Пуделякин, что от твоего зоркого глаза не укроется ничто: ни желтые воды Тибра, когда, колеблемые смуглым ветром долин, они струятся широким потоком, который...

— Уж не укроется, будьте уверены,— сказал Пуделякин и уехал в Западную Европу и Северную Америку.

Пуделякин сдержал свое обещание. Через неделю я получил от Пуделякина первую открытку.

«Дорогой Саша! Ура! ура! ура! Наконец-то я в Западной Европе, которая так необходима для расширения моего умственного кругозора. Вчера приехал в Варшаву. Первым делом, прямо с вокзала, отправился покупать штиблеты. Дешевизна феноменальная. Пара прекрасных штиблет на наши деньги стоит (можешь себе представить!) всего десять рублей. Нечто совершенно фантастическое! У нас таких и за сорок не найдешь. Впрочем, штиблеты не купил. Говорят, в Вене штиблеты вдвое дешевле и втрое лучше. Ужасно рад, что наконец-то в Западной Европе! Целую тебя нежно. В Варшаве дожди. Завтра выезжаю в Вену.

Твой *Пуделякин*»

«Здорово, Сашка! Пишу тебе из Вены. Действительно феноменально. Ботиночки что надо. Красота: девять целковых на наши деньги. Хотя, говорят, в Берлине еще дешевле и лучше. Так что пока не купил. В 9.40 выезжаю в Берлин. Лучше подождать сутки, но зато купить действительно вещь, не правда ли? А хорошо в Западной Европе, черт ее подери, только удобств маловато: на улицах, например, осколки всякие валяются, и я здорово порезал себе на левой ноге пятку. Впрочем, Вена — городок что надо! Ну, пока.

Твой *Пуделякин*»

«Саша! Штиблеты — семь целковых на наши деньги! Феерия! Хотя, говорят, в Гамбурге вполовину дешевле. Думаю смотаться в Гамбург, зверинец кстати посмотрю. Семь целковых, а? Это тебе не ГУМ. Ну, пока.

Твой *Пуделякин*»

«Понимаешь, какая неприятность: приехал в Гамбург в субботу вечером, магазины закрыты. Все воскресенье как дурак проторчал в номере, никуда не выходил. В ресторан почему-то не пустили. Едва дождался понедельника. Штиблеты действительно феноменально дешевые. На наши деньги что-то рублей шесть. Невероятно, но факт! Один русский сказал, что в Бельгии обувь можно приобрести буквально задаром. Подожду до Льежа. Не горит. Пока.

Пуделякин»

«Пишу из Парижа. Штиблеты — четыре рубля на наши деньги. В Марселе еще дешевле. Сижу по случаю дождя дома. Вечером выезжаю в Марсель. Пока.

Пуделякин»

«Чуть было не купил штиблеты в Марселе. Вечером выезжаю в Неаполь. Там, говорят, феноменально дешевая обувь. А еще все кричат, что Италия — земледельческая страна. Мостовые в Марселе плохие — все ноги побил к чертовой матери. Пока.

Пуделякин»

«Неаполь. Обувь не стоит выплываю Индию феноменально.

Пуделякин»

«Бомбей. Похабные мостовые штиблеты бесценок Америка дешевле понедельник Сан-Франциско.

Пуделякин»

«Чикаго. Штиблеты гроши умоляю телеграфом 300 Мельбурн феноменально разоренный.

Пуделякин»

Я послал Пуделякину триста. После того прошло четыре месяца. О Пуделякине не было ни слуху ни духу. В начале пятого я получил от Пуделякина открытку из Одессы. Вот она:

«Дорогой Саша! Чуть было не купил в Константинополе обувь. Феноменально дешево! Что-то полтора рубля на наши деньги. Однако, спасибо, встретил одного человека. Узнав, что я русский и иду покупать обувь, он всплеснул руками и воскликнул: «Милый! Вы с ума сошли! Россия — это же классическая страна кожи! В Тверской губернии есть уезд, где все население занимается исключительно выработкой хорошей и дешевой обуви!»

Думаю смотаться в Кимры. Кстати, это недалеко от Москвы. В Константинополе собак не так уж и много. Ноги, представь себе, привыкли. Пожалуйста, продай мой синий костюм за шестьдесят рублей и вышли деньги телеграфом. В пятницу выезжаю в Кимры. Целую тебя нежно.

Пуделякин»

На днях я видел большую красивую афишу, где сообщалось, что известный Игнатий Пуделякин прочтет лекцию о Западной Европе и Северной Америке. Тезисы были заманчивы.

Но я не пошел на лекцию Пуделякина...

...Где-то ты теперь читаешь, Пуделякин? Ау, Пуделякин!..

ЕМЕЛЬЯН ЧЕРНОЗЕМНЫЙ

Хлопотливый день Емельяна Черноземного начался, как говорится, с первыми лучами восходящего солнца. Что-то около десяти часов утра. Именно в это время Емельян Черноземный эластично выполз из-под голубого стеганого одеяла на свет божий и начал действовать.

Прежде всего он принял холодный душ. После душа минут десять занимался гимнастическими упражнениями по системе Мюллера. Потом не без аппетита выпил стакан какао, съел французскую булку с маслом, с наслаждением закурил толстую папиросу «Герцеговина флор» и, наконец, свежий и бодрый, присел к изящному письменному столу и до двенадцати часов резво сочинял стихи.

Покончив со стихами, Емельян Черноземный деловито вытащил из-под никелированной кровати с пружинным матрацем зловещие штаны и мрачную толстовку, попрыскал их немного чернилами и брезгливо стал одеваться.

Одевшись, Емельян Черноземный долго, сосредоточенно терся головой о стенку, пока его прическа не приобрела соответствующий вид. Затем сунул в карманы бутылку водки, три метра веревки, кусок душистого мыла, большой гвоздь и, хорошенько измазав руки в печной саже, отправился по делам.

Первый его визит был к профессору Доадамову.

— Здорово, товарищ Доадамов! — сказал Емельян Черноземный бесшабашным голосом, входя в кабинет профессора.

— Здравствуйте, товарищ... Чем могу?..— пробормотал Доадамов, близоруко топчась возле Черноземного.

— Не признали, что ли?.. Эх, ты, а еще ученый человек называешься, очки носишь! Черноземный я. Емельян. Крестьянин, значит. Безлошадный. Тятька мой поди еще во время империалистической бойни без вести пропал. А я, значит, нонеча у тебя наукам разным обучаюсь. Во как!..

— Студент?

— Оно действительно, ежели по-ученому говорить, то в полном виде студент. От сохи, значит.

— Ага! Садитесь, товарищ! Чем могу?

— Спасибо! Мы и постоять можем. Чай, не лаптем щи хлебаем. Мы люди темные, вы люди ученые. Много благодарны.

Профессор Доадамов слегка поморщился:

— Ну что вы, право, такое говорите, товарищ? Садитесь, прошу вас, без церемоний и расскажите, в чем дело...

Емельян Черноземный нерешительно переступил с ноги на ногу и вытер нос рукавом.

— Зачетишко бы мне, товарищ профессор! Потому — трудно нашему брату безлошадному без зачетов приходится.

Емельян Черноземный вытащил из-за пазухи зачетную книжку и протянул профессору:

— Вот туточка пиши. Осередь ефтой вот клетушечки.

— Помилуйте, товарищ,— удивился профессор Доадамов,— как же это я так вдруг возьму да и поставлю вам зачет? Приходите в среду в общем порядке, тогда...

— Приходил уж. Чего там! Погнали вы меня. «В другой раз, сказали, приходи...»

— Тем более.

— Напиши, барин, зачет,— тускло заметил Черноземный.

— Не могу, товарищ!

— Не можешь? — печально переспросил Емельян Черноземный.

— Не могу,— подтвердил профессор Доадамов.

— Тады во, гляди, барин, чего я чичас над собой изделаю. Пущай, пропадай аржаная моя головушка! И-и-эх-х!

С этими словами Емельян Черноземный не торопясь влез на стул и забил в стену профессорским микроскопом большой гвоздь.

— Что вы хотите сделать?! — воскликнул профессор, содрогаясь.

— Уж изделаю,— зловеще сказал Емельян Черноземный, привязывая к гвоздю петлю и быстро ее намыливая.— Не жить мне, товарищ барин, без зачета! Оно, конечно, может которым городским ты и поставишь зачет. Может, у которых городских полные книжки зачетов. Нешто за городскими угоняешься? Деревенские мы. Темные. От сохи, значит. И-и-х! Конечно... Может, я три дня не емши! Может, мне некуда головушку свою приклонить, может, я под мостами ночую да на березовой коре бином Ньютона щепочкой выковыриваю? Эх, сглодал меня, парня, город! Не увижу родного месяца! Распахну я пошире ворот, чтоб способнее было повеситься!

Емельян Черноземный опытным жестом накинул на шею веревку и, рыдая, продолжал:

— Был я буйный, веселый парень... Золотая была голова... А теперь пропадаю, барин, потому — засосала Москва. И-и-эх-х!.. Пропадет, барин, самородок!..

— Вы не сделаете этого! — воскликнул профессор, обливаясь холодным потом.

— Изделаю,— тихо сказал Черноземный, осторожно раскачивая ногами стул.

— Давайте зачетную книжку! — прохрипел профессор Доадамов.

Следующий визит Емельяна Черноземного был в редакцию толстого журнала «Красный кирпич».

Раздвинув богатырскими плечами кучу бледно-зеленых молодых людей, Емельян Черноземный бодро вошел в кабинет редактора и остановился перед столом.

— Чем могу? — спросил бритый редактор.

— Демьяна Бедного знаешь? — коротко спросил Емельян.

— Знаю,— нерешительно сознался редактор, высовывая голову из вороха непринятых рукописей.

— Максима Горького знаешь?

— Знаю.

— Емельяна Черноземного?

— Зн... То есть н-не знаю...

— Не знаешь? Так сейчас узнаешь!

Емельян Черноземный высморкался в толстовку и быстро вынул из-за пазухи рукопись.

— Коли не знаешь, тады слухай:

Эх, сглодал меня, парня, город,
Не увижу родного месяца,
Распахну я пошире ворот,
Чтоб способнее было повеситься!

— Приходите через две недели,— сказал редактор устало.— Впрочем, стихи, вероятно, не подойдут...

Емельян Черноземный поставил перед собой бутылку водки и тяжело вздохнул.

— Не подойдут? Тады буду пить, покедова не подохну. И-эх! Оно, конешно, может, которые городские парни завсегда свои стихи печатают. Нешто за городскими угоняешься? А мы что?! Мы ничего! Мы люди темные, необразованные. От сохи, значит, от бороны. Был я буйный, веселый парень... Золотая моя голова... А теперь пропадаю, барин, потому — засосала Москва... Под мостами, может, ночую... На бересте, может, гвоздиком рифмы царапаю... И-иэх-х!

С этими словами Емельян Черноземный быстро забил в стенку редакторским пресс-бюваром гвоздь, привязал веревку и сунул свою голову в петлю.

— Остановитесь! — закричал редактор.

— Руп за строчку,— тускло возразил Емельян Черноземный.— И чичас чтоб!

— Берите! — прохрипел редактор.— Принимаю. Контора открыта до двух. Не опоздайте...

Следующий визит Емельяна Черноземного был к Верочке Зямкиной.

— Здорово, девка! — сказал Емельян Черноземный, входя в комнату.— Придешь ко мне, что ли ча, ночью на сеновал, Сретенка, Малый Желтокозловский переулок, дом восемь, квартира четырнадцать, звонить четыре раза, спросить товарища Мишу Тарабукина (а Емельян Черноземный — ефто мой литературный ксюндоминт)? Али не придешь?

— Вот еще! Какие слова говорите, товарищ! — вспыхнула Верочка Зямкина, роняя «Физику» Краевича на пол.— Мне даже очень странно слышать это, тем более что сегодня вечером мы условились с Васей Волосатовым идти на «Человека из ресторана», так что всякий посторонний сеновал решительно отпадает...

— Так не придешь?

— Не собираюсь...

— Не собираешься? Тады так! Оно конешно. Может, у меня папенька в империалистическую бойню без вести пропал, может, я три дня не жрамши, может, я грызу гранит и под мостами ночую, может, я гвоздиком на березовой коре твое имечко-отчество выковыриваю по ночам, по ночам! Может, конешно, с которыми городскими ты по всяким киятрам желаешь шляться, а который от сохи, с тем не желаешь. И-и-эх-х! Эх, сглодал меня, парня, город, не увижу родного месяца, распахну я пошире ворот, чтоб способнее было повеситься!..

С этими словами Емельян Черноземный вбил в стенку Краевичем гвоздь и хлопотливо сунул голову в петлю.

— Приду! — хрипло закричала Верочка Зямкина, бросаясь к Емельяну Черноземному.

— То-то! Не позже девяти чтоб! Прощай, девка!..

Обделав еще кое-какие делишки, Емельян Черноземный вернулся домой, плотно пообедал, принял ванну с сосновым экстрактом, надел полосатые брюки, желтые полуботинки, синий элегантный пиджак, повязал небрежно бабочкой веснушчатый галстук, смазал фиксатуаром голову и, развалившись в соломенном кресле, закурил ароматную папиросу.

В двери раздался стук.

— Войдите! — небрежно бросил Емельян Черноземный, сбрасывая мизинцем пепел в изящную пепельницу.

Дверь растворилась, и в комнату вошел Вася Волосатов.

— Чем могу?..— бледно поинтересовался Емельян Черноземный.

— А ну-ка, показывай свой сеновал, сволочь! — ласково сказал Вася Волосатов.

— Я вас не вполне понимаю, товарищ,— мягко прошептал Емельян.

— Зато я тебя, сук-кин сын, очень хорошо понимаю. Показывай сеновал! Показывай мост, под которым ты ночуешь, гадина! Показывай своего папаньку, который

пропал без вести во время империалистической бойни! Показывай, наконец, черт тебя раздери, бересту, на которой ты, смотря по обстоятельствам, царапаешь то стишки, то бином Ньютона, то имя и фамилию любимой женщины! Все показывай, чертов кот!

Емельян Черноземный быстро заморгал глазами и неуверенно пробормотал:

— И... и-эх-х!.. Сглодал меня, парня, город... Не увижу родного месяца!.. Тово-этого... распахну я пошире ворот, чтобы это самое... способнее было повеситься!..

С этими словами Емельян Черноземный привычным движением вбил в стенку гвоздь, сунул голову в петлю и нерешительно посмотрел на мрачного Васю.

— Вешайся! — сказал Вася сухо.

— И повесюсь, очень даже просто,— криво улыбаясь, пролепетал Емельян Черноземный.— Только за подстрекательство к самоубийству по головке тебя не тово... имей в виду... А я повесюсь...

— Валяй!

— Вот только напоследок напьюсь водки и повесюсь... Как бог свят...

— Валяй пей водку. Хоть две бутылки! Чтоб ты сдох!!

— Очень мне неприятно слышать такие вещи от близкого приятеля,— обидчиво заметил Емельян.— Вместо того чтобы пожалеть темного, безлошадного человека...

— Пей водку, стер-р-рва! — прорычал Вася Волосатов.

Емельян Черноземный дрожащими руками поднес ко рту горлышко бутылки, и щеки его покрылись бледной зеленью отвращения.

— Пей, свинья!

— Н-не могу... Душу воротит! — прошептал Емельян.— Запаха ее, подлой, не выношу! — И опустился перед Васей Волосатовым на колени.

— Будешь?! — загрохотал Вася, багровея.

— Не буду больше,— обливаясь слезами, проговорил Емельян Черноземный.— Чтоб мне не сойти с этого места, не буду...

— Чего не будешь?

— Ничего не буду... Врать не буду... Вешаться не буду... Упадочником не буду. Чужих девочек на сеновал звать не буду. Про папаньку пули отливать не буду... И про мост... тоже... не буду!..

— То-то же, сволочь! Имей в виду. И чтоб больше ни-ни!..

— Ни-ни! — подтвердил Емельян Черноземный и глухо зарыдал.

Слезы его ручьем текли по «сеновалу».

ПОХВАЛА ГЛУПОСТИ

(Опыт рецензии)

С легкой руки литбюрократов, окопавшихся в уютненьких траншеях советских издательств, почему-то (?) вошло в практику, без зазрения совести и не жалея государственных средств, издавать кого попало, что попало, как попало, куда попало и кому попало.

Достаточно только указать на дикую вакханалию и свистопляску, которая, к сожалению, до сих пор продолжается, с изданием так называемых «полных (!) собраний (хе-хе) сочинений (хи-хи!)» наших доморощенных и пресловутых гениев.

Вслед за Пильняком, Леоновым, Ивановым, Верой Инбер, Гумилевским и другими безусловно крупными мастерами слова к вкусному пирогу советской популярности потянулись цепкие пальцы развязных молодых людей, уже не имеющих абсолютно никакой художественной ценности и социальной значимости.

Мутный вал чтива, потакающего обывательским вкусам, готов с головой захлестнуть молодую советскую общественность.

Издаются буквально все, кому не лень.

Вот, например, перед нами «полное (ха-ха!) собрание (хе-хе!) сочинений (хи-хи!)» некоего Антона Чехова...

(Кстати: какой это Чехов? Не родственник ли он пресловутого Михаила Чехова, бывшего актера МХАТ II, который ныне «подвизается» в Берлине?)

Впрочем, отбросим всякие подозрения и постараемся вскрыть социальную сущность и выявить писательскую физиономию вышеупомянутого Антона Чехова (!), столь ретиво изданного одним из наших центральных издательств.

Возьмем хотя бы рассказ «В бане», которым открывается том первый. Сам факт уже говорит за то, что рассказ «В бане» является, так сказать, общественно-политическим и литературно-художественным кредо писателя. Посмотрим, в чем же заключается это «кредо».

«— Эй, ты, фигура! — крикнул толстый, белотелый господин, завидев в тумане высокого и тощего человека с жиденькой бородкой и с большим медным крестом на груди.— Поддай пару!»

И далее:

«Толстый господин погладил себя по багровым бедрам...»

И т. д.

Несколькими абзацами ниже:

«Там сидел и бил себя по животу веником тощий человек с костистыми выступами на всем теле».

И еще:

«Никодим Егорыч был гол, как всякий голый человек...»

Довольно!!

Совершенно ясно, что ни о каком писательском лице, ни о какой социальной значимости не может быть и речи в произведении, где с откровенностью, стоящей на грани цинизма и порнографии, на протяжении шести-семи страниц убористого шрифта смакуются мотивы голого человеческого тела.

А вот, например, рассказ «Неудача»:

«Илья Сергеевич Пеплов и жена его Клеопатра Петровна стояли у двери и жадно подслушивали... За дверью, в маленькой зале, происходило, по-видимому, *объяснение в любви*, объяснялись их дочь Наташенька и *учитель уездного училища Щупкин*».

И т. д. (Курсив везде наш.— *С. С.)*

Дальше, товарищи, ехать некуда!

Учитель уездного училища, объясняющийся в любви некой Наташеньке,— это же шедевр мещанской пошлости и беззубого, обывательского злопыхательства!

Кто этот объясняющийся в любви учитель? Частный случай, анекдот или же монументально обобщенный тип?

Если это частный случай, то позвольте вас спросить, кому нужны такие частные случаи и для чего автору понадобилось притаскивать за волосы на страницы советской печати эту явно надуманную, лишенную плоти и крови фигуру выродившегося интеллигента, который занимается пошлейшим копанием в себе в стиле Достоевского?

Если это монументальное обобщение, то тут мы в праве со всей определенностью заявить зарвавшемуся автору:

— Руки прочь от советского учительства! Не вам, гражданин Чехов, показывать нам его!

И потом, что это за Наташенька? Откуда вы выкопали эту девушку, проводящую все свое время в бесцельном флирте? Не бывает у нас таких девушек, гражданин Чехов!

Кстати, одна характерная деталь: в конце рассказа отец и мать Наташеньки благословляют ее и уездного учителя (!) вместо образа портретом *писателя* Лажечникова (?).

Очевидно, гражданин Чехов дальше середины XIX века в своих литературных ассоциациях не пошел. Стыдно, очень стыдно, господин Чехов, не знать, что самый популярный писатель у нас не Лажечников, а Гладков! И не мракобесом Лажечниковым, а Гладковым должны были благословлять молодых людей родители, если уж на то пошло!

Но вот что самое характерное: у гражданина Чехова совершенно нет романов. Да это и понятно! Трудно себе представить, как бы рецензируемому автору, при полном отсутствии чувств исторической перспективы, при куцем, беспредметном, а-ля Зощенко, юморке, при совершенно определенном уклончике в «голую» порнографию, удалось создать большое полотно, в полном объеме отображающее нашу действительность, со всеми ее сложнейшими конфликтами, коллизиями, ситуациями, взаимоотношениями, сдвигами и перегибами.

Что касается проблемы живого человека, то она, разумеется, даже и не ночевала в «полном (хи-хи!) собрании (хе-хе!) сочинений (ха-ха!)» гражданина Чехова.

В заключение необходимо заметить следующее. У Чехова имеется несколько пьес. Говорят, что некоторые из них собирается (!) поставить (?) МХАТ I (?!) *. Нам неизвестно, насколько справедливы эти слухи, но, во всяком случае, в театральных кругах поговаривают об этом совершенно определенно.

Будет чрезвычайно прискорбно, если такой серьезный и нужный пролетариату театр, как МХАТ I, после «Бронепоезда» ** и после «Хлеба» поставит на своей сцене эти пошловатые и в конечном итоге малохудожественные, с позволения сказать, «пьесы», специально рассчитанные на гнилой вкус нэпманского жителя.

А в общем, *никчемное* собрание никчемных «сочинений» чужого нам писателя.

Старик Собакин

Кавычки, скобки и все знаки препинания — всюду мои. Вообще все мое.— С. С.

«НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ»

Душевное состояние обывателя, впервые отправляющегося за границу, обычно трудно поддается описанию.

Он мало ест, мало спит, надоедает знакомым телефонными звонками.

— Алло! Это вы, Николай Николаевич?.. Здравствуйте. Это я... Что? Вы уже легли спать?.. Неужели четверть третьего? А я, знаете, думал, что часов девять. Хе-хе... Извините, маленькая справочка. Не можете ли вы мне сказать: допустим, у меня есть заграничный паспорт и немецкая виза,— как быть с Польшей? Пропустит?.. Вы думаете? Спасибо... А если не захочет?.. Да, я понимаю, но все-таки суверенное государство... Не может быть?.. Спасибо. Но все-таки — вдруг я прихожу, а мне в польском консульстве и говорят... Гм... Алло... Алло!.. Повесил трубку... Невежа!..

С утра он нанимает такси и начинает лихорадочно ездить по городу с таким видом, точно у него в квартире лопнула водопроводная сеть. Первым долгом он кидается в Административный отдел Московского Совета — АОМС, где ему на сегодня обещан ответ.

Сжимая в потном кулаке квитанцию, спотыкаясь, бежит он к воротам. Ворота закрыты. За великолепной оградой виден пустой обширный аомсовский двор, цветники, клумбы, деревья...

На тумбочке у ворот сидит милиционер и читает «Рабочую газету».

— Я извиняюсь... товарищ,— начинает наш герой неправдоподобно взвинченным голосом и сует в усы милиционера повестку.— В чем дело? Тут ясно сказано — сегодня, а между прочим, ворота заперты. Это что же такое? Издевательство над гражданами? А может быть, у меня в Берлине тетя умирает? Безобразие!

Милиционер равнодушно зевает, складывает «Рабочую газету» и вынимает из кармана большие серебряные часы.

— Еще рано, гражданин. Всего половина восьмого. А прием начинается в девять. Погодите малость.

— Я извиняюсь,— бормочет проситель.— Неужели половина восьмого? А я был уверен, что четверть десятого...

Он некоторое время трет себе виски и топчется возле милиционера. Наконец, потоптавшись, с легкой надеждой в голосе спрашивает:

— Может, в очередь надо записаться?

— Чего там в очередь,— лениво усмехаясь, говорит милиционер.— Всего четыре человека вместе с вами. Вон они дожидаются. У них и спросите...

Наш путешественник выпускает слабый вопль тревоги и спешно кидается к трем одиноким фигурам, сидящим на парапете решетки и меланхолично болтающим ногами.

— Граждане!.. Я извиняюсь... Кто последний?.. Здравствуйте. Еду, понимаете, в Западную Европу... Так вот, пожалуйста, я четвертый... Запомните... Сплошное безобразие: всюду очереди и очереди... В Западной Европе этого, наверное, нет... Итак, имейте в виду — я четвертый. Пока!

После этого он плюхается на горячее сиденье такси и громко кричит, чтобы его как можно скорее везли в немецкое посольство, оттуда в итальянское, потом во французское, польское, австрийское...

Пролетая ураганом по улицам, он то и дело высовывается из машины и, размахивая шляпой, кричит встречным знакомым:

— Привет! Уезжаю в Западную Европу... Что? Пишите прямо в Германию, прямо «до востребования». Целую. Пока.

По его интенсивно-розовому лицу струится горячий пот.

Но вот наконец паспорт своевременно получен, визы поставлены, деньги в банке обменены на валюту. Казалось бы, все в порядке, можно успокоиться. Однако вот тут-то именно и начинается главная горячка.

— Алло! Это вы, Василий Иванович?.. Я вас разбудил?.. Извиняюсь. Дело в том, что послезавтра я еду в Западную Европу. Ха-ха-ха! Слушайте, вы не знаете, говорят, за границей наша простая паюсная икра стоит двести рублей фунт. Это правда?.. Что?.. Триста? Не может этого быть. Вы шу... Алло... Вы слушаете? Алло! Станция, нас прервали... Повесил трубку? Хам!

Алло! Павел Павлович? Это вы?.. Здравствуйте. Я вас, кажется, разбудил?.. Извиняюсь. Поздравьте меня: я уезжаю в Западную Европу. Слушайте, вы не знаете, сколько в Западной Европе стоит наша паюсная икра?.. Дорого? Это хорошо. Мерси. А папиросы? Говорят, наши русские папиросы считаются самыми шикарными. Как вы думаете, стоит захватить тысячи полторы «Мозаики»?.. Что?.. Вы сами дурак... Алло! Повесил трубку...

На рассвете его вдруг будит жена.

— Петя, говорят, надо везти шоколадные конфеты. В Берлине наши конфеты полтораста рублей фунт. И изюм... факт...

Петя вскакивает и на полях газеты начинает спешно производить сложнейшие вычисления: фунты множит на килограммы, делит на конфеты, вычитает икру, извлекает корни из папирос. Руки у него дрожат.

Но самое мучительное — это одеться в дорогу. Надевать обычный костюм не имеет ни малейшего смысла, раз за

границей можно купить за гроши новый. Опять же башмаки. Абсолютно невыгодно трепать скороходовские туфли, если послезавтра в Берлине можно купить замечательные новые за десять рублей. А куда девать старые? Не бросать же их, на радость жадным иностранцам! Опять же шляпа и кальсоны...

— Ничего не надо. Все там купим.

Таков лозунг отъезда.

Если бы не врожденная стыдливость, такой, с позволения сказать, турист, вне всякого сомнения, готов был бы ехать в Западную Европу в чем мать родила.

Но, увы, это невозможно. Как-то совестно перед Западной Европой.

Но тем не менее на вокзал он приезжает с женой в совершенно диком виде. На нем старый картуз сынишки, брезентовые штаны системы военного коммунизма, толстовка на голое тело и престарелые парусиновые туфли, из которых стыдливо выглядывают большие пальцы.

На ней клетчатый ватерпуф, абсолютно вышедшая из употребления сумочка, дикого вида шарф и ночные туфли, выкрашенные чернилами. В дрожащих руках пятифунтовая банка икры. Знакомые в ужасе.

— Ничего, там все купим.

Поезд трогается. Своды Александровского вокзала наполняются звоном, грохотом и тихим шипением провожающих:

— Поехал-таки, свинья. Вот уж действительно — дуракам счастье. Много он там поймет со своей жирной гусыней, во всех этих европах!

— Н-да-с... толстокожее животное!

— Животное-то животное, а, между прочим, в данный момент сидит возле открытого окошка и любуется панорамой. А послезавтра будет ездить в автомобиле по Берлину и покупать пронзительные галстуки. А нам с вами на паршивый автобус — и домой.

— Ах, и не говорите...

А тем временем наш «турист» действительно сидит у открытого окошка, но отнюдь не любуется панорамой, а нудно и мучительно препирается с супругой по поводу предположенных заграничных покупок.

— Ты, матушка, прямая дура! — шипит он, искоса поглядывая на соседей.— Кто же это, интересно знать, покупает шелк в Германии! Италия — классическая страна шелка. Там чулки и купишь.

— Это, значит, я через всю Западную Европу ехать в драных мюровских чулках буду? Ни за что!

— Ничего с тобой не сделается, голубушка. А что касается Западной Европы, то она и не такие чулочки видела. Будь спокойна. А вот что касается моих туфель, то в первую голову покупаю башмаки на резиновой подошве. Германия — это классическая страна кожи... и галстуков...

— О, как я жалею, что вышла замуж за этого грубого идиота! — всхлипывает она.

Поезд мчится. В окне движется упоительная среднерусская панорама. Рыбий жир сочится из подпрыгивающих на верхней сетке коробок с икрой и желтыми слезами каплет на разгоряченные головы путешественников.

Проходит короткая ночь, полная тяжелых вздохов и змеиного шипа.

Утром — граница.

Отбирают паспорта.

Короткий таможенный осмотр.

Короткий потому, что собственно говоря, осматривать нечего.

Вокруг таможенного прилавка жмутся граждане, одетые во что бог послал, безо всяких почти вещей.

Там, мол, все купим.

Поезд переходит границу. В вагон входят польские военные чины. Они вежливо отбирают паспорта. Но сосны за окном все те же «среднерусские».

Поезд медленно подходит к новенькой белой станции в новом немецком стиле. Это Столбцы.

Белый одноглавый орел, похожий на гуся, украшает мезонин станции. Тут опять таможенный осмотр.

Не считая того, что у путешественников ласково отбирают паюсную икру, все обходится как нельзя благополучно.

Наш расстроенный герой, волоча за рукав подавленную супругу, выходит на перрон и в изумлении открывает рот.

Несколько блистательных поездов стоят на путях.

С суеверным ужасом он читает по складам французские и немецкие таблички на вагонах.

«Столбцы — Берлин».

«Столбцы — Париж».

«Столбцы — Остенде».

Но это еще не все. Это все-таки еще не Европа. И лишь на рассвете следующего дня, проехав «среднерусскую» Польшу и одессоподобную Варшаву, на немецкой границе наш путешественник бывает окончательно подавлен.

Пользуясь небольшой остановкой, он выходит из вагона погулять по аккуратной платформе под гигантским немецким деревом и вдруг, неожиданно побледнев как смерть, возвращается, шатаясь, в вагон.

— Капочка,— говорит он серым голосом,— Капочка... начинается... Там, на станции...

— Что, что такое?

— Там, на станции... продаются... бананы...

Он безжизненно садится на диван и закрывает руками лицо.

Паровоз свистит, и деликатный дым скрывает от наших глаз подробности дальнейшего путешествия счастливых супругов...

Мне кажется, что, путешествуя по Европе, я кое-где мельком видел этого «туриста».

Помнится, он топтался в Берлине, на перекрестке двух непомерных улиц, отрезанный от своей супруги, оставшейся на противоположном углу, четырьмя рядами движущихся машин.

В Риме на вокзале он долго требовал «обязательно плацкарту», вызывая у окружающих веселое недоумение по поводу загадочной «русской плацкарты».

В Венгрии он менял доллары на лиры в отделении сомнительной банкирской конторы и потом, озираясь по сторонам, прятал в особый внутренний карман штанов остальные доллары.

В Неаполе он ломился в магазин за фетровой шляпой фабрики «Барсалино».

В Вене метался на плохом таксомоторе из одного универсального магазина в другой...

По приезде домой такой гражданин переживает нечто вроде медового месяца.

Преимущественно он разговаривает по телефону:

— Алло! Это вы, Николай Николаевич?.. Здравствуйте. Это я... Не узнаете? Хо-хо! Только что из-за границы приехал... Вы уже легли спать? Это неважно. Ну, батенька, и насмотрелись же мы с Капочкой чудес!

Вы знаете, эта Западная Европа черт-те что! Нечто феноменальное... Колоссаль! Можете себе представить — в Берлине, например, башмаки на наши деньги восемь целковых, замечательные... А между прочим, пиво — дрянь! Факт... Вообще же — красота! В Риме, например, мы с Капочкой купили подмышники, и что же вы ду... гм... что такое?.. Ах, эти гнусные советские телефоны... Станция, алло! Что такое?! Разъединили. Повесил трубку? Хам!..

ДВА ГУСАРА

I

1825 год

Пушкин — Вяземскому

П. А. Вяземскому (14 и 15 августа. Из Михайловского в Ревель...)

Мой милый, поэзия твой родной язык, слышно по выговору, но кто ж виноват, что ты столь же редко говоришь на нем, как дамы 1807-го года на славяно-русском. И нет над тобою как бы некоего Шишкова, или Сергея Глинки, или иной няни Василисы, чтоб на тебя прикрикнуть: извольте-де браниться в рифмах, извольте жаловаться в стихах. Благодарю очень за «Водопад». Давай мутить его сейчас же.

...с гневом
Сердитый влаги властелин.

Вла вла — звуки музыкальные, но можно ли, например, сказать о молнии *властительница небесного огня?* Водопад сам состоит из влаги, как молния сама огонь. Перемени как-нибудь, валяй его с каких-нибудь *стремнин*, *вершин* и тому подобное.

2-я строфа — прелесть! — Дождь брызжет от (такой-то) сшибки.

Твоих *междоусобных* волн.

Междоусобный значит mutuel, но не заключает в себе идеи брани, спора — должно непременно тут дополнить смысл.

5-я и 6-я строфы прелестны.

Но ты, питомец тайной бури.

Не питомец, скорее, родитель — и то не хорошо — не соперник ли? *тайной*, о гремящем водопаде говоря, не годится — о буре физической также. *Игралище глухой войны* — не совсем точно. *Ты не зерцало* и проч. Не яснее ли и не живее ли: *Ты не приемлешь их лазури...* etc. (Впрочем, это придирка). Точность требовала бы *не отражаешь.* Но твое повторение *ты* тут нужно.

Под грозным знаменем etc. *Хранишь* etc., но вся строфа сбивчива. Зародыш непогоды в водопаде: темно. Вечно бьющий *огонь*, тройная метафора. Не вычеркнуть ли всю строфу?

Ворвавшись — чудно хорошо. Как *средь пустыни* etc. Не должно тут двойным сравнением развлекать внимания — да и сравнение не точно. *Вихорь и пустыню* уничтожь-ка — посмотри, что выйдет из того:

Как ты, внезапно разгорится.

Вот видишь ли? Ты сказал о водопаде *огненном* метафорически, то есть *блистающий*, как *огонь*, а здесь уж переносишь к жару страсти сей самый водопадный пламень (выражаюсь как нельзя хуже, но ты понимаешь меня).

Итак, не лучше ли:

Как ты, *пустынно* разразится.

etc. а? или что другое — но *разгорится* слишком натянуто. Напиши же мне: в чем ты со мною согласишься. Твои письма гораздо нужнее для моего ума, чем операция для моего аневризма. Они точно оживляют меня, как умный разговор, как музыка Россини, как похотливое кокетство итальянки. Пиши мне, во Пскове это для меня будет благодеянье. Я созвал *нежданных* гостей, прелесть — не лучше ли еще *незваных*. Нет, cela serait de l'esprit.

При сем деловая бумага, ради бога, употреби ее в дело...

Пушкин

II

1934 год
Сашка — Петьке

Дорогой Петька! Пишу тебе, увы, из Михайловского, так как все более или менее приличные Дома отдыха уже, гады, расхватали. В Узком — ни одной койки, в Малеевке — ни одной, в Абрамцево — ни одной.

О Сочи и Гаграх я уже и не говорю. Сам понимаешь! Чуть было не попал в Поленово,— обещали отдельную комнатку! — буквально рвал зубами, рыл носом землю, колбасился, как тигр, и все-таки какой-то сукин сын из горкома увел комнату на глазах у всех прямо-таки из-под носа. Так что приходится торчать в Михайловском.

Вот гады! Не могу успокоиться!

Но, впрочем, тут не так уж плохо: имею совершенно отдельную комнату, шамовка довольно-таки приличная,

можно по блату иметь за обедом два раза сладкое. Компания тоже ни хрена себе, подходящая. Ребята свои. Ты их знаешь. Васька-беллетрист из горкома, Володька-малоформист из месткома и Жорка-очеркист из группкома. Конечно, бильярд, волейбол, вечером немножко шнапса и все прочее. Одним словом, творческая атмосфера вполне подходящая.

Кстати, о творческой атмосфере. У меня к тебе небольшое литературное дельце. У нас тут распространился странный слух, что отменяется сухой паек. Неужели правда? Ради бога, сообщи спешно, что и как, а то ребята сильно беспокоятся. Лично я не верю. Какое же это искусство без сухого пайка?! Абсурд!! Наверное, обывательская трепотня!

Кроме того, очень прошу тебя, если будешь в центре, не поленись зайти в издательство, к Оськину, в бухгалтерию, и позондируй там почву насчет монеты. Они, понимаешь ты, мне должны по договору, под роман, две с половиной косых. Полторы я уже отнял, осталась одна. Но дело в том, что рукопись у меня еще не готова (сам понимаешь!) А дублоны нужны до зарезу. Так вот ты этому самому Оськину там что-нибудь вкрути. Вполне полагаюсь на твою богатую фантазию: скажи, болен, или там в творческой командировке, или там что-нибудь в этом роде.

Как тебе понравился последний роман Андрюшкина? Главное с кем? С Катькой!! Вот уж номерок!

Последний анекдот знаешь? Идут отец и сын мимо памятника Пушкину. И сын спрашивает: «Папоцка, это Пуцкин?»

По-моему, гениально! Впрочем, до тебя уже, наверное, дошло.

Что ты скажешь насчет последнего письма в редакцию Женьки Манькина? Не правда ли, прелесть? Вот сволочь Женька, как здорово насобачился писать письма в редакцию!

Каков язык! Какова композиция! Каковы ритмические ходы! Какова лексика! Прямо Вольтер, не шутя. Аж зависть берет. Нет, надо и мне что-нибудь такое брякнуть! Только ума не приложу, что бы такое бабахнуть, не посоветуешь ли?

Ну, дружище, будь здоров.

Не забудь же про сухой паек и про Оськина!

Крепко жмаю руку! Пока! Бувай!

Твой *Сашка*

ЧУДО КООПЕРАЦИИ

Нарсуд 3-го участка Каширского уезда села Иванково признал отцами родившегося у гражданки Поляковой ребенка — Кузнецова, Титушина, Жемарина и Соловьева.
«Рабочая газета»

Гражданка Полякова застенчиво подошла к столу народного судьи и аккуратно положила на него небольшой, но чрезвычайно пискливый сверток.

— Подозрений ни на кого не имеете? — деловито заинтересовался судья.

— Имею подозрение на Кузнецова.

— Ага! Гражданин Кузнецов, подойдите.

На задних скамьях послышалось тяжелое сопение, и белобрысый парень выдвинулся вперед.

— Есть! — сказал он, угрюмо вздохнув.

— Гражданин Кузнецов,— строго спросил судья,— признаете?

— Чего-с?

— Вещественное доказательство, говорю, признаете? Ребенок ваш?

— Никак нет. Не мой.

— Однако гражданка Полякова имеет на вас подозрение. Что вы можете сказать в свое оправдание?

Кузнецов переступил с ноги на ногу и мрачно заметил:

— Подозрение признаю... А ребенка — никак нет... Не признаю.

— Значит, вы утверждаете, что между вами и гражданкой Поляковой ничего не происходило?

— Так точно, происходило.

— Ага! Раз между вами и гражданкой Поляковой... происходило, значит, ребенок ваш?

— Никак нет, не мой.

— Вы меня удивляете, гражданин Кузнецов,— сказал судья, вытирая вспотевший лоб.— Если это не ваш ребенок, так чей же он?

Кузнецов глотнул воздух и с трудом выдавил из себя:

— Не иначе как Титушина.

— А-а-а! Гражданин Титушин, подойдите сюда. Между вами и гражданкой Поляковой что-нибудь происходило?

— Происходило,— робко сказал Титушин.— А ребенок не мой.

— Подозрение ни на кого не имеете?

— Имею. На Жемарина.

— Гражданин Жемарин! Происходило?

— Происходило.

— Признаете?

— Не признаю. Имею подозрение на Соловьева.

Судья залпом выпил стакан воды.

— Соловьев!

— Есть.

— Происходило?

— Происходило.

— Признаете?

— Не признаю.

— Подозрений ни на кого не имеете?

— Имею.

— На кого?

— На Кузнецова.

— Гражданин Кузнецов!

— Есть.

— Ах, это вы, Кузнецов... Я уже вас, кажется, допрашивал?

— Так точно. Допрашивали. Происходить происходило, а ребенок не мой.

— Так чей же он, черт возьми?! — захрипел судья, покрываясь разноцветными пятнами и ударяя кулаком по чернильнице.— Моего секретаря он, что ли?

Секретарь смертельно побледнел и выронил ручку.

— Происходить происходило,— пролепетал секретарь,— а только ребенок не мой...

— Хорошо,— воскликнул судья,— в таком случае я знаю, что мне надо делать!

С этими словами он удалился на совещание.

И так далее, и так далее, и так далее... Ввиду всего изложенного выше, а также принимая во внимание существующие законоположения о кооперации, признать вышеупомянутого младенца мужского пола ко-о-пе-ра-тивным, а граждан Кузнецова, Титушина, Жемарина, Соловьева и секретаря Гелиотропова — членами правления оного кооперативного малютки. Означенных граждан кооператоров обязать своевременно вносить «членский» взнос. Малютке же впредь присваивается кооперативная фамилия Кузтижемсолов и имя — Секретарь.

Гражданка Полякова застенчиво взяла со стола пискливый кооператив, вежливо поклонилась судье и, сияя большими голубыми глазами, удалилась.

ТЯЖЕЛАЯ ЦИФРОМАНИЯ

Еще недавно так называемая статистическая жадность привела к тому, что линейные конторы были до отказа завалены требованиями разных статистических сведений и успевали только кое-как состряпать аршинные ведомости.

Нечто аналогичное повторяется сейчас у нас в союзной работе. Месткомы, безусловно, болеют от изобилия требуемых отчетных сведений...

Из письма рабкора

Председатель месткома распечатал пакет, прочел бумагу и горько заплакал.

— Что случилось? — участливо заинтересовался секретарь, гладя председателя по голове.— Требуют, что ли?

— Требуют,— глухо прошептал председатель,— опять требуют, будь они трижды прокляты! Насчет спецодежды.

Секретарь задрожал, но быстро взял себя в руки и, мужественно прикусив губу, с деланной бодростью воскликнул:

— Ничего, Миша! Дадим сведения. Не подкачаем. Мужайся.

— Так ведь мы же еще до сих пор не дали сведений насчет спортивных состязаний, шахматных партий, лекций, увольнений, болезней, опозда...

— Ерунда! Не падай духом! Волоки сюда счеты. Будем считать. И ребята пусть все тоже считают. Эй, кто там! Казначей! Машинистка! Курьер! Живо! Да гоните сюда всех профуполномоченных. Сведения так сведения. Даешь! Одним духом все сведения дадим!

Считайте, черти! Нечего зря груши околачивать! Ну-с, Миша, что они там требуют?

Председатель заглянул в бумагу.

— Общее количество единиц спецодежды, полученной за истекшее полугодие. Характер единиц. Число мужских, женских и детских. Число годных. Число негодных. Число несоответствующих. Число соответствующих. Общее число пуговиц. Число черных пуговиц. Число белых пуговиц. Число белых пуго...

— Ладно! Довольно! Дальше сами знаем: число стираных, число нестираных, число валенок, число неваленок... Мы это все быстро! Валяйте, ребята!

Работа кипела.

— Пиши, Миша, записывай. Пятью пять двадцать пять, шестью двадцать пять — сто пятьдесят да плюс семнадцать,— итого сто шестьдесят семь валенок. Тэк-с! Теперь помножить на десять рукавиц, это получается одна тысяча шестьдесят семь. Валяй пиши: одна тысяча шестьдесят семь.

— Чего одна тысяча шестьдесят семь?

— Кажется, довольно ясно: валенко-рукавиц. Пиши. Теперь дальше. С левой ноги тридцать да с правой ноги тридцать девять... Гм... будет тридцать умножить на тридцать девять. Будет одна тысяча сто семьдесят. Пиши, Миша: одна тысяча сто семьдесят.

— Чего?

— Ясно, чего: право-левых валенков...

— Василий Иванович,— кричала из соседней комнаты машинистка Манечка,— сколько у нас за прошлый месяц было сыграно шахматных партий?

— Четыреста пятьдесят две!

— Мерси! Значит, четыреста пятьдесят две шахматные партии помножить на сто двадцать опозданий и разделить на восемнадцать пуговиц... Гм... Это будет... Скажем, для ровного счета тринадцать три четверти. Товарищ председатель, скорее записывайте: тринадцать три четверти,— а то я забуду.

— Чего это тринадцать три четверти? — хрипло спросил председатель.

— Тринадцать и три четверти шахматно-пуговице-опозданий!

— Ага.

— ...Итак, из двенадцати посетителей в день вычесть четыре пишущих машинки и помножить на сорок детских заболева...

— Василий Иваныч, у меня ум за разум заходит. Скажите, сколько это будет, если помножить на восемнадцать?

— Сто восемь! Не мешайте!

— Мерси! Товарищ председатель, пишите: сто восемь женщино-мужчин за первую половину третьей стадии туберкулеза.

— Валяй, Миша! Мужайся. Что у нас там осталось? Газеты, что ли? Есть такое дело. Триста номеров «Гудка» помножить на одного начальника станции и разделить на одну четверть телеграфисто-лекции...

Поздней ночью председатель месткома, взъерошенный, без фуражки, с блуждающими глазами, ворвался в собственную свою квартиру и, зловеще захохотав, закричал жене:

— Веро-мания! Дай мне четыре с половиной ноже-вилок и две тарело-бутылки щей! А также хлебо-газету. Хи-хи-хи!

На следующий день председателя месткома бережно везли в ближайший сумасшедший дом.

О ДОЛГОМ ЯЩИКЕ

Кто о чем, а я о ящике. И не о каком-нибудь, а именно о долгом.

Чем же, собственно, отличается долгий ящик от просто ящика? Попробую осветить этот вопрос.

Обыкновенный, честный, советский просто ящик состоит из четырех стенок, дна и покрышки.

Долгий ящик — наоборот. Хотя стенки у него изредка и имеются, но зато и покрышка у него абсолютно отсутствует. Поэтому про долгий ящик принято говорить тихо, скрипя зубами и сжимая кулаки:

— У-у-у, проклятый! Чтоб тебе ни дна, ни покрышки!

Ни на какую крупную роль, имеющую общественно-политическое значение, просто ящик не претендует и довольствуется незаметной, скромной, повседневной работой.

Что же касается долгого ящика, то — шалишь!

Долгий ящик другого сорта. Долгий ящик любит власть, славу, кипучую деятельность. Любит быть заваленным делами, проектами, сметами, изобретениями, жалобами.

Так и говорят потом со слезами на глазах:

— Ну, братцы, попало мое изобретение в долгий ящик! Пиши пропало!

Или весело:

— А жалоба-то, которую подал на меня негодяй Афанасьев, что я ему дал по морде, того... в долгий ящик... тю-тю... хе-хе...

Одним словом, у долгого ящика есть и враги и друзья. Смотря по обстоятельствам.

А уж ежели где какая волокита, бюрократизм, разгильдяйство или головотяпство, то будьте уверены, что долгий ящик тут первый человек.

И если бы управление какой-нибудь железной дороги пожелало бы соорудить в назидание какой-нибудь этакий шикарный памятник волоките и бюрократизму, то я предложил бы такой проект.

Письменный стол, покрытый сукном... тем самым сукном, про которое говорят: «А ты, Ваня, зря себе голову не ломай. Клади под сукно — и баста».

...На столе — справки, отношения, резолюции, входящие, исходящие... За столом два сонных чиновника, ковыряющихся в носах (фигуры, натурально, должны быть отлиты из крепкой меди). А у них на плечах возвышается, как некое завершение, красивый долгий ящик, снабженный стишками товарища Зубило.

Впрочем, не настаиваю. Итак, товарищи, о долгом ящике.

На днях в лавке ТПО на станции Подсолнечная Октябрьской обнаружен в высшей степени редкий экземпляр долгого ящика.

С первого взгляда никто бы и не заподозрил, что это именно долгий ящик.

Наоборот, такой симпатичный просто ящик. Четыре стены, дно и покрышка. В покрышке аккуратная щель для корреспонденции. А на стенке написано, чтоб не заподозрили, что это долгий ящик: «Ящик для жалоб и заявлений».

И что же вы думаете?

Этот тихий на вид ящичек при ближайшем рассмотрении оказался закоренелым, злостным долгим ящиком.

«Совершенно случайно 9 января,— пишет нам рабкор,— при ревизии лавки на ящик было обращено внимание, и из него извлекли заявление, опущенное туда... тридцатого декабря тысяча девятьсот двадцать четвертого года, то есть триста семьдесят пять дней тому назад».

Понимаете, какая скотина! Висел на стене целый год и в ус не дул.

Если бы не счастливая случайность, так бы до сих пор, негодяй, и молчал, что в нем лежит заявление.

Так бы и пролежало, может быть, в подлом ящике бедное заявление лет сорок-пятьдесят!

И, может быть, году этак в 1966-м какой-нибудь глубокий и дряхлый старик, член лавочно-наблюдательной комиссии, натолкнулся бы по старческой слепоте на этот ящик и заинтересовался им.

А интересно взглянуть: что находится в этом ящике?

И посыпались бы из вскрытого ящика на дряхлого члена лавочно-наблюдательной комиссии жалобы:

«Почему нету керосина?», «Даешь дешевый ситец!», «Приказчики кроют матом» и т. д.

И набросился бы рассвирепевший старик на заведующего лавкой:

— Почему керосина не держите?

— Керосина? — удивился бы заведующий.— Это какого керосина? Которым лет тридцать тому назад самоеды освещали свои жилища?

— При чем тут самоеды! Керосин подавайте!

— Керосин, товарищ, теперь у нас музейная редкость. Поезжайте в Москву. Там в Политехническом музее десять-пятнадцать граммов оставлено для обозрения... А нам керосин для чего? У нас, слава богу, от электрического освещения и отопления некуда деваться.

— А ситец почему дорогой?

— Да вы что, папаша, издеваетесь надо мной, что ли, при исполнении служебных обязанностей? Никакого ситцу и в помине нету. Зимой — сукно. Летом — шелк. Большой выбор и недорого.

— А зачем приказчики, того... кроют покупателей?

— Чем кроют?

— Известно чем. Матом.

— Не держим таких сортов.

— Как же не держите, если покупатели жалуются? Вот видите жалобы...

И взял тогда заведующий лавкой жалобы и воскликнул:

— Ба-тень-ка! Да ведь это не жалобы, а, можно сказать, исторические редкости. Поезжайте в Москву, большие деньги дадут, как за рукописи тысяча девятьсот двадцать четвертого, двадцать пятого, двадцать шестого и двадцать

седьмого годов. Начало двадцатого века. Эпоха-с! А вы говорите — керосин.

— Позвольте, да у нас сейчас какой год?

— Тысяча девятьсот шестьдесят шестой.

— Скажите пожалуйста, как быстро время летит! Когда я прилег давеча вздремнуть после обеда, был тысяча девятьсот двадцать шестой год, а проснулся — оказался уже тысяча шестьдесят шестой. Спасибо, что сказали. Проклятый долгий ящик! Пойду отдохну. Всхрапну часок.

Вот, дорогие товарищи, до чего может довести долгий ящик!

Это только один экземпляр.

А сколько их, этих долгих ящиков, висит по линии железных дорог?

Сколько их скрывается в письменных столах администраторов?

Сколько их в учкпрофсожах, месткомах, линейных конторах, и т. д., и т. д.? Уму непостижимо!

Ищите их, товарищи! Выводите их, негодяев, на свежую воду! Уничтожайте их! Превращайте их в честные, деловые, скромные, советские просто ящики!

БЕРЕМЕННЫЙ МУЖЧИНА

На дорожной конференции Северной делегатка Кулаева, выступив в прениях по докладу дорздравотдела, указала на случай в вологодском приемном покое, где вследствие перегруженности работой врач в больничном листе поставил рабочему диагноз — «беременна».

На линии врачам приходится обслуживать в сутки до 150 человек.

Из одной стенограммы

— Следующий! Что у вас такое?

— У меня, товарищ доктор, нога болит.

— Нога? Давайте ее сюда. Покажите. Тэк-с. Сайчас я ее смажу йодом. Готово. Можете идти.

— Товарищ доктор! У меня болит правая нога, а вы намазали левую.

— Ерунда! Следующий!

— Зубы...

— Сейчас! Открывайте рот. Которые? Где мои щипцы? Раз-раз — и никаких зубов!

— Ой батюшки! Да не то! Зубы, говорю, у моего Ваньки начинают резаться, так я...

— У Ваньки? Зубы? Давайте сюда Ваньку. Где мои щипцы? Которые зубы? Ну-ка, посмотрим. Очень странно: никаких зубов нету.

— Так они ж еще режутся.

— Режутся? А почему режутся? Как режутся?

— Режутся и режутся...

— Безобразие! Обратитесь в милицию, если режутся,— она расследует. А мне некогда. Следующий! Что у вас, гражданин?

— Не гражданин я, товарищ доктор, а гражданка.

— Все равно. На что жалуетесь?

— На тошноту жалуюсь. Опять же все время на солененькое тянет. Живот будто потяжелел.

— Живот, говорите? Примите касторки — всякий живот как рукой снимет, гражданин.

— Не гражданин я, а гражданка.

— Все равно. Дуйте касторку. Следующий. Что у вас, гражданка?

— Живот у меня... только я не гражданка, а гражданин.

— Это не важно. Который живот? Покажите! Где болит?

— Вот тут.

— Гм... Явная беременность... Через две недели придется, матушка, рожать.

— Так... я ж... не матушка... я мужчина...

— Ерунда! Не задерживайте. Все вы мужчины... Следующий!

— Товарищ доктор! Я извиняюсь, но все-таки это мне довольно-таки странно. Может, не беременность?

— Вот вам и странно. Сказал, что беременность,— значит, беременность. Нечего, нечего, матушка. Умела замуж выходить, умей и рожать.

— Так я ж... извините... холостой...

— Тем более. Надо было своевременно в загсе зарегистрироваться. А теперь пойдет волынка насчет алиментов. Следующий!

— Товарищ доктор! Как же это так: мужчина — и вдруг рожать! Нету таких пролетарских законов, чтоб трудящемуся мужчине средних лет полагалось рожать дитё! Не могу я с этим фактом помириться!

— Не задерживайте. Следующий!

— Что же мне теперь делать, несчастному? Чем же мне придется кормить моего малютку?

— Грудью кормить будете, известно чем. Следующий!

— Какая же у меня, извините, грудь? Так себе, одна видимость. Из нее не то что молока, даже чаю не выдоишь.

— Ладно, выдоишь. Некогда мне с вами возиться! Следующий!

— Так я же...

— Следующий! Нету у меня времени с вами, гражданка, возиться! Сто пятьдесят человек больных в приемной дожидаются. Не задерживайте! Приходите через две недельки рожать. До свидания. Сле-ду-ю-щий!

Шутки шутками, товарищи, но при такой нагрузке врачей нетрудно и до того докатиться, что весь мужской персонал на транспорте начнет рожать.

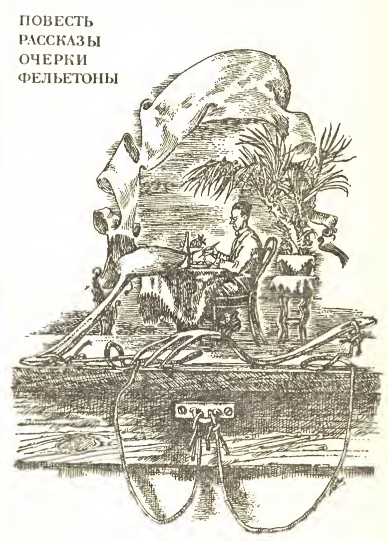
Тогда, чего доброго, всякое железнодорожное сообщение в республике прекратится.

Уж лучше бы какой-нибудь соответствующий мужчина раз навсегда родил мероприятие по разгрузке линейных врачей от непосильной работы...

Тогда бы всякую мужскую беременность как рукой сняло.

Илья ИЛЬФ
Евгений ПЕТРОВ

ПОВЕСТЬ
РАССКАЗЫ
ОЧЕРКИ
ФЕЛЬЕТОНЫ



СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ

Повесть

Глава I

«ВЕСНУЛИН» БАБСКОГО

Нет ни одного гадкого слова, которое не было бы дано человеку в качестве фамилии. Счастлив человек, получивший по наследству фамилию Баранов. Не обременены никакими тяготами и граждане с фамилиями Баранович и Барановский. Намного хуже чувствует себя Баранский. Уже в этой фамилии слышится какая-то насмешка. В школе Баранскому живется труднее, чем высокому и сильному Баранову, футболисту Барановскому и чистенькому коллекционеру марок Барановичу. И совсем скверно живется на свете гр. гр. Барану, Баранчику и Барашеку.

Власть фамилии над человеком иногда безгранична. Гражданин Баран если и спасется от скарлатины в детстве, то все равно проворуется и зрелые свои годы проведет в исправительно-трудовых домах. С фамилией Баранчик не сделаешь карьеры. Общеизвестен тов. Баранчик, пытавшийся побороть проклятие, наложенное на него фамилией, и с этой целью подавшийся было в марксисты. Баранчик стал балластом, выметенным впоследствии железной метлой. Братья Барашек и не думают отдаваться государст-

венной деятельности. Они сразу посвящают себя молочной торговле и бесславно тонут в волнах нэпа.

Герою нашего повествования досталась благонадежная, ручейковая фамилия — Филюрин. Он никогда не попадал в неудобные, смешные положения, в которых барахтаются Бараны, Баранчики и Барашеки. Солнце исправно освещало жизненный путь Егора Карловича Филюрина.

Пятнадцатого июля оно светило несколько сильнее обычного, потому что в этот день во всех учреждениях города Пищеслава выдавали полумесячное жалованье. Булыжные мостовые бросали зеркальный отсвет, перебегавший под карнизами немудреных пищеславских домов. Госпапиросник в полотняном переднике стоял на Тимирязевской площади в столбах солнечного света и жмурился на свой стеклянный ларек. На боку папиросника висел горчичного цвета фанерный ящичек с двумя надписями. Первая — прозаическая — была кратка: «Ящик для жалоб». Вторая была в стихах:

ОСТАНОВИТЕСЬ, ПОТРЕБИТЕЛИ!
ЖАЛОБУ НА ЭТОГО ПАПИРОСНИКА
ОПУСТИТЬ НЕ ХОТИТЕ ЛИ?

В Пищеславе чрезвычайно заботились о благополучии граждан.

Егор Карлович Филюрин торопливо подошел к зашевелившемуся папироснику, купил двадцать пять штук папирос «Дефект», вынул из кармана заранее заготовленную жалобу и опустил ее в горчичный ящик. Проделывал это Филюрин ежедневно, так как был человеком с общественной жилкой. Иногда он жаловался на жесткий вкус папирос «Дефект», иногда протестовал против мягкой упаковки или же обрушивался на антисанитарный передник продавца. Если придраться было не к чему, Филюрин опускал в ящик узенькую ленточку бумаги со словами: «Сегодня никаких недочетов не выявлено. Е. Филюрин».

Пыхнув папироской, Филюрин отошел от равнодушного продавца и, пересекая вымощенную квадратными плитами площадь, очутился в освежающей тени конной статуи Тимирязева.

Великий агроном и профессор ботаники скакал на чугунном коне, простерши вперед правую руку с зажатым в ней корнеплодом. Четырехугольная с кистью шапочка доктора

Оксфордского университета косо и лихо сидела на почетной голове ученого. Многопудовая мантия падала с плеч крупными складками. Конь, мощно стянутый поводьями, дирижировал занесенными в самое небо копытами.

Великий ученый, рыцарь мирного труда, сжимал круглые бока своего коня ногами, обутыми в гвардейские кавалерийские сапоги со шпорами, звездочки которых напоминали штампованную для супа морковь.

Удивительный монумент украшал город с прошлого года. Воздвигая его, пищеславцы подражали Москве. В стремлении добиться превосходства над столицей, поставившей у Никитских ворот пеший памятник Тимирязеву, город Пищеслав заказал скульптору Шацу конную статую. Весь город, а вместе с ним и скульптор Шац думали, что Тимирязев — герой гражданских фронтов в должности комбрига.

Шац на время забросил обязанности управдома, которые обычно исправлял ввиду затишья в художественной жизни города, и в четыре месяца отлил памятник. В первоначальном своем виде Тимирязев держал в руке кривую турецкую саблю. Только во время приема памятника комиссией выяснилось, что Тимирязев был человек партикулярный. Саблю заменили большой чугунной свеклой с длинным хвостом, но грозная улыбка воина осталась. Заменить ее более штатским или ученым выражением оказалось технически невыполнимым. Так великий агроном и скакал по бывшей Соборной площади, разрывая шпорами бока своего коня.

Филюрин вынул бархатную тряпицу, смахнул пыль с ботинок и присел на каменный цоколь отдохнуть. Он просидел недвижимо минут десять, мысленно распределяя жалованье. Из тридцати пяти рублей, полученных сейчас Егором Карловичем за полмесяца в отделе благоустройства Пищ-Ка-Ха, рублей шесть оторвала секта похитителей членских взносов. Кроме того, предстояло неприятное объяснение с квартирохозяйкой, мадам Безлюдной.

Стук колотушки, донесшийся из-за угла, прервал печальные вычисления. Стук разросся, к нему присоединились еще трещеточные звуки и словно бы грохот падающей мебели.

На площадь въехал изобретатель Бабский верхом на деревянном велосипеде. Над толстым еловым рулем трепетала пыльная борода, похожая на детские штанишки. Заметив Филюрина, изобретатель сделал крутой вираж, намереваясь остановиться, но инерция тяжелого аппарата

была так велика, что Бабскому пришлось с раскоряченными ногами описать два кольца вокруг статуи, пока велосипед не остановился.

— Скорее! — крикнул Бабский.

— Что скорее? — спросил Филюрин, недоумевающе моргнув светлыми ресницами.

Но было уже поздно. Остановившийся велосипед накренился и рухнул на плиты, потащив за собою седока. Бабский вытащил ногу из-под шпагатной передачи и раздраженно обратился к Филюрину:

— Просил же я вас подержать мой бицикл! Я — прошу убедиться — еще не выучился им как следует управлять! Нужно еще усовершенствовать тормоз и свободное колесо.

Вдвоем они подняли велосипед, оказавшийся очень тяжелым, и прислонили его к одному из четырех фикусов, стоявших по углам цоколя.

Бабский обеими руками раздвинул свою бороду и захохотал. Ударяя ладонью по велосипеду, он убеждал Филюрина:

— Дешевка! Материалу идет на восемь рублей! Прошу убедиться — одно дерево! Сейчас еду за патентом. Бицикл Бабского! Каково?

— Из этого нужно сделать соответствующие оргвыводы! — восхищенно сказал Филюрин.

— Какие выводы?

— Выпить.

— Это всегда можно. Дайте только патент получить.

— Изобретатель должен угощать,— сказал Филюрин с убеждением.

На фоне идущего к закату солнца фигура Бабского рисовалась грязно-оранжевой глыбой. Это был рослый старик с жирными плечами и бородой, полной пороху и мусора. Утверждали, что из его бороды однажды выскочила мышка.

В каждом городе есть свой сумасшедший, которого жалеют и любят. Им даже немножко гордятся. Городской сумасшедший быстро проходит по бульвару, громко и косноязычно выкрикивая слова. Он с размаху открывает дверь кондитерской, но не успевает еще дойти до прилавка, как навстречу ему улыбающийся хозяин выносит на тарелочке миндальное пирожное. Сумасшедший хватает пирожное и, крича, убегает. Его преследуют дети. Но взрослые относятся к городскому сумасшедшему с почтением. Они привыкли к нему. Он стал для них достопримечательностью,

наравне с городским театром и деревянной торцовой мостовой на главной улице.

Есть в каждом городе и свой изобретатель. Его тоже жалеют, но не любят, а побаиваются. Мало ли что может вдруг сочинить городской изобретатель!

Бабский был одновременно городским сумасшедшим и городским изобретателем. Целыми днями он бродил по пищеславским учреждениям, предлагая изобретения и усовершенствования всякого рода. А ночью он работал в своей маленькой комнате, пыльное окно которой смотрело на Косвенную улицу. То слышалось оттуда гудение паяльной лампы, то взвывала автомобильная сирена.

Бабский не брезговал ничем. Окончив опыты над автомобильной сиреной, он изобретал вакцину, которая при впрыскивании в голенища делала сапоги огнеупорными! Провалившись на вакцине, Бабский в течение суток ломал голову над тем, как бы приурочить раскаты грома к двухлетнему юбилею работы местного госцирка. Провалившись на громовых концертах, неутомимый изобретатель произвел на свет «перпетуум мобиле», сделанное из двухрублевых ходиков и мятого самовара, емкостью в полтора ведра. Но и «перпетуум мобиле» не вышло. Тогда Бабский сварил опытный кусок мыла против веснушек. Он уже вышел на улицу, чтобы отнести мыло на пробу в аптечный подотдел, как его осенила мысль о постройке деревянного велосипеда. Изобретатель работал три дня, и из его рук вышел «бицикл Бабского». Все это время мыло лежало в левом кармане брюк, нагревалось и, никому не видимое, меняло свой яичный цвет на голубой.

— Скажите, Бабский,— спросил Филюрин, помогая изобретателю взобраться на кадку с фикусом,— изобретать — это трудно?

Бабский тяжело перелез с кадки на камышовое седло велосипеда и, кряхтя, ответил:

— Простейшее дело.

Раздался гром. Деревянная машина, вздрагивая, покатилась по площади.

— Что это дает в месяц? — крикнул Филюрин вдогонку.

— Рублей шестьдеся-а-а-ат! — донеслось сквозь грохот.

Бицикл Бабского исчез в ослепляющей печи заката.

Филюрин хотел было продолжить путь к дому и сделал уже несколько шагов, когда под его ногами загремела метал-

лическая коробочка. Филюрин поднял ее и повертел в руках. Коробочка была от зубного порошка, но внутри ее оказался кусок нежно-голубого мыла.

«Не иначе как Бабский выронил,— подумал Филюрин.— Интересно, сколько такое мыло может стоить?»

В неслужебное время мысль Филюрина работала довольно вяло. Всегда почему-то на ум ему взбредали одни и те же вопросы: сколько тот или иной предмет стоит, на сколько дешевле он продается за границей и как много зарабатывает собеседник. Только с барышнями он несколько оживлялся и вел беседы на волнующие темы — любовь и ревность. Но и с барышнями разговор ладился только до наступления сумерек, когда совместное сидение сводилось к лирическому молчанию.

Голубое мыло навело Филюрина на мысль о бане. Вечером предстояла дружеская вечеринка с танцами и оргвыводами, т. е. пивом и водкой.

Филюрин покинул площадь и двинулся в Дворянские бани. По дороге он зашел домой, захватил полотенце и люфовую рукавицу.

В Пищеславе средняя цена отдающейся внаем комнаты была восемь-десять рублей. Мадам Безлюдной Филюрин платил только четыре, так как мадам училась пению и ее фиоритуры сильно понижали стоимость комнаты. И сейчас мадам Безлюдная, оскалив золотые зубы, ревела в таком забвении, что Филюрину удалось проскочить через коридор, избежав объяснений по поводу квартплаты.

Филюрин давно не платил за квартиру. Он собирал деньги на костюм.

Он выбежал на улицу, радуясь тому, что уберег от золотозубой хозяйки четыре рубля, что сейчас он сможет опустить в банный ящик для жалоб какое-либо дельное заявление и, сбросив с себя двухнедельную грязь, отправиться на вечеринку, где его ждет беспримерное веселье в обществе сослуживцев из отдела благоустройства.

Последний широкий луч солнца лег на бритый затылок Филюрина.

Десятки тысяч людей с бритыми затылками и с такими же, как у Филюрина, чистенькими лицами и серенькими глазами влачат обыденную жизнь, исправно ходят в баню, исправно платят членские взносы в профсоюз и не посещают общих собраний, добросовестно веселятся в обществе сослуживцев и ставят себе за правило не платить

за квартиру; но не их избрала судьба, не им позволила история выдвинуться для дел больших и чудесных.

Дивный и закономерный раскинулся над страною служебный небосклон. Мириады мерцающих отделов звездным кушаком протянулись от края до края, и еще большие мириады подотделов, сияющие электрической пылью, легли, как Млечный Путь. Финансовые туманности молочно светят и приманчиво мигают, привлекая к себе уповающие взоры. Хвостатыми кометами проносятся по небу комиссии. И тревожными августовскими ночами падают звезды — очевидно, сокращенные по штату. Иные из них, падающие метеоры, не успев сгореть и обратиться в пар, достигают суетной земли и шлепаются прямо на скамью подсудимых. Есть и блуждающие в командировках звезды. Притягиваемые то одной, то другой звездной организацией, они носятся по небосклону, пока не погибают в хвосте какой-нибудь кометы с контрольными функциями.

Велико звездное небо отечественного аппарата и обширен выбор светил. Но для великих преобразований в городе Пищеславе судьба выбрала самую маленькую и неяркую звездочку, свет которой еще не дошел до земли. Выбрала она Егора Карловича Филюрина — мандолиниста и неплательщика в жизни, а по службе скромного регистратора Пищ-Ка-Ха.

Войдя в баню, Филюрин еще не знал, что выйдет оттуда великим. Поэтому, выбрав угловой диванчик, Егор Карлович стал медленно раздеваться. Он распустил матерчатый поясок своей полутолстовки, снял вечный визиточный галстук с металлической машинкой, сорочку с пикейной рубчатой грудью и брюки, бренчавшие, как сбруя (Филюрин носил в карманах множество мелких железных кружочков, которые опускал в автоматы вместо гривенников).

Раздевшись догола, Филюрин долго поглаживал плечи и бока, остывая и с пренебрежением поглядывая на других голых. Знакомых в бане не было. Перекинув через плечо полотенце, Филюрин взял голубое мыло Бабского и вошел в мыльную.

В это время Бабский, подав заявление о патенте и торопливо объяснив собравшейся у входа в ГСНХ толпе преимущества елового бицикла перед металлическим, с шумом выкатил на проспект имени Лошади Пржевальского.

В этот сумеречный час между двумя рядами пепельных от пыли лип уже гуляли пищеславцы. Привыкшие к причу-

дам городского изобретателя граждане провожали бицикл равнодушными взглядами.

Поворачивая на площадь, Бабский наехал на человека в белой косоворотке. Потерпевший покачнулся.

— А! Это вы, товарищ Лялин! — примирительно сказал Бабский.— Я как раз хотел сегодня заехать к вам в аптечный подотдел.

— Опять изобрели что-нибудь? — проворчал товарищ Лялин, массируя ушибленное бедро.

— Изобрел, изобрел! Мыло от веснушек. «Веснулин» Бабского! Сейчас покажу. Весь город ахнет, прошу убедиться. Подержите бицикл.

Освободив руки, изобретатель стал рыться в карманах, ища «веснулин». Но ни в одном из всех четырнадцати карманов пиджачной тройки он не нашел металлической коробочки с мылом.

— Так вы мне завтра в подотдел занесите,— нетерпеливо сказал Лялин,— там и подработаем вопрос.

— Позвольте, позвольте, куда же оно могло деться,— суетился Бабский,— позвольте, где же я был? Наверное, в губсовнархозе оставил. Подождите здесь! Я сейчас приеду!

И Бабский, оттолкнувшись ногой от заведующего аптечным подотделом, покатил обратно по проспекту им. Лошади Пржевальского.

Пока Бабский ломился в закрытые двери ГСНХ, а потом, опечаленный потерей «веснулина», колесил по всему городу, наполняя его погремушечным стуком, Филюрин мылся.

Он окатился горячей водой из шайки, которой пришлось дожидаться довольно долго, зажмурил глаза и густо намылился. «Веснулин» Бабского издавал беспокойный скипидарный запах.

«Медицинское мыло,— с удовольствием подумал Филюрин, не раскрывая глаз и клекоча от наслаждения,— наверно, не меньше сорока копеек стоит».

Филюрин чувствовал, как тело его становится легким. От этого было приятно, и в голове происходил маленький сумбур. Мыслилось что-то такое очень хорошее, что-то вроде кругосветного путешествия за полтинник. И казалось Филюрину, что он исчезает и растворяется в банном тепле.

И, странное дело, милицейскому надзирателю Адамову, мывшемуся неподалеку и только что намылившему голову семейным мылом, показалось, что голова знакомого ему по участковым делам Филюрина исчезла и моется одно только туловище.

Адамов стал быстро промывать залепленные пеной глаза, а когда промыл, в углу, где только что стоял Филюрин, никого не было. Только вились смутные локоночки пара да раскатывалась по наклонному полу тяжелая шайка.

Милиционер Адамов был так удивлен происшедшим, что ему захотелось вытащить свисток и созвать на помощь дворников. Но свисток вместе со всей форменной упряжью остался в предбаннике. К тому же к освободившейся шайке уже подползали голые. Адамов, недолго думая, первым схватил шайку и предался дальнейшим банным удовольствиям. О Филюрине он сейчас же забыл.

Между тем Филюрин с закрытыми еще глазами подошел к крану и, зачерпнув в ладони холодной воды, умыл лицо. То, что он увидел, или, вернее, то, чего он уже не видел (а не увидел он многого: ни своих рук, ни ног, ни живота, ни плеч), ошеломило его. В страхе он побежал под душ. Он почувствовал, как под теплым дождиком слетело с него мыло, но тело продолжало отсутствовать.

Необыкновенный испуг вытолкнул Филюрина в предбанник. Филюрин подскочил к зеркалу. Себя он не увидел. Его не было. Он не отражался в зеркале, а между тем он стоял против зеркала и даже притронулся к нему рукой.

Но подумать о своем отчаянном положении Филюрин не успел. В зеркальном поле отразились две подозрительные фигуры. Они вошли в предбанник из передней и, увидев, что здесь никого нет, захватили ближайшую к ним стопку одежды и проворно выбежали.

— Стой! — закричал Филюрин, услышав знакомый звон своих брюк.

Голос его был прежний, филюринский.

В гневе он погнался за похитителями. Воры неслись к темным переулкам Нового города. За ними во весь дух бежал невидимый регистратор.

Произошло темное и удивительное событие. Двадцатишестилетний молодой человек, исправный служащий, отличавшийся завидным здоровьем, одновременно потерял все, что у него было: полутолстовку, визиточный галстук и тело. Осталось только то, в чем Филюрин до сих пор совершенно не нуждался. Осталась душа.

А город, еще ничего не подозревавший, жил обычной жизнью. В ночной тиши раздавались резкие звуки увертюры к опере «Кармен», исполняемой в клубе водников великорусским оркестром на семнадцати домрах.

Глава II

«ВОЛЕНС-НЕВОЛЕНС»

До самого рассвета невидимый регистратор блуждал по переулкам, настолько отдаленным от центра, что их даже к 1928 году не успели переименовать. Воров он не настиг, да и погоня за гардеробом была уже бесцельной. Пробежав километров шесть, Филюрин сообразил, что призраку одежда не нужна. Однако впереди было худшее — в девять часов предстояло прибыть на службу.

Следствием этого явилось решение немедленно отправиться к Бабскому и требовать возвращения тела еще до начала занятий в отделе благоустройства.

Через двадцать минут изобретатель Бабский проснулся от холода. Окно было раскрыто, и утренний ветер сгонял в угол комнаты деревянные стружки, завившиеся колечками.

— Товарищ Бабский! — услышал изобретатель.— Товарищ Бабский!

Бабский выпрыгнул из постели и подбежал к окну. Улица была пуста и чиста. Холодная оловянная роса поблескивала на деревьях.

— Хулиганы! — крикнул изобретатель, захлопывая окно.— Удивительное хулиганство!

— Товарищ Бабский! — услышал он за собой,— дело в том, что я был в бане...

Бабский сел на избрызганный подоконник и изумленно оглядел комнату. В комнате никого не было.

— Кто был в бане? — тихо спросил он.

— Я,— ответил стул.

Тогда Бабский поднялся, на пуантах подкрался к стулу и, насторожив слух, с крайним любопытством спросил:

— Вы были в бане?

Но стул не ответил. За спиной изобретателя послышался застенчивый кашель и тот же голос с мольбой произнес:

— Я с этой стороны, товарищ Бабский. Дело в том, что меня не видно.

— Кого не видно? — раздраженно спросил Бабский.

— Меня, Филюрина.

— Позвольте, почему же вас не видно?

— Дело в том, что я был в бане, а теперь мне нужно к девяти часам прийти на службу, а меня не видно.

По мере того как Филюрин вяло и нерешительно выбалтывал подробности своего исчезновения, лицо изобретателя все светлело и оживлялось.

— Так вы говорите, намылились? — спросил изобретатель, дергая себя за бороду.— С научной стороны это весьма интересно!

— Вы же поймите,— убеждал Филюрин,— из-за вашего мыла я теперь не могу пойти на службу.

— А я тут при чем? Вы взяли мой «веснулин» без спроса, но черт с вами. Мне не жалко. Но ведь мыло действовало правильно? Веснушки исчезли?

— Веснушки исчезли,— искательно сказал невидимый,— но ведь и я тоже исчез, товарищ Бабский. Войдите также и в мое положение.

В комнате раздалось жалкое стенание.

— Черт его знает,— задумчиво произнес изобретатель,— я изобрел только мыло от веснушек...

— Скажите, может быть, вы можете сделать так, чтобы я опять сделался видимым?

— Так-с,— заметил Бабский,— надо подумать. Вы где сейчас, молодой человек? Если на стуле, то я сяду на кровать, а то вас раздавить недолго.

— Я стою.

— Ага. Ну, стойте. А я подумаю.

В течение получаса в комнате слышались только громкие междометия, которые пропускал сквозь бороду изобретатель.

— Уже без четверти семь,— канючил невидимый.— Не говоря о том, что я всю ночь не спал, я из-за вашего мыла еще опоздаю на службу.

Бабский встал, вытряхнул свою бороду обеими руками, как вытряхивают носильное платье, и решительно сказал:

— Не морочьте мне голову! Я с вами еще буду судиться за то, что вы стащили мое мыло. Я не могу в полчаса сделать такое серьезное изобретение, как возвращение человеческого тела. Я, может быть, и за пять лет не успею этого сделать.

Как видно, Филюрин пришел в сильнейшее волнение, потому что упал стул и с верстака посыпались чурки — запасные части к бициклу.

— Пошел вон! — завопил Бабский.— Хулиган! Ну, вон отсюда!

Окно само собою распахнулось, и уже с улицы донесся нудный голос невидимого:

— Я на вас в суд подам!

— Я тебе подам! Украл мыло и еще пристает!

— Вы не имеете права,— хорохорилась пустынная улица,— ответите, как за убийство!

— Ворюга! — дразнил городской сумасшедший, свесившись из окна.— Так тебе и надо!

Окно с треском захлопнулось. Бабский минут десять ходил по комнате успокаиваясь. Потом, придя к заключению, что «веснулин» приобрел свои удивительные свойства под влиянием брожения в железной коробочке, изобретатель зажег примус и немедленно же стал варить второй кусок «веснулина», восстанавливая по памяти его основные ингредиенты.

Потосковав у окна, прозрачный регистратор двинулся по Косвенной улице.

Город уже проснулся. Проехала клетка с наловленными за утро бродячими псами. Почуяв запах невидимого, население клетки залаяло и завизжало.

Час совслужащих приближался, а Егор Карлович все еще не знал, что предпринять. На Тимирязевской площади уже стоял знакомый госпапиросник. Так же, как и вчера, блистал его стеклянный ларек, и жалобный ящик по-прежнему манил к себе усталого путника. Но все это было не для Филюрина.

Внезапно и скоропалительно переменилась вся жизнь регистратора, даже не переменилась, а, вернее, прекратилась. От него ушли: еда, питье, табак, любовь, движение по службе, возможность восхитить кого-нибудь своим нарядом или телом. Оставалось только одно — возможность мыслить. Но этим делом Филюрин никогда не занимался.

В страхе и удивлении очутился Филюрин перед большим, прибитым к двум столбам железным плакатом. На плакате был изображен бегущий человек в такой же точно полутолстовке, какая еще вчера была на Егоре Карловиче. Он устремился вперед, держа в протянутой руке белый червонец. Под картинкой была ликующая надпись:

КТО — КУДА, А Я — В СБЕРКАССУ!

«А я куда? — горько подумал невидимый.— Куда я?»

Полный отчаяния, Егор Карлович бросился домой. Он подошел к окну своей квартиры и заглянул внутрь. Мадам Безлюдная сидела за пианино, тяжело роняя пухлые руки на клавиши. Из открытого рта безостановочно лился благовест. Златозубая мадам упражнялась в звуке «и».

— А я куда? — прошептал Филюрин.— Не идти же на службу в таком виде?

А между тем уже все шло и ехало на службу. Проехал в автомобиле заведующий отделом благоустройства Каин Александрович Доброгласов с сыновьями: Афанасием Каиновичем, работающим в отделе лиственных насаждений, и Павлом Каиновичем — из отдела сборов.

— Пойду,— решил Филюрин наконец,— ведь я же ни в чем не виноват! Я им все объясню. Пусть на комиссию пошлют. Пожалуйста!

Отдел благоустройства Пищ-Ка-Ха занимал пять комнат в двухэтажном особняке на Тысячной улице. В каждой комнате был большой камин, отделанный в мрамор. Так как каминов не топили, то в них содержались дела в папках, перевязанных шпагатом, и в раздувшихся скоросшивателях.

К тому времени, когда Каин Александрович прибыл в вверенный ему отдел, все сотрудники были уже в сборе, и только стол регистрации земельных участков пустовал. Каин Александрович критическим взором окинул стол регистрации, потом взглянул на шестигранные стенные часы, сверил их со своими мозеровскими, затем сказал:

— Что, Филюрин болен?

Евсей Львович Иоаннопольский, делавший записи в главной книге и находившийся в эту минуту ближе всех к начальнику, заметил, что о болезни Филюрина как будто никаких сведений не имеется.

— Не знаю,— сказал Каин Александрович без всякого выражения,— за ним эти шутки не первый раз. Кажется, воленс-неволенс, а я его уволенс.

Последние слова Доброгласов произнес с особенным вкусом.

Выражение это он услышал в 1923 году, когда Пищеслав посетило лицо, облеченное полномочиями по части садового благоустройства. И самое-то это выражение — «воленс-неволенс, а я вас уволенс» — было сказано ему, Каину Александровичу, за обнаруженные упущения. После этого Доброгласов уверился, что лицо, посетившее город, есть лицо весьма важное и, возможно, даже историческое.

Когда гроза пронеслась, Каин Александрович решил увековечить момент пребывания гостя. Трамвайный вагон № 2, в котором посетитель проехался по городу, был снят с линии и помещен в музей благоустройства с мемориальной дощечкой: «В этом вагоне сентября 28 дня 1923 года тов. Обмишурин отбыл на вокзал». После этого историческо-

го эксцесса в городе Пищеславе циркулировали только два трамвайных вагона, потому что всего их было три. Пищеславцы с ужасом думали о том, что Обмишурин еще раз может приехать с ревизией и тогда трамвайное движение прекратится навсегда.

Каин Александрович давно уже сидел в своем кабинете и макал перо в сторублевую бронзовую чернильницу «Лицом к деревне» (бревенчатая избушка с раскрывающейся дверцей и надписью, сделанной славянской вязью: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»), а Иоаннопольский никак не мог избавиться от гнетущего чувства.

Положение Иоаннопольского в отделе было шатким. Его могли выкинуть в любую минуту, хотя он служил верой и правдой уже восьмой год. Происходило это вследствие маниакальной идеи, засевшей в голове Каина Александровича. Два года тому назад в Пищеславе прошумел показательный процесс проворовавшегося управделами ПУМа Иванопольского. С тех пор Доброгласов остановился на мысли, что Иванопольский и Иоаннопольский одно и то же лицо. При очередном сокращении штатов Каин Александрович неизменно требовал увольнения Иоаннопольского, подкрепляя свое требование криками:

— Зачем нам управделами ПУМа?

Как ни уверяли Доброгласова, что Иоаннопольский, Евсей Львович, ничего общего с Иванопольским, Петром Каллистратовичем, не имеет, что, в то время как Петр Каллистратович сидел на скамье подсудимых, Евсей Львович аккуратно являлся на службу в девять часов утра и что Иванопольский наконец приговорен к десяти годам и работает в канцелярии допра,— это действовало только временно.

При следующем сокращении Каин Александрович подымался и с упреком спрашивал:

— Зачем нам Иванопольский? Зачем у нас служит управделами ПУМа? Его надо сократить в первую голову.

Доброгласову снова доказывали, какая пропасть отделяет заслуженного бухгалтера Иоаннопольского от известного всему городу жулика Иванопольского, но Каин Александрович смотрел на объяснявшего белыми эмалированными глазами и говорил:

— Вы кончили, товарищ? Ну, а теперь вы мне скажите, зачем нам, я вас спрашиваю, управделами ПУМа? Зачем? Воленс-неволенс, а я его уволенс.

По всем этим причинам Евсей Львович не любил никаких волнений в отделе.

Впрочем, никто в отделе не любил волнений: ни Лидия Федоровна, немолодая девушка со считанными волосами кудрявой прически, ни самый молодой из служащих отдела — Костя, ни товарищ Пташников, пищеславский знахарь, числящийся в ведомости личного состава инструктором-обследователем.

Подобные Пташникову служащие водятся в каждом городе и даже в каждом учреждении. Это обычно недоучившиеся медики или родственники врачей, а то и просто любители поговорить на медицинские темы.

К ним-то и обращаются за советом служащие, глубоко убежденные в том, что врачи страхкассы лечат неправильно, не учитывая новейших достижений научной мысли. Общение же с частными врачами невозможно, так как частные врачи, по мнению служащих, спекулянты, и связываться с ними не стоит. Полным доверием пользуются только профессора, но посещать их мешает бедность.

И все обращаются к собственному медику. Советы он дает охотно, денег за это не берет и, сияя отраженным светом родственного или знакомого ему медицинского светила, отличается универсальностью в познаниях.

Пташников, сидевший за своим тонконогим столиком рядом со столиком Филюрина, был прекрасным, знающим и совершенно бескорыстным учрежденческим знахарем-колдуном. Особое уважение он внушал себе тем, что был двоюродным племянником известного в Ленинграде терапевта.

Как только Каин Александрович затих в своем кабинете, к Пташникову подошел еще не успокоившийся Евсей Львович.

— Ну, что? — спросил Пташников, останавливая бег своего пера и обратив к Иоаннопольскому круглое лицо.— Как адреналин?

— Впускал, как вы говорили. С носом у меня теперь все благополучно, но, знаете что, Пташников...

Выслушав Иоаннопольского и рассмотрев мешки под его глазами, Пташников сказал:

— Лучше всего, конечно, обратиться к профессору. К Невструеву, например.

— А все-таки? — настаивал Евсей Львович.

— Не знаю. Мне кажется, что у вас отравление уриной.

На щеках Евсея Львовича проступил клубничный румянец.

— Неужели уриной?

— Видите ли, лучше всего вам все-таки обратиться к Невструеву. Может быть, это нервное.

— Тут станешь нервным,— заметил Иоаннопольский, поглядывая на дверь.— Что же вы все-таки думаете?

— Я думаю, что это все-таки отравление. Посоветуйтесь с Невструевым или, знаете что, сделайте сначала анализ. Может быть, у вас белочек.

Совершенно подавленный Евсей Львович отошел к своей конторке и, взобравшись на винтовой полированный табурет, стал разносить статьи по счетам главной книги.

— Что же с Филюриным? — спросили из угла.— Нужно кому-нибудь сесть на регистрацию. Там человека три уже ждет.

И действительно, у барьера, против стола Филюрина, стояло несколько человек, недовольно посматривая по сторонам.

— Алколоиды,— сказал Пташников, усмехаясь,— просто выпил лишнее.

— Ничего подобного! — отозвался Костя.— Мы его вчера весь вечер ждали. Компания подобралась. Но он не пришел. Всю вечеринку нам сорвал. Мы хотели под мандолину танцевать.

Если бы Костя знал, во что превратился тот, кто еще до вчерашнего дня так ловко бряцал овальным медиатором, прижимая к животу круглый полосатый зад мандолины! Как далек был теперь от Филюрина вальс «Осенний сон», который он с великим трудом разучил по цифровой системе.

— Кстати, Пташников,— сказал Костя с тревогой,— я слепну.

— Да ну вас! — ответил инструктор-обследователь.— Вечно вы выдумываете какие-то болезни!

— Да, ей-богу, я слепну. Уже три дня, как у меня в глазах плавают разноцветные мушки.

— Ладно, дайте пульс,— на всякий случай сказал Пташников.— Что ж, пульс нормальный, хорошего наполнения. Ничего вы не слепнете. Пойдите лучше к Доброгласову и спросите, кого посадить на место Филюрина, а то люди ждут.

В это самое время невидимый регистратор, прозрачная сущность которого дрожала от страха, подымался по чугунной лестнице Пищ-Ка-Ха.

«Что скажет Каин Александрович?» — тоскливо думал невидимый.

Глава III

«КТО — КУДА, А Я — В СБЕРКАССУ!»

Приход невидимого на службу вызвал в отделе благоустройства необыкновенный переполох. Первое время ничего нельзя было разобрать. В общем шуме выделялся полнозвучный голос Каина Александровича и дрожащий тенорок Филюрина.

— Этого не может быть! — кричал Доброгласов.

— Ей-богу! — защищался Филюрин.— Спросите Бабского!

Служащие бегали из комнаты в комнату с раскрасневшимися лицами и на все расспросы посетителей отвечали:

— Ну, чего вы лезете? Разве вы не видите, что делается? Приходите завтра.

Все приостановилось. Справок не давали, касса не работала, и в задней комнате потухал брошенный курьерами кипятильник «Титан». Было не до чаю.

— Это бюрократизм! — кричали ничего не понимавшие клиенты отдела благоустройства.

Впрочем, никто ничего не понимал.

У кабинета Доброгласова плотной кучей столпились служащие. В арьергарде топтался боязливый Иоаннопольский, беспрерывно шепча:

— Что? Что он сказал? Что Филюрин сказал? А Каин? Что Каин ответил? С ума можно сойти. Что? Абсолютно не видно? Стул перевернул? А что Каин ему? Подумать только! Этого нигде в мире нету!

— Ну, нету! В Америке, наверное, есть и не такие!

— Как вам не стыдно это говорить. При чем тут Америка!

— Не мешайте! — шептал Евсей Львович.— Тише! Что он сказал? А Каин? Вы знаете, Каин не прав. Нельзя же так кричать на невинного человека. Впрочем, при его вспыльчивом характере...

В это время Каин Александрович наседал на растерявшегося невидимого.

— В конце концов, это не дело администрации, а дело месткома.

Робкий голос Филюрина стлался по самому полу. Может быть, он стоял на коленях.

— Я только об одном прошу — чтобы мое дело разобрали!

— Можно разбирать только дело живого человека! А вы где?

— Я здесь.

— Это бездоказательно! Я вас не вижу. Следовательно, к работе я вас допустить не могу. Обратитесь в страхкассу.

— Но ведь я же здоровый человек.

— Тем более. Воленс-неволенс, а я вас уволенс.

Сотрудники переглянулись.

— Самодур,— прошептал Иоаннопольский.— Без согласования с месткомом!

— Да, да, Филюрин,— продолжал Каин Александрович,— хватит с меня управделами ПУМа. Еще и невидимого держать. Берите бюллетень и идите. Идите, идите! Вы же видите, что я занят!

— Меня убили! — закричал невидимый.— У меня украли тело!

— Раз вас убили, страхкасса обязана выдать вам на погребение!

— Какое может быть погребение живого человека!

— Это парадокс, товарищ,— ответил Каин Александрович.— В отделе благоустройства не место заниматься парадоксами, а место заниматься текущей работой. Как решит РКК, так и будет. Вы ушли?

Ответа не было. Испугавшись слова «парадокс», Филюрин покинул кабинет и очутился среди сотрудников.

Сотрудники сначала рассыпались в стороны, крича изо всей силы: «Где вы, где вы?»

— Здесь, у арифмометра. Вот я поднял пресс-папье, а Каин говорит, что я не существую.

После пугливых расспросов и столь же пугливых ответов невидимого, служащие уяснили, что Филюрин в еде не нуждается, холода не испытывает, хотя и исчез, будучи голым, что тело свое ощущает, но, как видно, его все-таки нет, и чем он только поднял пресс-папье, он и сам не знает.

— Прямо анекдот! — повторял невидимый.

Но событие было настолько поразительным, что общей темы для разговора не нашлось. Стало скучновато.

— Ну, что новенького в отделе? — спросил Прозрачный, хотя за последний год единственной новостью было его собственное исчезновение.

— Ничего,— ответил Иоаннопольский,— говорят, новая тарифная сетка будет.

— Три года говорят,— послышался из-за арифмометра безнадежный ответ невидимого.

— Да.

— Вы знаете, меня еще и обокрали! Ей-богу! Все чисто украли.

— А вы заявили в милицию?

— Да зачем заявлять? Ведь мне-то уже не нужно! — с горечью произнес голос регистратора.

— Это вы напрасно, Егор Карлович. Если все так будут относиться, то какой бандитизм разовьется!

Филюрин осмотрелся. Все было прежнее, давно известное, еще вчера надоедавшее, а сегодня бесконечно милое и невозвратимое,— счеты с костяшками пальмового дерева, черный дыропробиватель, линейки с острыми латунными ребрами и толстая чудесная книга регистраций.

— Как же все это произошло? — спросил Евсей Львович.— Расскажите подробно.

Филюрин повторил все, что он рассказывал уже Доброгласову. И так как сотрудники все это слышали, стоя у дверей кабинета, рассказ показался им не таким уже удивительным.

— Бывает, бывает,— сказал инкассатор,— на свете, пусть люди как ни говорят, но есть много непонятного. Моя бабушка перед смертью три гроба видела.

— Это бабьи разговоры! — сказал невидимый.

— Нет, нет,— закричал инкассатор.— Это не пустяк.

Наперерыв стали рассказывать всякие таинственные истории: о гробах, призраках и путешествующих мертвецах.

— Выходит, что и я призрак,— усмехнулся Филюрин. Но его не услышали.

Инкассатор рассказывал историю загадочного появления покойного дяди одного своего приятеля.

— ...Они открывают окно, а за окном никого нет. Между тем все ясно слышали, что кто-то постучал. Сам я этого не видел, но приятель видел собственными глазами.

Между тем Лидия Федоровна давно уже с опасением поглядывала на двери кабинета Доброгласова, подобралась к арифмометру.

— Вы еще здесь, Егор Карлович? — спросила она.

— Здесь.

— Простите, пожалуйста, мне к арифмометру нужно. Пардон!

Оттеснив невидимого, Лидия Федоровна деловито завертела ручку. Арифмометр заскрежетал. Евсей Львович сел за главную книгу. Потянулись за свои столы и все остальные. О невидимом начинали забывать.

— Скажите,— обратился Филюрин к инкассатору,— вы давно купили эту сорочку? Хорошая сорочка. Сколько вы за нее дали?

Ответа невидимый не получил, так как инкассатор умчался по своим делам.

— Егор Карлович? — спросил Пташников.— Я вам, кстати, хотел посоветовать обратиться к Невструеву. Вполне знающий терапевт.

— Зачем же обращаться? — тупо спросил Филюрин.

— Может быть, это у вас на нервной почве? Вам, наверно, нужна электризация. Токи Дарсонваля. Замечательная вещь. Или знаете что, попробуйте водолечение. Температуру не меряли?

— Где там мерять! — сказал Филюрин грустно.— Пойду я в местком.

В маленькой комнате месткома, главным украшением которой являлся щит с прикрепленными к нему частями винтовки и надписью: «Умей стрелять метко», сидели любопытные из всех отделов Пиц-Ка-Ха.

— Меня не имеют права уволить! — раздался голос Филюрина.— Я трудоспособности не потерял!..

Присутствующие загомонили. Самолюбие невидимого временно было удовлетворено. Здесь его история принималась к сердцу чрезвычайно близко. Здесь он еще мог удивлять. Он приподымал чернильницу, показывая, где он находится, объясняя детали нового своего быта, и уже с некоторым опытом рассказал, что тело свое он ощущает, но, как видно, тела все-таки нет, и чем он, Филюрин, поднял только что чернильницу, он и сам не знает.

— Кроме того, меня обокрали,— закончил невидимый свой удивительный рассказ.— Ей-богу! Все начисто уперли.

— Так вы подайте в кассу взаимопомощи,— сказал председатель месткома,— в таких случаях она может выдать даже безвозвратную ссуду. Пишите заявление.— Но тут председатель осекся и потрогал руками прическу.— Впрочем, вам деньги не нужны. Не к чему. Есть-пить вам не надо, да и платья не на что надеть. Так в чем ваш конфликт с администрацией? Согласно правил внутреннего распорядка уволить вас не могут. Есть пункт «г», но он к вам не подходит,— обнаружившаяся непригодность к работе.

— Работать я могу! — воскликнул невидимый.

— Но зачем же вам работать! Раз пить-есть вам не надо, мы дадим лучше на ваше место многосемейного безработного...

— Как!! — завопил невидимый.— С какой стати меня на биржу посылать? Я вылечусь. Я к профессору Невструеву пойду. Он знающий терапевт. Я стану видимым. Извольте, товарищи! Меня нельзя уволить! Где же это такой закон, чтобы невидимых увольнять. Пункт «г» не подходит. А других пунктов подходящих нет.

— Что ж, это верно,— сказал председатель.— Этот вопрос надо заострить.

— А куда он деньги станет класть? — спросил из толпы завистливый Павел Каинович, пришедший полюбоваться на диковинного подчиненного своего папаши.

— Хоть псу под хвост! — грубо ответил невидимый.— Принципиально! Это месткома не касается. Могу класть в банк. Кто — куда, а я — в сберкассу. Мое дело!

— Формально будем защищать,— сказал председатель.— Попроси-ка, Костя, сюда товарища Доброгласова на заседание РКК. Будем филюринское дело разбирать.

— Нет, это прямо безобразие какое-то,— заметил Филюрин,— взять и уволить сотрудника ни за что. Будто невидимый уже и не человек. Возмутительно!

Собравшиеся молчали. Они начинали завидовать невидимому. Как же! Ему не нужно производить никаких расходов. А жалование идет полностью, как всякому.

— Сколько же такой невидимый может прожить? — спросил курьер Юсюпов, давно уже производивший в уме какие-то вычисления.

— Неизвестно,— злобно ответил загадочный регистратор.

— Может, такой невидимый и не умирает вовсе! — продолжал Юсюпов.

— И наверно даже я буду жить вечно.

Глаза председателя месткома сразу потеряли свой будничный блеск.

— Ты тут потише насчет вечности. Одурел от невидимости. Ты смотри, как бы тебя за такие слова из союза не выкинули.

— А возможно, что и будет жить вечно! — завздыхал Юсюпов.

— Тебе, курьер, завидно! — огрызнулся Филюрин.

— Мне не завидно, а только лет за двести, товарищ Филюрин, можешь большой капитал составить. Вроде как Циндель станешь.

Тут в голове председателя месткома, незаметно для присутствующих, родилась блестящая идея. И он сказал, обративши взор повыше чернильницы:

— Слушай, Филюрин, а тебе и на самом деле деньги не нужны. Ты свою зарплату жертвуй в Осоавиахим. А?

Послышалось страшное сопение. По комнате пронесся небольшой ураган.

— Что вы все на меня навалились? Сколько все сотрудники платят, столько и я буду платить.

— Скряга ты, Филюрин,— произнес председатель,— невидимый должен проявлять большую активность. Ну, черт с тобой, защищать тебя рабочая часть РКК все-таки будет.

В эту минуту, спугнув лодырничающих сотрудников, в комнату вошел Каин Александрович.

— Товарищи посторонние! — провозгласил председатель.— Прошу очистить помещение. Сейчас будет открытое заседание РКК.

Комната мигом обезлюдела.

Против председателя и Юсюпова, представлявших рабочую часть РКК, уселся управделами. Каин Александрович сел у стены, подложив под спину портфель, чтобы не измарать пиджак. Над головой его жирно блестели винтовочные части.

— А этот уже есть? — спросил Каин Александрович, сделав рукой неопределенное движение.

— Он тут. Ну, товарищи, как же быть с Филюриным? Юсюпов, веди протокол.

Каин Александрович убоялся конфликта и согласился признать Филюрина живым и дееспособным, выговорив себе двухнедельный испытательный срок, после которого вопрос о невидимом снова должен стать предметом официального обсуждения.

В конце заседания, происходившего довольно мирно, Каин Александрович вдруг воспламенился.

— Хорошо! Пусть невидимый остается, хотя ни в одном учреждении нет невидимых служащих. Я согласен. Но зачем нам, товарищи, управделами ПУМа, Иванопольский? Не понимаю!

— Каин Александрович, но ведь вопрос об Иоаннопольском прорабатывался не раз, и мы уже сами выявили, что ваш Иоаннопольский совсем не тот.

— Нет,— сказал Доброгласов,— я буду просить начальника Пищ-Ка-Ха бросить меня на другую работу. Я не могу отвечать за благоустройство города, когда в отделе работают какие-то невидимые и управделами ПУМа. Я не могу работать с привидениями. Это мистика. Я требую жертв.

— Что же вы хотите? — спросил председатель месткома.

— Я требую жертв,— повторил Каин Александрович.— Я не могу делать из благоустройства бедлам. Воленсневоленс...

И уже кроткий Евсей Львович, связанный по рукам и ногам, был возложен на жертвенник, уже была занесена над ним вооруженная автоматической ручкой десница Доброгласова, когда подняла свой голос рабочая часть. Она не хотела жертв.

Однако на этот раз разозленный Каин Александрович показал алмазную твердость. Пришлось создать конфликт, и дело о мнимом управделами ПУМа пошло в примирительную камеру.

— Так, вы, Филюрин, допускаетесь к исполнению обязанностей. Можете идти работать.

Вслед за этим, впервые в истории учреждений города Пищеслава, со стола скромного регистратора Филюрина ручка сама собой поднялась на воздух, наклонилась под должным уклоном и вписала в развернутую книгу регистрации земельных участков самую обыденную деловую запись.

Посетители отдела благоустройства, давно забывшие детскую сказку о шапке-невидимке, не читавшие Уэльса и не знавшие еще об удивительном случае с «веснулином» Бабского, первое время обмирали и даже опускали негодующие заявления в огромный жалобный ящик Пищ-Ка-Ха, но потом, занятые своими делами, привыкли и находили, что невидимый Филюрин работает гораздо быстрее Филюрина видимого и что душа регистратора гораздо вежливее, чем была его земная оболочка.

Пищеславцы успокоились, называли Филюрина «товарищ Прозрачный» и даже слегка над ним подтрунивали.

А сам Прозрачный тосковал безмерно. Сперва ему нравилось то удивление, которое он вызывал в окружающих. Он любил рассказывать с мельчайшими подробностями о том, как он пошел в баню, как мылся там необыкновенным голубым мылом, как исчез и как гнался за ворами. Но все это продолжалось лишь два дня. Не находилось больше охотников слушать рассказы о том, как буквально, в точном смысле этого слова, смылся регистратор.

Это обстоятельство повлияло также на судьбу единственного свидетеля исчезновения Филюрина. Милиционер Адамов тоже не находил больше слушателей, от скуки

запил и был отправлен в антиалкогольный диспансер, где его лечили гипнозом и холодной водой.

О Бабском ничего не было слышно. Он сидел, запершись, у себя, на Косвенной улице, и примус его, как потом рассказывали, не потухал ни днем, ни ночью.

Прозрачный тосковал. Все удовольствия были ему уже недоступны. Только и было ему удовольствия, что одиноко поиграть на мандолине, прижимая ее зад к своему несуществующему животу.

Тогда-то и произошло замечательное событие, перевернувшее весь Пищеслав вверх дном и вознесшее Егора Карловича Филюрина на головокружительную высоту.

Глава IV

ИСТОРИЯ ГОРОДА ПИЩЕСЛАВА

Сказать правду, Пищеслав был городом ужасным. Больше того, свежий человек, попав в него, подумал бы, что это город фантастический. Никак свежий человек не смог бы себе представить, что все увиденное им происходит наяву, а не во сне, странном и утомительном.

Еще недавно Пищеслав носил короткое, незначащее название — Кукуев. Переименование города было вызвано экстраординарным изобретением Бабского. Неутомимый мыслитель изобрел машинку для изготовления пельменей.

Продукция машинки была неслыханная — три миллиона пельменей в час, причем конструкция ее была такова, что она могла работать только в полную силу.

Машинку изобретатель назвал «скоропищ» Бабского.

В порыве восторга Бабскому оказали честь, переименовав Кукуев в Пищеслав. Раскрылись обаятельные, отливающие молочным цветом червонцев перспективы. Предвиделся расцвет пельменной промышленности в городе, бывшем доселе только административным центром.

В первый же день два «скоропища», работая в три смены, изготовили сто сорок четыре миллиона пельменей. На другой — работа прекратилась, потому что запасы муки и мяса истощились. Штабеля пельменей лежали на улицах Пищеслава, но, к удивлению акционерного общества «Пельменсбыт», образовавшегося для эксплуатации изобретения Бабского, спрос на пельмени, при всей их дешевизне, не превысил пяти тысяч штук.

Перевозить пельмени в другие города на продажу было невозможно из-за жаркого летнего времени.

Пельмени стали разлагаться. Запах гниющего фарша душил город.

Начался переполох. Обнаружился существенный недостаток изобретения Бабского. «Скоропищ» нельзя было приручить и приспособить к скромным потребностям населения. Оказалось, что меньше трех миллионов пельменей в час машинка выпускать не может.

Добровольные дружины в ударном порядке вывозили скисший продукт за город, на свалку.

Когда обратились за разъяснением к Бабскому, он, конструировавший уже станок для массового изготовления лучин, ворчливо ответил:

— Не морочьте мне голову! Если «скоропищ» усовершенствовать, то усилить продукцию до пяти миллионов в час возможно. А меньше трех миллионов, прошу убедиться, нельзя.

Тогда Бабского посадили на полгода в тюрьму, но уже через неделю городской изобретатель стал произносить неопределенные угрозы, говорил про какой-то антитюремный эликсир, и его выпустили.

Возвратить городу прежнее имя было совестно.

Так он и остался Пищеславом.

С какой бы стороны ни подъезжал к Пищеславу путник, взору его представлялось огромное здание, привлекательно и заманчиво высившееся над всем городом. Это был объединенный центр-клуб — здание, по величине своей немногим только меньше, чем московский Большой оперный театр.

Клуб помещался в лучшей части города — между шоколадным особняком РКИ и бело-розовым ампирным зданием уголовного розыска.

Клуб был построен очень прочно, добротно и отличался невиданной еще в Пищеславе красотой всех своих четырех фасадов. Но не было в нем ни концертов, ни лекций, ни театральных представлений, ни шахматных игр, ни кружковой работы. Огромное здание, бросавшее тень на добрую половину Пищеслава, совершенно не посещалось гражданами.

Изредка только из колоссального здания клуба выходил человек в толстовочке — комендант — и, жмурясь от солнца, плелся в клуб уголовного розыска поиграть в шашки и на полчасика приобщиться к культурной жизни.

Что же случилось? Почему ни одна душа не посещала клуба? Почему никто не играл там в политфанты и профлото, почему не было увлекательнейших вечеров вопросов и ответов? Почему всего этого не было, хотя здание нравилось всем без исключения пищеславцам?

При постройке здания строителями была допущена ошибка. Мы должны открыть всю правду.

В здании была только одна маленькая, совсем темная комнатка, площадью в семь квадратных метров. Вся остальная неизмеримая площадь была занята большими и малыми колоннами всех орденов — дорического, ионического и коринфского.

Колоннады аспидного цвета пересекали здание вдоль и поперек, окружали его со всех сторон каким-то удивительным частоколом. Внутри здания тоже были только колонны. И в этом колоннадном лесу чахнул от безлюдья комендант в толстовочке. Пищеславцы, боясь заблудиться в колоннах и не находя комнат, в которых можно было бы послушать лекцию, предпочитали любоваться диковинным клубом извне.

В клубе не было даже уборной. Комендант, кляня архитекторов и стукаясь лбом о колонны, за каждой малостью бежал во двор РКИ. Впрочем, не все были такими щепетильными, как комендант. Колоннады, портики и перистили быстро загрязнились, и запах, схожий с запахом сыра-бактшейн, изливался сквозь колонны на площадь.

Никто не решался первым сознаться в том, что в новом клубе слишком много архитектурных украшений и совсем нет полезной площади. Клубом продолжали гордиться. И каждые похороны (пищеславцы их очень любили и праздновали с особенным умением и пышностью) неизменно останавливались у гранитной паперти объединенного клуба, где отслуживалась гражданская панихида.

Промышленности в городе не было никакой, да и не могло быть, потому что пищеславские недра не таили в себе ни руд, ни минералов. По географическому положению Пищеслав, стоявший на несудоходной реке Тихоструйке и отдаленный на сорок пять верст от вокзала, никакой промышленности иметь и не мог.

Тем не менее пищеславцы отправили в центр ходоков с просьбой разрешить им пустить в ход потухший пятьдесят лет тому назад завод, который во время крымской кампании производил для нужд армии трубы и барабаны. Центр в средствах отказал.

Тогда пищеславцы, выкроив из чахлого бюджета полтораста тысяч рублей, взялись за дело сами. Через два года напряженной работы завод был восстановлен, и его толстая башенная труба с зубцами зачадила.

Кооперативные прилавки не смогли вместить всей заводской продукции. Пришлось предоставить кредиты на постройку двух универсальных магазинов, предназначенных исключительно для продажи труб и барабанов.

Неизвестно почему, но трубы и барабаны пользовались у потребителей большим успехом.

Комплекты труб и барабанов появились в каждой семье. Выспавшиеся после обеда граждане с увлечением били в барабаны.

Но вскоре эта музыка приелась. Пошли новые культурные веяния. В местной газете «Пищеславский пахарь» поднялась дискуссия по поводу того, можно ли внедрить в служилую массу классическую музыку с помощью граммофона.

Для популяризации этой идеи в городском театре состоялся конкурс на лучшего граммофониста. Первым призом был объявлен почти новый патефон с восемью пластинками фирмы «Пишущий Амур». Вторым призом явилась живая, яйценосная курица Минорка, а в третий приз давался сборник статей по ирригации Каракумской пустыни.

Конкурс мог похвастаться успехом. Множество людей притащились в театр с разноцветными рупорами, пластинками и шкатулками. Конкурс, открывшийся большим докладом, продолжался три дня. Три дня со сцены городского театра, где состязались граммофоны, несся щенячий визг и хохот. Как-то так случилось, что почти все пластинки были напеты музыкальными клоунами Бим-Бом. Это очень веселило публику, но комиссия, не признав за этими произведениями общественного значения, присудила:

первый приз — сыну безлошадного крестьянина, Окоемову, за мастерское исполнение музыкальной картины «Мельница в лесу» с подражанием кукушке и мельничным стукам, под управлением капельмейстера Модлинского пехотного полка Черняка;

второй приз — сыну бедного фельдшера Гордиеву, прекрасно исполнившему марш Буланже на тубофоне в сопровождении оркестра акц. о-ва «Граммофон»;

третий приз — сыну мелкого служащего Иоаннопольскому за пластинку «Дитя, не тянися весною за розой, розу и летом сорвешь», напетую любимцем публики, популярным

исполнителем оригинальных романсов Сабининым под собственный аккомпанемент на рояле.

Трудно поверить в существование такого города, как Пищеслав, но он все-таки существовал, и отмахнуться от этого было невозможно.

Вокруг города цвели травы, возделывались поля, ветер гулял в рощах, а в самом городе даже растительность была дикая.

В городе часто случались скандальные происшествия.

В слободской больнице служащему трампарка Господову при операции брюшной полости по ошибке зашили в живот больничный будильник, заведенный двухмесячным заводом на пять часов утра. Скандал начался с увольнения сиделки, обвиненной в краже будильника. Затем поступило заявление больного Господова о том, что в животе его слышится противный звон.

Сиделку реабилитировали, но извлечь будильник из живота Господова побоялись. Новая операция угрожала бы его жизни. Через неделю Господов выписался из больницы и вскоре подал в суд. А жаловался обиженный Господов на то, что будильник звонит не вовремя.

— Пусть себе сидит в животе. Я ничего не имею. Но пусть не звонит в пять часов утра, когда мне на работу идти только в восемь. Мне ж спать невозможно.

Инцидент закончился мирно. Судопроизводство еще и не начиналось, когда истец взял свое заявление обратно. Завод будильника иссяк, и Господов в простоте душевной полагал, что дальнейшие претензии будут неосновательны.

Происшествию с Господовым «Пищеславский пахарь» не мог уделить много места, потому что четыре его скромные полосы заняты были полемическими письмами в редакцию двух враждовавших между собой литературных групп — крестьянской группы «Чересседельник» и городской — ПАКС (Пищеславская ассоциация культурных строителей).

«Многоуважаемый товарищ редактор! — писал «Чересседельник»,— не откажите в любезности поместить на страницах вашей газеты нижеследующее:

Литературная группа «Чересседельник», закончив организационный период, с 1 июля приступает к творческой работе. Этой работе мешают демагогические выступления беспочвенных политиканов, давно исключенных из «Чересседельника» за склочничество и ныне выступающих под флагом литгруппы ПАКС»...

Далее шли печальные сообщения о склочниках из ПАКСа. Подписи под письмом занимали два столбца.

Рядом неизменно бывало заверстано длиннейшее письмо ПАКСа, подписи под которым были так многочисленны, что конец их терялся где-то в отделе объявлений.

«Многоуважаемый товарищ редактор! — писала ПАКС.— Не откажите в любезности поместить на страницах вашей газеты нижеследующее:

Литературная группа ПАКС, закончив организационный период, с двенадцати часов завтрашнего дня приступает к творческой работе. Этой работе мешают демагогические выступления оголтелой кучки зарвавшихся политиканов, давно выжженных из ПАКСа каленым железом, а ныне приютившихся под крылышком мелкобуржуазной литгруппы «Чересседельник»...

Письма с каждым днем становились все длиннее и нудней, а плодов творческой работы все не было видно.

Так текла жизнь города, вплоть до того знаменательного вечера, когда невидимый регистратор в тоске забрел в Центральный объединенный клуб.

Углубившись в проход между колоннами, Прозрачный с большим трудом нашел единственную клубную комнату, где жил сам комендант. Несмотря на маленькую свою площадь, комната была высока, как шахта. Потолок ее скрывался во мраке, рассеять который была бессильна маленькая керосиновая лампа, висевшая на крючке у столика.

Отвести душу было не с кем. Комендант ушел ночевать к знакомым, а может быть, и просто сбежал, затосковав по обществу. В комнате, кроме стола, стояли козлы с нечистым матрацем и большой фанерный ящик на подпорках, с надписью: «Календарь клубных занятий». В углу лежала груда газетных комплектов в огромных рыжих переплетах.

На дворе стоял июль, а в объединенном клубе было холодно, как в винном погребе.

Прозрачный протяжно выбранился. Если бы он умел говорить умные слова, то побежал бы на площадь, созвал бы побольше народу и поведал бы ему, как тяжело жить бестельному человеку, который не может придумать ничего такого, что оправдало бы его необычное существование. Но говорить красиво и удивительно он не умел.

Прозрачный рассеянно направился в угол, вытащил оттуда газетную книжищу и нехотя углубился в чтение. Не

читал он с тех пор, как кончил городское училище. Это было давно, очень давно.

Ощущения читающего человека были ему чужды. Поэтому чтение произвело на Прозрачного такое же впечатление, какое испытывает курильщик, затянувшийся папиросой после трехдневного перерыва. Прозрачному попалась московская газета.

«Первый Госцирк! — прочел Филюрин вслух.— Последние пять дней. Укрощение двенадцати диких львов на арене под управлением Зайлер Жансо».

Прозрачный стал думать о львах. Потом от объявлений он перешел к более трудным вещам — к котировке фондового отдела при московской товарной бирже. Но это было слишком мудрено, не под силу. Филюрин бросил котировку и перекочевал в отдел суда. Ему попалось на глаза простое алиментное дело, которое для настоящего любителя суда не представляет ни малейшего интереса. Невидимый, однако же, прочел его с необыкновенным волнением.

— Ну и люди теперь пошли! — воскликнул Прозрачный, впервые постигая возможность критики отношений между мужчиной и женщиной.

Он прочел еще несколько судебных отчетов и с удивлением убедился в том, что в стране существует по крайней мере пятнадцать отпетых негодяев.

— Ни стыда, ни совести у людей нет,— шептал Филюрин, переворачивая большие листы.

С каждым новым номером газеты количество негодяев увеличивалось. Через два часа Прозрачный решил выйти на площадь, чтобы собраться с возникшими при чтении мыслями.

— Действительно,— бормотал он, проплывая между колоннами,— безобразия творятся.

Самые дерзкие параллели возникали в мыслях Прозрачного. Вспоминая последнее прочитанное дело о бюрократизме фруктработников, он пришел к страшному выводу, который не осмелился бы сделать даже вчера. «Каин Александрович,— думал он,— тоже, как видно, бюрократ и бездушный формалист».

Думая таким образом, он мчался вперед. Колонны мелькали. Им не было конца. Они вырастали чем дальше, тем гуще. Выхода не было. Прозрачный заблудился в колонном бору, воздвигнутом усилиями пищеславских строителей.

Это происшествие придало мыслям Филюрина новый жар.

— Тоже построили! — закричал он в негодовании.— Выхода — выхода нет. Под суд таких!

И громкое эхо, похожее на крик целой роты, здоровающейся с командиром, вырвалось из-под портиков и колоннад:

— Под суд!

Проплутав еще некоторое время, Прозрачный очень обрадовался, попав обратно в комнату коменданта, и снова принялся за чтение.

Лампочка посылала бледно-желтый слабый свет на гранитную облицовку стен. Газетные листы сами собою переворачивались. Комплекты с шумом летели в угол и снова выскакивали оттуда.

В пустой комнате раздавались отрывочные восклицания:

— Нет! Это никак невозможно! Уволить женщину на восьмом месяце беременности! А Каин в прошлом году такую самую штуку проделал! Ну и дела.

Глава V

ЮБИЛЕЙНАЯ РЕЧЬ

В эту ночь Евсей Львович Иоаннопольский спал и видел во сне семь управделами тучных и семь управделами тощих.

Сон оказался в руку.

Когда Евсей явился утром на службу, ему сообщили, что семь дней местком боролся за него удачно, а последующие семь дней — неудачно и что примкамера, подавленная красноречием Доброгласова, решила дело в пользу администрации.

— Но ведь я же все-таки в ПУМе не служил! — закричал Евсей Львович, скорбно оглядев сотоварищей по отделу.— Все же знают! Я на этого самодура буду жаловаться в суд!

Свободомыслие бухгалтера не встретило поддержки.

Евсей Львович понял, что дело гораздо серьезнее, чем он предполагал, вынул из конторки собственную чайную ложечку и спросил:

— Кто же сядет на главную книгу?

— Назначили Авеля Александровича,— ответил Пташников,— он уже утвержден.

— Конечно,— сказал Иоаннопольский.

Он чувствовал, что ему нечего терять, кроме собственных цепей.

— Протекционизм! Брата назначил! Сыновья давно служат! А я? Я, конечно, остался с пиковым носом.

Иоаннопольский печальным аллюром двинулся к Пташникову. Учрежденский знахарь сделал вид, что поглощен работой.

— Я сделал анализ,— сказал Иоаннопольский.

Пташников, к удивлению бухгалтера, ничего не ответил.

— Я уже сделал анализ,— глухо повторил Евсей Львович.

— У вас достаточное количество красных кровяных шариков,— с неудовольствием произнес знахарь,— и, знаете, неудобно как-то в служебное время...

— Может быть, мне действительно посоветоваться с профессором Невструевым? — лепетал Евсей, пытаясь вдохнуть жизнь в трусливую душу Пташникова.

Но в это время из кабинета раздался голос Каина Александровича, и знахарь испуганно зашикал на Иоаннопольского.

— Вы хотите, чтобы меня тоже выкинули? — сказал он, глядя на бухгалтера молящими глазами.

Тут Евсей Львович понял, что он уже чужой. Он в раздумье постоял посредине комнаты и подошел к столу Филюрина.

Ручка и книга регистрации земельных участков в пестром переплете недвижимо лежали на столе. Кто знает, где в это время был Филюрин? Может быть, он отдыхал, равнодушно озирая лепной потолок, может быть, гулял по коридору или стоял за спиной Евсея Львовича, иронически усмехаясь.

— Вы слышали, Филюрин? Меня Каин все-таки уволил.

Ответа не последовало.

— Вы здесь, Егор Карлович?

Но молчание не прерывалось, и книга по-прежнему оставалась закрытой.

Иоаннопольский повернулся и спросил, ни к кому не обращаясь:

— Что, Филюрин еще не приходил?

— Не приходил,— ответила Лидия Федоровна.— Смотрю, ручка не подымается.

— Может быть, он заболел? — живо отозвался Пташников.

— А разве невидимые болеют?

— Все может быть. Теперь такая дизентерия пошла.

— Но ведь он же ничего не ест!

— Тогда, может быть, на нервной почве? — ядовито сказал Евсей Львович.

— Какие там нервы! У человека тела нет, а вы толкуете про нервы.

Разгорелся спор, блестяще разрешенный Пташниковым. В пространном резюме, в котором не раз упоминался ленинградский дядя-терапевт и последние открытия в области лечения простоквашей, учрежденческий знахарь пришел к несомненному выводу, что невидимый болеть все-таки не может.

Поэтому решили послать за Филюриным курьера Юсюпова. Евсей Львович взялся сопровождать курьера.

С полуденного неба лился белый горячий свет. В витринах оптического магазина акционерного общества со смешанным капиталом Тригер и Брак, на ступенчатой подставке, покрытой красным сатином, стояли ряды отрубленных восковых голов. На носу каждой головы сидели очки и пенсне разных размеров и форм. Все выставленные барометры показывали бурю.

Мальчики лакомились сахарным мороженым, поедая его костяными ложечками из синих граненых рюмок.

На базарной площади вопили поросята в мешках и гуси в корзинках, зашитые рогожей по самые шеи. Летала солома.

Большие мухи в зеленых бальных нарядах с пропеллерным гудением падали в корзины с черной гниющей черешней, сталкивались в воздухе и совершали небольшие марьяжные путешествия.

Всю дорогу Евсей Львович клеймил Юсюпова за то, что РКК оказалась не на высоте. Юсюпов со всем соглашался и советовал обратиться прямо в суд.

Разговаривая таким образом и руководствуясь звуками «о», доносившимися из окна первого этажа, они быстро нашли квартиру мадам Безлюдной.

Златозубая хозяйка пожала плечами и ввела гостей в комнату Филюрина. Там все трое долго и громко звали Прозрачного. Ответа не было.

— Куда же он, однако, девался, мадам? — спросил Евсей Львович удивленно.

— Понятия не имею,— ответила мадам, выставив золотой пояс зубов.— Как вчера утром ушел на службу, так и не

приходил. Беда с таким квартирантом. Вы знаете, я до сих пор не привыкла. Кроме того, он не платит мне за квартиру.

— А вы, извините, мадам, кажется, в положении? — неожиданно молвил Иоаннопольский.— Где служит ваш муж?

Мадам Безлюдная ничего не ответила. Она была разведена уже три года назад, а в выборе отца предполагаемого ребенка все еще колебалась.

— В таком случае до свиданья,— сказал Евсей Львович, вежливо наклонив плешивую голову.

Бросив Юсупова на полдороге, Иоаннопольский помчался в отдел благоустройства, возбуждаясь на ходу все больше и больше и под напором интересных мыслей делая крутые виражи на углах пышущих жаром пищеславских магистралей. Сама лошадь Пржевальского, по проспекту которой проносился Евсей, была бы удивлена такой резвостью.

— Уже! — завизжал Иоаннопольский, влетая в каминную комнату.

Он был так возбужден, поднял в отделе такой ветер, что листы месячного календаря «Циклоп» взвились, открыв свой последний декабрьский лист, испещренный красными праздничными цифрами.

— Что уже? — зашептали сотрудники.

— Уже! — повторил Иоаннопольский, обтирая цветным платком нежную персиковую лысину.

— Да говорите же, Евсей Львович! — взмолились сотрудники,— что уже?

Евсей Львович внезапно замолчал, сел на подоконник, предварительно сняв с него железный, похожий на крыло пролетки футляр «ремингтона», и медленно стал выпускать горячий воздух, захваченный в легкие во время финиша по проспекту имени Лошади Пржевальского. При этой операции опавший было «Циклоп» снова зашелестел на стене, и на голове Лидии Федоровны поднялись все ее считанные волосы. Отдышавшись, Иоаннопольский полез в задний карман за папиросами и сказал:

— Уже исчез.

— Филюрин исчез?

— Да, товарищи, Филюрин исчез. Со вчерашнего дня он не приходил домой.

— Теперь,— сказал Пташников,— Каин Александрович его выкинет.

— Вы в этом уверены? — презрительно спросил Евсей.

— Уверен. А вы что думаете?

— Кому в этом месте интересно знать, что думает Евсей Иоаннопольский?

— Ну что за шутки такие! — закричал Костя.— Говорите, товарищ Иоаннопольский, просят же вас.

— Так вы думаете, что Каин Александрович уволит Филюрина?

— Да. Ведь вы же, Иоаннопольский, сами знаете, что это за человек.

— А что вы запоете, если Филюрин уволит вашего Каина Александровича?

За столами водворилась мертвящая тишина. Не в силах удержаться на внезапно ослабевших ногах, Пташников опустился на стул.

— Да, граждане, и это может произойти очень скоро.

— Откуда вы взяли? Это фантазия!

— А невидимый человек, это не фантазия? — возопил Евсей.— А когда невидимый человек исчезает, то это, по-вашему, что, фантазия или не фантазия?

— В чем же дело? — загомонили служащие.

— Дело в том, что где, по-вашему, сейчас Филюрин?

— Откуда же нам это знать?

— Я этого тоже не знаю. Но, товарищи, кто может поручиться, что он не между нами и не слушает всего, что мы сейчас говорим?

Протяжный стон пронесся по отделу благоустройства. Иоаннопольский засмеялся.

Лицо Пташникова покрылось фиолетовыми звездами и полосами.

— А я еще,— сказал он, вздрагивая,— сегодня утром довольно громко ругал Каина. Наверное, Филюрин слышал и все ему расскажет.

— Да вы с ума сошли,— зашикал Евсей Львович,— что вы такое говорите? А если он сейчас сидит на этом футляре и слышит, как вы называете его доносчиком?

Тут с лица Пташникова слетели все краски. У Кости от удивления грудь выгнулась колесом и в продолжение всего разговора уже не разгибалась.

— Боже меня упаси,— сказал знахарь трагически,— я никогда не говорил, что он доносчик. Это вы сами сказали.

— Я не мог этого сказать,— возразил Иоаннопольский. И, обратившись почему-то лицом к совершенно пустому месту, прочувствованно произнес: — Я, который всегда считал Егора Карловича прекрасным товарищем и очень умным

человеком с блестящей будущностью, я этого сказать не мог. Даже наоборот. Я всегда говорил, говорю и буду говорить, что Егор Карлович симпатичнейшая личность.

— Кто же в этом сомневался! — сказала Лидия Федоровна.— Я редко встречала такого милого человека.

— Милого? Что милого? — подлизывался Евсей.— Если вы хотите знать, такого человека как товарищ Филюрин, во всем свете нет.

Говоря так, Иоаннопольский наслаждался несчастным видом знахаря. Но знахарь оказался не таким дураком, как это могло показаться по внешнему его виду. Он подошел к столу Филюрина и, ласкательно глядя на книгу регистрации земельных участков, произнес большую, почти что юбилейную речь. Тут было все: и «стояние на посту», и «высоко держа», и «счастие совместной работы», и «блестящая инициатива, так способствовавшая». Казалось, что Пташников вытащит сейчас из-под пиджака хромовый портфель, с серебряной визитной карточкой, с загнутым углом и каллиграфической гравировкой: «Старшему товарищу и бессменному руководителю в день трехлетнего юбилея».

Когда речь окончилась и служащие почувствовали, что Прозрачный уже достаточно задобрен, они снова подступили к Евсею Львовичу. Случилось как-то так, что Евсей Львович оказался чем-то вроде поверенного Филюрина. Ему задавали вопросы, и он отвечал на них с большим весом.

По мнению Евсея Львовича, Прозрачный, пользуясь неограниченными своими возможностями, уже занялся высокополезной общественной деятельностью и, конечно, будет ее продолжать. Будучи особенно хорошо знакомым со структурой совучреждений, невидимый, несомненно, будет бороться с извращениями аппарата.

— Уж я его характер хорошо знаю,— говорил Евсей Львович,— можете поверить мне на слово.

Поговорив в таком роде в отделе, Иоаннопольский лучезарно улыбнулся и отправился в местком. По дороге он останавливался, чтобы поговорить со знакомыми из других отделов Пищ-Ка-Ха. Тема была прежняя — исчезновение Прозрачного.

— Я просто так думаю,— говорил Евсей Львович, пожимая руки и раскланиваясь на все стороны,— что Прозрачный сделал это нарочно, чтобы узнать, кто чем дышит. Вы же понимаете, что если он захочет, то от него не может быть никаких тайн. Ей-богу, не хотел бы я быть сейчас на месте Доброгласова. Да и самому Доберману-Биберману

может нагореть. Помните историю с подрядом на домовые фонари? А сколько есть дел, о которых мы ничего не знаем! Уж Прозрачному все известно. Будьте уверены! Ну, я пошел!

На знакомых слова Евсея производили совершенно разное впечатление. Одни удивленно ахали, от души веселясь и ожидая в самое ближайшее время больших сюрпризов. Другие грустнели и сразу становились неразговорчивыми.

— Вы слышали новость? — кричал Иоаннопольский, входя в местком.— Прозрачный наконец взялся за ум! Когда его спрашивают — не откликается!

— Ну, что из того? — спросил председатель месткома вяло.

Иоаннопольский, возмущенный индифферентностью профработника, даже подскочил на месте.

— Все два этажа с ума сходят, а он спрашивает меня, что из того! Из этого то, что для Прозрачного теперь секретов нет. Ну, вы, положим, рассказываете своей жене с глазу на глаз, что у вас небольшой недочет союзных денег. Вы думаете, что вы одни, что все, что вы говорите,— это тайна, а Прозрачный в это время спокойненько слушает все, что вы говорите, и вы об этом даже представления не имеете. На другой день за вами приходят от прокурора с криком: «А подать сюда Гоголя-Моголя!»

Председатель, который действительно растратил тридцать рублей МОПРовских денег, ошалело посмотрел на Иоаннопольского. Растрату председатель собирался восполнить членскими взносами, собранными с друзей радио. Недочет же в средствах друзей порядка в эфире должны были покрыть средства Общества друзей советской чайной. А прореху в кассе почитателей кипятку предусмотрительный председатель предполагал залатать с помощью еще одного общества, над организацией которого ныне трудился. Это было общество «Руки прочь от пивной».

Заявление Евсея Львовича одним ударом перешибало стройную систему отношений между добровольными обществами, с такой любовью воздвигнутую председателем.

Продолжая дико глядеть на Иоаннопольского, председатель сказал нудным голосом:

— Этот вопрос нужно заострить.

Впрочем, по лицу Евсея он отлично видел, что вопрос и без того заострен до последней степени.

На Пищеслав надвигалась туча, сыплющая гром и молнию.

Глава VI

КАИН УВОЛИЛ АВЕЛЯ

С легкой руки Евсея Львовича Пищеслав переполнился слухами о новой деятельности Прозрачного.

И уже на следующее утро Каин Александрович вызвал в кабинет брата своего Авеля Александровича и долго топал на него ногами.

— Что с тобой, Каша? — удивленно спросил Авель Александрович, полулежа в кресле.

— Прошу мне не тыкать при исполнении служебных обязанностей! — завизжал Каин Александрович.

— Я тебя не понимаю. Этот тон...

— Встать! Воленс-неволенс, а я вас уволенс. Можете идти, товарищ Доброгласов. Без выходного пособия.

— Ты что, пьян? — грубо спросил Авель.

Тогда Доброгласов-старший, полагая вполне возможным присутствие в кабинете Прозрачного, счел необходимым высказать Доброгласову-младшему свои мысли о протекционизме.

— Я всегда проводил,— говорил он вздрагивающим голосом,— беспощадную борьбу с кумовством. Я опротестовываю однобокое решение примкамеры относительно всеми уважаемого управделами ПУМа товарища Иоаннопольского. Последний восстанавливается в должности, а вас, как принятого по протекции, я беспощадно снимаю с работы. Мы сидим здесь, товарищи, не для благоустройства родственников, а для благоустройства города. Вам здесь не место. Идите.

Авель Александрович, растерянно тряся головой, вышел из кабинета, сдал главную книгу подоспевшему Евсею Львовичу и покинул отдел благоустройства, не получив даже за проработанные два часа.

Иоаннопольский проводил поверженного в прах Авеля ласковым взглядом и удовлетворенно заметил:

— Прозрачный начинает действовать. Начало хорошее. Что-то еще будет!

При этих словах Пташников чуть не упал со стула. Глаза Лидии Федоровны заблистали от слез, а Костя выбежал из комнаты, выронив из кармана бутерброд, завернутый в пергаментную бумагу.

Между тем Каин Александрович в бурном приступе служебной деятельности работал над искоренением кумовства в отделе.

Сперва он написал в стенную газету «Рупор благоустройства» заметку такого содержания:

«НЕ ВСЕ ГЛАДКО

С кумовством в нашем учреждении не все обстоит благополучно. Эта гнилая язва протекционизма не может быть больше терпима. Пора уже взять под прицел семейство Доброгласовых, свивших себе под сенью Пищ-Ка-Ха уютное гнездышко, без ведома самого тов. К. А. Доброгласова, который, как только узнал о поступлении в отдел благоустройства А. А. Доброгласова, немедленно такового снял с работы без выдачи двухнедельной компенсации, памятуя об экономии государственных средств. Пора также ликвидировать имеющихся в Пищ-Ка-Ха двух сыночков тов. Доброгласова, втершихся на службу, безусловно, без ведома уважаемого нами всеми за беспорочную и длительную службу Каина Александровича».

В этой заметке, в которой смертельно перепуганный Доброгласов ополчился на собственных своих сыновей, на плоть от плоти и кровь от крови, он недрогнувшей рукой поставил подпись: «Рабкор Ищи меня».

Прокравшись к стенгазете, которая висела в темном, посещаемом только котами углу коридора, Каин Александрович приклеил заметку синдетиконом к запыленному картону.

Потом Доброгласов вернулся к себе и составил две бумаженции. В одной он доводил до сведения начальника Пищ-Ка-Ха о необходимости немедленного и строжайшего расследования по заметке «Не все гладко» рабкора «Ищи меня», помещенной в стенгазете «Рупор благоустройства».

Отослав бумажку по назначению, Каин Александрович написал приказ о немедленном выявлении и увольнении из отдела благоустройства каких бы то ни было родственников. Приказ он собственноручно наклеил на дверях своего кабинета.

Через несколько минут оба Каиновича, подталкиваемые курьерами, уже спускались по учрежденческой лестнице.

Евсей Иоаннопольский, наблюдавший из окна исход Каиновичей из Пищ-Ка-Ха, хотел поделиться своей радостью с Пташниковым, но, к великому его удивлению, знахарь стоял на коленях посреди комнаты.

— Что с вами? — закричал Евсей.

— Я родственник,— ответил Пташников.

— Чей?

— Ее.

И Пташников указал на Лидию Федоровну.

— Кем же она вам приходится?

— Женою.

— Но ведь Лидия Федоровна девица. Помнится, так и в анкете записано.

— Скрывали,— зарыдала Лидия Федоровна.— Жили на разных квартирах.

— Сколько же времени вы женаты?

— Двадцать лет. Пятый год скрываем.

— И дети есть?

— Есть. Мальчик один. Вы его знаете.

— Какой мальчик?

— Костя. Вот он сидит. Первенец наш. Теперь здесь служит.

— В таком случае,— сказал Евсей Львович,— вас всех надо изжить. Мне вас, конечно, жалко. Вместе работали все-таки. Ну что скажет Прозрачный, если я стану из дружеских чувств потакать своим знакомым? Сами понимаете.

Нелегальное семейство, с такими усилиями скрывавшее свои нормальные человеческие отношения, семейство, жившее тремя домами и устраивавшее супружеские встречи в гостинице, семейство, оказавшееся на краю бездны,— молчало в неизмеримой печали. Пташниковы понимали величину и тяжесть своей вины. Они не просили и не ждали снисхождения.

— Знаете что,— сказал Евсей Львович,— такой важный вопрос без Прозрачного я решить не могу. Сидите пока. Если вы уйдете, некому будет работать. А потом,— как решит Прозрачный, так и будет.

Знахарь, жена его Лидия и сын их Костя не стали терять времени попусту и с новым усердием принялись за работу.

Дверь кабинета растворилась, и на пороге ее появился Каин Александрович, лишь недавно приклеивший заметку в стенгазету. Обеими руками он держал бронзовую чернильницу «Лицом к деревне». По лицу начальника зайчиком бегала болезненная улыбка.

Он подошел к Косте, со вздохом поставил сторублевую ношу, а взамен ее взял пятикопеечную чернильницу-невыливайку.

Евсей засуетился.

— Ах, какая чернильница! — восторгался он.— Но зачем она Косте? Слушайте, Доброгласов, поставьте ее ко мне. Я ведь все-таки веду главную книгу.

— Пожалуйста, Евсей Львович, мне все равно. Мешает она, знаете ли. Да-а!

Каин Александрович прошелся по комнате и, беспокойно вылупив белые глаза, неожиданно заметил:

— А не кажется ли вам, товарищи, что охрана труда у нас хромает? С вентиляцией все благополучно? Ну, работайте, работайте, не буду вам мешать. Да, кстати... Егор Карлович еще не приходил? Нет его? Отлично. Посадите, Евсей Львович, кого-нибудь на регистрацию, посетители ждать не должны. Ведь не посетители для учреждения, а учреждение для посетителя.

Но посетителей в этот день не было, потому что пищеславские граждане занимались заметанием следов. Многие каялись в своих грехах публично.

Призрак, олицетворяющий предельную добродетель, носился по городу, вызывая самые удивительные события.

Чувство критики, дремавшее в сердцах граждан, проснулось.

На общем собрании членов союза Нарпит работа месткома была признана неудовлетворительной. На секретаря месткома, не знавшего такого случая за всю свою долголетнюю профсоюзную практику, это подействовало ужасающим образом.

Он, заготовивший уже хвалебную резолюцию, онемел на целых полчаса. А когда обрел дар речи, поднялся и заявил, что он, секретарь, в профработе ничего не смыслит, что деньги, ассигнованные на культработу, проиграл на лотерее в пользу беспризорных и что гендоговора никогда в своей жизни не прорабатывал, хотя таковой должен обязательно прорабатываться на местах.

Свою сильную образную речь секретарь кончил пламенным призывом никогда больше в местком его не выбирать.

Экскурсия, посетившая музей благоустройства, вытащила оттуда трамвайный вагон № 2, снабженный мемориальной доской в честь тов. Обмишурина, и поставила его на рельсы. Трамвайный парк, получив музейное подкрепление, успешно справлялся с перевозками пассажиров.

У дверей прокуратуры и уголовного розыска вились длинные очереди кающихся. Зато очереди у кооперативных магазинов убывали в полном соответствии с очередями у дверей закона.

Две госпивные с зазорными названиями «Киевский шик» и «Веселый канарей» прекратили подачу пива и сосисок. Вместо этого подавались сидр с моченым горохом и пудинг из капусты.

«Пищеславский пахарь» поместил сенсационное письмо секретаря литгруппы ПАКС тов. Пекаря:

«Многоуважаемый тов. редактор! Не откажите в любезности поместить на страницах вашей газеты нижеследующее: хотя организационный период литгруппы ПАКС давно закончился, но мы, несмотря на то, что зарвавшиеся политиканы из «Чересседельника» нам уже не мешают, к творческой работе до сих пор не приступили, и, вероятно, никогда не приступим.

Дело в том, что все мы слишком любим организационные периоды, чтобы менять их на трудные, кропотливые, требующие больших знаний и даже некоторых способностей занятия творчеством.

Что же касается единственного произведения, имеющегося в распоряжении нашей группы, якобы написанного мною романа «Асфальт», то ставлю вас в известность, что он полностью переписан мною с романа Гладкова «Цемент», почитать который дала мне московская знакомая, зубной техник, гражданка Меерович-Панченко.

Бейте меня, а также топчите меня ногами.

Секретарь литгруппы ПАКС Вавила Пекарь».

Исповедь «Чересседельника» была помещена чуть пониже.

Мелкие жулики каялись прямо на улицах сотнями. Вид у них был такой жалкий, что прохожие принимали их за нищих.

Скульптор Шац, чувствуя страшную вину перед обществом за изготовление гвардейского памятника Тимирязеву, прибежал в допр и, самовольно захватив первую свободную камеру, поселился в ней. От администрации он не требовал ничего, кроме черствого хлеба и сырой воды. Время свое он коротал, биясь головой о стены тюрьмы. Но это было ему запрещено, так как удары расшатывали тюремные стены.

Даже такой маленький человек, как госпапиросник с бывшей Соборной площади, и тот побоялся разоблачений Прозрачного и опустил на самого себя жалобу в горчичный ящик. Папиросник признавался в том, что из каждой спичечной коробки он вынимал по несколько спичек, из коих в течение некоторого времени составлял спичечный фонд.

Зажиленные таким образом спички папиросник открыто продавал, а вырученные от их продажи деньги обращал в свою личную пользу. Этим за пять лет работы он причинил Пищеславу убыток в сумме 2 рубля $16^1/_2$ копеек.

На третий день после исчезновения Прозрачного у мадам Безлюдной родился сын. Но, несмотря на общую отныне для Пищеслава чистосердечность, мадам не могла объявить, кто отец ребенка, так как и сама этого не знала.

Евсей Львович чувствовал себя полезным винтиком в новой городской машине и начал отвечать на поклоны Каина Александровича весьма небрежно. Доброгласов так испугался, что перестал ездить домой в автомобиле и стал скромно ходить пешком.

— Тем лучше,— сказал Иоаннопольский,— оставим автомобиль для Прозрачного. Он, вероятно, скоро освободится и захочет служить. Шуточное дело! Столько работы у человека! Вы видели, какую партию жуликов провели вчера с завода труб и барабанов! Это целая панама!

— А завод как же остался?

— Завод закрыли, законсервировали на вечные времена. Нужно же быть сумасшедшим, чтобы работать на таких допотопных станках. Каждая труба стоила чертову уйму денег. О барабанах я уже не говорю!

Пока Прозрачного не было, Евсей Львович пользовался автомобилем сам.

В течение одной недели город совершенно преобразился. Так падающий снопами ливень преображает городской пейзаж. Грязные горячие крыши, по которым на брюхах проползают коты, становятся прохладными и показывают настоящие свои цвета: зеленый, красный или светло-голубой. Деревья, омытые теплой водой, трясут листьями, сбрасывают наземь толстые дождевые капли. Вдоль тротуарных обочин несутся волнистые ручьи.

Все блестит и красуется. Город начинает новую жизнь. Из подворотен выходят спрятавшиеся от дождя прохожие, задирают головы в небо и, удовлетворенные его непорочной голубизной, с освеженными легкими разбегаются по своим делам.

В Пищеславе никто больше не смел воровать, сквернословить и пьянствовать. Последний из смертных — мелкая сошка Филюрин — стал совестью города.

Иной подымал руку, чтобы ударить жену, но, пораженный мыслью о Прозрачном, тянулся рукою за ненужным предметом.

«Ну его к черту! — думал он.— Может быть, стоит тут рядом и все видит. Опозорит ведь на всю жизнь. Всем расскажет».

На улицах и в общественных местах пищеславцы вели себя чинно, толкаясь, говорили «пардон» и даже, разъезжаясь со службы в трамвае, улыбались друг другу необыкновенно ласкательно.

Исчезли частники. Исчезли удивительнейшие фирмы: «Лапидус и Ганичкин», торговый дом «Карп и сын», подозрительные товарищества «Продкож», «Кожпром» и «Торгкож». Исчезли столовые без подачи крепких напитков под приятными глазу вывесками: «Верден», «Дарденеллы» и «Ливорно». Всех их вытеснили серебристые кооперативные вывески с гербом Пищетреста — французская булка, покоящаяся на большом зубчатом колесе.

Сам глава оптической фирмы «Тригер и Брак», известный проныра и тертый десятью прокурорами калач, гражданин Брак пришел в полнейшее отчаяние, чего с ним еще ни разу не случалось с 1920 года. Дела его шли плохо, а магазин собирались описать и продать с аукциона за долги. Единственным человеком, не заметившим происшедшей с Пищеславом метаморфозы, оставался Бабский. Он не покидал своей комнаты со дня визита к нему Филюрина. Длинное оранжевое пламя примуса взвивалось иногда к потолку, освещая заваленную мусором комнату. Городской изобретатель работал.

К концу преобразившей город недели мальчишка-пионер, проходивший мимо Центрального объединенного клуба, громогласно заявил, что клуб, как ему уже давно кажется, ни к черту не годится и что строили его пребольшие дураки. Вокруг мальчика собралась огромная толпа. Все в один голос заявили, что клуб действительно нехорош. Разгоряченная толпа направилась в отдел благоустройства и потребовала немедленной перестройки клуба.

В Пищ-Ка-Ха вняли голосу общественности и обещали приступить к выкорчевыванию лишних колонн. Внутренние большие и малые колонны предполагалось совершенно уничтожить и на освободившемся месте устроить обширные залы и комнаты для всех видов культработы.

В день открытия работ к зданию с четырех сторон подошли отряды строителей и углубились в колонный мрак. Толпы любопытных окружали клуб, с удовольствием прислушиваясь к строительным стукам.

Иоаннопольский и Доброгласов, с трудом прорезав толпу, покатили на автомобиле к клубной паперти. Каин Александрович решил лично руководить работами по переделке здания. Евсея он взял с собой, потому что бухгалтер последнее время считал себя неразрывной частью автомобиля и не отрывался от него ни на минуту.

Уже из клуба начали выкатываться аккуратно распиленные на части колонны, как вдруг задним рядам напиравшей на клуб толпы показалось, что на ступеньке здания кто-то взмахнул шапкой. В передних рядах послышались восклицания.

— Что случилось? Что случилось? — пронеслось над толпой.

Еще не все знали в чем дело, а уже площадь содрогалась от мощных криков.

В дремучем лесу центральных объединенных колонн объявился Прозрачный.

Глава VII

«А Я ЗДЕСЬ!»

Плохо пришлось бы Прозрачному, если бы его невидимое тело требовало пищи. Но есть ему не надо было, и семь дней, проведенных в лабиринте Центрального объединенного клуба, пошли ему даже на пользу. Он научился скучать и читать, что человеку без тела совершенно необходимо.

Мучило его только то, что Доброгласов воспользуется прогулом и уволит его со службы.

В последний день своего пребывания под гостеприимной сенью клубных колонн Прозрачный томился, скучая по свету, по человечьим лицам и голосам. Он сделал последнюю попытку выбраться из лабиринта. Всюду встречали его вздвоенные ряды колонн, поставленных так часто, что дневной свет не проникал дальше третьего их наружного ряда.

Поэтому, заслышав первые удары лома по камню, Прозрачный стал призывать на помощь. Он бросился навстречу звукам, и скоро между колоннами забрезжил серенький свет.

— Ау! — кричал Прозрачный, словно собирал грибы в лесу.

Не получив ответа, невидимый закричал караул, и на этот крик, знакомый всем пищеславцам с детства, стеклись каменщики и десятники.

А уже через две минуты десятник рысью выбежал на воздух и первый сообщил толпе о том, что Прозрачный наконец нашелся, что он жив и здоров и что сейчас прибудет сам.

Перепрыгивая через поврежденные колонны, Филюрин бросился за десятником. Он вынырнул на свет и увидел Евсея Львовича. За ним виднелось перепуганное лицо Каина Александровича. Дальше был океан шевелящихся голов, и еще дальше прямо по толпе скакал Тимирязев, и его чугунная полированная свекла сверкала на солнце.

— Покажите, где вы! — крикнул Иоаннопольский.— Граждане! Прозрачный среди нас. Покажите нам, где вы, Егор Карлович!

Прозрачный снял с головы десятника фуражку с молоточками и помахал ею в воздухе. Вид фуражки, которая сама по себе прыгала на расстоянии двух метров от земли, привел толпу в исступление.

Филюрин, не поняв, что приветственные крики относятся к нему, растерялся и возложил фуражку на голову ее владельца. Это вызвало еще больший энтузиазм.

Прозрачный заметил, что перед ним стоит сам Каин Александрович, отвешивая вежливые поклоны.

— Товарищ Доброгласов,— сказал регистратор,— верьте слову, я тут ни при чем...

— Как же ни при чем,— залебезил Каин Александрович, ориентируясь на голос Филюрина,— когда совершенно наоборот.

— Эти возмутительные колонны заставили меня...

— Нет, нет, колонн уже не будет. На этот счет не беспокойтесь.

— Значит, вы признаете, что у меня были уважительные причины для неявки на службу?

— Не беспокойтесь, не беспокойтесь! Работа не пострадала. На вашем месте уже сидит другой.

— Как другой? — закричал Прозрачный.— Я буду жаловаться! Я до суда дойду!

Но тут Евсей Львович, быстро смекнувший, что Прозрачный ничего не знает о своем могуществе, оттолкнул Доброгласова локтем и крикнул в толпу:

— Пламенный привет товарищу Прозрачному от имени работников конторского учета!

— Даешь Прозрачного! — закричала толпа.

Филюрин не понимал ровным счетом ничего.

«Ну и дубина же этот Прозрачный,— подумал Иоаннопольский,— сделали бы меня невидимым, я им бы такое показал!»

И, обращаясь к Доброгласову, крикнул:

— Каин! Скажите, чтобы подавали машину! Товарищ Прозрачный устал от выявления недочетов и заедет ко мне отдохнуть.

— Может быть, товарищ Прозрачный заехал бы ко мне отдохнуть? Жена будет так рада! — пролепетал Доброгласов.

— Не говорите глупостей. Вы же одной ногой стоите на бирже труда! — зашипел Евсей Львович,— хотели человека уволить за невидимость, а теперь обедать, обедать! Позовите поскорее машину!

— Разве я хотел его уволить? — смутился Каин Александрович.— Не помню, ей-богу.

— Ну хорошо, посмотрим еще, кто будет заведовать отделом благоустройства.

Доброгласов слегка застонал и с усердием курьера-новичка бросился выполнять поручение.

Но сесть в машину Иоаннопольский ему не разрешил.

— Вы и пешком дойдете,— сказал бесцеремонный Евсей,— вам близко. А у меня с товарищем Прозрачным предвидится секретный разговор. Вы здесь, Егор Карлович?

— Здесь,— раздался голос с кожаной стеганой подушки.

— Возьмите мою шляпу и помахайте толпе,— посоветовал бухгалтер,— она это любит.

Когда автомобиль под крики толпы выбрался с площади, Каин Александрович, задумчиво вертя в руках портфель, побрел домой.

— Снимают! — сказал он жене, сбросив пиджак и оттягивая вперед подтяжки табачного цвета.

— Я так и знала,— заявила жена.— После увольнения родных детей и брата я от тебя ничего путного уже и не жду.

— Ты просто дура! — устало сказал Доброгласов.

Он лег на красный плюшевый диван и уставился на цветную фотографию полуголой дамы, закинувшей руки за затылок. В углу фотографии было написано «Истома». И дамочка и подпись к ней были знакомы Доброгласову со дня женитьбы. Он созерцал фотографию, потому что так ему

легче было обдумывать все обстоятельства несчастливо повернувшейся карьеры.

Жена, однако, не отставала.

— Каин! Почему ты уволил детей и Авеля? Ты этим буквально его убил!

— А ты хотела бы, чтобы Авель меня убил? Не выгони я Авеля, этот дурак Прозрачный попер бы меня самого.

— Но тебя ведь все равно снимают.

Тут Доброгласов отвел глаза от фотографии и, видно, придя к какому-то решению, сказал:

— Ну, это еще бабушка надвое сказала!

— А ты получил отчисления от «Тригер и Брак» за поставку фонарей?

— Аннета, ты пошлячка! Ну, как я мог взимать отчисления, когда Прозрачный всюду совал свой нос?

— Чем же ты будешь кормить своих детей?

— Волноваться не нужно. Что-нибудь выдумаем. Знаешь, Аннета, пока Прозрачный сидит у этого негодяя управделами ПУМа, я схожу к Бракам и попробую получить у них отчисления за фонари.

Евсей Иоаннопольский окружил Прозрачного отеческими заботами. Сделать это было нетрудно, потому что ни в каких земных благах невидимый не нуждался.

После длительной беседы с бухгалтером Филюрин узнал обо всем, что произошло в городе за время его отсутствия.

— Они, Егор Карлович, тепер вас как огня боятся! — убеждал Евсей.— Какое счастье для города, что в нем живет и работает такой светлый ум. Мне даже страшно, что рядом со мной сидит такая личность.

— Из этого нужно сделать соответствующие оргвыводы,— сказал Филюрин по привычке, но, вспомнив, что тела у него нет по-прежнему, печально затих.

Однако Евсей Львович понял слова Прозрачного посвоему.

— Конечно, нужно сделать соответствующие оргвыводы. Это блестящая идея. Нужно уволить Каина.

— Кто же его уволит?

— Ну, какой вы, простите меня, добродушный и замечательный человек. Вы его уволите, вы!

— Регистратор не может уволить своего начальника.

— Простой регистратор не может, а вот прозрачный регистратор может. Вы все эти мелкие дела передайте мне. Я все устрою. Зачем вам пачкаться в чепухе? У вас теперь есть более важные дела.

— В самом деле, безобразия творятся! — сказал Прозрачный, припоминая прочитанные в клубном заточении отчеты.

На другой день Иоаннопольский без доклада вошел в кабинет Доброгласова и сухо сказал:

— Прозрачный говорит, что вам следовало бы написать заявление об увольнении. В случае отказа Прозрачному придется рассказать кое-кому о том, как вы сдавали подряд на домовые фонари.

Каин Александрович настрочил заявление, даже не пикнув.

Падение Доброгласова подняло акции Прозрачного еще выше. Слава его, прилежно раздуваемая Иоаннопольским, выросла до пределов возможного, и даже состоявшееся вскоре назначение Евсея Львовича на пост заведующего отделом благоустройства не смогло ее увеличить.

Высокопоставленный регистратор службу бросил и коротал свои бесконечные досуги в игре на мандолине, посещении цирка и прогулках по городу. Скучал он по-прежнему, и развлекала его только шутка, которой научил его Евсей Львович, имевший на то особые виды. Шутка заключалась в том, что Филюрин регулярно заходил во все учреждения Пищеслава, пробирался в кабинеты ответственных работников и неожиданно вскрикивал:

— А я здесь! А я здесь!

Это всегда давало сильный эффект и поддерживало за Прозрачным репутацию неусыпного контролера над всем происходящим в городе. Самого же Филюрина чрезвычайно потешали испуганные лица и нервные судороги, охватывавшие занятых деловой работой людей.

Гуляя, как Гарун-аль-Рашид, по городу, Прозрачный слышал много разговоров о себе. Его хвалили. Говорили, что с его помощью грозные некогда учреждения стали более доступными для посетителей, что работники прилавка на вопрос о крупе уже не отвечают: — «Вот еще, чего захотели», — а, нежно улыбаясь, отвешивают ее с пятиграммовым походом. Толковали о великой пользе, принесенной Прозрачным, и радовались тому, что Центральный объединенный клуб, обнесенный уже стенами, скоро станет отвечать культурным запросам пищеславцев.

И в те дни, когда Филюрин слышал о себе такие речи, «Осенний сон», исполняемый им на мандолине, звучал еще упоительней, чем обычно.

И скромный серенький регистратор начинал гордиться все больше и больше.

Чувство это, разжигаемое Евсеем, принимало значительные размеры.

Иоаннопольский, державшийся на посту заведующего отделом благоустройства только благодаря Прозрачному и сердечно ему за это признательный, прилагал все усилия к тому, чтобы сделать Филюрину приятное.

Для начала Евсей раздобыл для Прозрачного большую комнату в доме № 16 по проспекту имени Лошади Пржевальского.

В этой комнате жил старик пенсионер Гадинг, кончины которого с нетерпением ждали все жильцы дома. На получение комнаты рассчитывали и соответственно этому строили планы на будущее: дворник, все жильцы от мала до велика и их иногородние родственники, а также управдом, его друзья и друзья его друзей.

Подстегиваемый нетерпеливыми жильцами, старик Гадинг тихо скончался. Не успел еще гроб проплыть на кладбище, как комната оказалась запечатанной восемнадцатью сургучными печатями. На них были оттиски медных пятаков, монограмм и просто пальцев. Это были следы жильцов. Кроме того, висели еще официальные фунтовые печати ПУНИ.

Ужасный поединок между жильцами и управдомом, друзьями управдома и родственниками жильцов и всех их порознь с ПУНИ прервался неожиданным въездом в комнату, служившую предметом стольких вожделений, Филюрина. С этого времени у Прозрачного появились первые враги.

Эта услуга Евсея Львовича явилась первой.

За нею последовало угодничество более вышное и обширное. Старался уже не только Евсей Львович. Нашлось множество бескорыстных почитателей филюринского гения.

С большой помпой был отпразднован двухлетний юбилей Филюрина в отделе благоустройства. Торжественное заседание состоялось в помещении городского театра, и если бы не клопы, которые немилосердно кусали собравшихся, то все прошло бы совсем как в большом городе.

Клопы были бичом городского театра. Спектакли приходилось давать при полном освещении зрительного зала, потому что в темноте мерзкие твари могли бы съесть зрителя вместе с контрамаркой.

Зато банкет после заседания был великолепен.

Юбиляру поднесли прекрасную мандолину с инкрустацией из перламутра и черного дерева и сборник нот русских песен, записанных по цифровой системе. Приветственные речи были горячи, и ораторы щедро рассыпали сравнения. Прозрачного сравнивали с могучим дубом, с ценным сосудом, содержащим в себе кипучую энергию, и с паровозом, который бодро шагает к намеченной цели.

Под конец вечера юбиляр внял неотступным просьбам своих друзей и сыграл на новой мандолине все тот же вальс Джойса «Осенний сон». Никогда еще из-под медиатора не лились такие вдохновенные звуки.

«Пищеславский пахарь» поместил на своих терпеливых столбцах длиннейшее письмо, в котором Прозрачный, помянув должное число раз многоуважаемого редактора и редактируемую им газету, благодарил всех, почтивших его в день двухлетнего юбилея. Письмо было составлено Иоаннопольским. Поэтому наибольшая часть благодарностей пала на его долю.

Иоаннопольского несло. Он вытребовал из допра поселившегося там скульптора Шаца.

— Шац,— сказал ему правая рука Прозрачного,— нужен новый памятник.

— Кому?

— Прозрачному!

— Нет,— ответил Шац,— я не могу больше делать памятники. Мне Тимирязев является по ночам, здоровается со мной за руку и говорит: «Шац, Шац, что вы со мной сделали?»

— Шац, памятник нужен,— продолжал Евсей,— и вы его сделаете.

— Это действительно так необходимо?

— Этого требует благоустройство города.

— Хорошо. Если благоустройство требует, я согласен. Но, предупреждаю вас, его не будет видно.

— Почему?

— Разве может быть видим памятник невидимому?

Иоаннопольский призадумался, поскребывая многодумную лысину.

— А все-таки вы представьте смету,— заключил он.

— Против сметы я не возражаю,— заметил скульптор,— ее видно. Однако должен вас предупредить, что памятник встанет вам не дешево. Вам бронзу или гипс?

— Бронзу! Обязательно бронзу!

— Хорошо. Все будет сделано.

В тот же вечер, когда произошел беспримерный разговор о постановке памятника невидимому человеку, из пищеславского допра по разгрузке вышел Петр Каллистратович Иванопольский — подлинный управделами ПУМа, известный авантюрист и мошенник.

Глава VIII

ХИЩНИК ВЫХОДИТ НА СВОБОДУ

Оставим на время невидимого, купающегося в лучах своей славы. Оставим граждан города Пищеслава, воздающих робкую хвалу Прозрачному. Оставим и Евсея Львовича, сидящего в кабинете Доброгласова и вычерчивающего красными чернилами многословные резолюции на деловых бумагах.

Обратимся к пружинам более тайным — к лицам, пребывающим теперь в ничтожестве, к людям, ропщущим и недовольным порядком вещей, возникшим в Пищеславе.

Выйдя за ворота допра, Петр Каллистратович Иванопольский очутился на Сенной площади и зажмурился от режущего солнечного света.

Так жмурится тигр, впервые выскочивший на песочную цирковую арену. Его слепит розовый прожекторный свет, раздражает шум и запах толпы. Пятясь назад, он шевелит жандармскими усищами и морщит морду. Ему очень хочется человечины, но он растерян и еще неясно понимает происходящее. Но дайте ему время. Он скоро свыкнется с новым положением, забегает по арене, обмахивая поджарый живот наэлектризованным своим хвостом, и перейдет к нападению — начнет угрожающе рычать и постарается зацепить лапой укротителя в традиционном костюме Буфалло Билля.

Пробежав под стенами домов до памятника Тимирязеву, Петр Иванопольский в удивлении остановился. Центральный объединенный клуб был окружен лесами. Из раскрытых ворот постройки цепью выезжали телеги, груженные толстыми колоннами.

Мимо Иванопольского прошел хороший его знакомый по давнишнему делу о дружеских векселях кредитного товарищества «Самопомощь».

— Алло! — крикнул Иванопольский.

Знакомый внимательно посмотрел в сторону Петра Каллистратовича, на секунду остановился, но, не ответив на поклон, важно проследовал дальше.

— Хамло! — сказал Петр Каллистратович довольно громко.

Затем он отправился в Пищетрест, чтобы повидаться с приятелем, с которым был связан узами взаимной протекции.

Приятель встретил Иванопольского без радости. Иванопольскому показалось даже, что его испугались. Тем не менее он немедленно приступил к делу.

— Ты, конечно, понимаешь, что мне до зарезу нужны деньги. Нужна служба.

— Вижу,— холодно сказал приятель.

— На первых порах я многого не требую. Рублей триста оклад и живое дело.

— Вы что, собственно, товарищ, хотите поступить к нам на службу?

— Ну, конечно же.

— Тогда подайте заявление в общем порядке. Впрочем, должен вас предупредить, что свободных вакансий у нас нет, а если бы и открылись, то все равно без биржи труда мы принять не можем.

Иванопольский сделал гримасу.

— Что ты, Аркадий! Это же бюрократизм. В общем порядке, биржа труда...

— Не мешайте мне работать, гражданин,— терпеливо сказал Аркадий.

Иванопольский в гневе повернулся, но, еще прежде чем он ушел, в кабинете раздался возглас:

— А я здесь!

Петр Каллистратович увидел, как перекосилась физиономия Аркадия. Потом по лицу Иванопольского пронесся ветерок, сама собой раскрылась дверь и в общей канцелярии послышалось то же восклицание:

— А я здесь! А я здесь!

Служащие вскакивали с мест и бледнели. Со столов сыпались пресс-папье.

Ничего решительно не поняв, Иванопольский плюнул, вышел на улицу и долго еще стоял перед фасадом Пищетреста, изумленно пяля глаза на его голубую вывеску с круглыми золотыми буквами.

«Что случилось? — думал бывший управделами.— Что за кислота такая в городе?»

Он толкнулся было в магазин фирмы «Ляпидус и Ганичкин», но тут его ждала неожиданность. Железные шторы магазина были опущены. Первая стеклянная дверь была закрыта на ключ, а на второй двери Иванопольский увидел большую сургучную печать.

Петра Каллистратовича взяла оторопь.

И он стал бегать по городу, желая восстановить прежние связи и разыскать кончик нити того счастливого клубка, в сердцевине которого ему всегда удавалось найти прекрасную службу, возможность афер, командировочные, тантьемы, процентные вознаграждения,— словом, все то, что он для краткости называл живым делом.

Но все его попытки кончались провалом. Одни его не узнавали, другие были непонятно и возмутительно официальны, а третьих и вовсе не было — они сидели там, откуда Петр Каллистратович только сегодня вышел.

— Придется в другой город переезжать,— бормотал Иванопольский,— ну и дела!

А какие такие дела происходят в городе, он себе еще не уяснил.

— Побегу к Бракам! Если Браки пропали, тогда дело гиблое.

Делами общества со смешанным капиталом «Тригер и Брак» ворочал один Николай Самойлович Брак, потому что Тригер запутался в валюте и давно был выслан в область, которая до приезда Тригера славилась только тем, что в ней находился полюс холода.

Дом Браков был приятнейшим в Пищеславе. Его усердно посещали молодые люди с подстриженными по-боксерски волосами, в аккуратных костюмах, продернутых шелковой ниткой, в шерстяных жилетах, туфлях мастичного цвета и мягких шляпах.

Именно здесь впервые в Пищеславе был станцован чарльстон и сыграна первая партия в пинг-понг. Семья Браков умела жить и веселиться по-заграничному. В передней с молодых людей горничная снимала пальто и брала на чай. После танцев проголодавшимся давали морс с печеньем, а браковские дочки развлекали их разговорами на зарубежные темы. Говорили преимущественно о разнице в ценах на вещи между Берлином и Пищеславом, клеймили монополию внешней торговли, из-за которой ходишь «голая, босая», и о новой заграничной моде — пудриться не пудрой, а тальком. Этому молодое поколение Браков придавало особо важное значение.

Заграничная жизнь в доме Николая Самойловича достигла своего апогея в тот вечер, когда глава семейства принес домой вязочку бананов.

Появление бананов в Пищеславе совпало с приездом в город выставки обезьян. Для поддержания жизни лучшего экспоната выставки — гориллы Молли — выставочная администрация выписывала бананы из-за границы. Горилла могла похвастаться тем, что, кроме нее, ни одна живая душа в Пищеславе не ест редкостных плодов.

Но семейство Брак в стремлении своем к настоящей жизни не знало никакого удержу. Николай Самойлович, баловавший дочерей, не мог отказать им ни в чем.

Выставочный сторож не устоял перед посулами Брака.

На чайном столе Браков закрасовались бананы. Они были, правда, вырваны из пасти гориллы, но зато укрепили за семейством репутацию европейцев душою и телом.

Со времени исчезновения Филюрина дом Браков затих. Молодые люди перестали ходить, чарльстон прекратился, а здоровье гориллы заметно улучшилось — она получала теперь свою порцию бананов полностью.

Дела Брака пошатнулись. Оптический магазин был опечатан за неплатеж налогов. Знакомый фининспектор сознался в том, что был дружен с женою некоего налогоплательщика, за что его и сняли с работы. Государственные учреждения не давали больше выгодных подрядов.

Николай Самойлович ходил по квартире смутный и раздражительный.

— Если так будет продолжаться еще неделю,— кричал он,— я пропал!

В такую минуту пришел к нему Доброгласов.

— Ну, как насчет «пыщи»? — зло спросил его Брак.

«Пыщей» Николай Самойлович называл все, имеющее отношение к деньгам, карьере, поставкам и тому подобным приятным вещам. «Как насчет пыщи» значило: «Как вы зарабатываете? Нет ли какого-нибудь «дельца»? Что слышно в губсовнархозе? С кем вы теперь живете? Получена ли в губсоюзе мануфактура? Почем сегодня на черной бирже турецкие лиры?» Многое, почти все, обозначалось словом «пыща».

Каин Александрович отлично знал универсальность этого слова и грустно ответил:

— Плохо.

— Душат? — спросил Брак.

— Уже задушили,— ответил Каин Александрович.— С работы сняли. Того и гляди под суд попаду.

— За что?

— По вашему делу. Подряд за фонари.

— Значит, выходит, что и я могу попасть с вами?

— Вполне естественно.

— Позвольте, Каин Александрович, но ведь с моей стороны это была не взятка, а добровольные отчисления, благодарность за услуги, которые вы мне оказывали в сверхурочное время.

— Нет, Николай Самойлович, будем говорить откровенно. Прозрачный сидит сейчас у бухгалтеришки Евсея, которого я, дурак, своими руками взял на службу, и играет на мандолине. Как только игра прекратится, нам сообщат. Так что если подлец Евсей захочет подослать Филюрина сюда, мы будем вовремя предупреждены. Итак, поспешим. Вы — лиходатель, а я — взяткобратель, а никакая не благодарность. Для нас обоих существует одна статья. Поэтому нам надо спасать друг друга.

— Кто бы мог подумать, что из-за такого дурака, как Филюрин, вся жизнь перевернется. Вы знаете, Каин Александрович, еще неделя — и я уже не человек.

— Подождите, Николай Самойлович, не убивайтесь.

— Нет! Нет! Я уже чувствую! Брак погибнет, как погиб Тригер. И, сказать правду, Тригеру лучше там, чем Браку здесь. Магазин пустят с молотка, квартиру заберут, в учреждениях сидят какие-то тигры. И в довершение всего — могут посадить.

— Вы думаете, мне лучше? — с чувством сказал Каин Александрович.— Воленс-неволенс, а я должен кормить детей и брата Авеля, которых я сам уволил. Денег нет, и я не знаю, откуда они могут взяться.

— Нужно действовать. Нужно что-нибудь придумать. Неужели Прозрачного никак нельзя сковырнуть?

— Попробуйте сковырните! Вы знаете про его шутки в учреждениях?

— «А я здесь!»?

— Ну да. Так вот, попробуйте сковырните вы его, когда никто не знает, где он и что!

— Вот если бы он не был прозрачный...— задумчиво молвил Николай Самойлович.

— Чего еще захотели! Да я бы его тогда моментально выгнал со службы, да так, что местком и пискнуть не посмел бы!

— Тогда есть только одно средство! Сделать его снова видимым!

— Открыл Северную или Южную Америку! — с иронией произнес Доброгласов.— Не вы ли это забросите свои коммерческие дела и займетесь изобретенческими вопросами?

— Нет, не я.

— А кто?

— Тот, кто сделал его невидимым.

— Бабский!!!

— Догадались наконец.

— Но ведь он совершенно сумасшедший.

— А самое существование Прозрачного — это не сумасшествие? А мы с вами не сумасшедшие, если живем в таком городе и до сих пор не издохли?!

Глаза Каина Александровича расширились. Надежда залила их зеркальным светом.

— Да! — закричал он.— Мы должны выявить Прозрачного, и мы его выявим!

Николай Самойлович поспешно переодевался. Он стянул свое брюхо замшевым поясом с автоматической застежкой. Заливаясь краской, застегнул ворот рубашки-лионез и пошарил в карманах, бормоча:

— Да! Нужны деньги. О, эти деньги!..

— Их жалеть нечего,— сказал Доброгласов,— с лихвой окупим.

— Ну, с богом! Вы знаете, Каин Александрович, никогда в жизни я еще так не волновался.

И союзники поспешно двинулись на Косвенную улицу, прибавляя шагу по мере приближения к затхлому жилью изобретателя.

В начале Косвенной их поразили необычные крики. Навстречу им по мостовой двигалась странная процессия. Впереди всех, пританцовывая и взмахивая локтями, бежал совершенно голый, волосатый, грязно-голубой мужчина.

Нужно думать, что нагретые солнцем булыжники обжигали ему пятки, потому что голый беспрерывно подскакивал вершка на три от мостовой.

— Я невидимый! — кричал голый низким колеблющимся голосом.

Толпа отвечала смехом и улюлюканьем.

— Я невидимый! Я невидимый! — надсаживался человек.— Я перестал существовать!

— Кто это такой? — спросил Каин Александрович у мальчишки.— Что тут случилось?

Но никто не отвечал. Зрителям не хотелось терять на пустые разговоры ни одной минуты.

Голубой человек с грязными подтеками на спине делал уморительные прыжки. Толпа негодовала:

— Срам какой!

— Давно такого хулиганства не было!

— В милицию его!

— Я невидимый! — вопил голый.— Я стал прозрачным. Я, прошу убедиться, изобрел новую пасту «Невидим Бабского»!

— Бабский! — ахнул Доброгласов.— Мы пропали, Николай Самойлович. Видели, что делается? Окончательно спятил!

К месту происшествия уже катил в пролетке постовой милиционер.

— Держите его, граждане! — крикнул он.— Окажите содействие.

— Вон! — орал Бабский.— Никто не может меня схватить. Меня не видно! Разве вы не видите, что меня не видно?! Ха-ха! «Невидим Бабского» сделал свое дело! Каково?

— Очень хорошо,— уговаривал милиционер, просовывая руки под голубые подмышки изобретателя,— не волнуйтесь, гражданин!

Толпа с гиканьем подсаживала Бабского в пролетку.

— Гениальные изобретения всегда просты! — кричал Бабский, валясь на спину извозчика.— «Невидим Бабского» — шедевр простоты — два грамма селитры, порошок аспирина и четверть фунта аквамариновой краски. Развести в дистилированной воде!..

Извозчик слушал, равнодушно отвернув лицо в сторону. Ему было все равно, кого возить — голых, пьяных, голубых или сумасшедших людей. Он жалел только, что не вовремя заснул и не успел ускакать от милиционера.

Бабский буйствовал. С помощью дворников и активистов из толпы Бабского удалось уложить поперек пролетки. Дворники уселись на спину изобретателя. Милиционер вскочил на подножку, и отяжелевший экипаж медленно поехал по Косвенной улице, и до самого поворота в Многолавочный переулок видны были толстые аквамариновые икры городского сумасшедшего.

Целый месяц Бабский искал утерянный секрет «веснулина» и кончил тем, что окончательно рехнулся, выкрасился

и в полной уверенности, что стал прозрачным, выбежал на люди.

— Что ж теперь делать? — растерянно спросил Брак.

Каин Александрович топнул ногой, выбив каблуком из мостовой искру.

— Конечно! — сказал он.— Воленс-неволенс, а нужно искать других способов.

Опечаленные друзья, обмениваясь короткими фразами, повернули домой.

— Зайдем ко мне,— предложил Николай Самойлович,— посидим, пообедаем. Может, что-нибудь и придумаем. Вы знаете, Доброгласов, нам нужен человек со свежими мозгами. Не знаю, как ваши, но мои уже превратились в битки.

— Да, Каин Александрович, нам нужен свежий, энергичный, без предрассудков и вполне свой человек. И этот человек...

Николай Самойлович растворил дверь кабинета и отступил:

— Вот!

В кабинете, развалясь на диване и покуривая хозяйскую папиросу, полулежал Петр Каллистратович Иванопольский.

Глава IX

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПАНЦИРЬ

Подлинный бывший управделами ПУМа Петр Каллистратович Иванопольский за время сидения в допре действительно сохранил свежесть мыслей, накопил много энергии и окончательно распростился со всеми предрассудками.

Знакомство его с Каином Александровичем носило сердечнейший характер. Доброгласов, тряся руку Иванопольского, блаженно улыбался и долго повторял:

— Как же, как же, отлично знаю! Управделами ПУМа! Очень, очень приятно! Но вы знаете, какой у вас есть ужасный однофамилец! Змея!

Когда Иванопольский узнал все пищеславские новости, ему стала понятна холодность друзей и плачевная участь, постигшая торговый дом «Лапидус и Ганичкин».

— Загорелся сыр божий,— сказал он.

Щеки его, покрытые до сих пор тюремной бледностью, порозовели.

— Как ваше мнение, Петр Каллистратович? — спросил Доброгласов, искательно глядя на собеседника.

Насторожился и Брак.

— Мое такое мнение,— объявил гость,— что Прозрачному нужно пришить дело.

Мысль, высказанная Иванопольским, была так значительна, что Доброгласов и хозяин дома несколько времени помолчали.

— Скажите,— вымолвил наконец Каин Александрович,— правильно ли я вас понял? Пришить дело?

— Это немыслимо! — вскричал Брак.

Рот его наполовину открылся, и оттуда глянули давно не чищенные от горя и тоски зубы. Но гость стоял на своем.

— Пришить дело. Безусловно.

— Позвольте, как же это можно пришить дело невидимому человеку?

— Вам что, собственно говоря, нужно? Опорочить его?

— Да. Во что бы то ни стало убрать Прозрачного.

— Вот и убирайте. Я вам дал идею.

— Вы шутите, Иванопольский! — закричал вдруг Брак.— Какое может быть дело? Филюрин физически не существует.

— Вы правы, Николай Самойлович. Он физически не существует, но зато он существует юридически. Вы рассказывали, что Прозрачный имеет сбережения в сберкассе? Прекрасно. Это подтверждает мое мнение. У него есть комната? Даже новая комната, которую он получил уже в невидимом состоянии? Тем лучше. Все это доказывает, что Прозрачный — лицо юридическое. А я могу пришить любому юридическому лицу любое юридическое дело.

— Хорошо,— заволновался Доброгласов,— допустим, хотя я сильно сомневаюсь в том, что Прозрачный попадет под суд, но ведь это одна фикция. Он может просто не прийти на заседание суда!

— Если он сделает эту глупость, он погиб! — спокойно сказал Иванопольский.— Весь город будет знать, что Прозрачный испугался суда и, следовательно, виновен.

— А если явится?

— Ну, это уж зависит от того, какое дело мы против него поведем.

Собеседники еще раз попытались пробить юридический панцирь, обтекающий физическое тело Петра Каллистратовича.

— Ладно. Его присуждают. Кто будет сидеть в тюрьме?

— Прозрачный, конечно!

— Так он вам и пойдет туда! А вдруг вместо тюрьмы он побежит, например, в цирк? Кто ему может помешать?

— Пусть идет куда угодно. Юридически он будет сидеть в тюрьме. И наконец зачем нам уголовное дело? Опозорить человека можно и гражданским делом. Наша задача — посадить его на скамью подсудимых и добиться обвинительного приговора. После этого карьера Прозрачного окончится. Поверьте слову!

Доброгласов и Брак были наконец побеждены. Они рассыпались в благодарностях.

— Я человек скромный,— сказал Иванопольский,— но одной юридической благодарности мне мало. Я хотел бы получить также физическую.

После долгого торга, который определил размеры вознаграждения Петра Каллистратовича и степень участия его в будущих благах, а также после получения им задаточной суммы на необходимые издержки, Иванопольский поднялся и сказал:

— Покамест я еще не могу сказать вам, какое именно обвинение мы предъявим Прозрачному, так как не знаком с его интимной жизнью. Тут уж мне придется бегать, а вам ждать и верить. У нас ведь, если говорить официально, товарищество на вере?

Узнав у компаньонов, где живет Прозрачный, и еще раз подтвердив, что дело можно пришить всякому,— была бы охота,— повеселевший Иванопольский ушел.

Несколько дней Петр Каллистратович колесил по городу, выискивая за Филюриным грехи, но прошлое регистратора было так же прозрачно, как и настоящее. За ним не было ничего: ни прогулов по службе, ни хулиганских выходок, ни какой-либо преступной страсти.

Некоторое утешение Иванопольский получил только в доме № 16 по проспекту имени Лошади Пржевальского. Все обитатели дома, возмущенные тем, что ПУНИ отдало комнату Прозрачному, были настроены против своего нового соседа. Но из их рассказов Иванопольский не почерпнул необходимых ему данных. Невидимый жилец был тих и кроток и даже на мандолине играл по правилам — только до одиннадцати часов вечера.

Иванопольский понял, однако, что жильцы дома № 16 готовы лжесвидетельствовать против Прозрачного в любом деле, но так как самого дела еще не было, свидетели были пока не нужны и оставлены про запас.

На четвертый день обследования и собирания материалов Петр Каллистратович направился на старую квартиру Филюрина, надеясь хоть там напасть на какой-нибудь след.

Когда он подходил к дому мадам Безлюдной, у фасада стояло несколько зевак. Мастера прилаживали к стене дома мраморную доску с золотой готической надписью:

«Здесь жил Прозрачный в бытность его Егором Карловичем Филюриным».

Петр Каллистратович с ненавистью посмотрел на памятную доску и, поругиваясь, постучал в дверь мадам, из-за которой неслось пение Безлюдной и крики младенца.

Ничего не знавший о комплоте, организующемся против невидимого, Евсей Львович Иоаннопольский безмятежно правил отделом благоустройства. Сотрудники любили его, хотя Пташников, понимавший, какая пропасть ныне отделяет его от Евсея, уже не смел давать ему медицинских советов.

Иоаннопольский, робкий по природе, всю свою жизнь искал крепкое капитальное место, с которого его не могли бы в любой день снять и где он мог бы по-настоящему отдохнуть. Сейчас ему казалось, что такое место он нашел. Поэтому он старательно его укреплял, делая все возможное для того, чтобы поддержать престиж своего покровителя. Устроив Прозрачному юбилей и польстив ему памятной доской на доме мадам Безлюдной, Евсей Львович спешил с разработкой проекта памятника другу и благодетелю.

Мысль эта казалась ему блестящей, и он гнал вовсю, опасаясь, что идея будет перехвачена завистниками и недругами.

Скульптор-управдом вместе с заведующим отделом благоустройства Пищ-Ка-Ха по многу часов подряд толковали о памятнике Невидимому и в конце концов убедились в том, что фигуру Прозрачного не удастся отлить ни из бронзы, ни из гипса, потому что не получится подлинной невидимости.

— Может быть, Евсей Львович, остановимся все же на бронзовом,— осторожно спросил скульптор, войдя в кабинет Иоаннопольского с большой папкой эскизов.

— Нет, нельзя,— ответил Евсей,— получится какая-то видимость, а это уже не то.

— Тогда, может быть, поставим товарищу Прозрачному колонну! — воскликнул Шац.

— Вроде Вандомской?

— Конечно! Дайте мне заказ, и я вам сделаю прекраснейшую колонну с барельефами и другими скульптурными украшениями.

— Это мысль. Кстати, у нас на дворе есть много свободных колонн от Центрального клуба.

— Тогда поставим несколько! Одну большую колонну, символизирующую невидимость, посредине, а по бокам — портики для прогулки граждан.

— И сквер!

— И скамейки для тех, кто хочет посидеть и полюбоваться на памятник!

Новая идея очень увлекла Иоаннопольского. Он старательно укреплял свое положение.

Но не успел проект пройти все положенные инстанции, как произошло нечто совершенно непредвиденное.

Придя однажды на службу, Иоаннопольский заметил, что Пташников смотрит на него кроличьим взглядом.

— Что с вами? — пошутил Евсей Львович.— У вас очень нехороший вид. Может быть, у вас на нервной почве.

Пташников засмеялся.

— Или отравление уриной? — приставал начальник.

Пташников несмело улыбался. Но, как видно, дело было не на нервной почве. Через несколько минут учрежденческий знахарь вошел в кабинет Иоаннопольского.

— Вы слышали новость, Евсей Львович? — спросил он, с опасением поглядывая на дверь.— Говорят, будто бы у товарища Прозрачного родилась дочь.

— Что за глупости!

— Честное слово, говорят.

— От кого?

— От бывшей его квартирной хозяйки.

— Какие глупости! — вскричал Иоаннопольский.

Но тут же вспомнил свой разговор с мадам Безлюдной в утро исчезновения Филюрина.

— Чепуха! — проговорил он менее уверенным тоном.

— Нет, нет! Говорят, совершенно точно!

— Ну, что ж из того? Ну, родился ребенок, но ведь это же его интимное дело!

— Да, но рассказывают подробности. Говорят, что он ее на седьмом месяце бросил и теперь даже знать не хочет!

Иоаннопольский сердито встал из-за стола и крикнул:

— Пташников! Вас надо изжить! Воленс-неволенс, а я вас уволенс за распространение порочащих слухов.

— При чем тут я? — оправдывался знахарь.— Я хотел вас предупредить. Вы знаете, что весь город со вчерашнего вечера только об этом и говорит. Я удивляюсь, как товарищ Прозрачный этого не знает.

— Молчите, Пташников! У вас слишком длинный язык!

Но Пташникова уже нельзя было остановить. Прижимая руки к груди и наклоняясь над чернильницей «Лицом к деревне», которая перекочевала в кабинет заведующего, он сообщал новости одна другой ужасней.

— Квартирохозяйка подала в суд!

— Чего же она хочет?

— Алиментов. Много алиментов. Удивляюсь вам, Евсей Львович, весь город знает. Люди возмущены.

— Как? Кто смеет возмущаться?

— Многие! Некоторые, правда, не верят, чтобы Прозрачный мог бросить несчастную больную женщину с ребенком на руках!

— Это ложь! — завопил Евсей.— Они этого не докажут!

— А между прочим, говорят, что бедная женщина голодает, в то время как Прозрачный купается в роскоши.

Тут только Иоаннопольский понял, какая бездна разверзлась под его ногами. Покровитель находился в величайшей опасности. И место заведующего отделом благоустройства, которое Евсей Львович так старательно укреплял и дренажировал, вырывалось из-под его геморроидального зада.

Иоаннопольский знал силу сплетни.

«Хорошо,— думал он, бегая вдоль стены кабинета.— Суд — это еще полбеды, хотя и это уже плохо. Прозрачный не должен был бы судиться. Как они это докажут? Нужно бороться, иначе все погибло. Нужно пустить контрслух о том, что все это враки, что Прозрачный ни в чем не виновен...»

— А я здесь! — раздался голос Прозрачного.

— Егор Карлович? — спросил Иоаннопольский.— Ну, так говорите тише.

— Что новенького в отделе? — сказал Прозрачный.— Хороший у вас галстук, Евсей Львович, сколько дали?

Но Евсею Львовичу было не до галстука. Он сразу вывалил Прозрачному все, что знал со слов Пташникова.

— Разве это про меня говорят? — удивился невидимый.— Я действительно слышал в городе разговоры про какого-то ребенка. Но я думал, что это про кого-нибудь другого.

Евсей Львович со злостью посмотрел в сторону шкафа, откуда шел беззаботный голос Филюрина, и в отчаянии подумал:

«Ему все равно, засудят его или не засудят, а ведь я место потеряю, мне пить-есть надо. Я ж не прозрачный».

— Еще можно все поправить,— сказал Евсей Львович,— вы жили с ней, с вашей квартирохозяйкой?

— С кем? С мадам Безлюдной? Даже не думал! Все с ума посходили, что ли?

— В таком случае я ничего не понимаю! — воскликнул Евсей Львович.— Вы, серьезно, с ней не жили?

— Да ей-богу же, не жил! Даю вам честное слово!

— Откуда? Откуда тогда этот слух? Как же эта дура осмелилась вас позорить? Вы знаете, что на вас подали в суд? Вам нужно защищаться! При вашем положении вы должны пресекать подобные выступления в корне.

И Евсей Львович, сообразивший теперь, что дело совсем не в мадам Безлюдной и не в ее претензиях, что тут действуют какие-то темные и не ведомые ему силы, принялся втолковывать Прозрачному элементарные методы борьбы с алиментным злом.

Еще большую энергию вдохнул в него телефонный звонок. Дружеский голос с недоумением сообщил, что Прозрачному вчинен гражданский иск на содержание ребенка, прижитого им от гражданки Безлюдной.

— Повестку послали на квартиру товарищу Прозрачному. Суд состоится, вероятно, дня через три. Так как общественность проявляет к процессу большой интерес, судебное заседание будет устроено на Тимирязевской площади под открытым небом! — закончил доброжелатель.

После этого в трубке послышался рвущий уши треск и хлопанье крыльев.

— Едемте ко мне! — торопил Евсей.— Нужно обсудить! Принять меры!

Когда Иоаннопольский сбежал по лестнице, то увидел, что у дверей Пищ-Ка-Ха стояла мадам Безлюдная в легком белом платье с вышивкой. На руках у нее лежал большой белый кокон, из которого слышался слабый писк.

Услышав голос Прозрачного, легкомысленно спросившего Евсея Львовича «который час», мадам живо выступила вперед и сразу же взяла всесокрушающее «до» диез.

— Вот он! — вопила она.— Смотрите все на отца! Его не видно, но он здесь! От только что разговаривал!

— Бегите! — шепнул Евсей.

Но было уже поздно. Вдова оскалила все свое золото и, протянув ребенка вперед, завизжала:

— На, подлец! Возьми своего ребенка!!!

Прозрачный инстинктивно подхватил дитя. И взорам собравшейся толпы предстала удивительная картина: ребенок, завернутый в пикейное одеяльце, повис в воздухе, а мадам, предусмотрительно отбежавшая шагов на десять, ломала пальцы, без перерыву крича:

— Смотрите все на отца-негодяя! Смотрите! Вот он! А еще Прозрачный!

Евсей Львович был вне себя.

— Да что вы стоите как дурак! Бросайте ребенка и бегите! Это же подстроенный скандал!

И необозримая толпа, запрудившая к тому времени улицу и переулки, увидела, как ребенок плавно спустился на тротуар и лег на пороге Пищ-Ка-Ха.

— Он убежал! — надрывалась мадам Безлюдная.— Последний босяк этого не сделал бы.

Евсей Львович ринулся вперед и стал проталкиваться сквозь толпу.

Он увидел, как вдоль улицы, под стенкой, трусил Каин Александрович, удаляясь от места происшествия. Рядом с ним, отдуваясь и обтирая лоб платком, тяжело бежал толстяк в коверкотовом костюме. В бежавшем Евсей без труда узнал Николая Самойловича Брака.

А у порога Пищ-Ка-Ха, указывая то на плачущую мать, то на лежащего у ее ног ребенка, стоял Петр Каллистратович Иванопольский.

Возбужденная событием, толпа не расходилась до поздней ночи.

Глава X

«ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ НЕ ИМЕЮ»

Иванопольский, Доброгласов и Брак предались ликованию.

— Ну, как насчет «пыщи»? — хохотал Николай Самойлович.

— Живое дело? — ответил Иванопольский.— Говорю вам это как юридическому лицу!

А бледный от внутреннего торжества Каин Александрович слонялся из угла в угол, мечтая о том часе, когда он снова войдет в кабинет заведующего отделом благоустройства, чтобы писать там резолюции, получать отчисления и пугать служащих своим озабоченным видом. Он ясно воображал себе, как сорвет с дверей кабинета с перепугу написанный им приказ об увольнении родичей и повесит на его место белую эмалированную таблицу: «Приема нет».

В последние три ночи перед разбором дела Прозрачного Доброгласову снился один и тот же воинственный сон. Он отчетливо видел ахейских воинов, подступивших к огромным воротам Трои и с удивлением останавливающихся перед белой эмалированной таблицей с надписью: «Приама нет!»

И он слышал во сне, как печально кричали ахейцы, отступая от ворот Трои:

— Приама нет! Приема нет!

— Приема нет! — кричал Каин Александрович, просыпаясь от звуков собственного голоса.

Все предвещало победу и обильную «пыщу», которая, конечно, должна была вскоре последовать. Даже самое звучание слова «пыща» таило в себе обещание некоей пышности и грядущего благоденствия.

В то время как в стане врагов Прозрачного кипело оживление и в доме № 16 по проспекту имени Лошади Пржевальского шла вербовка свидетелей по алиментному делу, Евсей Львович прилагал все усилия к тому, чтобы укрепить пошатнувшуюся популярность своего невидимого покровителя.

Иоаннопольский привел в действие весь аппарат отдела благоустройства. Сотрудники отдела, напуганные возможностью возвращения Каина Александровича, старались вовсю. Они с жаром доказывали друзьям и знакомым, что Прозрачный действительно является существом кристальным и что возведенный на него поклеп — просто глупая болтовня пьяной бабы.

Следствием этого был новый поворот в общественном мнении. Большинство склонялось к тому, что обвинять Прозрачного до суда — преждевременно.

Евсей Львович маялся. Планы, один грандиознее другого, возникали в его лысой голове. То он решал вести борьбу на суде со всем возможным напряжением, заучивал

свои показания (он собирался выступать в качестве свидетеля с громовой речью), то исход дела казался ему безнадежным, и мысли его обращались к американским родственникам — Гарри Львовичу, Синклеру Львовичу и Хираму Львовичу Джонопольским — родным и богатым братьям Евсея Львовича.

«Не лучше ли бросить,— думал он,— всю эту волынку и продать Филюрина в Америку? Там призраки, наверное, высоко ценятся. Хорошо было бы списаться с братьями!»

Но эта чушь сидела в голове недолго, и Иоаннопольский снова принимался за будничные хлопоты по сколачиванию свидетельского института и репетированию с Прозрачным его последнего слова.

На рассвете того дня, в который назначено было судебное заседание, Евсей проснулся от голоса Филюрина.

— Евсей! — говорил Прозрачный плачущим голосом.— Мне тошно жить на свете! Разве это жизнь? Я не знаю, что такое аппетит. Я не спал уже два месяца. А теперь еще алименты плати. Вот жизнь!

Иоаннопольский вскочил и быстро стал одеваться.

Солнце, высунувшееся из-за горизонта, посылало темно-розовые лучи прямо под ноги людям, работавшим на площади.

Перед памятником Тимирязеву устанавливали скамьи, к фонарным столбам приладили радиоусилители, и на судейском столе, покрытом сукном, уже стоял графин с водой и никелированный колокольчик.

— Я не хочу платить алиментов! — тосковал Филюрин.— Невидимый не должен платить алименты. Мало того, что я потерял тело! Лучше и не мылся бы никогда в своей жизни!

— Так вы смотрите,— увещевал Иоаннопольский,— говорите громко и медленно. Слышите?

— Да слышу, слышу,— уныло отвечал Прозрачный,— вот противная баба Безлюдная! Хорошо, что я ей за квартиру, когда съезжал, не заплатил.

Ровно в десять часов усилители разнесли по всей площади крик:

— Суд идет! Прошу встать!

Но так как пищеславцы, хлынувшие на площадь в несметном числе, и без того стояли на ногах, то обычного шевеления при появлении судей не произошло.

Уняв гомонившие толпы продолжительными, во сто раз усиленными радиозвонками, нарсудья исподлобья взглянул на непривычную по величине аудиторию и возвестил:

— Слушается дело по иску гражданки Безлюдной к гражданину Филюрину. Гражданка Безлюдная!

Мадам приблизилась к столу и, прежде чем ее успели спросить, заголосила, оглядываясь на толпу и выставляя вперед малыша. Судья успокоил ее мягким замечанием и вызвал Филюрина.

— А я здесь! — прокричал Прозрачный.

Судья попросил относиться к суду серьезней, а мадам заплакала навзрыд. В толпе поднялся шум — заседание начиналось общим сочувствием истице.

Особенно горячих сторонников потерпевшей пришлось призвать к порядку. Только после этого притихли стоявшие в первых рядах Каинович и Иванопольский. Доброгласов и Брак таились где-то вглуби. Евсей Львович в соломенной шляпе канотье и белом пикейном жилете (именно так он был одет в день свадьбы своей сестры много лет тому назад) стоял с бурым от волнения лицом поблизости к судьям. За ним виднелись лица Пташникова, его тайной жены, тайного сына, курьера Юсюпова и инкассатора. Евсей Львович поминутно оборачивался и делал своей свите какие-то знаки.

Вдова с плачем давала объяснения.

Она ничего не требовала, ничего не просила. Она хотела только, чтобы все узнали, как низко бросил ее этот человек, который когда-то с ней сходился, был видимым, а тогда, когда его фактическая жена была на седьмом месяце беременности, почему-то сделался невидимым.

— Не кажется ли это суду подозрительным? — с гражданским пафосом спросил из первого ряда Петр Каллистратович Иванопольский.

«Это жулик,— хотелось крикнуть Евсею,— не верьте ему».

Но судья и сам знал, что ему нужно было делать.

— Уведите этого гражданина! — сказал судья курьеру.

Иванопольский, выведенный за пределы площади, обошел вокруг перестроенного Центрального клуба и вернулся назад.

— И я прошу,— закончила вдова,— чтобы суд заклеймил обманщика и...

— И воочию показал,— не мог удержаться Иванопольский,— что пролетарский суд, советский суд, учтя статью гражданского процессуального кодекса, покарал...

Конец вдовьей речи Иванопольский произносил уже под надзором курьера, вторично выводившего его с площади.

— Не кажется ли суду подозрительным,— сказал Евсей Львович дрожащим голосом, снимая канотье,— что посторонние элементы давят на сознание граждан судей?

— А вы кто такой? Правозаступник? Тогда почему вы вмешиваетесь?

Евсей Львович в страхе отступил. И дело продолжалось.

— Филюрин, Егор Карлович,— сказал судья,— дайте ваши объяснения.

Стало так тихо, что слышно было, как на Тихоструйке кричат дети, занятые ловлей раков.

— Что же говорить, товарищ судья! — грустно молвил Прозрачный.— Действительно, я у мадам Безлюдной снимал комнату. (Смех Каиновичей). Но ничего с ней у меня не было. (Голос Брака: «Ну-у-у!») Верьте не вѐрьте, товарищ судья, тут моей вины нет. Эта дамочка со всеми крутила! (Радостное восклицание Евсея Львовича). Теперь, товарищ судья, разрешите задать гражданке вопрос?

— Можете.

— Скажите, мадам Безлюдная, почему вы так поздно заявили в суд, если выходит, что я вас два месяца тому назад бросил?

— Не подумала как-то,— ответила вдова, ища глазами поддержки в Иванопольском.

— Больше вопросов не имею! — закричал Евсей Львович, не дожидаясь, пока эту фразу произнесет подученный им Прозрачный.

— Выведите этого гражданина,— сказал судья.

И судоговорение продолжалось.

Когда Евсей Львович бегом вернулся на площадь, шел вызов свидетелей. Со стороны мадам Безлюдной вышло около пятидесяти человек во главе с Петром Каллистратовичем. Со стороны же Прозрачного выступил один только Евсей Львович. Сколько ни делал он знаков своей свите, никто не вышел. Сунувшийся было на соединение с Иоаннопольским Пташников в последний момент одумался и нырнул в толпу.

Свидетелей увели в Центральный клуб и вызывали оттуда поодиночке.

Навербованные Иванопольским свидетели оказались всесторонне осведомленными.

Да, они часто видели бывшего Филюрина вместе с истицей, и часто им удавалось заметить существовавшую между этими гражданами интимную близость, т. е. поцелуи, продолжительные пожатия рук, нежность взглядов и многое другое, неоспоримо доказывающее, что Прозрачный является отцом ребенка и что он совершил неблаговидный поступок, бросив ни в чем не повинное дитя и переселившись к тому же в совершенно чужой дом.

Так показывали все жильцы, дворники и управдом дома № 16 по проспекту Лошади Пржевальского.

Свидетельские показания произвели на толпу ошеломляющее впечатление. Чистота Прозрачного была испачкана и вываляна в пыли.

Ввели Иванопольского.

— Вы что, пришли как свидетель? — спросил судья.

— Я пришел к вам как юридическое лицо к юридическому лицу,— с жаром сказал Петр Каллистратович.

— Выведите его,— страдальчески сказал судья,— и не пускайте больше. Кстати, вы судились уже?

— Четыре раза,— ответил Иванопольский, которого на этот раз уводил милиционер.

Это было единственное выступление, бросившее некоторую тень на показания свидетелей истицы. Расположение толпы было все же на стороне бедной женщины, тем более что Евсею Львовичу так и не удалось произнести громовой речи.

Евсей долго вытирал лысину, прижимал канотье к свадебному пикейному жилету, но никак не мог вспомнить ни одного слова из затверженной наизусть речи. Неожиданно для самого себя Иоаннопольский сказал судье:

— Больше вопросов не имею.

— Вы и не можете их иметь! — сказал измочаленный судья.— Идите! Подсудимый, вам предоставляется последнее слово.

— Мало того, что я невидимый,— послышался рыдающий голос,— она мне еще хочет чужого байстрюка подбросить.

— Прошу выбирать выражения! — сказал судья.

— Хорошо, товарищ судья, только напрасно на меня люди говорят. Я человек искалеченный. Тут Бабского с его мылом судить надо, а не меня.

— Держитесь ближе к делу.

Голос Прозрачного шел от цоколя памятника.

— Товарищ судья...

Но не успел Прозрачный высказать свою мысль, которая, возможно, была бы ближе к делу, чем все предыдущие, как случилось нечто такое, что исторгнуло из груди всех пищеславцев, собравшихся на площади, протяжный вопль.

На цоколе памятника показалось розоватое облачко, которое на глазах у всех уплотнилось и приобрело очертания человека.

Судья вскочил. Графин с водой опрокинулся и окатил присевшего на корточки Евсея Львовича с ног до головы. Колокольчик брязнулся о каменные плиты, издав глухой звон.

Но все было покрыто громовым шумом толпы, увидевшей Егора Карловича Филюрина в его натуральном виде, с порядочной русой бородой и всклокоченными волосами.

«Веснулин» городского сумасшедшего Бабского неожиданно и вмиг прекратил свое действие.

Голый с криком соскочил наземь, сорвал со стола сукно и закутался им, как тогой.

— Согласен! — закричал он, обнимая судью голой рукой.— На все согласен! Хоть ребенок и не мой, пусть берут алименты! Я видимый! Я видимый!

Но истицы уже не было. Она в страхе убежала.

Егор Карлович Филюрин получил тело, а вместе с ним возможность есть, пить, спать, двигаться по службе, не посещать общих собраний и делать еще тысячу, доступных только непрозрачным людям, чертовски приятных вещей.

ЭПИЛОГ

На другой день после суда Евсея Львовича вызвал начальник Пищ-Ка-Ха.

— Скажите,— спросил он,— как вы попали на должность заведующего отделом?

— Вы сами меня назначили,— ответил Евсей Львович шепотом.

После вчерашнего он потерял голос.

— Не помню, не помню,— сказал начальник.— А где вы раньше служили?

— Там же. Бухгалтером.

— Ага! Теперь я вспоминаю. Так вы и оставайтесь бухгалтером.

Не чуя от счастья ног, Евсей Львович возвратился в отдел, развернул главную книгу и сквозь радостные слезы посмотрел на ее розовые и голубые линии.

В отделе все было по-старому. За своей деревянной решеточкой сидел Филюрин, аккуратно вписывая в книгу регистрации земельных участков трезвые будничные записи. Семейство Пташниковых вертело арифмометр, щелкало костяшками счетов и копировало под прессом деловые письма. Инкассатор бегал по своим инкассаторским делам.

И не было только Каина Александровича. На его месте сидел другой.

За время прозрачности Филюрина город отвык от мошенников и не хотел снова к ним привыкать. По этой же причине угас приятнейший в Пищеславе дом Браков, не возвратился к живому делу энергичнейший управделами ПУМа Иванопольский, а мадам Безлюдная так и не посмела возобновить свои неосновательные притязания.

Евсей Львович сполз с винтового табурета и подошел к Пташникову.

— Ну, что? — спросил он.

— Я думаю, что это на нервной почве,— ответил Пташников по привычке.

— А знаете,— закричал вдруг Филюрин, который в продолжение уже пяти минут рассматривал свое лицо в карманном зеркальце.— А ведь веснушки-то действительно исчезли!

1001 ДЕНЬ, ИЛИ НОВАЯ ШАХЕРЕЗАДА

Товарищ Шайтанова

Известная в деловых кругах Москвы контора по заготовке Когтей и Хвостов переживала смутные дни. В конторе шла борьба титанов: начальник учреждения, товарищ Фанатюк, боролся со своим заместителем, товарищем Сатанюком.

Если бы победил титан Фанатюк, то всем сторонникам Сатанюка грозило бы увольнение. Победа же титана Сатанюка вызвала бы немедленное изгнание из конторы

всех последователей Фанатюка. Причины спора были уже давно забыты, но отношения между титанами обострялись все больше, и момент трагической развязки близился.

Служащие бродили по коридорам конторы, задирая друг друга.

— Слышали? Фанатюка бросают в Минусинск на литературную работу!

— Слышали? Бросают! В Усть-Сысольск! На заготовку коровьего кирпича. Но не товарища Фанатюка, а вконец разложившегося Сатанюка.

Из раскаленных страстями коридоров несло жаром. Самые невероятные слухи будоражили служащих. Фанатики и сатанатики ликовали и огорчались попеременно.

Борьба кончилась полным поражением Сатанюка. Его бросили в Умань для ведения культработы среди местных извозопромышленников.

И грозная тень победившего Фанатюка упала на помертвевшую контору по заготовке Когтей и Хвостов для нужд широкого потребления.

Павел Венедиктович Фанатюк ничего не забыл, все помнил и с 1 апреля, т. е. с того дня, который обычно знаменуется веселыми обманами и шутками, приступил к разгрому остатков противника.

В атласной толстовке, усыпанной рубиновыми значками различных филантропических организаций, товарищ Фанатюк во главе целой комиссии сидел в своем кабинете, с потолка которого спускались резные деревянные сталактиты.

Чтобы заготовка когтей и хвостов шла без перебоев, расправу решено было провести по-военному: начать в десять и кончить в четыре.

Неосмотрительные последователи Сатанюка с жестяными лицами толпились у входа в чистилище.

Первым чистился бронеподросток Ваня Лапшин.

— Лапшин? — спросил начальник звонким голосом.— Вы, кажется, служили курьером у всеми нами уважаемого товарища Сатанюка?

— Служил,— сказал Ваня,— а теперь я при управлении делами.

— Вы бывший патриарх?

Бронеподросток Лапшин за молодостью лет не знал, что такое патриарх, и потому промолчал.

— Ну, идите,— сказал Фанатюк,— вы уволены.

В коридоре к Лапшину подступили любопытствующие сослуживцы. Пока он, волнуясь и крича, доказывал, что с Сатанюком ничего общего не имеет и не имел, товарищ Фанатюк успел уже уволить двух человек: одного за связь с мистическими элементами, а другого — за то, что во времена керенщины ходил в кино по контрамаркам, получаемым из министерства земледелия.

Засим порог кабинета переступила делопроизводительница общей канцелярии Шахерезада Федоровна Шайтанова.

Увидав ее, товарищ Фанатюк оживился. Шахерезада Федоровна слыла клевреткой поверженного Сатанюка, и Павел Венедиктович давно уже собирался изгнать её из пределов конторы.

— А! — сказал Фанатюк и сделал закругленный жест рукой, как бы приглашая членов комиссии отведать необыкновенного блюда.

— Здравствуйте, Павел Венедиктович,— сказала Шайтанова страстным голосом.

В ушах Шахерезады Федоровны, как колокола, раскачивались большие серьги. Выгибаясь, она подошла к столу и подняла на Павла Венедиктовича свои прекрасные персидские глаза.

— А мы вас уволим! — заметил Фанатюк.

И члены комиссии враз наклонили свои головы, показывая этим, что они вполне одобряют линию, взятую товарищем Фанатюком.

— Почему же вы хотите меня уволить? — спросила Шахерезада.— РКК не позво...

— Какая там Ре-Ке-Ке! — воскликнул Фанатюк.— Я здесь начальник, и я незаменим.

— О Павел Венедиктович,— промолвила Шахерезада, скромно опуская глаза,— керосиновая лампа с фаянсовым резервуаром и медным рефлектором тоже думала, что она незаменима. Но пришла электрическая лампочка, и осколки фаянсовых резервуаров валяются сейчас в мусорном ящике. И если товарищи хотят, я расскажу им замечательную историю товарища Ливреинова.

— А кем он был? — с любопытством спросил Фанатюк.

— Он был незаменимейшим из незаменимых,— ответила Шахерезада.

«Что ж,— подумал Павел Венедиктович,— уволить я ее всегда успею».

И сказал:
— Только покороче, а то уже половина третьего.
И Шахерезада в этот

ПЕРВЫЙ СЛУЖЕБНЫЙ ДЕНЬ

начала рассказ —

О ВЫДВИЖЕНЦЕ НА ЧАС:

— Рассказывают, о счастливый начальник конторы по заготовке Когтей и Хвостов, что два года назад жил в Москве начальник обширного учреждения, ведавшего снабжением граждан Горчицей и Щелоком,— высокочтимый товарищ Ливреинов. И был он так горяч, что никто не мог соперничать с ним в наложении резолюций. И не было в Москве начальника удачливее, чем он, который выходил холодным из огня и сухим из воды. И ни одна чистка не повредила ему, да продлит ЦКК его дни. Уже ему казалось, что путь его всегда будет усыпан служебными розами, когда произошел случай, который привел этого великого человека к ничтожеству...

В эту минуту Шахерезада заметила, что часовая стрелка пододвинулась к четырем. Как бы не желая дольше злоупотреблять разрешением товарища Фанатюка, Шахерезада скромно умолкла. И высокочтимый товарищ Фанатюк сказал про себя:

«Клянусь Госпланом, что я не уволю ее, пока не узнаю, что случилось с начальником Горчицы и Щелока».

ВЫДВИЖЕНЕЦ НА ЧАС

Когда наступил

ВТОРОЙ СЛУЖЕБНЫЙ ДЕНЬ,

Шахерезада Федоровна прибыла на службу ровно в десять и, пройдя мимо ожидавших чистки служащих, вошла в готический кабинет товарища Фанатюка.

— Что же произошло с начальником конторы по заготовке Горчицы и Щелока? — нетерпеливо спросил начальник.

Шахерезада Федоровна Шайтанова не спеша уселась и, подождав, покуда курьерша обнесет всех чаем, заговорила:

— Знайте, о товарищ Фанатюк, и вы, члены комиссии, что начальник Горчицы и Щелока, товарищ Ливреинов имел гордый характер и большие связи. И он весьма преуспевал, ибо что еще нужно бодрому хозяйственнику, кроме связей и гордости? Ливреинов был убежден, что больше не нужно ничего, и полагал, что в деле плановой заготовки Горчицы и Щелока ему нет равных. И вот все о нем.

Случилось же так, что после трех лет безоблачного правления в контору Ливреинова был прислан выдвиженец. Свой переход в контору выдвиженец Папанькин совершил прямо от станка, а потому его появление вызвало в конторе переполох. Вестники несчастья — секретари — вбежали в кабинет Ливреинова и, плотно прикрыв двери, сообщили начальнику о пришельце. Товарищ Ливреинов выслушал их с завидным спокойствием и, глядя на свои голубые коверкотовые брюки, молвил:

— А как обычно поступают с выдвиженцами в соседних и родственных нам учреждениях?

— Их заставляют подметать коридоры и разносить чай,— сказал первый секретарь.— Больше полугода выдвиженец не выдерживает и с плачем удаляется на производство.

— Им не дают решительно никакого занятия,— сказал второй секретарь.— Это испытаннейший способ. Выдвиженец томится за пустым столом, заглядывает иногда в его пустые ящики и уже через месяц, одолеваемый стыдом, убегает из конторы навсегда.

Секретари смолкли.

— И это все способы, которые вам известны? — с насмешкой спросил Ливреинов.

— Все! — ответили секретари, поникая главами.

— В таком случае,— гневно воскликнул Ливреинов,— вы достойны немедленного увольнения без выдачи выходного пособия и без права поступления в другие учреждения. Но я прощаю вас. Знайте же, глупые секретари, что есть сорок способов, и на каждый способ сорок вариантов, и на каждый вариант сорок тонкостей, при помощи которых можно изжить любого выдвиженца в неделю... У меня выработан идеальный план... Этот универсальный план гарантирует изжитие любого выдвиженца из любого учреждения в один день.

Но тут Шахерезада Федоровна заметила, что стрелка стенных часов подошла к четырем, и скромно умолкла.

Комиссия по чистке аппарата стала поспешно подбирать портфели, а товарищ Фанатюк сказал про себя:

«Клянусь Госпланом, я не вычищу ее, пока не узнаю об этом замечательном плане».

А когда наступил

ТРЕТИЙ СЛУЖЕБНЫЙ ДЕНЬ,

Шахерезада Федоровна, явившись на службу ровно в десять часов утра, сказала:

—...Этот универсальный план,— ответил Ливреинов,— гарантирует изжитие любого выдвиженца из любого учреждения в один день. Слушайте, глупые и неопытные секретари. Слушайте и учитесь. Я не заставлю выдвиженца подметать полы, как это делают пижоны. Я не стану морить его бездельем, как это практикуется отпетыми дураками. Я поступлю совершенно иначе. Я введу его в свой кабинет, дружески пожав ему руку, раскрою перед ним все шкафы и вручу ему все печати, включая сюда сургучную, восьмиугольную, резиновую и квадратную. Я проведу его по всем комнатам, я представлю ему всех служащих и скажу им: «Выполняйте все приказы этого товарища, каковы бы они ни были, потому что это мой заместитель». Я проведу его в гараж и доверю ему свою лучшую машину, которую я только недавно выписал из Италии за тридцать пять тысяч рублей золотом. И, всячески обласкав его, я уеду на один день, поручив выдвиженцу все сложнейшие дела моего большого учреждения. И за этот один день он, не имеющий понятия о заготовке Горчицы и Щелока, наделает столько ошибок и бед, что его немедленно вышвырнут и даже не пустят назад на производство. Я сделаю его калифом на час и несчастным на всю жизнь.

И, пройдя мимо изумленных секретарей, товарищ Ливреинов направился в прихожую, где на деревянной скамье томился застенчивый Папанькин в бобриковом кондукторском полупальто.

— Здорово, товарищек! — воскликнул Ливреинов.— Тут наши бюрократы тебя ждать заставили. Ну, пойдем.

И, обняв оторопевшего от неожиданной ласки Папанькина, он ввел его в свой кабинет, раскрыл перед ним все шкафы и вручил ему все печати, включая сюда сургучную, восьмиугольную, резиновую и квадратную. Затем он провел его по всем комнатам, представил ему всех служащих и сказал им:

— Исполняйте все приказы товарища... товарища...

— Папанькина! — помог выдвиженец.

— Товарища Папанькина, каковы бы эти приказы ни были, потому что это мой заместитель.

Потом, всячески обласкав его, уехал на один день. Перед отъездом он поручил Папанькину все сложнейшие дела по заготовке Горчицы и Щелока.

Но тут Шахерезада Федоровна заметила, что стрелка стенных часов подошла к четырем, и скромно умолкла. А когда наступил

ЧЕТВЕРТЫЙ СЛУЖЕБНЫЙ ДЕНЬ,

она сказала:

—...И Щелока. И, гордый своей незаменимостью и уменьем выходить из самых сложных положений, товарищ Ливреинов уехал. И вот все о нем.

А выдвиженец Папанькин действительно наделал за один день множество бед. Он сел в автомобиль, так легкомысленно доверенный ему Ливреиновым, и объехал все склады. Там он не нашел ни грамма горчицы, ни унции щелока. Зато, вернувшись в контору, он обнаружил тонны отношений и других никому не нужных отвратительных бумаженций. После этого Папанькин выгнал всех трех секретарей и их ближайших родственников числом тридцать.

Вторую половину дня он посвятил работе созидательной, расторг договоры с частниками, ободряя достойных ободрения и порицая заслуживающих порицания. Впервые за три года учреждение работало нормально и впервые за три года служащие понимали, для какой цели сидят они за своими конторками. Конец дня ушел на составление бумаги к прокурору с просьбой приступить к следствию о служебных деяниях товарища Ливреинова. И вот все о Папанькине. Что же касается Ливреинова, то на другой день его уже вели по направлению к исправдому.

Таким образом,— закончила Шахерезада Федоровна,— незаменимейший из незаменимых пал от своей собственной руки. Но эта история,— продолжала Шахерезада,— ничто в сравнении с историей о двойной жизни товарища Портищева. И если вам угодно ее выслушать, я расскажу эту историю.

— Просим, просим! — закричали члены комиссии.

Но тут Шахерезада заметила, что служебный день окончился, и скромно умолкла.

ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ПОРТИЩЕВА

А когда наступил

ПЯТЫЙ СЛУЖЕБНЫЙ ДЕНЬ,

Шахерезада Федоровна, лучшая из делопроизводительниц, явилась аккуратно к началу занятий и вошла в кабинет начальника, где заседала комиссия по чистке...

— Рассказывайте подлиннее! — шептали ей вдогонку служащие, уже пятый день ожидавшие своей очереди.— Затягивайте!

Но Шахерезада сама знала, что делать. Усевшись перед судилищем, она скромно опустила глаза.

— Что же случилось с товарищем Портищевым? — воскликнул Фанатюк.— И почему он вел двойную жизнь?

И Шахерезада немедленно начала рассказ под названием:

ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ

— Знайте же, высокочтимые члены комиссии, что в рядах партии с тысяча девятьсот двадцать третьего года находился праведный коммунист Елисей Портищев. Работал он по профессиональной линии и занимал покойное место в одном из мощных московских губотделов.

Товарищ Портищев слыл работягой и любил выражаться о себе так:

«Мы, которые из деревенской бедноты, к работе привычные».

И действительно, как бы рано ни приходили служащие в губотдел, за столом зампредседателя уже находился товарищ Портищев. Ровно в десять ему подавали стакан кипятку. Чаю Портищев не потреблял, охраняя бесперебойную работу своего сердца.

В полдень Портищев вынимал из ящика письменного стола желтую репку и, заботливо очистив плод перочинным ножиком, разгрызал его жемчужными зубами.

Зубы у него были замечательные: красивее, чем вставные. Через час работяга съедал два холодных яйца всмятку.

Холодные яйца всмятку — вещь невкусная, но товарищу Портищеву было все равно. Он не ел, а питался. Он ел не яйца, а жиры, углеводы и витамины. Вслед за этим на столе товарища Портищева появлялась краюха хлеба и пакетик в пергаментной бумаге.

Из пакетика вынимался брусочек свиного сала и разрезывался на ломтики. Засим товарищ Портищев накалывал

каждый ломтик на острие перочинного ножа и отправлял в рот.

После принятия пищи работяга сметал со стола крошки и, хотя делать было уже решительно нечего, принимал озабоченный вид перегруженного работой человека. Он до такой степени привык притворяться, что ничуть не скучал, глядя целыми часами в ненужную бумажку.

К концу рабочего дня товарищ Портищев подымался, богатырски разминал плечи и подходил к стенным часамходикам, чтобы подтянуть гирю. Он всегда делал это собственноручно, и горе тому партийному или беспартийному сотруднику, который осмелился бы прикоснуться к медной цепочке часов.

Если после занятий назначалось заседание ячейки, то и туда товарищ Портищев прибывал раньше всех. Он старался сесть прямо против секретаря и в продолжение всего заседания смотрел на него преданными глазами.

Обычно товарищ Портищев не выступал, ограничиваясь лишь внимательным выслушиванием ораторов и планомерным голосованием. Он тщательно следил за директивами, и его мнение с поразительной точностью совпадало с мнением вышестоящих товарищей.

Членские взносы он платил своевременно, и задолженности за ним никогда не бывало.

Портищев очень любил получать жалование новенькими бумажками.

С командировочными и суточными доходы его составляли рублей четыреста в месяц. Их он расходовал весьма скупо.

— Куда нам, беднейшим слоям крестьянства, шикарить! Чай, не городские! — восклицал он.— Облигации покупать надо!

А на самом деле товарищ Портищев вел еще одну жизнь, о которой не знал ни один из его сослуживцев...

Но тут Шахерезада заметила, что служебный день окончился, и скромно умолкла.

А когда наступил

ШЕСТОЙ СЛУЖЕБНЫЙ ДЕНЬ,

она сказала:

— ...Жизнь, о которой не знал ни один из его сослуживцев...

По субботам, ровно в три часа дня Портищев покидал губотдел и устремлялся на вокзал. Уже в поезде товарищ Портищев преображался самым странным образом.

Чинное, железопартийное выражение разом слетало с его лица, и самая его толстовочка приобретала неуловимо вольный и обывательский оттенок. Зевая, товарищ Портищев с наслаждением крестил рот, чего никогда не позволил бы себе в губотделе.

В родную свою деревню, отстоявшую за шестьдесят километров от столицы, приезжал уже не мощный профработник, не борец за идею, не товарищ Портищев, а Елисей Максимович Портищев.

На станции его ожидала пароконная рессорная телега. По дороге в деревню встречные мужики прочувствованно ему кланялись, и он отвечал им гордым наклонением головы. Покинув лошадей на работника, губотделец говорил ему:

— Ты, говорят, спецодежду какую-то требуешь? Может, ты и восемь часов в день работать хочешь, как городской лодырь?

Поучив работника, Елисей Максимович с головой окунался в хозяйственные дела. Он по очереди осматривал конюшню с шестью лошадьми и жеребенком, большой, светлый коровник и свинарню, к которой он подходил с замиранием сердца. Десятка два благообразных свиней производили слитный шум, напоминающий работу лесопильного завода. А потом сверкающий зубами Елисей Максимович шел через потемневший двор и, рассыпая из газетной бумаги привезенные с собою городские крошки, громко и властно кричал: «Цып! Цып! Цып!»

И домашняя птица, быстро кланяясь, внимала гласу профработника.

До поздней ночи сидел Елисей Максимович за струганым столом и беседовал с женой на хозяйственные темы. Обуревала профработника страсть к накоплению. Ему уже казалась мала усадьба, жалким казался дом, недостаточным количество скота.

— Мельницу бы взять в аренду! — стонала жена.

— Денег не хватит,— со вздохом отвечал Портищев,— разве командировку внеочередную взять с целью выявления недочетов союзного аппарата на периферии. Придется взять. Эх! Если б в партию не платить, все легче было бы!..

В воскресенье Елисей Максимович обязательно заходил с визитом в сельскую ячейку. В ячейке его, городского коммуниста, очень боялись и вместе с прочими крестьянами

считали, что Портищев все может. Если захочет, то и деревню упразднит.

— Плохо у вас тут культработа подвигается! — говорил он тягуче.— Дорожного строительства не видно. Проработать не мешало бы.

В понедельник на рассвете Елисей Максимович со стесненным сердцем уезжал в город. Он вез с собою в платочке шесть репок на шесть дней, двенадцать яиц и небольшой окорочок. И чем ближе подходил поезд к Москве, тем строже становилось лицо Елисея Максимовича. На перрон выходил уже не хозяйственный мужичок, а товарищ Портищев — стопроцентный праведник.

В половине десятого товарищ Портищев входил в совершенно пустой еще губотдел, подтягивал гирю ходиков, толкал остановившийся за воскресный день маятник и снова начинал казенную часть своей двойной жизни. И вот все об этом обманщике.

Но, если товарищ Фанатюк разрешит,— добавила Шахерезада,— я расскажу высокочтимой комиссии еще более удивительную историю о товарище Алладинове и его волшебном билете.

РАССКАЗ О ТОВАРИЩЕ АЛЛАДИНОВЕ И ЕГО ВОЛШЕБНОМ БИЛЕТЕ

И Шахерезада Федоровна начала:

— Рассказывают, о высокочтимый товарищ Фанатюк, и вы, члены комиссии по чистке, что мастер Тихон Алладинов был человеком скромным и деятельным.

Горячность, смелость и трудолюбие Тихона Алладинова были оценены по достоинству. И вот в один из прекраснейших дней его жизни, на открытом собрании ячейки, Алладинову вручили партийный билет в коричневом переплетике.

Взволнованный всем этим, Алладинов вышел во двор электростанции и присел на крылечке. Дивная и радостная картина представилась его глазам: за рекой в елочных огнях лежал город, звездами было засыпано небо, от работы электростанции под ногами Алладинова тряслась земля, а внизу с шумом бежала в темную реку отработанная вода.

Счастливое раздумье Алладинова прервал старый рабочий станции Блюдоедов.

— Вот что, Тихон,— сказал он,— ты только что получил партийный билет. Знай же, что этот билет наделен удиви-

тельнейшими свойствами. Иногда достаточно лишь раскрыть его и похлопать по нем ладонью, чтобы получить то, чего желаешь, или избавиться от того, чего не желаешь. Это очень соблазнительно, но именно этого делать нельзя.

В этом месте Шахерезада прекратила свой рассказ, потому что служебный день окончился.

А когда наступил

СЕДЬМОЙ СЛУЖЕБНЫЙ ДЕНЬ,

начальник конторы Фанатюк и члены комиссии прибежали в учреждение спозаранку и, как только аккуратная Шахерезада Федоровна ровно в десять часов вошла в кабинет, встретили ее нетерпеливыми криками:

— Что же сделал товарищ Алладинов, узнав о волшебных свойствах своего билета?

И Шахерезада, вежливо улыбнувшись, сказала:

— Знайте же, что товарищ Алладинов в течение двух лет вел себя с примерной скромностью и работал больше, чем когда бы то ни было.

Но однажды в доме Алладинова назначили экстренное собрание жильцов. Разбирался животрепещущий вопрос о том, кому дать две освободившиеся комнаты. В таких случаях никогда не бывает разногласий. Все хотят одного и того же. Каждый жилец хочет получить комнату, и именно для себя.

Экстренное собрание продолжалось тридцать шесть часов без перерыва. Было выкурено три тысячи папирос «Пли» и около восьмисот козьих ножек. Во время прений председателю дали восемь раз по морде и в шести случаях он дал сдачи. На семнадцатому часу уволокли за ноги двух особенно кипятившихся старушек. На двадцать четвертом часу упал в обморок сильнейший из жильцов, волжский титан Лурих Третий, записанный в домовой книге под фамилией Ночлежников.

Но обмен мнениями ни к чему не привел. Тогда председатель, лицо которого носило кровавые следы прений, заявил, что распределит комнаты своей властью.

К этому времени в душе Алладинова созрело желание получить комнату какими-то ни было средствами. Он увел председателя в уголок и прижал его спиной к домовой стенгазете «Вьюшка». Потом, сам не сознавая, что делает, он вынул из кармана партийный билет в коричневом переплетике; быстро раскрыл его и похлопал ладонью.

И Алладинов сразу же заметил волшебную перемену в председателе. Глаза председателя покрылись подхалимской влажностью, и в комнате вдруг стало тихо.

На другой день Алладинов переменил свою комнату с пестрыми обоями на большую, удобную квартиру в ущерб другим, имевшим на то большее право.

«Дурак Блюдоедов,— подумал он,— зря только отговаривал меня. Билетик — хорошая штука».

И с тех пор товарищ Алладинов совершенно изменился. Он безбоязненно раскрывал билет и...

В этом месте Шахерезада заметила, что служебный день закончился.

А когда наступил

ВОСЬМОЙ СЛУЖЕБНЫЙ ДЕНЬ,

она сказала:

— Он выбирал людей потрусливее и безбоязненно раскрывал перед ними билет, привычно хлопал по нем ладонью и часто получал то, что хотел получить, и избавлялся от того, от чего хотел избавиться.

И постепенно он переменился. Он занял, явно не по способностям, ответственный пост с доходными командировками; от производства его отделила глухая стена секретарей, и он научился подписывать бумаги, не вникая в их содержание, но выводя зато забавнейшие росчерки. Он научился говорить со зловещими интонациями в голосе и глядеть на просителей невидящими цинковыми глазами.

А билет приходилось раскрывать и пользоваться его волшебными свойствами все чаще. Потребности Алладинова увеличивались. Казалось, желания его не имеют границ. Его молодая жена, Нина Балтазаровна, одевалась с непонятной роскошью. Она носила меховое манто, усеянное белыми лапками, и леопардовую шапочку. С утра до вечера она твердила мужу, что «теперь все умные люди покупают бриллианты». Сам товарищ Алладинов выходил на улицу, одетый богаче, чем Борис Годунов в бытность его царем. На нем была богатая шапка, тяжелая, как шапка Мономаха, и длинная шуба.

Однажды, возвращаясь домой, он попал в переполненный трамвай. И, на его беду, он попал в один из тех зараженных ссорою вагонов, которые часто циркулируют по столице. Ссору в них начинает какая-нибудь мстительная старушка

в утренние часы предслужебной давки. И мало-помалу в ссору втягиваются все пассажиры вагона, даже те, которые попали туда через полчаса после начала инцидента. Уже зачинщики спора давно сошли, утеряна уже и причина спора, а крики и взаимные оскорбления все продолжаются, и в перебранку вступают все новые и новые кадры пассажиров. И в таком вагоне до поздней ночи не затихает ругань.

В такой именно, зараженный драчливой бациллой, вагон попал в нетрезвом состоянии товарищ Алладинов. В трамвае он давно уже не ездил, так как пользовался автомобилем.

И едва он попал на площадку, как оскорбил мирного пассажира словом и, не дожидаясь ответной реплики, оскорбил его также и действием. Все это он проделал, весело улыбаясь и представляя себе удивление милиционера при виде волшебного билета.

И, вдоволь насладившись, он вынул билет в коричневом переплетике, раскрыл его и похлопал по нем ладонью. Но билет не привел милиционера в трепет.

— А еще партийный! — сказал бравый милиционер.— Позор, позор, позор!

И, заломив руку пьяного товарища Алладинова японским приемом «джиу-джитсу», милиционер свел его в отделение. Билет остался в отделении и больше не возвращался к его обладателю.

И пухлая звезда товарища Алладинова померкла с еще большей быстротой, чем взошла, потому что обнаружились все его нечистые дела.

И вот все об этом позорном человеке.

Но эта история, как она ни интересна, далеко уступает рассказу о двух друзьях — о товарище Абукирове и товарище Женералове.

— Я ничего не слыхал об этих людях! — сказал товарищ Фанатюк. И подумал: «Клянусь Госпланом, я не уволю ее, пока не узнаю этой, по всей вероятности, замечательной истории!»

РАССКАЗ О «ГЕЛИОТРОПЕ»

И Шахерезада Федоровна, музыкально позвякивая чайной ложечкой, неторопливо начала повествование:

— Знайте же, о высокочтимый товарищ Фанатюк, и вы, члены комиссии по чистке, что ни в одном городе Союза

нельзя найти такого количества представительств, как в Москве. Они помещаются в опрятных особнячках, за зеркальными стеклами которых мерещится яичная желтизна шведских столов и зелень абажуров. Особнячки отделены от улицы садиками, где цветет сирень и хрипло поет скворец. У подъезда между двумя блестящими от утренней росы львами обычно висит черная стеклянная досточка с золотым названием учреждения.

В таком учреждении приятно побывать, но никто туда не ходит. То ли посетителей там не принимают, то ли представительство не ведет никаких дел и существует лишь для вящего украшения столицы.

Рассказывают, что в Котофеевом переулке издавна помещалось представительство тяжелой цветочной промышленности «Гелиотроп», занявшее помещение изгнанного из Москвы за плутни представительства общества «Узбек-нектар».

Штат «Гелиотропа» состоял из двух человек: уполномоченного по учету газонов товарища Абукирова и уполномоченного по учету вазонов товарища Женералова. Они были присланы в «Гелиотроп» из разных городов и приступили к работе, не зная друг друга.

Как только товарищ Абукиров в первый раз уселся за свой стол, он сразу же убедился в том, что делать ему абсолютно нечего. Он передвигал на столе пресс-папье, подымал и опускал шторки своего бюро и снова принимался за пресс-папье. Убедившись наконец, что работа от этого не увеличилась и что впереди предстоят такие же тихие дни, он поднял глаза и ласково посмотрел на Женералова.

То, что он увидел, поразило его сердце страхом. Уполномоченный по учету вазонов товарищ Женералов с каменным лицом бросал костяшки счетов, иногда записывая что-то на больших листах бумаги.

«Ой,— подумал начальник газонов,— у него тьма работы, а я лодырничаю. Как бы не вышло неприятностей».

И так как товарищ Абукиров был человеком семейным и дорожил своей привольной службой, то он сейчас же схватил счеты и начал отщелкивать на них несуществующие сотни тысяч и миллионы. При этом он время от времени выводил каракули на узеньком листе бумаги. Конец дня ему показался не таким тяжелым, как его начало, и в установленное время он собрал исписанные бумажки в портфель

и с облегченным сердцем покинул «Гелиотроп». И вот все о нем.

Что же касается начальника вазонов, товарища Женералова, то в день поступления на службу он был чрезвычайно удивлен поведением Абукирова. Начальник газонов часто открывал ящики своего стола и, как видно, усиленно работал.

Женералов, которому решительно нечем было заняться, очень испугался.

«Ой! — подумал он.— У него работы тьма, а я бездельничаю. Не миновать неприятностей!»

И хотя Женералов был человеком холостым, но он тоже боялся потерять покойную службу. И поэтому он бросился к счетам и начал отсчитывать на них какую-то арифметическую чепуху. Боязнь его в первый же день дошла до того, что он решил уйти из «Гелиотропа» позже своего деятельного коллеги.

Но на другой день он слегка расстроился. Придя на службу минута в минуту, он уже застал Абукирова. Начальник газонов решил показать своему сослуживцу, что работы с газонами в конце концов гораздо больше, чем с вазонами, и пришел на службу не в десять, а в девять.

Но тут Шахерезада заметила, что время службы истекло, и скромно умолкла.

А когда наступил

ДЕВЯТЫЙ СЛУЖЕБНЫЙ ДЕНЬ,

она сказала:

—...И пришел на службу не в десять, а в девять.

И вот оба они, не осмеливаясь даже обменяться взглядами, просидели весь рабочий день. Они гремели счетами, рисовали зайчиков в блокнотах большого формата и без повода рылись в ящиках, не осмеливаясь уйти один раньше другого.

На этот раз нервы оказались сильнее у Женералова. Томимый голодом и жаждой, Абукиров ушел из «Гелиотропа» в половине седьмого вечера.

Женералов, радостно взволнованный победой, убежал через минуту.

Но третий день дал перевес начальнику газонов. Он принес с собой бутерброды и, напитавшись ими, свободно и легко просидел до восьми часов. Левой рукой он запихивал

в рот колбасу, а правой рисовал обезьяну, притворяясь, что работает. В восемь часов пять минут начальник вазонов не выдержал и, надевая на ходу пальто, кинулся в общественную столовую. Победитель проводил его тихим смешком и сейчас же ушел.

На четвертый день оба симулировали до десяти часов вечера. А дальше дело развивалось в продолженном обоими чрезвычайно быстром темпе.

Женералов сидел до полуночи. Абукиров ушел в час ночи.

И наступило то время, когда оба они засиделись в «Гелиотропе» до рассвета. Желтые, похудевшие, они сидели в табачных тучах и, уткнув трупные лица в липовые бумажонки, трепетали один перед другим.

Наконец их потухшие глаза случайно встретились. И слабость, овладевшая ими, была настолько велика, что оба они враз признались во всем.

— А я-то дурак! — восклицал один.

— А я-то дурак! — стонал другой.

— Никогда себе не прощу! — кричал первый.

— Сколько мы с вами времени потеряли зря! — жаловался второй.

И начальники газонов и вазонов обнялись и решили на другой день вовсе не приходить, чтобы радикально отдохнуть от глупого соревнования, а в дальнейшем, не кривя душой, играть на службе в шахматы, обмениваясь последними анекдотами.

Но уже через час после этого мудрого решения Абукиров проснулся в своей квартире от ужасной мысли.

«А что,— подумал он,— если Женералов облечен специальными полномочиями на предмет выявления бездельников и вел со мной адскую игру?»

И, натянув на свои отощавшие в борьбе ножки москвошвейные штаны из бумажного бостона, он побежал в «Гелиотроп».

Дворники подметали фиолетовые утренние улицы, молодые собаки рылись в мусорных холмиках. Сердце Абукирова было сжато предчувствием недоброго.

И действительно, между мокрыми львами «Гелиотропа» стоял Женералов со сморщенным от бессонных ночей пиджаком и жалко глядел на подходящего Абукирова, в котором он уже ясно видел лицо, облеченное специальными полномочиями на предмет выявления нерадивых чиновников.

И едва дворник открыл ворота, как они кинулись к своим столам, бессвязно бормоча:

— Тьма работы, срочное требование на вазоны!

— Работы тьма. Новые газоны!

И рассказывают (но один лишь Госплан всемогущий знает все), что эти глупые люди до сих пор продолжают симулировать за своими желтыми шведскими бюро.

И сильный свет штепсельных ламп озаряет их костяные лица.

Но вся эта правдивая история ничто в сравнении с рассказом о молодом человеке с бараньими глазами.

— Я ничего не слышал о таком человеке! — воскликнул товарищ Фанатюк.

И подумал:

«Я дурак буду, если уволю ее, прежде чем не узнаю о человеке с бараньими глазами!»

ЧЕЛОВЕК С БАРАНЬИМИ ГЛАЗАМИ

— В этом рассказе,— начала Шахерезада Федоровна,— будет описана головокружительная карьера человека с бараньими глазами.

Борис Индюков сызмальства обучался в литературных университетах, академиях и пантеонах. Он поставил себе целью стать великим писателем советской земли, но Институт Стихотворных Эмоций, где он обучался, прихлопнул Главпрофобр, прежде чем Борис Индюков понял, что в конце фразы необходимо ставить точку.

Оставались еще две литературных избушки, где молодых людей посвящали в таинства слова, одновременно освобождая от воинской повинности: ИДИЭ или Институт Динамики и Экспрессии на Поварской улице и литкурсы артели лжеинвалидов под названием Литгико при ГАХНе.

Дела артели Литгико шли плохо, так что ректор беллетристического предприятия гр. Мусин-Гоголь уже собирался сматывать удочки: ему не под силу было конкурировать с Институтом Динамики и Экспрессии. Литгико пустовало, а ученики валом валили в ИДИЭ, куда поступил также и Борис Индюков.

Но не успел Борис Индюков решить, заняться ли ему динамикой или посвятить себя экспрессии, как Главпрофобр закрыл и эту литизбушку.

С печальным воем кинулись ученики в уцелевшее Литгико. Впереди всех бежал Борис Индюков. Бараньи его глаза блистали вдохновением.

Но Мусин-Гоголь прекрасно учел конъюнктуру, создавшуюся на литературной бирже, и взимал с новых учеников плату за два года вперед.

Литгико занимало половину магазина на 1-й Тверской-Ямской. Вторую половину и окно арендовал часовой мастер Глазиус-Шенкер, окруженный колесиками, пенсне и пружинами. В магазине часто и резко звонили будильники. В глубине помещения сидел торжествующий Мусин-Гоголь, принимал деньги и выдавал квитанции. Рядом с ним помещался отдел отсрочек, где предъявителям квитанций выдавались нужные бумаги. А в самом темном углу магазина, где часовщик свалил свои неликвидные товары, сидел профессор-вундеркинд, тринадцатилетний декан факультета ритмической прозы, и громко читал стихи Веры Инбер.

Ровно через два часа после зачисления Индюкова в ряды студентов угрюмый Главпрофобр закрыл последний литературный оазис. Денег ученикам не возвратили, потому что Мусин-Гоголь успел спастись, увозя с собою плату за право обучения.

И снова Борис Индюков остался ни при чем, так и не узнав, точно ли необходимо ставить точку в конце фразы. Но тяга к изящной литературе была настолько велика, что Борис решил немедленно же приступить к творческой работе. За два месяца он сочинил роман из жизни дровосеков и дровосечек под названием «Пни». Своего первенца Индюков посвятил «Начальнику Гублита дружелюбиво». Но эта предусмотрительность ни к чему не привела. Ни одно издательство не согласилось напечатать роман «Пни», у автора которого катастрофически не ладилось дело со сказуемым. Начальник Гублита так и не узнал о дружелюбивом посвящении.

Тогда Индюков написал шесть романов: «На перепутье», «Пути и овраги», «Шагай, фабзаяц», «Серп и молот», «В ногу» и «Дуня-активистка».

Ни один из них не был напечатан, и Борис Индюков начал уже было отчаиваться, когда в его голову пришла замечательная мысль.

Но тут Шахерезада Федоровна заметила, что служебный день окончился, и скромно умолкла.

Когда же наступил

она сказала:

— ...В его голову пришла замечательная мысль.

Сообразив, что конкурировать с пятьюдесятью тысячами советских писателей — задача нелегкая и требующая некоторого дарования, Борис Индюков мыслил три дня и три ночи. И все понял.

«Зачем,— решил он,— самому писать романы, когда гораздо легче, выгоднее и спокойнее ругать романы чужие».

И с жаром, который сопутствовал ему во всех начинаниях, Борис Индюков принялся за новый жанр. На его счастье, молодая неопытная газета «Однажды утром» задумала библиографический отдел по совершенно новой системе.

— Понимаете? — радостно говорил редактор Индюкову, который случайно оказался в его кабинете.— Мы строим отдел библиографии совсем по-новому. Каждая рецензия — три строки. Понимаете? Не больше! Гениально! Отдел так и будет называться: «В три строки».

— Понимаю! — радостно отвечал Индюков.

— Отлично! — ликовал редактор.— Утрем нос всем толстым журналам!

— Утрем! — кричал Индюков тем же тоном, каким суворовские солдаты кричали: «Умрем».

Новая работа совершенно поглотила Бориса Индюкова. В трех строчках как раз вмещалось все то, что Индюков мог сказать о толстой в четыреста страниц книге.

Рецензии на отечественные романы писались по форме № 1.

«Автор. Название книги. Из-во. Год. Цена. Число страниц. Кому нужна книга писателя (такого-то)? Никому она не нужна. Мы рекомендовали бы писателю (такому-то) осветить быт мороженщиков, до сих пор еще никем не затронутый».

Рецензии на иностранные романы писались по форме № 2.

«Автор. Название книги. Из-во. Цена. Число страниц. Книга французского писателя (такого-то) написана со свойственным иностранцам мастерством. Но... кому нужна эта книга? Никому она не нужна. Эта книга не впечатляет».

Подписывался Индюков самыми разнообразными инициалами, стараясь таким образом сбить со следа

писателей. Он подписывался: «Б. И.», «А. Б.», «Индио», «Индус», «Инус», «Иус», а иногда просто « — ов». Но, несмотря на эти предосторожности, Индюкова иногда выслеживали и поколачивали.

Спасаясь от побоев, Индюков вошел в охрану труда с ходатайством о выдаче ему панциря, но получил отказ, так как параграфа о панцирях в колдоговоре не нашли. Тогда на великие доходы от маленьких рецензий он сшил себе толстую шубу на вате и на хорьках и, когда его били, только улыбался.

Писатели, изнуренные борьбой с «Индио», «Б. И.» и « — овым», переменили тактику. Малодушные перестали писать, а сильные духом принялись заискивать перед всесильным «Индио».

Положение Индюкова упрочилось. Его комната была завалена тюками книг с автографами. На некоторых из них он с удовольствием читал печатные посвящения: «Тов. Индюкову — дружелюбиво». И ничто отныне не омрачает его благополучия.

И если высокочтимый товарищ Фанатюк или кто-нибудь из членов комиссии захочет написать роман, пусть лучше этого не делает. Борис Индюков выругает его в трех строках по форме № 1.

Но эта история менее занимательная, чем рассказ о «Золотом Лете».

И товарищ Фанатюк подумал:

«Клянусь Госпланом, я не уволю ее, пока не услышу рассказа о «Золотом Лете».

РАССКАЗ О «ЗОЛОТОМ ЛЕТЕ»

И Шахерезада Федоровна, стараясь оттянуть час своего увольнения, начала новый рассказ:

— Знайте, о члены комиссии по чистке аппарата, что в нашей столице существовали два учреждения: губернское издательство «Водопой» и издательское общество «Золотое Лето».

«Водопой» издавал изящную литературу с налетом социальной грусти и предисловиями чинов Государственной Академии Художественных Наук. Толстенькие водопоевские книжки выходили в переплетах, крытых сатином, который обычно идет на косоворотки и подкладку к демисезонным пальто. Сверх переплета книга была заключена в бумажную

обертку. На обороте титульного листа водопоевской книжки всегда красовались важные строки:

Переплет, суперобложка и форзац работы
худ. Э. Рыцарева. Суперобложка отпечатана
на Гос. карточной фабрике.

И действительно, каждая водопоевская книга своей тяжеловесной пышностью напоминала даму треф. Вообще «Водопой» славился тонкими манерами и даже посылал своим авторам новогодние поздравления!

Что же касается издательского общества «Золотое Лето», то это было издательство совсем другого диапазона. Издавало оно изящную литературу уже не с налетом социальной грусти, а с примесью социального негодования.

Хотя предисловия к золотолетовским книгам принадлежали тем же чинам Академии Худ. Наук, но обложки книг были сделаны не из благородного сатина, а из обыкновенной бумаги, на которой независимо от содержания книги были изображены двутавровые балки и хорошенькие дамские мордочки. Делалось это в интересах распространения.

Авторам своим «Золотое Лето» никаких поздравлений не посылало, но зато часто устраивало писательскую чашку чаю (полбутылки вина на писательскую душу).

Говоря короче, «Водопой» издавал культурные ценности, оставшиеся от царского режима, а «Золотое Лето» печатало сочинения современных авторов, признавших Советскую власть несколько позже Италии, но немного раньше Греции.

Совершенно естественно, что оба издательства враждовали между собой. «Водопой» полагал почему-то, что его грабит «Золотое Лето», захватив в исключительное пользование современных авторов. А «Золотое Лето» в свою очередь облизывалось на авторов, уцелевших от старого мира.

Междоусобие, все усиливаясь, привело к тому, что главы обоих учреждений беспрерывно делали визиты в Центробукву, где интриговали с необыкновенным пылом. Хлопоты «Водопоя» сводились к тому, чтобы подчинить себе «Золотое Лето», а «Лето» стремилось поглотить «Водопой».

И вот однажды Центробуква, правильно рассудив, что два издательства хорошо, а одно — еще лучше, постановила слить их вместе, присвоив новому организму название «Златопой». Сделано это было так дипломатично, что ни одна из сторон не могла понять, кто победил и кто будет верховодить «Златопоем».

Золотолетовцы бродили по новому учреждению и гордым своим видом старались показать, что хозяева здесь они. Почтенные же водопоевцы, поблескивая во мгле коридоров лысинами, тоже праздновали победу, считая, что взяла верх их группа.

Самым главным для них была борьба за власть. То же обстоятельство, что у них была теперь одна работа и одна финансовая часть, волновало их меньше всего.

Но здесь Шахерезада заметила, что служебный день окончился и скромно умолкла.

А когда наступил

ОДИННАДЦАТЫЙ СЛУЖЕБНЫЙ ДЕНЬ,

она сказала:

— И конкуренция, которую Центробуква замыслила искоренить слиянием обоих издательств, разгорелась с новой силой.

Современные авторы, а равно и авторы, перешедшие от царского режима, в начале реформы сильно опечалились.

— Были две кормушки,— визгливо восклицали они,— а стала одна кормушка.

Но время шло, и авторы убедились, что особых изменений не произошло.

— Были две кормушки,— восклицали они еще визгливее,— и остались две кормушки!

И во мгле златопоевских коридоров продолжались дикие схватки за обладание авторами. Бывшие водопоевцы считали высшей доблестью перехватить автора в вестибюле и подписать с ним договор именно в той комнате, где сидели они, но никак не в комнате, где заседали бывшие золотолетовцы. Ту же тактику применяли золотолетовцы. И таким образом в объединенном издательстве между двумя точками ежедневно проводились две прямые линии, что со времен Эвклида считалось невозможным. И вот все об этих странных людях.

Жил в ту пору в Москве писатель Модест Хамяков, автор двух книг, из коих одна — «Бураны» — была издана в тысяча девятьсот одиннадцатом году, другая же — «Буруны» — в тысяча девятьсот двадцать пятом году. Придя к заключению, что читатель соскучился и ждет от него третьей книги, Модест Хамяков пришел в «Златопой» позондировать почву.

Уже в вестибюле его остановил благообразный старичок, сразу признавший в Хамякове писателя, уцелевшего от старого мира.

— Модест Львович,— сказал он,— подкинули бы нам полное собрание своих сочинений.

Хамяков согласился подкинуть. Кстати, собрание сочинений оказалось у него в портфеле. Договорившись с бывшими водопоевцами, Модест направился к выходу, но здесь был обнаружен молодым человеком, который сразу узнал в Хамякове автора, признавшего Советскую власть на неделю раньше Мексики.

— Здравствуйте, товарищ Хамяков,— сказал молодой человек.— Подкиньте нам свои романы для собраньица сочиненьиц.

— А я уже подкинул,— сказал простодушный Модест.— В бывший «Водопой». Для собраньица сочиненьиц.

— Здравствуйте! — с горечью закричал молодой человек.— Ведь вы — современный автор и, следовательно, подведомственны бывшему «Лету». Давайте собраньице!

Собраньице оказалось у простодушного Модеста в портфеле. Книги же, сданные водопоевцам, строгий молодой человек обещал отобрать.

Тихий Модест засел на своей Собачьей площадке за грозовую повесть, ничего не зная о том, что в «Златопое» из-за его собраньица началась свалка. Однако молодому человеку не удалось победить благообразного старичка. Но и старичку не удалось одолеть молодого человека.

— Мы,— упрямо бормотал водопойный старик,— уже включили Хамякова в план. Ведь он типичный автор, уцелевший от старого режима.

— А мы не включили? — надсаживался золотолетовский молодец.— Насчет старого мира нам ничего неизвестно, но зато хорошо известно, что он признал Советскую власть еще раньше Мексики. Де-юре и де-факто!

И через два месяца, в рекордный срок, объединенное издательство «Златопой» выпустило в продажу двух Хамяковых. Одно собрание было издано в косовороточных переплетах и карточной суперобложке. Предисловие принадлежало перу академика Худ. Наук и имело налет социальной грусти.

То же самое собрание сочинений появилось одновременно в желтой обложке с изображением балок и мордочек с предисловием того же худ. академика, но уже с примесью

социального негодования. И, к удивлению читателей, на обоих собраниях стояла издательская марка «Златопоя».

Но это ничто,— добавила Шахерезада,— в сравнении с историей о преступлении Якова Трепетова.

И товарищ Фанатюк, возглавлявший комиссию по чистке аппарата, подумал:

«Клянусь Госпланом, я не уволю ее, пока не узнаю этой истории!»

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЯКОВА

И Шахерезада Федоровна начала новый рассказ:

— Людям свойственно быть недовольными своей профессией.

Был недоволен и Яков Трепетов, испытанный культработник, глава культотдела союза местного транспорта.

Товарищ Трепетов блестяще украшал свой город. Он был честен, умен и работоспособен. Таких людей, как Яков Трепетов, обычно зовут бессребрениками.

«Этот не украдет,— говаривал о нем культработник Умрихин.— Бернардов украдет, даже Бернгардов может украсть! Я украду! Но Трепетов Яшка копейки чужой не тронет».

Но Яков Трепетов тронул чужую копейку.

Это было невероятно, неслыханно, неправдоподобно, но это случилось.

Светлым майским вечером, когда общественность города прогуливалась по бульвару, культработник Яков Трепетов, этот бессребреник, подкрался на глазах у всех к сослуживцу своему Умрихину, залез к нему в карман пиджака, вытащил кошелек и неторопливо стал удаляться.

В конце бульвара его схватил заметивший кражу милиционер. Трепетов не сопротивлялся. Собралась толпа.

— Он пошутил! — кричал подоспевший Умрихин.— Пустите его! Что за глупые шутки, Яков?

— Он пошутил,— поддержала толпа, хорошо знавшая Трепетова.

И милиционер уже приготовился отпустить шутника на свободу, когда Трепетов сказал:

— Я не шутил. Я обокрал этого почтенного гражданина. Я вор. Ведите меня в темницу. Вяжите меня.

Однако никто его не вязал. Тогда Трепетов вспылил.

— Почему,— обратился он к милиционеру,— вы не исполняете возложенных на вас обязанностей?

Милиционер сконфузился и робко заявил, что раз потерпевший не имеет претензий, то вести уличенного в темницу нет надобности.

— Вы не знаете уголовно-процессуального кодекса! — завизжал Трепетов, обводя притихшую толпу злыми глазами.— А я знаю! Я досконально изучил! Заявление потерпевшего от кражи не обязательно! Если преступление, предусмотренное сто восьмидесятой статьей уголовного кодекса, совершено, то вы обязаны передать правонарушителя в руки правосудия.

— Что ж, я могу,— неуверенно сказал милиционер,— будьте, граждане, свидетелями.

И он повел Якова Трепетова судиться.

На суде разыгрались драматические сцены. Все свидетели, подтверждая факт кражи кошелька с девятью рублями сорока четырьмя копейками и одним выигрышным билетом кругосветной лотереи стоимостью в пятьдесят копеек, в один голос говорили, что это выше их понимания.

Потерпевший в продолжение всего заседания умолял обвиняемого «оставить эти глупые шутки». Но обвиняемый был непоколебим.

— Делайте ваше дело! — заявил он судьям.— Важны не девять рублей сорок четыре копейки, а важен принцип. Я преступил закон и должен понести соответствующую кару.

Но тут Шахерезада Федоровна заметила, что служебный день окончился.

А когда наступил

ДВЕНАДЦАТЫЙ СЛУЖЕБНЫЙ ДЕНЬ,

она сказала:

— И суд вынужден был заключить бессребреника на две недели в исправдом.

— А мне больше и не надо! — сказал Трепетов, просияв.— Спасибо, судьи! Вы правильно судили!

Дело в том, что испытаннейший культработник и активный общественник Трепетов считал настоящим своим призванием не организацию библиотек, которую он проводил с большим умением, не оживление кружковой работы и не вовлечение в клуб старичков, а сочинение стихов.

Писал он их по ночам, а утром прятал написанное

в сундук и, вздыхая, невыспавшийся и хмурый, шел на работу, повторяя по дороге сочиненные за ночь строфы:

Не верь, родимая, наветам,
Я их не устрашусь! Вотще!
И грудь моя под дулом пистолета
Все, все вздыхает по тебе!
Не верь, родимая, молю,— не верь,
Ведь я люблю тебя, как зверь.

На такие вот дела тратил культработник ценные часы своего отдыха. Но часов отдыха становилось все меньше. Расширение сети кружков отнимало у него строфу за строфой. Вовлечение в клуб старичков требовало столько работы, что отпуск пришлось перенести на осень.

А между тем в душе зрела весенняя поэма. Даже название было уже проработано — «Майские грезы». Выявились даже начальные строки:

По клейким лепесткам уже стекает сок,
А воды уж весной шумят...

Времени же совершенно не было. Доведенный до крайности потными валами вдохновения, Яков Трепетов решился на кражу.

«В тюрьме мне никто не помешает,— с горькой радостью думал культработник,— там напишу я «Майские грезы».

Две недели показались ему достаточным сроком. И потому он с такой радостью встретил приговор.

В первый же день, с аппетитом пообедав «передачей», которую принес в тюрьму безутешный Умрихин, и с отвращением выбросив в парашу найденную в булке записку: «Яша! Брось эти глупости!»,— Яков Трепетов засел за поэму.

Под мерные шаги часового и под тихую перебранку соседей хорошо думалось. Потные валы вдохновения окатили узника. Он почувствовал привычный грохот в висках и начал быстро писать:

Майские грезы

(Поэма)

По клейким лепесткам уже стекает сок,
А воды уж весной шумят...

Но тут дверь камеры с шумом отворилась.

— Трепетов Яков! — закричал надзиратель.

— Есть! — ответил поэт, отрываясь от любимого занятия.

— Идите в клуб. Вы, кажется, культработник? Вас начальник культотдела зовет.

— Зачем? — воскликнул узник.

— Вести культработу. Поставить библиотеку на должную высоту, оживить кружковую работу и вовлечь побольше старичков-рецидивистов!

Со стесненным сердцем побрел Трепетов в клуб. Но там, как старый кавалерийский конь, заслышавши звуки трубы, он принялся прорабатывать, вовлекать и налаживать. И когда он опомнился, срок заключения уже прошел.

Говорят, что поэма «Майские грезы» никогда не была закончена. Ибо, отсидев свой срок, Трепетов нашел культработу запущенной, и ему пришлось работать даже по ночам.

— Таким образом,— закончила Шахерезада,— одним плохим поэтом стало меньше! Но эта история ничто в сравнении с рассказом о молодости, как таковой.

— Я ничего не знаю об этом,— сказал председатель по чистке, товарищ Фанатюк.— Что же это за история?

ХРАНИТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ

И Шахерезада Федоровна, делопроизводительница конторы по заготовке Когтей и Хвостов, начала новый рассказ.

— Сейчас, о высокочтимый товарищ Фанатюк, и вы, члены комиссии по чистке, я расскажу вам трагическую историю.

Среди нынешней молодежи нетрудно различить юношей двух типов: жоржей и братишек.

Братишки окончательно порвали со старым миром, носят рубашки апаш, редко чистят зубы, всей душой болеют за родную футбольную команду, летом занимаются пешеходством, а зимой в прохладных аудиториях копят духовные ценности.

Жоржи со старым миром не порвали. Они носят преувеличенно широкие панталоны, зубов не чистят никогда и не в силах забыть о бабушке-фрейлине или о том, что их дедушка был чиновником министерства финансов. По вечерам жоржи предаются танцам, которые составляют их любимое занятие.

Есть еще смешанные фигуры: жоржебратишки и братишкожоржи. Первые совершают медленную эволюцию от тонкого аристократизма жоржей к детской непосредственности братишек. Вторые из лагеря братишек совершают переход к солнечному быту жоржей.

Однако в нашем рассказе участвуют породы чистых кровей: Коля Архипов был типичным братишкой, а вид Гени Черепенникова сразу указывал на то, что Геня чистопородный жорж.

И вот однажды в коридоре электротехникума, где оба они учились, Коля Архипов в присутствии множества студентов ударил Геню Черепенникова по бледному, одухотворенному лицу.

— Вот тебе за политграмоту Бердникова и Светлова! — сказал Коля Архипов после нанесения удара.

Этим он хотел намекнуть Черепенникову, что нехорошо «заматывать» такую полезную книгу.

В коридоре стало тихо. Все ждали обратного удара. Геня Черепенников, в котором закипели самые благородные чувства, двинулся было на обидчика, но, вовремя оценив его атлетическую фигуру, повернулся на полпути и ушел.

Два дня перед ним витала тень дедушки из министерства финансов и взывала о мщении. А на третий день он подошел к братишке Архипову и сказал:

— Вы, конечно, понимаете, что порицание, которое вам вынесло Исполбюро, меня не удовлетворяет. Такие оскорбления смываются только кровью. Я требую сатисфакции.

— Чего? — спросил Коля.

— Дуэли.

— Это можно,— хладнокровно сказал Коля,— мы к дуэли привычные.

— Не паясничайте, Архипов! — воскликнул Черепенников.— Хоть в этот решительный час ведите себя достойно. Я все обдумал. К сожалению, в советских условиях возможна только тайная американская дуэль. Мы тянем жребий. Тот, кто вытянет бумажку с крестом, должен умереть, то есть покончить жизнь самоубийством, предварительно оставив записку: «В смерти моей прошу никого не винить». Способ самоубийства любой. Вас это устраивает?

Колю Архипова это устраивало. Он шаркнул ножкой, обутой в яловочный сапог, и заявил, что давно жаждал американской дуэли.

— Смотрите,— сказал Геня Черепенников, отрезав две бумажки и отмечая одну из них крестом,— дело серьезное. Вы живете последний день.

— Пожалуйста, пожалуйста,— угодливо заметил Архипов,— после того как вы замотали у меня Бердникова, я как-то потерял вкус к жизни!

Что вы, интересно знать, запоете, когда вытащите роковую бумажку? — со злостью закричал Геня.

Враги потянули жребий.

Геня Черепенников был так уверен в победе, что даже зашатался, когда увидел на своей бумажке крест.

В этом месте Шахерезада заметила, что служебный день окончился.

А когда наступил

ТРИНАДЦАТЫЙ СЛУЖЕБНЫЙ ДЕНЬ,

она продолжала:

— Что же теперь будет? — жалобно спросил он.

— Очень просто,— сказал Архипов,— вам, как любителю дуэлей, самоубийство должно доставить живейшее удовольствие. Сейчас вы пойдете домой и, опрыскав одеколоном ТЭЖЭ листок почтовой бумаги, твердым почерком напишите: «В смерти моей прошу никого не винить». А потом — какой широкий выбор! Сколько разнообразия! Кстати, не советую вам бросаться под дачные поезда. Это пошло. Умрите с честью, красиво — под сибирским экспрессом, у станции Лосиноостровской.

Геня Черепенников пришел домой с позеленевшим лицом. Есть ему не хотелось. Он с отвращением поболтал ложкой в супе и перешел к письменному столу. Тень финансового дедушки незримо витала над ним.

«В смерти моей прошу никого не винить»,— написал он на листке почтовой бумаги.

Дедушка одобрительно закивал головой.

Потом Геня Черепенников всхлипнул, перечеркнул страничку и сделал новую надпись:

«В смерти моей прошу винить Николая Архипова (Токманов переулок, 20, комн. 271. Застать можно вечером), который подстрекал меня к самоубийству».

Дедушка презрительно усмехнулся, но Гене было все равно.

«Дадут Кольке восемь лет со строгой за подстрекательство,— злорадно подумал он,— воображаю его удивление».

Но умирать все-таки мучительно не хотелось, хотя дедушка — старорежимный самурай — строгим своим видом показывал, что медлить неудобно и нужно приступать к харакири.

«И чего этот лезет,— подумал Геня Черепенников, отмахиваясь от навязчивой тени,— самого небось каждый день по морде хлестали, и ничего, дожил, дурак, до восьмидесяти лет. Тоже лорд-мэр города Парижа выискался, хранитель традиций!»

Однако смыть оскорбление кровью было необходимо.

Геня Черепенников провел ночь типичного самоубийцы. Он пил кипяченую воду, бросал на пол листки бумаги, писал на стене слово «Люба» и выкурил два десятка папирос «Ay».

Утром он пробудился с тем же ощущением безысходности. Тяжесть несмытого оскорбления давила его тысячами тонн.

И Геня Черепенников решился.

Он взял чистый лист бумаги и твердым почерком написал:

«В нарсуд Бауманского района.

Настоящим прошу привлечь к ответственности гр. Н. Архипова за оскорбление меня действием. Есть свидетели».

Через неделю нарсуд приговорил Архипова к пятнадцати рублям штрафа, что составляло его полуторамесячную стипендию.

Архипов был сконфужен. Черепенников торжествовал.

А следующая история,— закончила Шахерезада,— будет об удивительном больном — Мисаиле Трикартове.

«Клянусь Госпланом,— подумал товарищ Фанатюк,— я не уволю ее, пока не услышу рассказа о Мисаиле Трикартове!»

ПРОЦЕДУРЫ ТРИКАРТОВА

И Шахерезада Федоровна начала:

— Знайте, товарищ Фанатюк, и вы, члены комиссии по чистке аппарата, что весною служилым людом овладевает лечебная лихорадка. Чем пышнее светит солнце, чем пронзительнее поют птицы, тем хуже чувствуют себя служивые. Молодая трава вырастает за ночь на вершок, ртутная палочка термометра подымается кверху так поспешно, словно хочет добраться до второго этажа, а служивым делается все горше и горше.

Им хочется лечиться, лечиться от чего угодно и как угодно, лишь бы это было в санатории и по возможности на юге.

Мисаил Александрович Трикартов, пожилой, но еще прыткий человек, был подвержен лечебной лихорадке в особенно сильной степени.

— Все лечатся,— восклицал он, держась обеими руками за пухлую грудь,— а я должен погибать. Я тоже хочу лечиться!

— Что же с вами? — участливо спрашивали сослуживцы.

— Откуда мне знать! — визжал Мисаил.— Ну, колит, ну, катар. Порок сердца. Я не доктор, но я чувствую.

И Мисаил побежал к профессору. Он считал, что лечиться можно только у профессоров.

Профессор долго прикладывал ухо к голому Трикартову и прислушивался к работе его органов с тою внимательностью, с какою кошка прислушивается к движениям мыши.

Во время осмотра трусливый Мисаил Александрович смотрел на свою грудь, мохнатую, как демисезонное пальто, полными слез глазами.

— Ну что? — выговорил он, глядя в спину профессора, который мыл руки.

Он хотел спросить, «есть ли надежда», но губы у него задрожали и насчет надежды не вышло.

— Вы здоровы,— сказал профессор.— Абсолютно.

— У меня порок сердца! — вызывающе сказал Трикартов.

Профессор рассердился.

— А вы знаете, что такое порок сердца?

За визит к профессору Трикартов уплатил семь рублей, и поэтому он тоже рассердился.

— Знаю,— сказал он.— Порок сердца, это когда сердце стучит. Кроме того, у меня еще колит, катар и невроз.

— Вы дурак,— ответил профессор.

Тем не менее Трикартов решил лечиться. Сначала он хотел лечить свои болезни за счет государства. Но государство этого не захотело.

Тогда Мисаил убедился, что во врачебных комиссиях сидят такие же жулики, как и профессора, занимающиеся частной практикой, от знакомых он разузнал, что в Кисловодске хорошо лечат, и купил себе койку в одном из тамошних санаториев.

Погода благоприятствовала поездке Трикартова. Он поселился среди роз. Он занимал чудную комнату. Но все это не радовало его. Он завидовал.

С рассвета в санатории начиналась хлопотливая жизнь. Часть больных, как стадо антилоп, направлялась к источнику, где упивалась нарзаном. Других под руки вели к грязевым ваннам. Некоторых пытали душами Шарко. Были и такие, которых заворачивали в мохнатые простыни и заставляли потеть. Со всеми что-то делали, с одним лишь Трикартовым ничего не делали. И Мисаил очень страдал от этого.

Но однажды увидел он нечто такое, чего перенести уже не смог.

Но здесь Шахерезада заметила, что служебный день окончился, и скромно умолкла.

А когда наступил

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ СЛУЖЕБНЫЙ ДЕНЬ,

она сказала:

— Гуляя по санаторию, он забрел во флигелек в саду. Там посреди комнаты на возвышении сидел человек, из волос которого бойко выскакивали синие электрические искры. Гудели какие-то машины.

— А мне почему этого не делают? — спросил Трикартов санитара.— Я тоже хочу, чтобы у меня искры. Я Трикартов.

— Вас нет в списке,— равнодушно ответил санитар.

Трикартов понял, что эта процедура самая дорогая и ее нарочно скрывают от него в саду.

Вечером, на террасе, в присутствии больных и гостей, он учинил главврачу большой скандал.

— Дайте мне мои процедуры,— кричал Мисаил Александрович, прыгая.— Где мои процедуры? Что это за кузница здоровья! Я деньги платил.

— Вы здоровы,— сконфуженно говорил главврач.— Вам не нужны процедуры. Отдыхайте. Старайтесь поменьше волноваться!

Но Трикартов не спал всю ночь и решил лечиться своею собственной рукой. На рассвете, пугливо озираясь по сторонам, он поскакал к источнику и вдоволь напился нарзану.

— Я им покажу,— сказал он, возвращаясь в санаторий.— Я уже чувствую себя лучше.

Днем он бегал по опрятным аллейкам, крича:

— Где горное солнце?

Не добившись солнца, Мисаил Александрович забрался в электрический флигелек и, приложив к груди цинковую пластинку со шнурами, включил ток. До самого вечера он

содрогался от сдерживаемой радости, потому что медный вкус во рту не покидал его и создавал уверенность в быстром выздоровлении. Ночью, при свете луны, он снова пробрался к источнику и, отрыгиваясь, выпил шестнадцать стаканов газового напитка.

— Я им покажу! — шептал он, пробираясь через окно в свою комнату.

Остаток времени он провел с большой пользой. Вынув из-под кровати выкраденную синюю лампу, он возлег на постель, озарив себя гробовым светом,— лечился всю ночь. Здоровье Мисаила заметно улучшилось, но почему-то пропал аппетит. Души Шарко, нарзанные и грязевые ванны пришлось принимать конспиративно и большей частью по ночам.

— Плохо вы что-то выглядите,— сказал ему однажды врач.— Вы бы яичек побольше ели.

«Знаем! — подумал опытный Мисаил.— Хочет мне сплавить дешевые яички, а дорогое горное солнце уже месяц, как от меня прячет!»

Перед самым отъездом Трикартову удалось забраться к заветному солнцу. Но наслаждаться им пришлось всего лишь один час. Спугнула няня. По дороге в Москву, на станции Скотоватая, Мисаилу сделалось плохо. Пришлось вызвать врача, который установил порок сердца, катар желудка и общее отравление неизвестными газами. Когда Трикартов предстал перед сослуживцами, вид у него был пугающий.

— Что с вами? — спрашивали друзья.

— Залечили, сукины дети! — ответил Мисаил.— Кварцевой лампы пожалели. Горное солнце давали в недостаточном количестве. Для наркомов берегли. Тоже кузница здоровья!

— Но эта история,— добавила Шахерезада,— ничто в сравнении с рассказом о борьбе двух чиновников.

«Клянусь Госпланом,— подумал товарищ Фанатюк,— что я не уволю ее, пока не услышу этого рассказа!»

И на этом окончился четырнадцатый служебный день.

БОРЬБА ГИГАНТОВ

Вот уже четырнадцать служебных дней, с десяти часов утра до четырех часов дня, Шахерезада Федоровна Шайтанова, делопроизводительница конторы по заготовке Когтей и Хвостов, рассказывала главе учреждения, товарищу Фанатюку, и членам комиссии по чистке всякого рода завлекательные истории и басни.

Четырнадцать дней контора, лишенная разумного руководства, бездействовала.

И вот, на пятнадцатый день, Шахерезада, глаза которой светились необыкновенным оживлением, начала новый рассказ.

— Знайте же, товарищ Фанатюк, что история, которую я вам сейчас поведаю, история чрезвычайно правдивая и гласит о борьбе двух чиновников.

Была в Москве контора по заготовке Когтей и Хвостов.

— Как? — вскричал товарищ Фанатюк.— Ведь это наша контора.

— Не перебивайте меня, о высокочтимый шеф,— ответила Шахерезада, тряся серьгами.— Быть может, в Москве еще одна такая контора. Ведь один Госплан всеведущ и всемудр. Итак, я продолжаю. И были в этой конторе два начальника. Одного звали Фанатюк...

— Как! — снова воскликнул Фанатюк с раздражением.— Речь идет обо мне?

— Все возможно на свете,— уклончиво заметила Шахерезада.— В адресном столе под литером Ф. значится, может быть, несколько Фанатюков. Итак, я продолжаю. Другой начальник носил мелодичную фамилию Сатанюк.

При имени своего врага товарищ Фанатюк вскочил.

— Однако,— закричал он, багровея,— это переходит все границы! На свете не бывает таких совпадений!

— На свете бывают и не такие совпадения,— сурово сказала делопроизводительница.— Если угодно, я могу прекратить рассказ, который, впрочем, обещает быть весьма интересным.

— Нет, нет! — воскликнул товарищ Фанатюк.— Рассказывайте, рассказывайте! Я, в конце концов, не против самокритики!

И Шахерезада, прерываемая возгласами удивления и возмущения, продолжала рассказ:

— Итак, начальников было двое, и, вместо того чтобы помогать друг другу в работе, они боролись между собой. И в жарких схватках они потянули за собой всю контору, и служащие разделились на два лагеря — фанатюковцев и сатанюковцев. Свет не видел более глупой и бессмысленной борьбы, ибо здесь решающую роль играли не интересы дела, а самолюбие начальников.

Борьба кончилась полным поражением Сатанюка. Интригами противника он был снят с поста и брошен в Умань

для ведения культработы среди тамошних извозопромышленников.

И грозная тень победившего Фанатюка упала на помертвевшую контору по заготовке Когтей и Хвостов для нужд широкого потребления.

— Это намек на меня! — вскричал глава учреждения.— Молчать! В двадцать четыре часа!.. Впрочем, простите, это все-таки интересно, рассказывайте.

— Ну и вот! — продолжала Шахерезада.— Надо прямо сказать, что товарищ Фанатюк был не из тех людей, которые хватают с неба звезды. Можно даже сказать, что он был глуп как пробка. Не возмущайтесь, не возмущайтесь. Вы ведь не против самокритики. Итак, он был глуп как пробка! Понимаете? Как пробка! Глуп и злопамятен.

Своим скудным умишком он решил выжить из конторы всех служащих, которых он считал сторонниками поверженного Сатанюка, и немедленно после обеда он приступил к чистке. Это был очень глупый человек. Понимаете? Очень. Он был, знаете ли, так глуп, что даже трудно вам рассказать. Я вижу, что это вам неприятно. Я лучше перестану.

— Продолжайте! — прохрипел Фанатюк.

На губах у него появилась мыльная пена. Члены комиссии старались не смотреть в его сторону.

— Так вот, этот глупый человек дал себя обвести вокруг пальца ничтожнейшей из служащих, своей делопроизводительнице. Он хотел ее уволить, эту делопроизводительницу, потому что считал ее главной клевреткой Сатанюка.

Но делопроизводительница принялась рассказывать ему сказки, и этот более чем наивный человек слушал сказки четырнадцать дней. И служащие, ожидавшие увольнения, благословляли ее. Слушает он их и сейчас. Сегодня пошел пятнадцатый день. И пока он занимался этой чепухой, его враг, всеми нами уважаемый товарищ Сатанюк... Однако довольно. Не хочу больше рассказывать.

— Говорите! Что же сделал Сатанюк? — раздался умоляющий голос Фанатюка.— Я требую этого!..

— Не хочу. Не желаю. Противно.

— Но ведь, кажется,— говорил Фанатюк, предчувствуя недоброе,— ведь, кажется, полагается рассказывать тысяча один день.

— Не желаю, и все тут. По колдоговору я вам сказки рассказывать не обязана.

— Тогда я вас увольняю. Вон. Без выходного. Запишите в протокол: «Увольняется делопроизводительница

Шахерезада Шайтанова, как дочь...» Ну, все равно — «как дочь английской королевы Виктории». Вон!

Шахерезада встала. Серьги ее издали пугающий звон.

— Хорошо. Осел хочет узнать свою судьбу. Итак, я продолжаю. И пока он слушал сказки, товарищ Сатанюк не дремал. Он нажал все пружины, и говорят, что добился восстановления.

— Не может быть! — запищал Фанатюк.

— Все может быть! — ответила побледневшая от торжества Шахерезада.— Прислушайтесь.

И действительно: откуда-то снизу, очевидно из швейцарской, послышался ропот голосов. Он все увеличивался, рос и приближался. Вскоре можно было различить явственное «ура».

Двери кабинета распахнулись, и в портале показалась мощная фигура товарища Сатанюка.

При нем были три портфеля. Один большой, нашейный, крокодиловый и два из свиной кожи в руках. И голос товарища Сатанюка был, как морской прибой в шестибалльный ветер.

— Кто сидит за моим столом? — спросил он, потрясая какой-то бумажонкой.— Товарищ Фанатюк назначается в город Колоколамск на должность городского фотографа.

И еще никто в мире не сдавал дела с такой быстротой, как товарищ Фанатюк. Так окончились сказки Новой Шахерезады.

ПРОШЛОЕ РЕГИСТРАТОРА ЗАГСА

На масленицу 1913 года в Старгороде произошло событие, взволновавшее передовые слои местного общества.

В четверг вечером в кафешантане «Сальве», в роскошно отделанных залах, шла грандиозная программа:

ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНАЯ
ТРУППА ЖОНГЛЕРОВ

10 арабов!

Величайший феномен XX века
Стэнс
Загадочно! Непостижимо!

Чудовищно!!!
Стэнс — человек-загадка!

Поразительные испанские акробаты
И н а с!

Б р е з и н а —
дива из парижского театра Фоли-Бержер!

Сестры Д р а ф и р
и другие номера

Сестры Драфир — их было трое — метались по крохотной сцене, задник которой изображал Версальский сад, и с волжским акцентом пели:

Пред вами мы, как птички,
Легко порхаем здесь,
Толпа нам рукоплещет,
Бомонд в восторге весь.

Исполнив этот куплет, сестры вздрогнули, взялись за руки и под усилившийся аккомпанемент рояля грянули что есть силы рефрен:

Мы порхаем,
Мы слез не знаем,
Нас знает каждый всяк —
И умный и дурак.

Отчаянный пляс и обворожительные улыбки трио Драфир не произвели никакого действия на передовые круги старгородского общества. Круги эти, представленные в кафешантане гласным городской думы Чарушниковым с двоюродной сестрой, первогильдийным купцом Ангеловым, сидевшим навеселе с двумя двоюродными сестрами в палевых одеждах, архитектором управы, городским врачом, тремя помещиками и многими менее именитыми людьми с двоюродными сестрами и без них, проводили трио Драфир похоронными хлопками и снова предались радостям «семейного парадного ужина с шампанским Мумм (зеленая лента) по два рубля с персоны».

На столиках в особых стоечках из белого металла торчали привлекательные голубые меню, содержание которых, наводившее на купца Ангелова тяжелую пьяную скуку, было обольстительно и необыкновенно для молодого человека лет семнадцати, сидевшего у самой сцены с недорогой, очень зрелой двоюродной сестрой.

Молодой человек еще раз перечел меню: «Судачки попьет. Жаркое — цыпленок. Малосольный огурец. Суфле-глясе Жанна д'Арк. Шампанское Мумм (зеленая лента). Дамам — живые цветы». Сбалансировал в уме одному ему известные суммы и робко заказал ужин на две персоны. А уже через полчаса плакавшего молодого человека, в котором купец Ангелов громогласно опознал переодетого гимназиста, сына бакалейщика Дмитрия Маркеловича, выводил старый лакей Петр, с негодованием бормотавший: «А ежели денег нет, то зачем фрукты требовать. Они в карточке не обозначены, их цена особая». Двоюродная сестра, кокетливо закутавшись в кошачий палантин с черными лапками, шла позади, выбрасывая зад то направо, то налево. Купец Ангелов радостно кричал вслед опозоренному гимназисту: «Двоечник! Второгодник! Папе скажу! Будет тебе бенефис!»

Скука, навеянная выступлением сестер Драфир, исчезла бесследно. На сцену медленно вышла знаменитая мадемуазель Брезина, с бритыми подмышками и небесным личиком. Дива была облачена в страусовый туалет. Она не пела, не рассказывала, даже не танцевала. Она расхаживала по сцене, умильно глядя на публику, пронзительно вскрикивала и одновременно с этим сбивала носком божественной ножки проволочное пенсне с носа партнера — бесцветного усатого господина. Ангелов и городской архитектор, бритый старичок, были вне себя.

— Отдай все — и мало! — кричал Ангелов страшным голосом.

Гласный городской думы Чарушников, ужаленный в самое сердце феей из Фоли-Бержер, поднялся из-за столика и, примерившись, бросил на сцену кружок серпантина. Развившись только до половины, кружок попал в подбородок прелестной дивы. Неподдельное веселье захватило зал. Требовали шампанское. Городской архитектор плакал. Помещики усиленно приглашали городского врача к себе в деревню. Оркестр заиграл туш.

В момент наивысшей радости раздались громкие голоса. Оркестр смолк, и архитектор — первый обернувшийся ко входу — сперва закашлялся, а потом зааплодировал. В зал вошел известный мот и бонвиван, уездный предводитель дворянства Ипполит Матвеевич Воробьянинов, ведя под руки двух совершенно голых дам. Позади шел околоточный надзиратель, держа под мышкой разноцветные бебехи, составлявшие, по-видимому, наряды разоблачившихся спутниц Ипполита Матвеевича.

— Извините, ваше высокоблагородие,— дрожащим голосом говорил околоточный,— но по долгу службы...

Голые дамы с любопытством смотрели на окружающих. В зале началось смятение. Не пал духом один лишь Ангелов.

— Голубчик! Ипполит Матвеевич! — закричал он.— Орел! Дай, я тебя поцелую.

— По долгу службы,— неожиданно твердо вымолвил околоточный,— не дозволяют правила!

— Что-с? — спросил Ипполит Матвеевич тенором.— Кто вы такой?

— Околоточный надзиратель шестого околотка, Садовой части, Юкин.

— Господин Юкин,— сказал Ипполит Матвеевич,— сходите к полицмейстеру и доложите ему, что вы мне надоели. А теперь по долгу службы делайте что хотите.

И Ипполит Матвеевич горделиво проследовал со своими спутницами в отдельный кабинет, куда немедленно ринулись встревоженный метрдотель, сам хозяин «Сальве» и совершенно одичавший купец Ангелов.

Событие это, взволновавшее передовые круги старгородского общества, окончилось так же, как оканчивались все подобные события: двадцать пять рублей штрафа и статейка в местной либеральной газете «Общественная мысль» под неосторожным заглавием «Похождения предводителя». Статейка была написана возвышенным слогом и начиналась так:

«В нашем богоспасаемом городе что ни событие, то — сенсация!

И, как нарочно, в каждой сенсации замешаны именно:

— Влиятельные лица!!!»

Статья, в которой упоминались инициалы Ипполита Матвеевича, заканчивалась неизбежным: «Бывали хуже времена, но не было подлей»,— и была подписана популярным в городе фельетонистом Принцем Датским.

В тот же день чиновник для особых поручений при градоначальнике позвонил в редакцию и любезно просил господина Принца Датского прибыть в канцелярию градоначальника к четырем часам дня для объяснений. Принц Датский сразу затосковал и уже не смог дописать очередного фельетона. В назначенное время венценосный журналист сидел в приемной градоначальника и, смущаясь, думал о том, как он, заикающийся настолько, что его не смогли излечить даже курсы профессора Файнштейна, будет объясняться

с градоначальником, человеком вспыльчивым и ничего не понимающим в газетной технике.

Градоначальник с особенным удовольствием всматривался в синеватое лицо Принца Датского, который тщетно силился выговорить необыкновенно трудные для него слова: «Ваше высокопревосходительство». Беседа кончилась тем, что градоначальник поднялся из-за стола и сказал:

— Для вашего спокойствия рекомендую о таких вещах больше не заикаться.

Принц Датский, успевший одолеть к этому времени слова «ваше высокопревосходительство», зашипел особенно сильно, позволил себе улыбнуться и, почти выворачиваясь наизнанку, вытряхнул из себя ответ:

— Т-т-т-так я-же в-в-в-ообще з-аикаюсь!

Остроумие Принца было оценено довольно дорого. Газета заплатила сто рублей штрафа и о следующих похождениях Ипполита Матвеевича уже ничего не писала.

Неожиданные поступки были свойственны Ипполиту Матвеевичу с детства.

Ипполит Матвеевич Воробьянинов родился в 1875 году в Старгородском уезде в поместье своего отца Матвея Александровича, страстного любителя голубей. Пока сын рос, болел детскими болезнями и вырабатывал первые взгляды на жизнь, Матвей Александрович гонял длинным бамбуковым шестом голубей, а по вечерам, запахнувшись в халат, писал сочинение о разновидностях и привычках любимых птиц. Все крыши усадебных построек были устланы хрупким голубиным пометом. Любимый голубь Матвея Александровича Фредерик со своей супругой Манькой обитал в отдельной благоустроенной голубятне.

На девятом году мальчика определили в приготовительный класс Старгородской дворянской гимназии, где он узнал, что, кроме красивых и приятных вещей: пенала, скрипящего и пахнущего кожаного ранца, переводных картинок и упоительного катания на лаковых перилах гимназической лестницы,— есть еще единицы, двойки, двойки с плюсом и тройки с двумя минусами.

О том, что он лучше других мальчиков, Ипполит узнал уже во время вступительного экзамена по арифметике. На вопрос, сколько получится яблок, если из левого кармана вынуть три яблока, а из правого девять, сложить их вместе, а потом разделить на три, Ипполит ничего не ответил, потому что решить этой задачи не смог. Экзаменатор собрался было записать Воробьянинову Ипполиту двойку, но

батюшка, сидевший за экзаменационным столом, со вздохом сообщил: «Это Матвея Александровича сын. Очень бойкий мальчик». Экзаменатор записал Воробьянинову Ипполиту три, и бойкий мальчик был принят.

В Старгороде было две гимназии: дворянская и городская. Воспитанники дворянской гимназии питали вражду к питомцам гимназии городской. Они называли их «карандашами» и гордились своими фуражками с красным околышем. За это в свою очередь они получили обидное прозвище «баклажан». Не один «карандаш» принял мученический венец из «фонарей» и «бланшей» от руки мстительных «баклажан». Озлобленные «карандаши» устраивали на «баклажан»-одиночек облавы и с гиканьем обстреливали дворянчиков из дальнобойных рогаток. «Баклажан»-одиночка, тряся ранцем, спасался в переулок и долго еще сидел в подъезде какого-нибудь дома, бледный, потерявший одну галошу. Взятая в плен галоша забрасывалась победителями на крышу трехэтажного дома, самого высокого в городе.

Были еще в Старгороде кадеты, которых гимназисты называли «сапогами», но жили они в двух верстах от города, в своем корпусе, и вели, по мнению «баклажан», жизнь загадочную и даже легендарную.

Ипполит завидовал кадетам, их голубым погончикам с наляпанным по трафарету желтым александровским вензелем, их бляхам с накладными орлами; но лишенный, по воле отца, возможности получить воспитание воина, сидел в гимназии, получал тройки с двумя минусами и предпринимал самые неслыханные дела.

В третьем классе Ипполит остался на второй год. Как-то, перед самыми экзаменами, во время большой перемены три гимназиста забрались в актовый зал и долго лазили там, с восторгом осматривая стол, покрытый сверкающим зеленым сукном, тяжелые малиновые портьеры с бомбошками и кадки с пальмами. Гимназист Савицкий, известный в гимназических кругах сорвиголова, радостно плюнул в вазон с фикусом, Ипполит и третий гимназист, Пыхтеев-Какуев, чуть не умерли от смеха.

— А фикус ты можешь поднять? — с почтением спросил Ипполит.

— Ого! — ответил силач Савицкий.

—А ну, подними!

Савицкий сейчас же начал трудиться над фикусом.

— Не подымешь! — шептали Ипполит с Пыхтеевым-Какуевым.

Савицкий с красной мордочкой и взмокшими нахохленными волосами продолжал напрягаться у фикуса.

Вдруг произошло самое ужасное. Савицкий оторвался от фикуса и спиною налетел на колонну красного дерева с золотыми ложбинками, на которой стоял мраморный бюст Александра I Благословенного. Бюст зашатался, слепые глаза царя укоризненно посмотрели на мигом притихших гимназистов, и Благословенный, постояв секунду под углом в сорок пять градусов, кинулся головой вниз, как пловец в реку. Падение императора имело роковые последствия. От лица царя отделился сверкающий рафинадный кусок, в котором гимназисты с ужасом узнали нос. Холодея, товарищи подняли бюст и поставили его на прежнее место. Первым убежал Пыхтеев-Какуев.

— Что же теперь будет, Воробьянинов? — спросил Савицкий.

— Это не я разбил,— быстро ответил Ипполит.

Он покинул актовый зал вторым. Оставшись один, Савицкий, не надеясь ни на что, пытался водворить нос на прежнее место. Нос не приставал. Тогда Савицкий пошел в уборную и утопил нос в дыре.

Во время «греческого» в третий класс вошел директор «Сизик». Сизик сделал греку знак оставаться на месте и произнес ту же самую речь, которую он только что произносил по очереди в пяти старших классах. У директора не было зубов.

— Гошпода,— заявил он,— кто ражбил бюшт гошударя в актовом жале?

Класс молчал.

— Пожор! — рявкнул директор, обрызгивая слюною зубрил, сидящих на передних партах.

Зубрилы преданно смотрели в глаза Сизика. Взгляд их выражал горькое сожаление о том, что они не знают имени преступника.

— Пожор! — повторил директор.— Имейте в виду, гошпода, что ешли в чечение чаша виновный не шожнаеча, вешь клаш будет оштавлен на второй год. Те же, которые шидят второй год, будут ишключены.

Третий класс не знал, что Сизик говорил о том же самом во всех классах, и поэтому его слова вызвали страх.

Конец урока прошел в полном смятении. Грека никто не слушал. Ипполит смотрел на Савицкого.

— Сизик врет,— говорил Савицкий грустно,— пугает. Нельзя всех оставить на второй год.

Пыхтеев-Какуев плакал, положив голову на парту.

— А мы-то за что? — кричали зубрилы, преданно глядя на грека.

— Ну, дети, дети, дети! — взывал грек.

Но паника только увеличивалась. Плакал уже не один Пыхтеев-Какуев. Доведенные до отчаяния зубрилы рыдали. Звонок, возвестивший конец урока, прозвучал среди взрывов всеобщего отчаяния.

Зубрила Мурзик прочел молитву после учения: «Благодарим тебя, создателю»,— икая от горя.

После урока Савицкий, не добившись никакого толку от заплаканного Пыхтеева-Какуева, пошел искать Ипполита, но Ипполита нигде не было.

На другой день Савицкий был исключен из гимназии. Пыхтеев-Какуев получил тройку из поведения с предупреждением и вызовом родителей. Родитель, мелкопоместный владетель, приехал на бегунках, запряженных неподкованной лошадкой, и после разговора с директором утащил сына в шинельную, где и отодрал его самым зверским образом суконными вожжами в присутствии массы любопытных из старших классов. Рев маленького Пыхтеева-Какуева был слышен за городской чертой.

Ипполит наказан не был, а гимназические его годы сопровождали обычные события и вещи. В гимназию он приезжал в фаэтоне с фонарями и толстым кучером, который величал его по имени и отчеству. Липки и резинки водились у него самые лучшие и дорогие. Играл он в перышки всегда счастливо, потому что перья покупали ему целыми коробками, и с таким резервом он мог играть до бесконечности, беря противников на выдержку. Завтракать он ездил домой. Это вызывало зависть, и он этим гордился.

В шестом классе была выкурена первая папироса. Зима прошла в гимназических балах. Ипполит вертелся в мазурке и пил в гардеробной ром. В седьмом классе его мучили квадратные уравнения, «Чертова лестница» (объем пирамиды), параллелограмм скоростей и «Метаморфозы» Овидия. А в восьмом классе он узнал «Логику», «Христианское правоучение» и легкую венерическую болезнь.

Отец его сильно одряхлел. Длинный бамбуковый шест дрожал в его руках, а сочинение о свойствах голубиной породы еще не дошло до середины. Матвей Александрович умер, так его и не закончив, и Ипполит Матвеевич, кроме шестнадцати голубиных стай, совершенно иссохшего и ставшего похожим на попугая Фредерика, получил двадцать

тысяч годового дохода и огромное, плохо поставленное хозяйство.

Начало самостоятельной жизни молодой Воробьянинов ознаменовал кутежом с пьяной стрельбой по голубям. Он не пошел ни в университет, ни на государственную службу. От военной службы его избавила общая слабость здоровья, поразительная в таком цветущем на вид человеке. Он так и остался неслужащим дворянином, золотой рыбкой себе на уме, неверным женихом и волокитой по натуре. Он переустроил родительский особняк в Старгороде на свой лад, завел камердинера с баками, трех лакеев, повара-француза и большой штат кухонной прислуги.

Благотворительные базары в Старгороде отличались большой пышностью и изобретательностью, которую непрерывно проявляли дамы избранного общества. Базары эти устраивались то в виде московского трактира, то на манер кавказского аула, где черкешенки в корсетах торговали в пользу приютских детей шампанским «Аи» по цене, неслыханной даже на таких заоблачных высотах.

На одном из этих базаров Ипполит Матвеевич, стоя под вывеской: «Настоящи кавказки духан. Нормални кавказки удоволсти», познакомился с женой нового окружного прокурора — Еленой Станиславовной Боур. Прокурор был стар, но жена его, по уверению секретаря суда, была:

...Сама юность волнующая,
Сама младость ликующая,
К поцелуям зовущая,
Вся такая воздушная.

Секретарь суда грешил стишками.

«Зовущая к поцелуям» Елена Станиславовна носила на голове черную бархатную тарелочку с шелковой розеткой цветов французского национального флага, что должно было изображать полный наряд молодой черкесской девицы. На плече воздушная прокурорша держала картонный кувшин, оклеенный золотой бумагой, из которого торчало горлышко шампанской бутылки.

— Разришиты стаканчик шенпански! — сказал Ипполит Матвеевич, представляясь истинным горцем.

Прокурорша нежно улыбнулась и спустила с плеча кувшин.

Ипполит Матвеевич, задержав дыхание, смотрел на ее голые парафиновые руки, неумело открывающие бутылку. Он выпил шипучку, не почувствовав даже вкуса. Голые руки

Елены Станиславовны смешали все его мысли. Он вынул из жилетного кармана сотенный билет, положил его на край скалы из бурого папье-маше и, громко сопя, отошел. Прокурорша улыбнулась еще нежней, потащила кредитку к себе и молвила музыкальным голосом:

— Бедные дети не забудут вашей щедрости.

Ипполит Матвеевич издали прижал руки к груди и поклонился на целый аршин глубже, чем кланялся обычно. Разогнувшись, он понял, что без прокурорши ему не жить, и попросил секретаря представить его новому прокурору. Прокурор был похож на умную обезьяну. Прогуливаясь с Ипполитом Матвеевичем между замком Тамары и чучелом орла, державшим в клюве кружку для пожертвований, прокурор Боур проворно чесал у себя за ухом и рассказывал последние петербургские новости.

С Еленой Станиславовной Воробьянинову в этот вечер довелось разговаривать еще несколько раз по поводу бедственного положения приютских детей и живописности старгородского парка.

На следующий день Ипполит Матвеевич подкатил к подъезду Боуров на злейших в мире лошадях, провел полчаса в приятнейшей беседе о бедственном положении приютских детей, а уже через месяц секретарь суда конфиденциально шепнул в мохнатое ухо следователя по важнейшим делам, что прокурор «кажется, стал бодаться», на что следователь с усмешкой ответил: «Це дило треба розжувати»,— и рассказал очень интересное дело, слушавшееся в городе Орле и окончившееся оправданием мужа, убившего изменницу жену.

Во всем городе дамочки заливались по-соловьиному. Мужья завидовали удачливости Воробьянинова. Постники, трезвенники и идеалисты забрасывали прокурора анонимными письмами. Прокурор читал их на заседаниях суда, ловко и быстро почесывая за ухом. С Воробьяниновым он был любезнее прежнего. Положение его было безвыходным — он ожидал вскоре перевода в столицу и не мог портить карьеры пошлым убийством любовника жены.

Но Ипполит Матвеевич позволил себе совершенную бестактность: он велел выкрасить свой экипаж в белый цвет и прокатился в нем вместе с угоревшей от любви прокуроршей по Большой Пушкинской улице.

Напрасно Елена Станиславовна прикрывала мраморное лицо вуалеткой, расшитой черными птичками,— ее узнали все. Город в страхе содрогнулся, но и этот любовный эксцесс

не оказал на прокурора никакого действия. Отчаявшиеся постники, трезвенники и идеалисты стали бомбардировать анонимками самое министерство юстиции. Товарищ министра был поражен трусостью окружного прокурора. Все ждали дуэли. Но прокурор по-прежнему, минуя оружейный магазин, катил каждое утро к зданию судебных установлений, с грустью поглядывая на фигуру Фемиды, державшей весы. В одной их чаше Боур явственно видел себя санкт-петербургским прокурором, а в другой — розового и наглого Воробьянинова.

Все кончилось совершенно неожиданно: Ипполит Матвеевич увез прокуроршу в Париж, а прокурора перевели в Сызрань. В Сызрани прокурор прожил долго, заслал человек восемьсот на каторгу и в конце концов умер.

Когда через год они вернулись назад, Старгород был завален снегом. Тяжелые обозы шагом проходили по Большой Пушкинской. Обледенелые деревья Александровского бульвара были абонированы галками. Снежные звезды, крестики и другие морозные знаки отличий медленно садились на нос Ипполита Матвеевича. Ветра не было. С вокзала Ипполит Матвеевич ехал на низких санках, небрежно поглядывая на городские достопримечательности: на новое здание биржи, сооруженное усердием старгородских купцов в ассиро-вавилонском стиле, на каланчу пушкинской части с висевшими на ней двумя большими круглыми бомбами, которые указывали на пожар средней величины, возникший в районе.

— Кто горит, Михайла? — спросил Ипполит Матвеевич кучера.

— Балагуровы горят. Вторые сутки.

Не проехали и двух кварталов, как натолкнулись на небольшую толпу народа, уныло стоявшую напротив балагуровского дома. Из открытых окон второго этажа медленно выходил дым. В окне появился пожарный и лениво прокричал вниз:

— Ваня! Дай-ка французскую лестницу.

Снег продолжал лететь. Внизу никто не отозвался. Пожарный в раздумье постоял у окна, зевнул и равнодушно скрылся в дыму.

— Так он и пять суток гореть будет,— гневно сказал Ипполит Матвеевич.— Тоже... Париж!

С Еленой Станиславовной Воробьянинов разошелся очень мирно. Продолжал бывать у нее, ежемесячно посылал ей в конверте триста рублей и нисколько не обижался,

когда заставал у нее молодых людей, по большей части бойких и прекрасно воспитанных.

Ипполит Матвеевич продолжал жить в своем особняке на Денисовской улице, ведя легкую холостую жизнь. Он очень заботился о своей наружности, посещал первые представления в городском театре и одно время так пристрастился к опере, что подружился с баритоном Аврамовым и прошел с ним арию Жермона из «Травиаты» — «Ты забыл край милый свой, бросил ты Прованс родной». Когда приступили к разучиванию арии Риголетто: «Куртизаны, исчадья порока, насмеялись надо мною вы жестоко»,— баритон с негодованием заметил, что Ипполит Матвеевич живет с его женою, колоратурным сопрано. Последовавшая затем сцена была ужасна. Возмущенный до глубины души баритон сорвал с Воробьянинова сто шестьдесят рублей и поскакал в Казань.

Скабрезные похождения Ипполита Матвеевича, а в особенности избиение в клубе благородного собрания присяжного поверенного Мурузи закрепили за ним репутацию демонического человека.

Даже в 1905 году, принесшем беспокойство и тревогу, Ипполита Матвеевича не покинула природная жизнерадостность и вера в твердые устои российской государственности. К тому же в имении Ипполита Матвеевича все прошло тихо, если не считать сожжения нескольких стогов сена. Графа Витте, заключившего Портсмутский мир, Ипполит Матвеевич сгоряча назвал предателем, но подробно по этому поводу так и не высказался.

Новые годы не переменили жизни Ипполита Матвеевича. Он часто бывал в Петербурге и Москве, любил слушать цыган, делая при этом тонкое различие между петербургскими и московскими, посещал гимназических товарищей, служивших кто по министерству внутренних дел, а кто по финансовой части.

Жизнь проходила весело и быстро. На Ипполита Матвеевича уже не охотились предприимчивые родоначальницы. Все считали его безнравственным холостяком. И вдруг в 1911 году Воробьянинов женился на дочери соседа, состоятельного помещика Петухова. Произошло это после того, как отъявленный холостяк, заехав как-то в имение, увидел, что дела его пошатнулись и что без выгодной женитьбы поправить их невозможно. Наибольшее приданое можно было получить за Мари Петуховой, долговязой и кроткой девушкой. Два месяца Ипполит Матвеевич складывал

к подножию Мари белые розы, а на третий сделал предложение, женился и был избран уездным предводителем дворянства.

— Ну, как твой скелетик? — нежно спрашивала Елена Станиславовна, у которой Ипполит Матвеевич после женитьбы стал бывать чаще прежнего.

Ипполит Матвеевич весело ощеривался, заливаясь смехом.

— Нет, честное слово, она очень милая, но до чего наивна... А теща, Клавдия Ивановна!.. Ты знаешь, она называет меня «Эполет». Ей кажется, что так произносят в Париже! Замечательно!

С годами жизнь Ипполита Матвеевича заметно менялась. Он рано и красиво поседел. У него появились маленькие привычки. Просыпаясь по утрам, он говорил себе: «Гут морген» или: «Бонжур». Его одолевали детские страсти. Он начал собирать земские марки, ухлопал на это большие деньги, скоро оказался владельцем лучшей коллекции в России и завел оживленную переписку с англичанином Энфильдом, обладавшим самым полным собранием русских земских марок. Превосходство англичанина в области коллекционирования марок подобного рода сильно волновало Ипполита Матвеевича. Положение предводителя и большие связи помогли ему в деле одоления соперника из Глазго. Ипполит Матвеевич подбил председателя земской управы на выпуск новых марок Старгородского губернского земства, чего уже не было лет десять. Председатель, смешливый старик, введенный Ипполитом Матвеевичем в суть дела, долго хохотал и согласился на предложение Воробьянинова. Новые марки были выпущены в двух экземплярах и включены в каталог за 1912 год. Клише Воробьянинов собственноручно разбил молотком. Через три месяца Ипполит Матвеевич получил от Энфильда учтивое письмо, в котором англичанин просил продать ему одну из тех редчайших марок по цене, какую будет угодно назначить мистеру Воробьянинову.

От радости на глазах у мистера Воробьянинова выступили слезы. Он немедленно сел писать ответное письмо мистеру Энфильду. В письме он написал латинскими буквами только два слова: «Накося выкуси».

После этого деловая связь с мистером Энфильдом навсегда прекратилась и удовлетворенная страсть Ипполита Матвеевича к маркам значительно ослабела.

К этому времени Воробьянинова стали звать бонвиваном. Да он и в самом деле любил хорошо пожить. Жил

он, к удивлению тещи, доходами от имения своей жены. Клавдия Ивановна однажды даже пыталась поделиться с ним своими взглядами на жизнь и обязанности примерного мужа, но зять внезапно затрясся, сбросил на пол сахарницу и крикнул:

— Замечательно! Меня учат жить! Это просто замечательно!

Вслед за этим бушующий зять укатил в Москву на банкет, затеянный охотничьим клубом в честь умерщвления известным охотником Г. Шарабариным двухтысячного, со времени основания клуба, волка.

Столы были расставлены полумесяцем. В центре на сахарной скатерти, среди поросят, заливных и вспотевших графинчиков с водками и коньяками лежала шкура юбиляра. Г. Шарабарин в коричневой визитке и котелке, клюнувший уже с утра и ослепленный магнием бесчисленных фотографов, стоял, дико поглядывая по сторонам и слушая речи.

Ипполиту Матвеевичу слово было предоставлено поздно, когда он уже основательно развеселился. Он быстро накинул на себя шкуру волка и, позабыв о семейных делах, торжественно сказал:

— Милостивые государи, господа члены охотничьего клуба! Позвольте вас поздравить от имени старгородских любителей ружейной охоты с таким знаменательным событием. Очень, очень приятно видеть таких почтенных любителей ружейной охоты, как господин Шарабарин, которые, держась за руки, идут к достижению вечных идеалов! Очень, очень приятно!

Сказав этот спич, Ипполит Матвеевич сбросил на пол юбилейную шкуру, поставил на нее сопротивляющегося господина Шарабарина и троекратно с ним расцеловался.

В этот свой наезд Ипполит Матвеевич пробыл в Москве две недели и вернулся веселый и злой. Теща дулась. И Ипполит Матвеевич в пику ей совершил поступок, который дал такую обильную пищу злоязычию Принца Датского.

Был 1913 год.

Французский авиатор Бражендон де Мулинэ совершил свой знаменитый перелет из Парижа в Варшаву на приз Помери. Дамы в корзинных шляпах, с кружевными белыми зонтиками и гимназисты старших классов встретили победителя воздуха восторженными криками. Победитель, несмотря на перенесенное испытание, чувствовал себя довольно бодро и охотно пил русскую водку.

Жизнь била ключом.

На Александровском вокзале в Москве толпа курсисток, носильщиков и членов общества «Свободной эстетики» встречала вернувшегося из Полинезии К. Д. Бальмонта. Толстощекая барышня первая кинула в трубадура с козлиной бородкой мокрую розу. Поэта осыпали цветами весны — ландышами. Началась первая приветственная речь:

— Дорогой Константин, семь лет ты не был в Москве...

После речей к поэту прорвался почитатель из присяжных поверенных и, передавая букет поэту, сказал вытверженный наизусть экспромт:

Из-за туч
Солнца луч —
Гений твой.
Ты могуч,
Ты певуч,
Ты живой.

Вечером в обществе «Свободной эстетики» торжество чествования поэта было омрачено выступлением неофутуриста Маяковского, допытывавшегося у прославленного барда, «не удивляет ли его то, что все приветствия исходят от лиц, ему близко знакомых». Шиканье и свистки покрыли речь неофутуриста.

Два молодых человека — двадцатилетний барон Гейсмар и сын видного чиновника министерства иностранных дел Далматов — познакомились в иллюзионе с женой прапорщика запаса Марианной Тиме и убили ее, чтобы ограбить.

В кинематографах, на морщинистых экранах, шла сильная драма в трех частях из русской жизни: «Княгиня Бутырская», хроника мировых событий «Эклер-журнал» и комическая «Талантливый полицейский» с участием Поксона (гомерический хохот).

Из Спасских ворот Кремля выходил на Красную площадь крестный ход, и протодиакон Розов, десятипудовый верзила, читал устрашающим голосом высочайший манифест.

В Старгородской газете «Ведомости градоначальства» появился ликующий стишок, принадлежащий перу местного цензора Плаксина:

Скажи, дорогая мамаша,
Какой нынче праздник у нас,—
В блестящем мундире папаша,
Не ходит брат Митенька в класс?

Брат Митенька не ходил в класс по случаю трехсотлетия дома Романовых. И папаши действительно в блестящих мундирах и просторных треуголках катили в пролетках к стрельбищенскому полю, на котором назначен был парад частей гарнизона, кадетского корпуса и казенных гимназий.

На джутовой фабрике и в железнодорожных мастерских рабочим раздавали билеты на романовские гуляния в саду трезвости, а вечером несколько штатских выхватили из толпы гуляющих двух рабочих и отвезли их на извозчиках в жандармское управление. В темном небе блистал, сокращался и, раздуваемый ветром, снова пылал фейерверочный императорский вензель.

В эту же ночь Ипполит Матвеевич, от которого еще пахло духами, переваривал торжественный ужин, сидя на балконе своего особняка. Ему было только тридцать восемь лет. Тело он имел чистое, полное и доброкачественное. Зубы все были на месте. В голове, как ребенок во чреве матери, мягко шевелился свежий армянский анекдот. Жизнь казалась ему прекрасной. Теща была побеждена, денег было много, на будущий год он замышлял новое путешествие за границу.

Но не знал Ипполит Матвеевич, что через год, в мае, умрет его жена, а в июле возникнет война с Германией. Он считал, что к пятидесяти годам будет губернским предводителем, не зная того, что в восемнадцатом году его выгонят из собственного дома, и он, привыкший к удобному и сытому безделью, покинет потухший Старгород, чтобы в товарно-пассажирском поезде бежать куда глаза глядят.

Ипполит Матвеевич, сидя на балконе, видел в своем воображении мелкую рябь остендского взморья, кровли Парижа, темный лик и сиянье медных кнопок международного вагона, но не воображал себе Ипполит Матвеевич (а если бы и вообразил, то все равно не понял бы) хлебных очередей, замерзшей постели, масляного «каганца», сыпнотифозного бреда и лозунга «Сделал свое дело и уходи» в канцелярии загса уездного города N.

Не знал Ипполит Матвеевич, сидя на балконе, и того, что через четырнадцать лет еще крепким мужчиной он вернется в Старгород и снова войдет в те самые ворота, над которыми он сейчас сидит, войдет чужим человеком, чтобы искать клад своей тещи, сдуру запрятанный ею в гамбсовский стул, на котором ему так удобно сейчас сидеть, и, глядя на полыхающий фейерверк с горящим в центре императорским гербом, мечтать о том, как прекрасна жизнь.

ДОВЕСОК К БУКВЕ «Щ»

Во вкусовом комбинате «Щи да каша» никто так ничего и не узнал о замечательном событии, происшедшем в стенах этого почтенного пищевого учреждения.

Глава «Щей да каши» товарищ Аматорский, оказавшийся виновником происшедшего, засекретил все до последней степени. Не быть ему, Аматорскому, главою учреждения, если какой-нибудь злой контрольный орган пронюхает о совершившемся.

У Аматорского были самые благие намерения. Хотелось ему одним взмахом определить способности своих подчиненных, выделить способных и оттеснить на низшие ступени служебной лестницы глупых и нерадивых.

Но как в массе служащих отыщешь способных? Все сидят, все пишут, все в мышиных толстовках.

Однажды, прогуливаясь в летнем саду «Террариум», товариш Аматорский остановился у столика, где под табличкой «Разоблачитель чудес и суеверий, графолог И. М. Кошкин-Эриванский» сидел волосатый молодой человек в очках с сиреневыми стеклами и определял способности граждан по почерку.

Помедлив некоторое время, товарищ Аматорский своим нормальным почерком написал на клочке бумаги:

«Тов. Кошк.-Эриванскому. На заключение».

Когда графолог получил эту бумажку, глаза его под сиреневыми стеклами засверкали. Определить характер Аматорского оказалось пустяковым делом.

Через пять минут глава «Щей и каши» читал о себе такие строки:

«Вы, несомненно, заведуете отделом, а вернее всего, являетесь главою большого учреждения. Особенности вашего почерка позволяют заключить, что вы обладаете блестящими организаторскими способностями и ведете ваше учреждение по пути процветания. Вам предстоит огромная будущность».

— Ведь до чего верно написано! — прошептал товарищ Аматорский.— Какое тонкое знание людей! Насквозь проницает, собака. Вот кто мне нужен. Вот кто поможет мне определить способности щи-да-кашинцев!

И Аматорский пригласил И.М. Кошкина-Эриванского к себе в учреждение, где задал ему работу. Кошкин должен был определить по почерку служащих, кто к чему способен. Расходы (по полтиннику за характеристику)

были отнесены за счет ассигнований на рационализацию.

Три дня и три ночи корпел И. М. Кошкин-Эриванский над почерками ничего не подозревавших служащих. И, совершив этот грандиозный труд, он открыл перед товарищем Аматорским книгу судеб.

Все раскрылось перед начальником ЩДК.

Добрый Кошкин-Эриванский никого не «закопал». Большинство служащих, по определению разоблачителя чудес и суеверий, были людьми хотя и средних способностей, но трудолюбивыми и положительными. Лишь некоторые внушали опасение («способности к живописи», «наклонность к стихам», «будущность полководцев»).

И один лишь самый мелкий служащий — Кипяткевич — получил триумфальный отзыв. По мнению Эриванского, это был выдающийся человек.

«Трудно даже представить себе,— писал Кошкин каллиграфическим почерком,— каких вершин может достигнуть данный субъект. Острый, проницательный ум, ум чисто административный характеризует этого индивидуума. Оригинальный наклон букв свидетельствует о бескорыстии. Довесок к букве «щ» говорит о необыкновенной работоспособности, а завиток, сопровождающий букву «в»,— о воле к победе. Нельзя не ждать от этого индивидуума крупных шагов по службе».

Когда Кошкин-Эриванский покидал гостеприимное ЩДК, на лестнице его догнал Кипяткевич и спросил:

— Ну как?

— Такое написал,— ответил Кошкин,— что пальчики оближешь.

Кипяткевич вынул кошелек и честно выдал разоблачителю чудес и суеверий обусловленные пять рублей.

Немедленно вслед за этим Кипяткевича позвали в кабинет самого Аматорского.

Кипяткевич бежал в кабинет весело, справедливо ожидая отличия, повышения и награды.

Из кабинета он вышел шатаясь. Аматорский почему-то распек его и пообещал уволить, если он не исправится.

Прочтя о гениальном индивидууме с необыкновенным довеском к букве «щ», Аматорский очень обрадовался. Наконец-то он сыскал змею, которая таилась в недрах учреждения и могла когда-нибудь занять его место.

«Теперь,— сказал он самому себе,— и в отпуск можно ехать спокойно. Прищемил гада!»

ОБЫКНОВЕННЫЙ ИКС

О несправедливости судьбы лучше всех на свете знал Виталий Капитулов.

Несмотря на молодые сравнительно годы, Виталий был лысоват. Уже в этом он замечал какое-то несправедливое к себе отношение.

— У нас всегда так,— говорил он, горько усмехаясь.— Не умеют у нас беречь людей. Довели культурную единицу до лысины. Живи я спокойно, разве ж у меня была бы лысина? Да я же был бы страшно волосатый!

И никто не удивлялся этим словам. Все привыкли к тому, что Виталий вечно жаловался на окружающих.

Утром, встав с постели после крепкого десятичасового сна, Виталий говорил жене:

— Удивительно, как это у нас не умеют ценить людей, просто не умеют бережно относиться к человеку. Не умеют и не хотят!

— Ладно, ладно,— отвечала жена.

— И ты такая же, как все. Не даешь мне договорить, развить свою мысль. Вчера Огородниковы до одиннадцати жарили на гармошке и совершенно меня измучили. Ну конечно, пока жив человек, на него никто внимания не обращает. Вот когда умру, тогда поймут, какого человека потеряли, какую культурную единицу не уберегли!

— Не говори так, Виталий,— вздыхала жена.— Не надо.

— Умру, умру,— настаивал Капитулов.— И тогда те же Огородниковы будут говорить: «Не уберегли мы Капитулова, замучили мы его своей гармошкой, горе нам!» И ты скажешь: «Не уберегла мужа, горе мне!»

Жена плакала и клялась, что убережет. Но Виталий не верил.

— Люди — звери,— говорил он,— и ты тоже. Вот сейчас ты уже испугалась ответственности и навязываешь мне на шею свой шарф. А вчера небось не навязывала, не хотела меня уберечь от простуды. Что ж, люди всегда так. Простужусь и умру. Только и всего. В крематории только поймут, что, собственно говоря, произошло, какую силу в печь опускают. Ну, я пошел!.. Да не плачь, пожалуйста, не расстраивай ты мою нервную систему.

Рассыпая по сторонам сильные удары, Капитулов взбирался на трамвайную площадку первым. Навалившись

тяжелым драповым задом на юную гражданку, успевшую захватить место на скамье, Виталий сухо замечал:

— Какая дикость! Средневековье! И таким вот образом меня терзают каждый день.

Замечание производило обычный эффект: вагон затихал, и все головы поворачивались к Виталию.

— Люди — звери,— продолжал он печально.— Вот так в один прекрасный день выберусь из трамвая и умру. Или даже еще проще — умру прямо в вагоне. Кто я сейчас для вас, граждане? Пассажир. Обыкновенный икс, которого можно заставлять часами стоять в переполненном проходе. Не умеют у нас беречь людей, этот живой материал для выполнения пятилетки в четыре и даже в три с половиной года. А вот когда свалюсь здесь, в проходе, бездыханный, тогда небось полвагона освободят. Ложитесь, мол, гражданин. Найдется тогда место. А сейчас приходится стоять из последних сил.

Тут обыкновенно юная гражданка багровела и поспешно вскакивала:

— Садитесь, пожалуйста, на мое место.

— И сяду,— с достоинством отвечал Капитулов.— Спасибо, мой юный друг.

Добившись своего, Капитулов немедленно разворачивал «Известия» и читал похоронные объявления, время от времени крича на весь вагон:

— Вот полюбуйтесь! Еще один сгорел на работе. «Местком и администрация с глубокой скорбью извещают о преждевременной смерти...» Не уберегли, не доглядели. Теперь объявлениями не поможешь!..

Прибыв на место службы и грустно поздоровавшись, Капитулов садился и с глубоким вздохом поднимал штору шведского стола.

— Что-то Виталий сегодня бледнее обыкновенного,— шептали служащие друг другу,— ведь его беречь надо.

— В самом деле, у нас такое хамское отношение к людям, что только диву даешься.

— Вчера мне Виталий жаловался. Столько, говорит, работы навалили, что не надеется долго прожить. Ну, я по человечеству, конечно, пожалел. Взял его работу и сам сделал.

— Как бы не умер, в самом деле. А то потом неприятностей не оберешься. Скажут, не уберегли, не доглядели. Просто ужас.

Капитулов задремал над чистой бухгалтерской книгой.

— Тише! — бормотали сослуживцы.— Не надо его беспокоить. Опять он, наверно, всю ночь не спал, соседи гармошкой замучили. Вчера он жаловался. Действительно, люди — типичные звери.

К концу служебного дня Виталий смотрел на календарь и с иронией говорил:

— У нас всегда так. Где же нам догнать и перегнать при таком отношении к людям? Не умеют у нас беречь человека. Видите, опять пятнадцатое число. Нужно отрываться от дела, бежать в кассу, стоять в очереди за жалованьем, терять силы. Вот когда умру, тогда поймут, какого человека потеряли, какую культурную единицу не уберегли...

МАЛА КУЧА — КРЫШИ НЕТ

— Любите ли вы критиков? — спросили как-то одну девицу в Доме Герцена.

— Да,— ответила девица.— Они такие забавные.

Девица всех считала забавными: и кроликов, и архитекторов, и птичек, и академиков, и плотников.

— Ах, кролики! Они такие забавные!

— Ах, академики! Они такие забавные!

Не соглашаясь в принципе с огульной оценкой домгерценовской девицы, мы не можем не согласиться с нею в частном случае.

Критики у нас по преимуществу действительно весьма забавные.

Они бранчливы, как дети.

Трехлетний малютка, сидя на коленях у матери, вдруг лучезарно улыбается и совершенно неожиданно говорит:

— А ведь ты, мама, стерва!

— Кто это тебя научил таким словам? — пугливо спрашивает мать.

— Коля,— отвечает смышленый малютка.

Родители бросаются к Коле.

— Кто научил?

— Пе-етя.

После Пети след теряется в огромной толпе детишек, обученных употреблению слова «стерва» каким-то дореформенным благодетелем.

И стоит только одному критику изругать новую книгу, как остальные критики с чисто детским весельем набрасы-

ваются на нее и принимаются в свою очередь пинать автора ногами.

Начало положено. Из разбитого носа автора показалась первая капля крови. Возбужденные критики начинают писать.

«Автор,— пишет критик Ив. Аллегро,— в своем романе «Жена партийца» ни единым словом не обмолвился о мелиоративных работах в Средней Азии. Нужны ли нам такие романы, где нет ни слова о мелиоративных работах в Средней Азии?»

Критик Гав. Цепной, прочитав рецензию Ив. Аллегро, присаживается к столу и, издав крик: «Мала куча — крыши нет»,— пишет так:

«Молодой, но уже развязный автор в своем пошловатом романе «Жена партийца» ни единым словом, видите ли, не обмолвился о мелиоративных работах в Средней Азии. Нам не нужны такие романы».

Самый свирепый из критиков т. Столпнер-Столпник в то же время и самый осторожный. Он пишет после всех, года через полтора после появления книги. Но зато и пишет же!

«Грязный автор навозного романа «Жена партийца» позволил себе в наше волнующее время оклеветать мелиоративные работы в Средней Азии, ни единым словом о них не обмолвившись. На дыбу такого автора!»

Столпник бьет наверняка. Он знает, что автор не придет к нему объясняться. Давно уже автор лежит на веранде тубсанатория в соломенном кресле и кротко откашливается в платочек. Синее небо и синие кипарисы смотрят на больного. Им ясно, что автору «Жены партийца» долго не протянуть.

Но бывает и так, что критики ничего не пишут о книге молодого автора.

Молчит Ив. Аллегро. Молчит Столпнер-Столпник. Безмолвствует Гав. Цепной. В молчании поглядывают они друг на друга и не решаются начать. Крокодилы сомнения грызут критиков.

— Кто его знает, хорошая эта книга или это плохая книга? Кто его знает! Похвалишь, а потом окажется, что плохая. Неприятностей не оберешься. Или обругаешь, а она вдруг окажется хорошей. Засмеют. Ужасное положение!

И только года через два критики узнают, что книга, о которой они не решались писать, вышла уже пятым

изданием и рекомендована Главполитпросветом даже для сельских библиотек.

Ужас охватывает Столпника, Аллегро и Гав. Цепного. Скорей, скорей бумагу! Дайте, о дайте чернила! Где оно, мое вечное перо?

И верные перья начинают скрипеть.

«Как это ни странно,— пишет Ив. Аллегро,— но превосходный роман «Дитя эпохи» прошел мимо нашей критики».

«Как это ни странно,— надсаживается Гав. Цепной,— но исключительный по глубине своего замысла роман «Дитя эпохи» прошел мимо ушей нашей критики».

Последним, как и всегда, высказывается Столпнер-Столпник. И, как всегда, он превосходит своих коллег по силе критического анализа.

«Дитя эпохи»,— пишет он,— книга, которую преступно замолчали Ив. Аллегро и Гав. Цепной, является величайшим документом эпохи. Она взяла свое, хотя и прошла мимо нашей критики».

Случай с «Дитятей эпохи» дает возможность критикам заняться любимым и совершенно безопасным делом: визгливой семейной перебранкой. Она длится целый год и занимает почти всю бумагу, отпущенную государством на критические статьи и рецензии о новых книгах.

И целый год со страниц газет и журналов шлепаются в публику унылые слова: «передержка», «подтасовка фактов», «нет ничего легче, как...» и «пора оставить эти грязные маневры желтой прессы».

Однако самым забавным в работе критиков является неписанный закон, пошлый и неизвестно кем установленный. Сводится этот закон к тому, чтобы замечать только то, что печатается в толстых журналах.

Отчаянная, потная дискуссия развивается вокруг хорошего или плохого рассказа, напечатанного в «Красной нови» либо в «Новом мире».

Но появись этот самый рассказ в «Прожекторе», «Огоньке» или «Красной ниве», ни Столпнер-Столпник, ни Ив. Аллегро, ни Гав. Цепной не нарушат своего закона — не напишут о нем ни строки.

Эти аристократы духа не спускаются до таких «демократических» низин, как грандиозные массовые журналы.

А может быть, Столпнер-Столпник ждет, чтобы за это дело взялся Ив. Аллегро? А Аллегро с опаской глядит на Гав. Цепного?

Разве не забавные люди — критики?

ХАЛАТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЖЕЛУДКУ

На берегу реки N живописно раскинулся город N. Впрочем, не будем делать загадочного лица... Скажем прямо. На берегу реки Волги живописно раскинулся город Ярославль. Но это еще полбеды. Дело в том, что на одной из его улиц живописно раскинулась кооперативная столовая, вывесившая на стене большой плакат:

ПИЩА — ИСТОЧНИК ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Конечно, принципиальных возражений против этой концепции быть не может. Даже сам Маркс не смог бы привести никаких доводов против такой железной установки. Между тем отдельные ярославцы, побывавшие в этой столовой, с сумасшедшим упорством настаивают на том, что пища ведет к прекращению жизни человека. Тут, как видно, все дело в том, какая пища... Именно этого недоучел ярославский коопзаведующий, который уделил слишком много внимания идейно-теоретическому обоснованию своей должности, позабыв о чисто практических ее задачах. Забыл он о том, что обед должен быть съедобным.

Иной начстоловой, человек в теле и с философским уклоном, никогда не забудет вывесить анонс: «Перед едой обязательно мой руки», забывая в то же время поставить в столовой рукомойник. Где ему помнить о скучных мелочах! Он человек возвышенных мыслей и широкого кругозора.

Как это ни удивительно, но такие люди большей частью командуют большими рабочими столовыми, фабриками-кухнями и сверхмощными пищевыми комбинатами.

Они никогда не говорят «еда» или «кушанье». Они говорят «питание». Не «накормить посетителя», а «охватить едока». Блюда у них не «порционные», а «учебно-показательные». Но все-таки основной своей задачей они ставят обеспечение столовой достаточным количеством плакатов и таблиц.

И перед глазами охваченного ужасом едока появляются строгие увещевания в стихах и прозе:

Вводи в огранизм горячую пищу
и разные закуски

Не отвлекайся во время еды разговором,
это мешает правильному выделению
желудочного сока

Фруктовые воды сулят нам углеводы

Просят о скатерти руки не витирать

А скатертей и вовсе нет. Столы накрыты липкой, нечистой клеенкой. Ножи и вилки прикованы цепями к ножке стола (чтоб не украли). И при взгляде на заповедь о желудочном соке не только не хочется вводить в организм горячую пищу и разные закуски, но совершенно наоборот. Что же касается слова «углевод», то хотя всем известно, что углевод нужен для продления жизни, но почему-то по ассоциации вспоминается водопровод, а вслед за ним и канализация. Так что фруктовую воду тоже не хочется вводить в организм. Хочется поскорее уйти, выбраться на свежий воздух, посмотреть на солнце, которое еще не успели снабдить надписью:

Глядя на солнечные лучи,
не позабудь произвести анализ мочи

В обеденные часы заведующий-мыслитель сочиняет отчетный доклад, в коем точно указано, сколько калорий содержал поданный потребителям суп рыбный, сколько витаминов «А» пришлось на одну едоцкую единицу и в какой связи находятся все эти цифровые данные с такими же данными за первый квартал прошлого бюджетного года.

А в это время сама едоцкая единица глядит на еле теплую котлету и отчаянно тоскует:

— Почему эти калории такие невкусные! И витамины какие-то неудобоваримые!

О многом размышляет едоцкая единица и подводит печальный итог:

— Почему такое халатное отношение к желудку? Почему костюм принято шить по росту? Почему ботинки изготовляются разных размеров, от мальчиковых до дедушковых? Даже воротнички — и те выделываются в зависимости от толщины потребительской шеи! А еда единообразна и явно рассчитана на какой-то отвлеченный, обезличенный желудок.

Хотелось бы подчеркнуть фундаментальность жалоб на обезличенное меню. Судя по тому, как часто люди едят, можно смело, не боясь впасть в ошибку, заключить, что они придают вопросам принятия большое значение.

Едят везде. Едят дома, на улице, на работе, в театре, в кино, едят на стадионах и пароходах, в вагонах и на вокзалах, помаленьку стали есть даже в воздухе. До сих пор в воздухе не ели, не было подходящего помещения, но теперь, с выпуском сорокаместного гиганта, где будет буфет, начнут питаться и на высоте трех тысяч метров над уровнем моря. Говоря кратко, человек ест, где только возможно, подсознательно чуя, что прав ярославский заведующий, что пища действительно источник жизни человека.

Таким образом, мы опять возвращаемся к проклятому вопросу, каким же должен быть этот источник? Эта задача имеет лишь одно решение. Пища не должна быть только механическим сцеплением калорий, витаминов, крахмалов и щелочей. Она обязательно должна быть вкусной, горячей или холодной, если ее принято вводить в организм именно в таком виде.

Но в кино и театрах, в кафе и учрежденческих буфетах ситро подается по возможности горячим, а чай соответственно холодным. На вокзалах дело обстоит еще строже. Там не боятся того, что потребитель начнет жаловаться. Он обычно торопится на поезд и ввиду этого пуглив, как овца. И вот ему подсовывают все, что попадется под руку. Чай пассажиру дают без блюдечка, и он уносит его к своему столику, обжигая пальцы и жалобно подвывая. Впрочем, чаю он так и не пьет. Его горло сжимает тоска. Полными слез глазами он смотрит на жену. Она стоит за дверью перед двумя контролерами и посылает мужу прощальные взгляды. По железнодорожным правилам в буфет пускают только пассажиров дальнего следования по предъявлении ими билетов или плацкарт. Провожающих не пускают. И стоит жена у входа, глотая слезы, большие, как аптекарские пилюли. Это жестоко. Но там, где дело касается вопросов принятия пищи внутрь, там и без того злой чиновник превращается в барса.

Как-то незаметно выработалось не писанное и никакими общественными или хозяйственными организациями не утвержденное правило, по которому обыкновенная вывеска, висящая над нарпитовским предприятием, играет неожиданно решающую роль.

12 9-197

Если на вывеске написано «Ресторан», то обязательно в помещении чисто, есть скатерти, салфетки, солонки и цветы, перевязанные лентами из розовых стружек. Там есть выбор из пяти-шести блюд, обращение корректное, на стене висят приглашения: «Требуйте горячие пирожки» или «Перед едой мойте руки — первая дверь направо». Кроме того, на эстраде, среди взъерошенных пальм, большой симфонический ансамбль из трех человек играет «Турецкий марш» Моцарта.

Если же на вывеске написано «Столовая», то в помещении нечисто, высоко под потолком горит слабая электрическая лампочка, меню состоит из двух блюд, рассчитанных все на тот же отвлеченный, обезличенный желудок, в каждом посетителе видят жулика, и деньги с оскорбительной настойчивостью требуют вперед. На стенах висят раскрашенные картинки с изображениями детских глистов и трахомных глаз. Летают большие мясные мухи. Оркестра нет — музыку здесь считают выпадом против общественности.

И можно не сомневаться, что заведующий здесь занимается главным образом философским обоснованием своей работы, совершенно позабыв о кооперативной заповеди, по которой пища все же источник жизни человека.

ШИРОКИЙ РАЗМАХ

За громадным письменным столом, на дубовых боках которого были вырезаны бекасы и виноградные гроздья, сидел глава учреждения Семен Семенович. Перед ним стоял завхоз в кавалерийских галифе с желтыми леями. Завхозы почему-то любят облекать свои гражданские телеса в полувоенные одежды, как будто бы деятельность их заключается не в мирном пересчитывании электрических лампочек и прибивании медных номерков к шкафам и стульям, а в беспрерывной джигитовке и рубке лозы.

— Значит так, товарищ Кошачий,— с увлечением говорил Семен Семенович,— возьмите семги, а еще лучше лососины, ну там ветчины, колбасы, сыру, каких-нибудь консервов подороже.

— Шпроты?

— Вот вы всегда так, товарищ Кошачий. Шпроты! Может, еще кабачки фаршированные или свинобобы?

Резинокомбинат на своем последнем банкете выставил консервы из налимьей печенки, а вы — шпроты! Не шпроты, а крабы. Пишите. Двадцать коробок крабов.

Завхоз хотел было возразить и даже открыл рот, но ничего не сказал и принялся записывать.

— Крабы,— повторил Семен Семенович,— и пять кило зернистой икры.

— Не много ли? В прошлый раз три кило брали, и вполне хватило.

— По-вашему, хватило, а... по-моему, не хватило. Я следил.

— Сорок рублей кило,— грустно молвил завхоз.

— Ну, и что же из этого вытекает?

— Вытекает, что одна икра станет нам двести рублей.

— Я давно вам хотел сказать, что у вас, товарищ Кошачий, нет размаха. Банкет так банкет. Закуска, горячее, даже два горячих, пломбир, фрукты.

— Зачем же такой масштаб? — пробормотал Кошачий.— Конечно, я не спорю, мы выполнили месячную программу. И очень хорошо. Можно поставить чаю, пива, бутербродов с красной икрой. Чем плохо? И, кроме того, на прошлой неделе был банкет по поводу пятидесятилетия управделами.

— Я все-таки вас не понимаю, товарищ Кошачий. Извините, но вы какой-то болезненно скупой человек. Что у нас — бакалейная лавочка? Что мы, частники?

Завхоз потупился, сраженный аргументами.

— И потом,— продолжал Семен Семенович,— купите вы наконец приличный сервиз, а то вы подаете уже черт знает на чем. Какие-то разнокалиберные тарелки, рюмки разных размеров. В последний раз вино пили из чашек. Понимаете, что это такое?

— Понимаю.

— А раз понимаете, то пойдите в комиссионный магазин и купите все, что нужно. Нельзя же так.

— Дорого очень в комиссионном, Семен Семенович. Ведь у нас определенный бюджет.

— Я лучше вашего знаю про бюджет. Мы не воры, не растратчики и себе домой эту лососину в рукаве не таскаем. Но зачем нам прибедняться? Наши предприятия убытков не приносят. И если мы устраиваем товарищеский ужин, то пусть будет ужин настоящий. Надо нанять джаз, пригласить артистов, а не эту тамбовскую капеллу, как она там называется...

— Ансамбль лиристов,— хрипло сказал завхоз.

— Да, да, не надо больше этих балалаечников. Пригласите хорошего певца, пусть нам споет что-нибудь. «Спи, моя радость, усни, в доме погасли огни».

— Так ведь такой артист,— со слезами в голосе сказал Кошачий,— с нас три шкуры снимет.

— Ну какой вы, честное слово, человек! С вас он снимет эти три шкуры? И потом не три, а две. И для нашего миллионного бюджета это не играет никакой роли.

— Такси для артиста придется нанимать,— тоскливо прошептал завхоз.

Семен Семенович внимательно посмотрел на собеседника и проникновенно сказал:

— Простите меня, товарищ Кошачий, но вы просто сквалыжник. Самый обыкновенный скупердяй. Такой, извините меня, обобщенный тип описан даже в литературе. Вы — Плюшкин! Гарпагон! Да, да, и, пожалуйста, не возражайте. У вас тяжелая привычка всегда возражать. Вы Плюшкин, и все. Вот и мой заместитель жаловался на вашу бессмысленную мещанскую скупость. Вы до сих пор не можете купить для его кабинета порядочной мебели.

— У него хорошая мебель,— мрачно сказал Кошачий.— Все, что надо для работы: стульев шведских — шесть, столов письменных — один, еще один стол — малый, графин, бронзовая пепельница с собакой, красивый новый клеенчатый диван.

— Клеенчатый! — застонал Семен Семенович.— Завтра же купите ему кожаную мебель. Слышите? Пойдите в комиссионный.

— Кожаный, Семен Семенович, пятнадцать тысяч стоит.

— Опять эти деньги. Просто противно слушать. Что мы, нищие? Надо жить широко, товарищ Кошачий, надо, товарищ Кошачий, иметь социалистический размах. Поняли?

Завхоз спрятал в карман рулетку, которую вертел в руках, и, шурша кожаными леями, вышел из кабинета.

Вечером, сидя за чаем, Семен Семенович со скучающим видом слушал жену, которая что-то записывала на бумажке и радостно говорила:

— Будет очень хорошо и дешево. Четыре бутылки вина, литр водки, две коробочки анчоусов, триста граммов лососины и ветчина. Потом я сделаю весенний салат со свежими огурцами и сварю кило сосисок.

— Здравствуйте.

— Ты, кажется, что-то сказал?

— Я сказал: здравствуйте.

— Тебе что-нибудь не нравится? — забеспокоилась жена.

— Да, кое-что,— сухо ответил Семен Семенович.— Мне, например, не нравится, что каждый огурец стоит один рубль пятнадцать копеек.

— Но ведь на весь салат пойдет два огурчика.

— Да, да, огурчики, лососина, анчоусы. Ты знаешь, во сколько все это станет?

— Я тебя не понимаю, Семен. Мои именины, придут гости, мы уже два года ничего не устраивали, а сами постоянно у всех бываем, просто неудобно.

— Почему неудобно?

— Неудобно, потому что невежливо.

— Ну, ладно,— сказал Семен Семенович томно.— Дай сюда список. Так вот, все это мы вычеркиваем. Остается... собственно, ничего не остается. А купи ты, Катя, бутылку водки и сто пятьдесят граммов сельдей. И все.

— Нет, Семен, так невозможно.

— Вполне возможно. Каждый тебе скажет, что селедка — это классическая закуска. Даже в литературе об этом где-то есть, я читал.

— Семен, это будет скандал.

— Хорошо, хорошо, в таком случае приобрети еще коробку шпрот. Только не бери ленинградских шпрот, а требуй тульских. Они хотя и дешевле, но значительно питательнее.

— Можно подумать, что мы нищие! — закричала жена.

— Мы должны строить свою жизнь на основах строжайшей экономии и рационального использования каждой копейки,— степенно ответил Семен Семенович.

— Ты получаешь тысячу рублей в месяц. К чему нам прибедняться?

— Катя, я не вор и не растратчик и не обязан кормить на свои трудовые деньги банду жадных знакомых.

— Тьфу!

— Я оставляю твой выпад без внимания. У меня есть бюджет, и я не имею права выходить за его рамки. Понимаешь, я не имею права!

— И в кого он такой сквалыга уродился? — сказала жена, обращаясь к стене.

— Ругай меня, ругай,— сказал Семен Семенович,— но предупреждаю, что финансовую дисциплину я буду проводить неуклонно, что бы ты там ни говорила.

— Говорила и буду говорить! — закричала жена.— Коля уже месяц ходит в рваных ботинках.

— При чем тут Коля?

— При том тут Коля, что он наш сын.

— Ладно, ладно, не кричи! Купим этому пирату ботинки. С течением времени. Ну, что там еще надо? Говори уж скорее. Может быть, рояль надо купить, арфу?

— Арфу не надо, а табуретку на кухню надо.

— Табуретку! — завизжал Семен Семенович.— Зачем табуретку? Чего уж там! Купим для кухни сразу кожаную мебель! Всего только пятнадцать тысяч. Нет, Катенька, я наведу в доме порядок.

И он долго еще объяснял жене, что пора уже покончить с бессмысленными тратами, пирами и тому подобным безудержным разбрасыванием и разбазариванием социалистической копейки.

Спал он спокойно.

КАК СОЗДАВАЛСЯ РОБИНЗОН

В редакции иллюстрированного двухдекадника «Приключенческое дело» ощущалась нехватка художественных произведений, способных приковать внимание молодежного читателя.

Были кое-какие произведения, но все не то. Слишком много было в них слюнявой серьезности. Сказать правду, они омрачали душу молодежного читателя, не приковывали. А редактору хотелось именно приковать.

В конце концов решили заказать роман с продолжением.

Редакционный скороход помчался с повесткой к писателю Молдаванцеву, и уже на другой день Молдаванцев сидел на купеческом диване в кабинете редактора.

— Вы понимаете,— втолковывал редактор,— это должно быть занимательно, свежо, полно интересных приключений. В общем, это должен быть советский Робинзон Крузо. Так, чтобы читатель не мог оторваться.

— Робинзон — это можно,— кратко сказал писатель.

— Только не просто Робинзон, а советский Робинзон.

— Какой же еще! Не румынский!

Писатель был неразговорчив. Сразу было видно, что это человек дела.

И действительно, роман поспел к условленному сроку. Молдаванцев не слишком отклонился от великого подлинника. Робинзон так Робинзон.

Советский юноша терпит кораблекрушение. Волна выносит его на необитаемый остров. Он один, беззащитный, перед лицом могучей природы. Его окружают опасности: звери, лианы, предстоящий дождливый период. Но советский Робинзон, полный энергии, преодолевает все препятствия, казавшиеся непреодолимыми. И через три года советская экспедиция находит его, находит в расцвете сил. Он победил природу, выстроил домик, окружил его зеленым кольцом огородов, развел кроликов, сшил себе толстовку из обезьяньих хвостов и научил попугая будить себя по утрам словами: «Внимание! Сбросьте одеяло, сбросьте одеяло! Начинаем утреннюю гимнастику!»

— Очень хорошо,— сказал редактор,— а про кроликов просто великолепно. Вполне своевременно. Но, вы знаете, мне не совсем ясна основная мысль произведения.

— Борьба человека с природой,— с обычной краткостью сообщил Молдаванцев.

— Да, но нет ничего советского.

— А попугай? Ведь он у меня заменяет радио. Опытный передатчик.

— Попугай — это хорошо. И кольцо огородов — хорошо. Но не чувствуется советской общественности. Где, например, местком? Руководящая роль профсоюза?

Молдаванцев вдруг заволновался. Как только он почувствовал, что роман могут не взять, неразговорчивость его мигом исчезла. Он стал красноречив.

— Откуда же местком? Ведь остров необитаемый?

— Да, совершенно верно, необитаемый. Но местком должен быть. Я не художник слова, но на вашем месте я бы ввел. Как советский элемент.

— Но ведь весь сюжет построен на том, что остров необита...

Тут Молдаванцев случайно посмотрел в глаза редактора и запнулся. Глаза были такие весенние, такая там чувствовалась мартовская пустота и синева, что он решил пойти на компромисс.

— А ведь вы правы,— сказал он, подымая палец.— Конечно. Как это я сразу не сообразил? Спасаются от

кораблекрушения двое: наш Робинзон и председатель месткома.

— И еще два освобожденных члена,— холодно сказал редактор.

— Ой! — пискнул Молдаванцев.

— Ничего не ой. Два освобожденных, ну и одна активистка, сборщица членских взносов.

— Зачем же еще сборщица? У кого она будет собирать членские взносы?

— А у Робинзона.

— У Робинзона может собирать взносы председатель. Ничего ему не сделается.

— Вот тут вы ошибаетесь, товарищ Молдаванцев. Это абсолютно недопустимо. Председатель месткома не должен размениваться на мелочи и бегать собирать взносы. Мы боремся с этим. Он должен заниматься серьезной руководящей работой.

— Тогда можно и сборщицу,— покорился Молдаванцев.— Это даже хорошо. Она выйдет замуж за председателя или за того ж Робинзона. Все-таки веселей будет читать.

— Не стоит. Не скатывайтесь в бульварщину, в нездоровую эротику. Пусть она себе собирает свои членские взносы и хранит их в несгораемом шкафу.

Молдаванцев заерзал на диване.

— Позвольте, несгораемый шкаф не может быть на необитаемом острове!

Редактор призадумался.

— Стойте, стойте,— сказал он,— у вас там в первой главе есть чудесное место. Вместе с Робинзоном и членами месткома волна выбрасывает на берег разные вещи...

— Топор, карабин, бусоль, бочку рома и бутылку с противоцинготным средством,— торжественно перечислил писатель.

— Ром вычеркните,— быстро сказал редактор,— и потом, что это за бутылка с противоцинготным средством? Кому это нужно? Лучше бутылку чернил! И обязательно несгораемый шкаф.

— Дался вам этот шкаф! Членские взносы можно отлично хранить в дупле баобаба. Кто их там украдет?

— Как кто? А Робинзон? А председатель месткома? А освобожденные члены? А лавочная комиссия?

— Разве она тоже спаслась? — трусливо спросил Молдаванцев.

— Спаслась.

Наступило молчание.

— Может быть, и стол для заседаний выбросила волна?! — ехидно спросил автор.

— Не-пре-мен-но! Надо же создать людям условия для работы. Ну там, графин с водой, колокольчик, скатерть. Скатерть пусть волна выбросит какую угодно. Можно красную, можно зеленую. Я не стесняю художественного творчества. Но вот, голубчик, что нужно сделать в первую очередь — это показать массу. Широкие слои трудящихся.

— Волна не может выбросить массу,— заупрямился Молдаванцев.— Это идет вразрез с сюжетом. Подумайте! Волна вдруг выбрасывает на берег несколько десятков тысяч человек! Ведь это курам на смех.

— Кстати, небольшое количество здорового, бодрого, жизнерадостного смеха,— вставил редактор,— никогда не помешает.

— Нет! Волна этого не может сделать.

— Почему волна? — удивился вдруг редактор.

— А как же иначе масса попадает на остров? Ведь остров необитаемый?!

— Кто вам сказал, что он необитаемый? Вы меня что-то путаете. Все ясно. Существует остров, лучше даже полуостров. Так оно спокойнее. И там происходит ряд занимательных, свежих, интересных приключений. Ведется профработа, иногда недостаточно ведется. Активистка вскрывает ряд неполадок, ну, хоть бы в области собирания членских взносов. Ей помогают широкие слои. И раскаявшийся председатель. Под конец можно дать общее собрание. Это получится очень эффектно именно в художественном отношении. Ну, и все.

— А Робинзон? — пролепетал Молдаванцев.

— Да. Хорошо, что вы мне напомнили. Робинзон меня смущает. Выбросьте его совсем. Нелепая, ничем не оправданная фигура нытика.

— Теперь все понятно,— сказал Молдаванцев гробовым голосом,— завтра будет готово.

— Ну, всего. Творите. Кстати, у вас в начале романа происходит кораблекрушение. Знаете, не надо кораблекрушения. Пусть будет без кораблекрушения. Так будет занимательней. Правильно? Ну и хорошо. Будьте здоровы!

Оставшись один, редактор радостно засмеялся.

— Наконец-то,— сказал он,— у меня будет настоящее приключенческое и притом вполне художественное произведение.

ЛЮБОВЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ОБОЮДНОЙ

Весной приятно поговорить о достижениях. Деревья, почки, мимозы в кооперативных будках — все это располагает. В такие дни не хочется кусать собратьев по перу и чернилам. Их хочется хвалить, прославлять, подымать на щит и в таком виде носить по всему городу.

И — как грустно — приходится говорить о недостатках. А день такой пленительный. Обидно, товарищи. Но весна весной, а плохих книг появилось порядочно — толстых, непроходимых романов, именинных стишков, а также дохлых повестей. Дохлых по форме и дохлых по содержанию.

Чем это объяснить?

Вот некоторые наблюдения.

В издательство входит обыкновенный молодой человек со скоросшивателем в руках. Он смирно дожидается своей очереди и в комнату редактора вступает, вежливо улыбаясь.

— Тут я вам месяц назад подбросил свой романчик...

— Как называется?

— «Гнезда и седла».

— Да... «Гнезда и седла». Я читал. Читал, читал. Знаете, он нам не подойдет.

— Не подойдет?

— К сожалению. Очень примитивно написано. Даже не верится, что автор этого произведения — писатель.

— Позвольте, товарищ. Я — писатель. Вот, пожалуйста. У меня тут собраны все бумаги. Членский билет горкома писателей. Потом паспорт. Видите, проставлено: «Профессия — писатель».

— Нет, вы меня не поняли. Я не сомневаюсь. Но дело в том, что такую книгу мог написать только неопытный писатель, неквалифицированный.

— Как неквалифицированный? Меня оставили при последней перерегистрации. Видите, тут отметка: «Продлить по 1 августа 1934 года». А сейчас у нас апрель, удостоверение еще действительно.

— Но это же, в общем, к делу не относится. Ну, подумайте сами, разве можно так строить сюжет? Ведь это наивно, неинтересно, непрофессионально.

— А распределитель?

— Что распределитель?

— Я состою. Вот карточка. Видите? А вы говорите — непрофессионально.

— Не понимаю, при чем тут карточка?

— Не понимаете? И очень печально, товарищ. Раз я в писательском распределителе — значит, я хороший писатель. Кажется, ясно?

— Возможно, возможно. Но это не играет роли. Разве так работают? В первой же строчке вы пишете: «Отрогин испытывал к наладчице Ольге большого, серьезного, всепоглощающего чувства». Что это за язык? Ведь это нечто невозможное!

— Как раз насчет языка вы меня извините. Насчет языка у меня весьма благополучно. Всех ругали за язык, даже Панферова, я все вырезки подобрал. А про меня там ни одного слова нет. Значит, язык у меня в порядке.

— Товарищ, вы отнимаете у меня время. Мы не можем издать книгу, где на каждой странице попадаются такие метафоры: «Трамваи были убраны флагами, как невесты на ярмарке». Что ж, по-вашему, невесты на ярмарках убраны флагами? Просто чепуха.

— Это безответственное заявление, товарищ. У меня есть протокол заседания литкружка при глазной лечебнице, где я зачел свой роман. И вот резолюция... Сию минуточку, я сейчас ее найду. Ага! «Книга «Гнезда и седла» радует своей красочностью и бодрой образностью, а также написана богатым и красивым языком». Шесть подписей. Пожалуйста. Печать. И на этом фронте у меня все благополучно.

— Одним словом, до свидания.

— Нет, не до свидания. У меня к вам еще одна бумажка есть.

— Не надо мне никакой бумажки. Оставьте меня в покое.

— Это записка. Лично вам.

— Все равно.

— От Ягуар Семеныча.

— От Ягуар Семеныча? Дайте-ка ее сюда. Да вы присядьте. Так, так. Угу. М-м-мда. Не знаю. Может быть, я ошибся. Хорошо, дам ваши «Гнезда» прочесть еще Тигриевскому. Пусть посмотрит. В общем, заходите завтра. А примерный договор пока что набросает Марья Степановна. Завтра и подпишем. Хорошее там у вас место есть, в «Седлах»: Отрогин говорит Ольге насчет идейной непримиримости. Отличное место. Ну, кланяйтесь Ягуару.

«Гнезда и седла» появляются на рынке в картонном переплете, десятитысячным тиражом, с портретом автора и

длинным списком опечаток. Автор ходит по городу, высматривая в книжных витринах свое творение, а в это время на заседании в издательстве кипятится оратор:

— Надо, товарищи, поднять, заострить, выпятить, широко развернуть и поставить во весь рост вопросы нашей книжной продукции. Она, товарищи, отстает, хромает, не поспевает, не стоит на уровне...

Он еще говорит, а в другом издательстве, перед другим редактором стоит уже другой автор.

Новый автор — в шубе, с круглыми плечами, с громадным галалитовым мундштуком во рту и в бурках до самого паха. Он не тихий, не вкрадчивый. Это бурный, громкий человек, оптимист, баловень судьбы. О таких подсудимых мечтают начинающие прокуроры.

Он не носит с собой удостоверений и справок. Он не бюрократ, не проситель, не нудная старушка из фельетона, пострадавшая от произвола местных властей. Это пружинный замшевый лев, который, расталкивая плечами неповоротливых и мечтательных бегемотов, шумно продирается к водопою.

Его творческий метод прост и удивителен, как проза Мериме.

Он пишет один раз в жизни. У него есть только одно произведение. Он не Гете, не Лопе де Вега, не Сервантес, нечего там особенно расписываться. Есть дела посерьезней. Рукопись ему нужна, как нужен автогенный аппарат опытному шниферу для вскрывания несгораемых касс.

То, что он сочинил, может быть названо бредом сивой кобылы. Но это не смущает сочинителя.

Он грубо предлагает издательству заключить с ним договор. Издательство грубо отказывает. Тогда он грубо спрашивает, не нужна ли издательству бумага по блату. Издательство застенчиво отвечает, что, конечно, нужна. Тогда он вежливо спрашивает, не примет ли издательство его книгу. Издательство грубо отвечает, что, конечно, примет.

Книга выходит очень быстро, в рекордные сроки. Теперь все в порядке. Автогенный аппарат сделал свое дело. Касса вскрыта. Остается только унести ее содержимое.

Сочинитель предъявляет свою книгу в горком писателей, заполняет анкету («под судом не был, в царской армии был дезертиром, в прошлом агент по сбору объявлений,— одним словом, всегда страдал за правду»), принимается в союз, получает живительный паек. Вообще он с головой погружается

в самоотверженную работу по улучшению быта писателей. Он не только не Сервантес, он и не Дон-Кихот, и к донкихотству не склонен. Первую же построенную для писателей квартиру он забирает себе. Имея книгу, членство, особый паек, даже автомобиль, он обладает всеми признаками высокохудожественной литературной единицы.

Теперь единицу, оснащенную новейшей техникой, поймать чрезвычайно трудно. Сил одной милиции не хватит: тут нужны комбинированные действия всех карательных органов с участием пожарных команд, штурмовой авиации, прожекторных частей и звукоуловителей.

А оратор в издательстве все еще стоит над своим графином и, освежая горло кипяченой водой, жалуется:

— Что мы имеем, товарищи, в области качества книжной продукции? В области качества книжной продукции мы, товарищи, имеем определенное отставание. Почему, товарищи, мы имеем определенное отставание в области качества книжной продукции? А черт его знает, почему мы имеем в области качества книжной продукции определенное отставание!

Тут вносят чай в пивных стопках, стоящих по шесть штук сразу в глубокой тарелке для борща. И вопросы книжной продукции глохнут до следующего заседания.

Между тем совсем не нужно тратить кубометры кипяченой воды и загружать глубокие тарелки стопками с чаем, чтобы понять сущность дела. Плохих произведений всегда было больше, чем хороших. Всегда в издательства, помимо талантливых вещей, носили, носят и будут носить всяческую чушь и дичь. Дело обычное, ничего страшного в этом нет. Надо только устроить так, чтобы плохая рукопись не превратилась в книгу. Это обязанность редакторов.

А редактора нередко бывают малодушны, иногда некультурны, иногда неквалифицированны, иногда читают записки, не относящиеся к делу, иногда в них просыпается дух торговли — все иногда бывает.

И к свежему голосу растущей советской литературы примешивается глухое бормотание бездарностей, графоманов, искателей выгод и неучей.

А в литературных делах надо проявлять арктическое мужество.

Не надо делать скидок по знакомству, не надо понижать требований, не надо давать льгот, не надо так уж сильно уважать автора за выслугу лет, не подкрепленную значительными трудами.

Читателю нет дела до литературной кухни. Когда к нему попадает плохая книга, ему все равно, чьи групповые интересы состязались в схватке и кто эту книгу с непонятной торопливостью включил в школьные хрестоматии. Он с отвращением листает какие-нибудь «Гнезда» или «Седла», жмурится от ненатуральных похождений диаграммно-схематического Отрогина и на последней странице находит надпись: «Ответственный редактор З. Тигриевский». Так как записка Ягуар Семеныча к книге не приложена, то никогда читателю не понять тонких психологических нюансов, побудивших товарища Тигриевского пустить «Седла» в печать. И пусть не обманываются редактора таких книг. Читатель редко считает их ответственными, потому что никакой ответственности они, к сожалению, не несут.

Вот такие неприятные слова приходится говорить радостной весной текущего хозяйственного года. Не сладкое это занятие — портить отношения с отдельными собратьями и делать мрачные намеки. Куда приятнее сидеть вдвоем за одним столиком и сочинять комический роман. Ах, как хорошо. Окно открыто, ветер с юга, чернильница полна до краев. А еще лучше поехать с собратьями целой бригадой куда-нибудь подальше. з Кахетию, в Бухару, в Боржом, что-нибудь такое обследовать, установить связи с местной общественностью, дать там какую-нибудь клятву. Не очень, конечно, обязывающую клятву — ну, написать повесть из жизни боржомцев или включиться в соревнование по отображению благоустройства бухарского оазиса. А потом вернуться в Москву и дать о поездке беседу в «Литературную газету», мельком упомянув о собственных достижениях.

Но ссориться, так уж ссориться серьезно.

Кроме появившихся на прилавке плохих книг типа «Седла» и «Гнезда», еще больший урон несет советское искусство оттого, что многие хорошие книги могли бы появиться, могли бы быть написаны, но не были написаны и не появились потому, что помешала суетливая, коммивояжерская гоньба по стране и помпезные заседания с обменом литературными клятвами.

Никогда путешествие не может помешать писателю работать. И нет места в мире, где бы с такой родительской заботливостью старались дать писателю возможность все увидеть, узнать и понять, как это делается у нас.

Но внимание и средства уделяются вовсе не затем, чтоб люди партиями ездили за несколько тысяч километров торжественно и скучно заседать.

Как часто деньги, предназначенные для расширения писательских горизонтов, тратятся на создание протоколов о том, что литература нужна нам великая, что язык нам нужен богатый, что писатель нам нужен умный. И как часто, создав такой протокол, бригада мчится назад, считая, что взят еще один барьер, отделяющий ее от Шекспира.

Чтобы приблизиться к литературным вершинам, достойным нашего времени, вовсе нет надобности обзаводиться фанерными перегородками, учрежденческими штатами, секциями и человеком комендантского типа в сапогах, лихо раздающим железнодорожные билеты, суточные и подъемные. И оргкомитет имеет сейчас, перед писательским съездом, возможность стряхнуть с себя литературную пыль, выставить из писательской шеренги людей, ничего общего с искусством не имеющих.

Людям, в литературе случайным, писать романы или рассказы — долго, трудно, неинтересно и невыгодно. Кататься легче. А вместо писательского труда можно заняться высказываниями. Это тоже легко. К тому же создается видимость литературной и общественной деятельности. Фамилия такого писателя постоянно мелькает в литературных органах. Он высказывается по любому поводу, всегда у него наготове десять затертых до блеска строк о детской литературе, о кустарной игрушке, о новой морали, об очередном пленуме, о пользе железных дорог, о борьбе с бешенством или о работе среди женщин.

И никогда в этих высказываниях нет знания предмета. И вообще обо всех затронутых вопросах говорится глухо. Идет речь о себе самом и о своей любви к Советской власти.

Что уж там скрывать, товарищи, мы все любим Советскую власть. Но любовь к Советской власти — это не профессия. Надо еще работать. Надо не только любить Советскую власть, надо сделать так, чтобы и она вас полюбила. Любовь должна быть обоюдной.

Хороши были бы Каманин и Молоков, если б, вместо того, чтобы спасать челюскинцев, они сидели в теплой юрте перед столом, накрытым зеленой скатертью, с походным графинчиком и колокольчиком и посылали бы высказывания о своих сердечных чувствах к правительственной комиссии, ко всем ее членам и председателю.

Летать надо, товарищи, а не ползать. Это давно дал понять Алексей Максимович. Это трудно, ох, как трудно, но без этого обойтись нельзя.

Иначе любовь не будет обоюдной.

Илья ИЛЬФ

МОСКВА
ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ

Рядовой октябрьский день в Москве. В такой день отрывной календарь «Светоч» рекомендует называть новорожденных детей Станиславом и Фокой, если это мальчики, или Ефросинией и Матильдой, если это девочки. В этот день солнце восходит в 5 часов 44 минуты и заходит в 17 часов 08 минут. Произведя несложные арифметические выкладки, «Светоч» определяет долготу дня равной двенадцати часам и шестнадцати минутам.

Все это верно и убедительно, но если под словом «день» понимать работу, то ночи в Москве нет совсем, и все двадцать четыре часа московских суток представляют собой день.

Темная календарная ночь стоит над столицей, набережные оцеплены двумя рядами газовых фонарных огоньков, но люди уже работают, не обращая внимания на календарь.

На Красноворотской площади глухо ревут паяльные лампы, десятки людей вырывают, как репу, булыжники из мостовой — идет смена изношенных, сбитых трамвайных рельс. На Берсеневской набережной, у Большого Каменного моста, сияют высоко подвешенные электрические лампы, шумят бетономешалки и, отбрасывая по несколько теней каждый, работают каменщики — здесь строится дом-великан.

Ночью работают третьи смены на фабриках, ночью только и вступают в работу ротационные машины в газетных типографиях. С мостика у Александровского вокзала можно увидеть, как в белом дыму и огнях маневрируют паровозы. Ночью Москва работает, как днем.

В предчувствии солнца небо становится пепельным, синие тучи, сидевшие до сих пор кучно на горизонте, приходят в движение, и зеленые кафли на шатровых кремлевских башнях начинают поблескивать.

В этот час по пустым улицам, сотрясаясь, звеня и подпрыгивая по неровной мостовой, пробегает прокатная

автомашина, нагруженная истомившимися за ночь весельчаками. К милиционеру, расхаживающему на перекрестке, доносится тоскующий возглас из машины: «А салату не хватило, совсем не хватило»,— и машина, покрякивая, уносится прочь.

Когда в полном соответствии с указаниями календаря «Светоч» солнце высовывается из-за горизонта, оно уже застает на улицах дворников, размахивающих своими метлами, словно косами. Дворники — народ по большей части весьма меланхолический. Может быть, причина здесь та, что им приходится собирать остатки прожитого дня: все бумажки, ломаные папиросные коробки, тряпье, слетевшую с чьей-то ноги рваную сандалию — весь мусор и конские яблоки, оставленные за день на улицах двумя миллионами московского населения и многими тысячами лошадей.

Но еще раньше дворников появляются на улицах редкие собиратели окурков. Собирание окурков не есть, конечно, профессия, но человеку, вынужденному курить за чужой счет и небрезгливому, приходится вставать спозаранку. Окурок, валяющийся посреди улицы, ничего не стоит — он почти всегда выкурен до «фабрики», его не хватает даже на одну затяжку. Опытный собиратель направляется прямой дорогой к трамвайной остановке. Здесь валяется много больших, прекрасной сохранности окурков. Их набросали пассажиры, садившиеся вчера в подоспевший вагон. Тут можно найти и «Аллегро», и «Червонец», и «Люкс», а при случае даже «Герцеговину флор». Остается только выбирать по своему вкусу.

Собирателей окурков вспугивают дворники, а дворников свежевымытые вагоны трамвая, пробегающие с предельной скоростью по свободным еще от народа улицам.

Проходит около получаса. Солнце ломится во все окна, а город, кажется, и не думает просыпаться. С ведром мучного клейстера, кистью и рулоном афиш под мышкой медленно идет расклейщик; ночные сторожа распахивают свои сторожевые тулупы и обмениваются несложными новостями; редкие пешеходы, точно стесняясь, что их так мало, пропадают в переулках.

Но впечатление это минутно и обманчиво.

Город просыпается волнами. В седьмом часу утра возникает рабочая волна. К восьми часам по улицам катится вал домохозяек и школьников, а к девяти из подъездов и ворот выносится третья волна — движутся советские служащие.

До этого жизнь города концентрируется в отдельных пунктах — на рынках, на вокзалах, в газетных экспедициях. Город готовится, подтягивает резервы для того, чтобы встретить сотни тысяч людей, которые с минуты на минуту выступят из своих квартир в будничный трудовой поход и потребуют себе всего сразу — два миллиона завтраков, полмиллиона газет, все трамвайные и автобусные вагоны, чтобы проехать в них, и все московские улицы, чтобы пройти по ним.

И город готовится, подтягивает силы. На огромные площади торопливо стягиваются фургоны с продовольствием. На Болотный, Смоленский, Сухаревский, Тишинский, Центральный и прочие рынки свозят картофель в мешках, овощи в ящиках, фрукты в корзинах, хлеб и сахар, капусту и соль, свеклу и дыни.

Город проснется и потребует мыла, спичек и папирос. Ему нужны башмаки и костюмы. Он захочет колбасы десяти сортов и сельдей, он захочет молока.

Поэтому в ранние часы утра на вокзалах слышатся громы выгружаемых бидонов с молоком и на вокзальные площади высыпают толпы молочниц в платочках. Поэтому на рынках столько суеты, поэтому внутренние дворы кооперативных магазинов заполняются площадками, обитыми оцинкованной жестью: на них навалены мясные туши, покрытые перламутровой пленкой; поэтому у газетных экспедиций происходят баталии газетчиков: они стремятся как можно скорее получить свою пачку газет.

Надо торопиться: город сейчас проснется, а еще не все готово. Делаются последние приготовления. Распахиваются огромные деревянные ворота рынков. Разносчики газет занимают свои посты на улицах и бульварах. Солнце приподнимается повыше, словно желая получше увидеть все происходящее в городе.

И огромный город просыпается. Сон покидает его не сразу. В центре еще спят, но окраины проснулись. На Тверском бульваре нет еще ни души, когда Краснохолмский, Устьинский, Замоскворецкий, Каменный и Крымские мосты переходят многотысячные, слитные и рассыпанные толпы, направляясь на работу.

Паровыми криками, гудками зовут к себе рабочих предприятия машиностроительные, текстильные, конфетные, электротехнические, швейные, табачные и вагонные — «АМО», «Борец», «Геофизика», «Гознак», «Красная звезда» и «Большевичка», «Металлист» и «Красная Пресня», «Новая

заря» и «Буревестник», «Пролетарский труд», «Серп и молот», «Спартак», «Шерсть — сукно», «Ява» и еще сотни фабрик и заводов собирают в своих корпусах пролетариев Москвы для кипучей работы. Разноцветный дым вылетает из высоких колонноподобных труб паровых станций; беззвучным и легким перемещением рубильника на мраморной распределительной доске включается электроэнергия, и разнообразный шум наполняет кирпичные корпуса. Фабричное кольцо, опоясывающее Москву, приступило к работе.

Между тем день растет. С окраин он перебрасывается в центр, он становится шумливым и деятельным. У нефтелавок собираются женщины с жестянками для керосина, образуя болтливые группки.

Настал хлопотливый час домохозяек. Они наполняют кооперативные магазины, критически осматривают развешенную на изразцовых стенах говядину, нюхают фарш, прицениваются к петрушке и закидывают продавцов вопросами о том, когда получится денатурированный спирт. Продавцам с ними много хлопот: они требовательны, разборчивы и в то же время нерешительны. Домохозяйка долго рассматривает морковь и, уже собравшись брать ее, вдруг уходит, решив, что в соседнем отделении «Коммунара» морковка лучше. Домохозяек с их мягкими плетеными кошелками сменяют на улицах дети-школьники. Первая ступень бежит вприпрыжку, подкидывая на ходу шапки в воздух, останавливаясь, чтобы подобрать валяющийся у обочины кусочек синего стекла или поправить съехавший на плечо красный галстук.

Девочки из второй ступени трясут стрижеными кудрями и дорогу в школу сокращают разговорами о моде и обществоведении. Молодые граждане из той же ступени говорят о футболе, «Красине», делах своего учкома и о красоте желтых кожаных курток, так привлекательно рисующихся в витрине «Москвошвея».

Домохозяйки исчезают с улиц. Они разошлись по своим кухням. Дети откричали свое и расселись по партам. Девятый час — девятый вал; во всех направлениях движутся к своим учеждениям советские служащие.

Мелькают толстовки всех мыслимых фасонов — с открытым воротом и с застегивающимся наглухо, с пояском на пряжке и на пуговицах, с японскими рукавами и рукавами простыми. Портфелей столько же видов, сколько и толстовок — с ручкой и без ручки, окованные и неокованные, желтого, черного и даже лилового цвета.

Час критический — девять без десяти минут. Нужно позавтракать и попасть на службу без опоздания. В столовых раздается нетерпеливый звон ложечек о стаканы.

В закусочных люди завтракают, стоя за высокими, по грудь, столами. Трамвайные вагоны подвергаются исступленным атакам. Воинственное настроение овладевает людьми, стоящими в трамвайных очередях. И если вагоны не разлетаются в щепы, то явление это граничит с чудом.

Московский трамвай никак не может удовлетворить всех желающих, а все-таки перевозит. Это чудо, и, как всякое чудо, оно идет вразрез с материалистическим мировоззрением. Поэтому деятелям из коммунального хозяйства необходимо искоренить чудеса на городском транспорте. Для этого нужно добавить побольше вагонов.

Перегруженные до того, что у них лопаются стекла, вагоны с тяжелым ревом высаживают служащих у огромных тысячеоконных зданий Дворца труда *, ВСНХ **, комиссариатов и прочих учреждений, направляющих жизнь всей страны.

Утро кончилось в девять часов, хотя календарь «Светоч» и будет оспаривать это. Он станет доказывать, что астрономическое утро кончается в двенадцать часов пополудни. Но в Москве утро кончается тогда, когда все пущено в ход. А к девяти часам работает все.

Фабрики на ходу, дети уже в школе, обеды варятся, в учреждениях бурно звонят телефоны и топочут пишущие машинки. Все на полном ходу, все заняты. Работает правительство и партия, работают профессиональные союзы, рабочие, директора, вузовцы, врачи, шоферы, ломовики, профессора, инспекторы, портные, работают все, начиная с ученика фабзавуча и кончая членами Политбюро.

И в эти рабочие часы московские толпы теряют свои характерные особенности. Теперь уже не видно на улицах однородных людских потоков, состоящих только из служащих, только рабочих или детей. Теперь на улице все смешано и можно увидеть кого угодно.

Бредет кустарь со взятой в починку мясорубкой, модница недовольно выскакивает уже из пятого обувного магазина, где она примеряла лаковый башмачок; можно увидеть и лицо свободной профессии, провожающее модницу сахарным взглядом, и толстую даму, на лице которой пятнами запечатлелось крымско-кавказское солнце.

В это время люди труда видны больше на мостовых, чем на тротуарах.

Длиннейшие обозы с товарами тянутся на вокзалы и с вокзалов. Битюги выступают медленно и свои закрытые шерстью копыта ставят на мостовую торжественно, как медную печать. Сотрясая землю, проносятся на пневматиках грузовики «бюссинги», которые возят песок на постройку с Москвы-реки, где его выгружают с больших грузоемких барж.

Плетутся извозчики в синих жупанах. Они трусливо поглядывают на милиционера и его семафор с красными кругами. До сих пор московские извозчики полагают, что все правила езды созданы с тайной целью содрать с них, извозчиков, побольше штрафов. Поэтому на всякий случай они вообще стараются не ездить по тем улицам, где есть милицейские посты.

Постоянные взвизгивания и стоны автомобильных сирен и клаксонов рвут уши. Чем меньше по своим силам машина, тем быстрее она мчится по улице. Таков уж своенравный обычай московских шоферов.

Черные чахлые «фордики» проносятся со скоростью чуть ли не штормового ветра. В то же время реввоенсоветовский «паккард» болотного цвета, машина во много раз сильнейшая фордовской каретки, катится уверенно и не спеша. Слышно только шуршание ее широких рубчатых покрышек о мостовую. Никто пока не может объяснить, почему так темпераментны шоферы маленьких машин. Это загадка российского автомобилизма.

На победный бег широкозадых автобусов, низкорослых такси и легковых машин, которые создают шум на московских улицах, грустно глядят со своих облучков бородатые извозчики. Увы, пролетка — это карета прошлого. В ней далеко не уедешь, и грусть извозчиков вполне понятна.

Если ранним утром в большом спросе пищепродукты, а немного попозже разные хозяйственные предметы — синька, щелок, ведра или мыло для стирки, то в разгаре дня наполняются магазины, торгующие одеждой, башмаками, чемоданами, галстуками и галошами, одеялами и цветами.

Покупатели теснятся у лакированных кооперативных прилавков. В стеклянной галерее ГУМа движение больше, чем на самой людной улице Самары или Одессы. Универмаг Мосторга за субботний день пропускает сквозь свои зеркальные двери столько покупателей, что если бы их запереть в магазине, то можно было бы организовать здесь большой губернский город, настоящий — там были бы и свои рабочие, и профессора, и врачи, и журналисты, и нетрудовые элементы. Было бы только немного тесновато.

К шуму, который усердно производят машины и извозчики, присоединяется кислый визг продавцов духов, старых книг, дамских чулок или крысиного мора. Китайцы у Третьяковского проезда восхваляют свои портфели и сумочки, пятновыводчики хватают прохожих за рукава и насильно уничтожают пятна у них на одеждах. Средство для склеивания разбитой посуды предлагается с такой настойчивостью, как если бы от того, купят его или не купят, зависело счастье или несчастье всего человечества.

Небо чернеет от дыма, ветер гоняет пыль столбиками. Московский день продолжается. Множество событий, замечательных и крохотных, совершается в большом городе. А толпы циркулируют все поспешней.

Надвигается дождь, собиравшийся уже с полдня; готов обед дома, и тесно стало в столовых, закусочных и ресторанчиках. Пятый час дня.

Обратные валы катятся с завода по Пятницкой, Тверской, по Мещанским, Арбату, по всем артериям столицы. Учреждения извергают из своих недр канцеляристов. Трамвай подвергается нападению, еще более ожесточенному, чем утром. Истошными голосами выкрикивается название вечерней газеты. Вегетарианцы — пожиратели бураков — забегают в столовую под сладеньким названием «Примирись» или «Убедись». Толчея деловая или бездельная усиливается, но это уже последняя вспышка. День догорает и дымится.

После короткого отдыха, после получасового затишья на улице и площадях движение снова усиливается, на этот раз по совершенно новым направлениям.

Утром передвижка населения происходит из домов на предприятия, в банки, школы, вузы, редакции и канцелярии. В послеобеденное время целью передвижения являются спортивные площадки, клубы, читальни и парки.

На Ленинградском шоссе пятнадцатитысячная толпа с трудом пробирается через узкие ворота на стадион. Над толпой беспомощно пляшут фигуры конных милиционеров. А по аллеям и велосипедным дорожкам Петровского парка торопятся на футбольный матч еще новые группы, кучки и колонны людей.

Низко и тихо идет на посадку алюминиевый «юнкерс», прилетевший из Германии. Когда он пролетает над футбольным полем, пассажиры его видят густо усаженные зрителями деревянные трибуны, мяч, задержавшийся в воздухе, и обе команды, перемешавшиеся в игре.

На спортплощадках, в гимнастических залах молодежь тренируется и в этом находит настоящий отдых.

Солнце, раскидавшее в последнюю минуту мягкие лепные облака, отражается в оконных стеклах малиновым сиропом и оседает за крыши одноэтажных домиков на окраине.

Наступил час лекций, театров, время яростных диспутов о литературных и половых проблемах, о Волго-Доне и засухоустойчивых злаках.

Центрами притяжения становятся Свердловская площадь с ее тремя театрами, Деловой клуб на Мясницкой ***, Садово-Триумфальная, иллюминированная световыми надписями кино, и все цирки, многочисленные клубы и красные уголки.

Из задымленных пивных и ресторанчиков под утешительными названиями «Друг желудка» или «Хризантема» вырывается на улицу струнная музыка и скороговорка рассказчика. Здесь заседают друзья пива и воблы, любители водки стопками или графинчиками.

У тесового забора Ермаковского ночлежного дома выстроились в очереди оставшиеся без ночлега приезжие и завсегдатаи этого места, деклассированные забулдыги, промышляющие нищенством, а порою и кражами.

Но маневрирующие паровозы свистят по-прежнему, в газетных цинкографиях вспышками возникает фиолетовый свет, электрический город Могэса ****, расположенный у Москвы-реки, работает безостановочно. Трудовой шум заглушает все.

И даже когда по календарю глухая ночь, когда закрылись театры, и клубы, и рестораны, когда пустеют улицы и мосты сонно висят над рекой,— даже и тогда светятся кремлевские здания и шумно дышит Могэс.

В столице труда и плана работа не прекращается никогда.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ОДЕССУ

Памятники, люди и дела судебные

Для того чтобы туристу из Вологды или Рязани попасть в Одессу, есть несколько способов.

Можно отправиться туда пешком, катя перед собой бочку с агитационной надписью: «Все в ОДН» *. Этот

способ излюблен больше всего молодежью и отнимает не больше полугода времени.

Можно также проехать из Рязани в Одессу на велосипеде. Для этого надо приобрести билет третьей всесоюзной лотереи Осоавиахима и дожидаться, пока на него не падет выигрыш в виде велосипеда. На это уходит всего только один год.

Если же билет выиграет фуфайку или электрический фонарик, то надлежит ехать в Одессу поездом. Фонарик можно захватить с собой и по ночам пугать его внезапным светом железнодорожных кондукторов.

Любознательному туристу Одесса дает вкусную пищу для наблюдений.

Одесса один из наиболее населенных памятниками городов.

До революции там обитало четыре памятника: герцогу Ришелье, Воронцову, Пушкину и Екатерине Второй. Потом число их еще уменьшилось, потому что бронзовую самодержицу свергли. В подвале музея Истории и Древностей до сих пор валяются ее отдельные части — голова, юбки и бюст, волнующие своей пышностью редких посетителей.

Но сейчас в Одессе не меньше трехсот скульптурных украшений. В садах и скверах, на бульварах и уличных перекрестках возвышаются нынче мраморные девушки, медные львы, нимфы, пастухи, играющие на свирелях, урны и гранитные поросята.

Есть площади, на которых столпились сразу два или три десятка таких памятников. Среди этих мраморных рощ сиротливо произрастают две акации.

Стволы их выкрашены известью, на которой особенно отчетливо выделяются однообразные надписи — «Яша дурак». На спинах мраморных девушек тоже написано про Яшу.

Львы и поросята перенесены в город из окрестных дач. Что же касается нимф и урн, то похоже на то, что они позаимствованы с кладбища. Как бы то ни было, вся эта садовая и кладбищенская скульптура очень забавно украсила Одессу.

Кроме памятников, город населяют и люди.

Об их числе, занятиях и классовой принадлежности турист может узнать из любого справочника. Но никакая книга не даст полного представления о так называемом «Острове погибших кораблей».

«Остров» занимает целый квартал бывшей Дерибасовской улицы, от бывшего магазина Альшванга до бывшей банкирской конторы Ксидиаса. Весь день здесь прогуливаются люди почтенной наружности в твердых соломенных шляпах, чудом сохранившихся люстриновых пиджаках и когда-то белых пикейных жилетах.

Это бывшие деятели, обломки известных в свое время финансовых фамилий.

Теперь белый цвет акаций осыпается на зазубренные временем поля их соломенных шляп, на обветшавший люстрин пиджаков, на жилеты, сильно потемневшие за последнее десятилетие.

Это погибшие корабли некогда гордой коммерции. Время свое они всецело посвящают высокой политике, международной и внутренней. Им известны также детали советско-германских отношений, которые не снились даже Литвинову **.

Отвлечь от пророчеств их может только процессия рабов в хитонах, внезапно показавшаяся на Ришельевской улице.

Рабы с галдением останавливаются на углу. Вслед за ними движутся патриции в тогах. За патрициями следуют начальники когорт и преторы. За преторами бегут какие-то нумидийцы и пращники. За пращниками следуют тяжеловооруженные воины из секции совторгслужащих биржи труда. Шествие замыкает разнокалиберная толпа, которая несет в кресле очень тощего Юлия Цезаря.

Делается шумно и скучно.

Всем становится ясно, что ВУФКУ *** пошло на новый кинематографический эксцесс — опять ставят картину из быта древнеримской империалистической клики.

Подъехавши на семи фаэтонах, кинорежиссеры устанавливают римско-одесский народ шпалерами и организуют Юлию Цезарю большой триумф. Статисты, стоя на фоне книжного магазина «Вукопспилки», машут ветками акаций, потому что на пальмы не хватило кредитов.

Граждане города, не нанятые в римляне, с омерзением смотрят на действия родной киноорганизации.

После триумфа фаэтоны с режиссерами трогаются в направлении общеизвестной одесской лестницы. Туда же несут Цезаря, закусывающего на своей высоте «Бубликами-семитати».

На общеизвестной одесской лестнице снимаются все картины, будь они из жизни римлян или петлюровских гайдамаков — все едино.

Если турист располагает временем, то ему стоит подождать судебного процесса, который обязательно возникает по поводу постановки римского фильма.

Есть в Одессе и другие достопримечательности, может быть, уступающие в полезности триумфу Цезаря, но зато более поучительные.

Но это уже специальность не «Чудака», а скорее «Наших достижений». Ибо не одними хороводами ВУФКУ может похвалиться Одесса.

ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК

* * *

Мещанская родословная. Сам служил, и деды служили. Дед нашел знаменитую ошибку в копейку в балансе Государственного банка и тем выбился в люди. Внук этим гордился также, как гордятся все аристократы.

Во дворе была какая-то скульптурная мастерская. И до сих пор стоит посреди жилтоварищеского дома конная статуя Суворова и пешая какому-то герою двенадцатого года, а какому, уже нельзя узнать. Видны только баки Отечественной войны.

Палата мер и весов. Самая главная палата. Палата мер и весов решила... Палата постановила...

Улыбин, Меерович-Данченко, Мусилевич-Фердинанд, Кониболоцкий.

Во Дворце труда в какую комнату ни войти с вопросом: «Товарищ Шапиро здесь занимается?» — дают ответ: «Подождите минуточку, он вышел».

Самоубийца предъявляет вынувшему его из петли милиционеру судебный иск за ушиб.

Тот не шахматист, кто, проиграв партию, не заявляет, что у него было выигрышное положение.

Учитель-гармонист. Придя в сельскую школу, задаст урок, а сам сидит играет на гармонии.

Фамилии: Темпаче, Бабский, Невинский, Забава, Гадинг, Тец, Андреев-Трельский, Крыжановская-Винчестер, Шпанер-Шпанион, Маныдам Попейко, Дыдычук, Буря, Вареников, Глобус, Выходец, Ежели.

Из этого надо сделать соответствующие оргвыводы.

Жон-Дуан.

А, колесно-мазутный техник! (О смазчике.)

Человек, ci-devant,[1] считает службу в совучреждении продолжением службы в армии и повышает себя в чинах за выслугу лет, за стычки и мелкие свары.

Страшный сон. Снится Троя и на воротах надпись: «Приама нет».

Զализейские поля. Катедраль.

Имена: Куба, Бука, Клака.

Это был такой город, что в нем стояла конная статуя профессора Тимирязева.

Толкайте меня уже, толкайте.

Во сне он увидел самого Кассия Взаимопомощева.

Басис-Спилер, Овчиникос, Изражечников, Стопятый, Юсюпова, Помпейцев, Угадайс, Размахер.

Так же не нужно, как твердый знак в азбуке глухонемых.

Непреклонный возраст, мелкодраматический талант.

Богатства, накопленного миром, уже достаточно для того, чтобы открыть всеобщий праздник.

Торговал титулами в пользу детей.

Советский служащий, а был в молодости тореадором в Байоне.

---

[1] Ci-devant — бывший человек *(фр.)*.

Жена ходила на кладбище жаловаться покойнику мужу на тягость жизни. Сторож, которому это надоело, сказал загробным голосом из-за дерева:

— Пеки бублики!

— Как же я буду печь? У меня нет денег.

— Тогда не пеки.

— Как же мне не печь? Ведь я умру с голоду.

— Так пеки.

Писатели-чертежники. В романах у них всегда похищают чертежи.

Какая-нибудь необходимость воспользоваться оружием Исторического музея.

* * *

Ясно, что имеются достатки: шубки, юбки, крашены губки, подведены бровки, каждый день обновки, красивы завитушки, в ушах побрякушки и все в этом роде, что ноне по моде.

Бойтесь данайцев, приносящих яйцев.

Приказано быть смелым.

Мне нужен покровитель с сосцами, полными молоком и медом.

Какие мосты на кисельных берегах.

Всеми фибрами своего чемодана он стремился за границу.

Иванов решает нанести визит королю. Узнав об этом, король отрекся от престола.

Крахмальный замороженный воротник.

Деревьянный, мьясо, пьять.

Украденный мальчик. Вырос и, желая разбогатеть, искал пропавшего ребенка (самого себя).

Уксусные усы.

Розовый плюшевый носик.

Человек объявил голодовку, потому что жена ушла.

Человечество хорошеет с каждым днем. Некрасивых уже совсем нет.

Уши трепались от ветра, как вымпела.

На плече — порнографическая хризантема.

Табачная живопись в подвале. Месаксуди. Стамболи.

Вулкан Пока-Пока.

Дантистка Медуза-Горгонер.

Нимурмуров.

Не горит ли ваше имущество, когда вы в театре?

Сад зловещих предостережений.

Тен-Богорез и Тан Богораз.

Яблоко с родинкой.

Плохой сбор. Грабеж зала. Публика делит лучшие места. Выбирают хорошие и покидают их для еще лучших.

Дирижер размахивает желтым гомеровским карандашом с металлическим наконечником.

Стол личных счетов.

Барбадос Тринидадович.

Уважай себя.
Уважай Кавказ.
Уважай нас.
Посети нас.

Человек, устраивающий дела за 100 рублей. Если не устроится — то ничего. Если устроится — тем лучше. Сам же не прилагает никаких усилий.

Вечером, в субботу, когда все требуют полбутылки, барышня капризным голосом спрашивает:

— Есть у вас консервированный горошек?

Рыбья голова на тарелке, большая, как голова собачья.

Извозчики ничего не знают о себе, о том, что целый класс общества пишет о них.

* * *

Ну, сделайте ему клизму из крепкого чаю.

Горе тебе, Боря.

Многоствольная роща.

Рис по-султански.

Контора рогов и копыт. Иванов и Ива́нов. Как в бухгалтерских книгах отражается жизнь. Описание конторы. 6 однофамильцев. Их ранг — кто старше, у того счеты лучше — от сосновых до пальмовых.

Кукольный театр тети Кати.

Мальчик с оторванным ухом.

«Пачему?» «А курица потеет?»

Когда все в Одессе разрушится, морские ванны будут по-прежнему сиять и переливаться светом. Одесситы любят морские ванны.

Пианист бросил играть, потому что в первом ряду сидел господин и вертел носком желтых ботинок.

Ученый нарочно совершает мелкое преступление. Его сажают в допр, и там он кончает свой труд.

Гражданин Грубиян.

Каламбуркул.

Отдаться мало!

У него была искусственная рука, и рука эта не знала жалости.

Странный город, куда памятники навезли с кладбища.

Трое на ходу перед фотографом, напряжены. После съемки сразу смеются и идут вольнее и быстрее.

О человеке, просидевшем 20 лет в крепости. Он выходит и видит свою дочь такой, с какими он боролся.

И присоединился к великому стану золотоискателей, расположившихся лагерем на Камергерском переулке.

Седеющее бебе.

Бедные титаны! Они помахивали тросточками, но их лица, желтые как сера, выдавали явное раздражение.

Объявление в саду: «Пиво отпускается только членам союза».

Надпись на магазинном стекле в узкой железной раме — «Штанов нет».

Ящеричные и лягушачьи галстуки.

Больной моет ногу, чтобы пойти к врачу. Придя, он замечает, что вымыл не ту ногу.

Пожаром признается всякое несчастие, происшедшее от огня, какие бы причины его ни вызвали.

Гражданин Сууп.

Человек, живущий ребусами.

В машинке нет «е». Его заменяют буквой «э». И получаются деловые бумаги с кавказским акцентом.

Трест «Метеорит» образовался для разработки метеорита.

Как изменились сновидения.

Девочка пасла шары.

Дама с мальчиком остановилась у окна парикмахерской. Красные и розовые болванки с париками.

— А я знаю, что это такое,— говорит мальчик.

— Что?

— Скальп.

Есть здесь люди, собирающие спичечные коробки? — А какие коробки вы собираете?

Арарат-Арарат. Ковчега не видно, но у подножия лежал очень пьяный Ной.

* * *

Секция пространственных искусств.

(Череп, голый луковичный череп).

Огонь и пепел. Когда она проходит мимо телефона, мембрана сама по себе начинает звучать.

Поступил в продажу зеркальный сом, живой и сонный.

Слезы, пролитые на спектаклях, надо собирать в графины.

(Не стучите лысиной по паркету.)

Тот час праздника, когда с деревьев сыплются электрические лампочки.

Грезидиум.

Ассоциация парикмахеров «Синяя борода».

Долго и душисто он отрыгивался шашлыком.

Шляпами закидаем.

(Полноценный усач.)

«Я не выношу катаклизмов».

Трубчатые макароны, вермишель, суповая засыпка.

Мейерхольд, окруженный адъютантами и адъютантшами.

Одеколон «Чрево Парижа».

(Кушаковский.)

Могила неизвестного частника.

(Он произошел не от обезьяны, а от коровы.)

Как будто собиралась родить овцу.

Дьяволы и бесы ремонта.

(Адам и Ева в парке культуры.)

Мордофей и Стрекозей.

(Холодный философ.)

Потухшее рыло.

Почему я должен уважать бабушку? Она меня даже не родила.

(Пароходный, свежий ветер.)

Цинковый носик.

Заяц на цеппелине.

(Всемирная лига сексуальных реформ.)

Салат «Демисезон».

Меня тошнит от запаха чистой воды.

Молодые длинноногие курсанты.

Так не везло. Купил «Жиллет» без дырочек.

Брюки-калейдоскоп. Водопад. Европа-«а».

Анализ мочи — на стол мечи.

Надо показать ему какую-нибудь бумагу, иначе он не поверит, что вы существуете.

(Шакалы и мопсы.)

(Не давите на мою психику.)

Он вел горестную жизнь плута.

(Бывший князь, а ныне трудящийся Востока.)

Что вы орете, как белый медведь в теплую погоду?

Наше время — молодецкое.

Мародерский.

Давайте ходить по газонам, подвергаясь штрафу.

(По лицу его бродила безобразная улыбка.)

(Есть так хочется. Нет ли у вас котлеты за пазухой?)

(С нарзанным визгом поднялись фонтаны.)

Ставлю вас в известность, что у меня пропал кусок мыла.

(Гигиенишвили.)

* * *

В квартире, густо унавоженной бытом, сами по себе выросли фикусы.

Название для театра — «Принципиальный театр».

(Профессор Скончаловский.)

Оперный певец хороший, но плохо играет. И только роль Германа ему удается, потому что он страстный картежник.

Опасно ласкать рукой радиаторы парового отопления — они всегда покрыты пылью.

Меня пригласили на пароход и обещали кормить. На второй день есть не дали. Чиновник, к которому я обратился, во время объяснения со мной упал в трюм. И два дня мне не давали есть. Он болел, а без него дела не решались.

Что сделал конкурс гримас.

Подносят подарки уезжающему. Он прячет их и остается.

Шницель под брильянтовым соусом из слез.

Шерсть мексиканской коровы, захваченная концессией.

Две заботы — пьеса и хлеб.

Повесть о двадцати братьях.

Чтоб дети ваши не угасли,
Пожалуйста, организуйте ясли.

(Мадам и месье Подлинник.)

По улице бежит Иван Приблудный. В зубах у него шницель. Ночь.

Критик Двугорбов и фельетонист Не-Тыква.

Ответ заключенному в тюремной газете.
«Картинки из сельской жизни вам не удаются. Пишите лучше из жизни допра».

«Лица, растрачивающие (расход) свыше 3 рублей, могут требовать счет».

Две знаменитых экспедиции — Колумба и Голомба.

Царь-кустарь.

В телефонной книжке хорист вместо юриста.

(Государство затаскал по судам.)

И снова Г. продал свою бессмертную душу за 8 рублей.

К концу вечера хозяйка переменила костюм и оказалась в голубой пижаме с белыми отворотами. Мужчины старались не смотреть на хозяйку. Глаза хозяина сверкали сумасшедшим огнем.

Человек не знал двух слов — «да» и «нет». Он отвечал туманно: «Может быть, возможно, мы подумаем».

Как колоколамцы нашли Амундсена. Сначала шли айсберги, потом вайсберги, а еще дальше — айзенберги.

Семен Маркович Столпник.

На стол был подан страшный, нашпигованный сплетнями гусь.

Лорд главный судья посоветовал ему не питать никаких несбыточных надежд и убедительно просил его приготовиться к переходу в вечность. Смертный приговор будет приведен в исполнение 14 июня.

Гимназист в отставке.

Человек с перламутровым носом.

Тяжелая, чугунная, осенняя муха.

Новый Мир Божий.

Человек, который мог творить чудеса,— уборную он перестроил в уютную комнату.

Взбесившийся автомат.

В Колоколамске жильцы выпороли жильца за то, что он не тушил свет в уборной.

(Гражданин Лошадь-Пржевальский.)

Василевский (не-Шиллер).

— Клавдия Ивановна дома?
— Нет.
— А Глафира Ивановна?
— Нет.
— А Валентина Ивановна (ребенок)?
— Дома.
— Тогда я, пожалуй, войду.

В Колоколамске была Академия художественных наук.

Надькинд.

Из статьи в газете: «По линии огурцов дело обстоит благополучно...»

(Серьги раскачивались, тяжелые, как колокола.)

В носу растет табак.

Фирма «Шариков и Подшипников».

Лишены избирательного права в Англии: несовершеннолетние, пэры и идиоты.

Нужно унизить горный хребет.

Порцию аиста!

Ему 33 года. А что он сделал? Создал учение? Говорил проповеди? Воскресил Лазаря?

Драматическая сцена, которая не удалась из-за пожара. Объяснение при свете факелов оказалось бледным. И только поздно ночью загрохотали рюмки и послышался громовой голос.

Как уменьшилась вражда между собаками и кошками.

(Только у актеров в наше время остались длинные высокопарные титулы.)

Общество, которое вымирает, в противность другим обществам, каковые процветают.

Торопитесь, через полчаса вашей даме будет сто лет.

Актеры не любят, когда их убивают во втором акте четырехактной пьесы.

Афина — покровительница общих собраний.

Ни пером описать, ни гонораром оплатить.

Попугай-сквернослов.

Сам себе писал множество писем, чтобы досадить почтальону.

Несудимов.

Человек, который проникновенно произносил: «Кушать подано».

Волосы из прически лежали на столе, похожие на паука.

Физиономия американского миллионера, за которой нет ни Америки, ни миллионов. Физиономия ни к чему.

Промкооптоварищество «Любовь».

Электрическими искрами сверкала замороженная штукатурка.

Шестигранный карандаш задрожал в его руке.

Профессор киноэтики. А вся этика заключается в том, что режиссер не должен жить с актрисами.

Разорились на обедах, которыми угощали друг друга.

На чистой сливочной лирике.

Человек, в котором неукротимое стремление к симметрии, порядку.

Он не выносил катаклизмов.

Подсознательный насморк.

Человек в кино, похожий на Суворова в бобровой шапке.

Посреди комнаты уборщица в валенках стряхивала термометр.

«О пожарах звонить по № »
«О растратах звонить по № »

Все зависит в конце концов от восприятия: легковерные французы думают, что при 3° мороза уже нужно замерзать — и действительно замерзают.

(В городе не было кожи. Она вся ушла на портфели.)

От постылых знакомых человек ушел в анабиоз на 100 лет. И, проснувшись, нашел их же.

Конкурс лгунов. Первый приз получил человек, говоривший правду.

Зачем подвергаться анабиозу, когда можно переменить квартиру?

Все талантливые люди пишут разно, все бездарные люди пишут одинаково и даже одним почерком.

Дымоуправление.

Емельянингс — киноактер.

Дворницкие лица карточных королей. Тонкая и сатирическая улыбка валета треф. Глуповатая немецкая красавица дама бубен с поднятыми бровями. Туз пик, похожий на одинокую репу. Малиновые ягодицы червей.

В моде были кожаные бутылочки на ногах.

Московская гурия.

Кот повис на диване, как Ромео на веревочной лестнице.

Секция Труб и Печей.

Вор-вегетарианец.

Вакханюк, Вакханский, Вакханальский.

Глупый ангел.

Глаза у кота, как мишени.

О Гаммере она еще слышала, но о Гомере ничего не знает.

Вышестоящий товарищ.

Бытово.

Белая лошадь, высокая и худая, бежит во весь опор.

На высокой лестнице в книжной лавке приказчик сидел, как скворец.

Судя по сообщениям о нищих, можно подумать, что легче всего разбогатеть, сделавшись нищим.

Омолодился и умер от скарлатины.

Не курил 12 лет, и все это время ему хотелось курить.

Муки человека, бросившего табак. Мысли о плачевной участи табачной промышленности. И так в жизни мало радостей. Жаль благородного занятия, чисто мужского и мужественного.

Последний промысел. Отдавать пса в женихи.

В нем жила душа гуся.

Тусклый, цвета мочи, свет электрической лампочки.

По рублю с мозоли.

Экстракт против мышей, бородавок и пота ног. Капля этого же экстракта, налитая в стакан воды, превращает его в водку, а две капли — в коньяк «Три звездочки». Этот же экстракт излечивает от облысения и тайных пороков. Он же лучшее средство для чистки столовых ножей.

Шкаф типа «Гей, славяне».

Дылды. Некультурные люди. Останавливаются в дверях магазинов. Прочитывают плакаты, а потом спрашивают: «Ботинки — это налево?»

Аптека. Провизоры яростно растирают порошки и яды в толстых чашках. По автомату говорят влюбленные и спортсмены. Парочки сидят вдоль стен. Нищие отворяют двери. Не хватает только пинг-понга и тира.

В корне отметаю!

Глупость хлынула водопадом.

— Крыса О-ский бежит с корабля.
— Неверно,— робко ответил из толпы крыса.

П. Г. в травяном пальто, белый, розовый и голубой, с розовыми очками.

Знайте же, о члены комиссии по сокращению штатов, что жил некогда бедный счетовод в Багдаде.

Щеки, как горные тюльпаны.

И подарил ему 1000 анкет.

О, зловещая борода!
О, зрачок моего глаза!

* * *

Ему не нужна была вечная иголка для примуса. Он не собирался жить вечно.

Кончен, кончен день забав,
Стреляй, мой маленький зуав.

Наша жизнь — это арфа.
Две струны на арфе той.
На одной играет счастье,—
Любовь играет на другой.

Человечество делится на две части. Одна, меньшая, переходит дорогу при виде трамвая или автомобиля, другая — ждет, чтобы экипажи прошли.

Откуда у русского человека фамилия Попугаев?

Цыплячья скрипка. Снилось ему, что он продавал скрипку по частям, как цыпленка.

Толстый биллиардист приехал в Гагры, провел весь день в биллиардной, стуча шарами, а к вечеру уехал, заявив:
— Я здесь не могу жить. Горы меня душат.

В большой пустой комнате стоит агитационный гроб, который таскают на демонстрациях.

Ходил на заседания покушать.

Две американки приехали в Россию, чтобы узнать секрет приготовления самогона.

Белая проходная комната. Прикрепленная мебель. Быт пароходный, недвижимый, точный.

— Не называйте меня Жар-Птицей, зовите меня просто Нюрочкой.

(Последнее утешение он хотел найти в снах, но даже сны стали современными и злободневными.)

С трудом из трех золотых сделали один — и получили за это бессрочные каторжные работы.

Прыгает на ходу в трамвай. У него 10 руб. и 73 коп. Клянется, что у него только 73 коп., и отдает их. В трамвае замечает, что потерял заветный червонец, и бежит на поиски. Находит, но их отбирают как чужие деньги. На крики милиционер отвечает: «Ведь у вас денег не было». Напоминает ему о 73 копейках.

Переезжают на новую квартиру и видят, что там клопы... Сера. Дым пробивается в щели. Сосед высаживает две рамы. Дым вырывается наружу. Думают, что пожар. Вызывают команду. Результаты: клопы остались, 20 рублей за серу, 20 рублей за вызов пожарных и две разбитые рамы.

Женщина, при виде которой вспоминается объявление: «Вид голого тела, покрытого волосами, производит отталкивающее впечатление».

Сумасшедший, которому запретили иметь детей и у которого желание иметь детей стало манией.

Кегельбойм.

Часовая мастерская «Новое время».

Постройка воздушного замка.

Воздушная держава, подданные которой не спускаются на землю.

Человек, с которым надо сидеть рядом и указывать ему, что хорошо, а что плохо, иначе он может перепутать.

Если человек говорит: «Мне нужно освежить в памяти сюжет»,— это значит, что он ничего не читал.

Когда гиганты, размахивая зонтиками, ушли на прогулку, в их дом пробрался карлик.

Идите, идите, вы не в церкви, вас не обманут.

— С таким счастьем — и на свободе!

Потерял репутацию из-за собаки, из-за лакейства перед ней.

В Доме отдыха не знают ни профессий, ни должности друг друга.

Памятник в виде неликвидного фонда.

Пруды просвещения.

Девушка без мотора.

Золотая доска. И ошибка в надписи на ней.

Королева всех закусочных.

Он положил на стол браунинг, перочинный ножик. Вот все, что осталось от моего друга, он сошел с ума.

Выдвиженщина.

Шпиц, похожий на муфту.

Гей, ты моя Генриэтточка.

Как человек зарабатывал себе общественный стаж — стенгазета и семейные вечера.

Фабрика военно-походных кроватей имени товарища Прокруста.

Начало. Белые суконные брюки в полоску. Эти брюки он прожег папиросой, и с этого начался рассказ о меценатке. Фарфоровая чашка, костюмы, визитные карточки, 3000, ложа в Большом театре. И позорный конец, левая живопись. Вильно. Арендная плата.

Не знали, кто приедет, и вывесили все накопившиеся за 5 лет лозунги.

Что странно для иностранцев в Москве — духи, продающиеся в комиссионном магазине.

Черно-блестящий цвет.

Доктор Страусян.

В зоосаду некоторые звери сумасшедшие.

Вайнторг.

Атлетический нос.

Обвиняли его в том, что он ездил в баню на автомобиле. Он же доказывал, что уже 16 лет не был в бане.

Частники и соучастники.

Внесметные и сверхсметные толпы.

Регистрация граждан, желающих кушать ананасы.

Прогулка в воздухе. Желая во что бы то ни стало попасть в число участников, все начали с маленьких подлостей, а окончили такими большими, что произошел общий крах.

Военно-полевые цветочки.

Акушерка Интересных-Девушек.

В окнах пейзажи. Написанные, они вызывали бы скуку.

Узнавание Москвы в различных частях Ярославля. Очень приятное чувство.

С криком «не видала ты подарка» бросали в воду разные предметы.

Вывез дочь на пароход, чтобы найти ей жениха.

Витрина. Швея. Две куртки — милиционера и пожарного. «Прием в ремонт одежды».

Шофер Сагассер.

Чуть суд — призывали Сагассера,— он возил всех развращенных, других шоферов не было.

Шофер блуждал на своей машине в поисках потребителя.

Ну, как ваши воры, негодяи и государственные преступники?

Гулкая зала суда. Реплики грохочут. Заседатель, у которого только один вопрос: «А вы с ним давно знакомы?»

Стригут и бреют газон.

Беспокойный город. Все что-то хотят купить и нервно входят и выходят из магазинов.

Пайщики разделяются совсем не по стажу — разделяются на губошлепов и крикунов.

Вы шкура! Этим я хотел определить место, которое вы занимаете среди полутора миллиардов людей на земле.

Фотограф. Фон — колоннада и «Аврора». На углу висит матросская форменка для желающих сняться в этом боевом виде.

Хохотала, хохотала, пока не охрипла.

Заработок — переносил людей через грязную улицу — брал 2 коп. За право перехода по доске —1 коп.

Кино приехало.

Кипятил свои мозоли.

Мундир пожарного. Пришлось купить — другого не было.

Артель «Красный петух».

У нас общественной работой считается то, за что не платят денег.

Самоубийства дворников весной, когда в апреле внезапно выпадает густой снег.

Как многие из малограмотных, он очень любил писать, и не столько писать — просто он уважал те приборы, которыми пользовался,— чернильницу, пресс-папье и толстую сигарную ручку.

У растолстевшей девушки бедра сделались большими, как у извозчика зимой.

Медицинские весы для лиц, уважающих свое здоровье.

На островах Жилтоварищества.

Сушил усы грелкой. Любимое было удовольствие.

Один этаж надстроило одно учреждение, второй — другое. Причем, оба между собой враждовали.

Лицо, не истощенное умственными упражнениями.

Человек, получивший новую комнату, невыносим. Он требует восторгов сначала молча, а потом и иными способами. Он обращает внимание гостя на достоинства плинтуса, на чудный сад, на величину комнаты и т. д.

Магазин дамского трикотажа. Мужчины сюда не ходят, и дамы ведут себя совершенно как обезьяны. Они обступили даму, примеряющую пальто, и жадно ее рассматривают.

Он так много и долго пьет, что изо рта у него пахнет уже не спиртом, а скипидаром.

Дождь дробил лысину.

А она все летала в трамвае мимо дома.

Учреждение в доме, где раньше была больница.

Работницы на газоне работают в позе пишущего амура.

Крытых-Рынков.

Крайних-Взглядов.

20 сыновей лейтенанта Шмидта. Двое встречаются.

В учреждение вбежал человек с палкой и ударил кого-то по голове.

Вас я помню, а стихи забыл.

В городе все были Фаины, Маргариты. Переменили имена — Матрены, Феклы.

Автомобиль имел имя. Его часто красили.

Даже не для собаки, а для кошки украшение.

Торговала, как испанцы с индейцами.

По случаю учета шницелей столовая закрыта навсегда.

Хамил, а потом посылал извинительные телеграммы.

Генеральное общество французской ваксы.

Станция Анадысь.

Шахматист-лекция. Внезапно он заявил, что девятка дает больше комбинаций, чем шахматы.

Купили замечательную машину и стали из-за нее спорить. А машина стояла.

* * *

Лоб, избороженный пивными морщинами.

У старушки узкий ротик, как у копилки.

Сползаешь на рельсы, скатываешься!

Однообразная биография турецких госдеятелей: «Повешен в Смирне в 1926 г.»

По каким признакам объединяются люди? Служащие, вдовы...

Подбородок, как кошелек.

Два знаменитых человека. Беспокойство. Кто раньше будет говорить речь над могилой.

Одну пару рогов я заготовил, но где взять копыта?

Под портретом плакат: «Соблюдайте тишину». И это казалось заповедью.

Оратор вкрадчивым голосом плел общеизвестное.

Человек, потерявший жанр.

Все языки заняты, кроме языка черноногих индейцев.

Думалкин и Блеялкин.

Выгнали за половое влечение.

Украли пальто, на обратном пути все остальное. И он вышел из вагона, сгибаясь под тяжестью мешка с дынями, которые подарила ему мама.

Отравился наждаком. Первый случай в истории клиники Склифосовского.

Чистка больных.

А рожать все так же трудно, как и 2000 лет назад?

Филипп Алиготе.

Усвешкин, Ушишкин и Усоскин.

Бронзовый свет.

Такое впечатление, будто все население в трамваях переезжает в другой город.

Одинокий ищет комнату. Одинокому нужна комната. Одинокий, одинокий, страшно одинокий. Одинокий с дочерью ищет комнату.

У него было темное прошлое. Он был первый ученик, и погоня за пятерками отвлекла его от игр. Он не умел кататься на коньках, не играл на бильярде.

Он был такого маленького роста, что мог услышать только шумы в нижней части живота своего соседа, пенье кишок, визг перевариваемой пищи. Пища визжит, она не хочет, чтоб ее переваривали.

Голенищев-Бутусов.

— Ай, какие шары! Я из этих шаров питался.

Правда объектива, бинокля, телескопа.

Нападение тигра, подшитого биллиардным сукном, на бунгало.

«Иногда мне снится, что я сын раввина».

На основе всесторонней и обоюдоострой склоки.

Что бы вы ни делали, вы делаете мою биографию.

Немцы вопили: «Ельки-пальки».

Теперь этого уже не носят. Кто не носит, где не носят? В Аргентине? В Париже не носят?

Собаковладельцы-страдальцы. Перед собаками надо унижаться.

Потенциальная гадюка.

Настроение было такое торжественное, что хотелось вручить ноту.

Снег падал тихо, как в стакане.

Теория потухающей склоки.

Х. уцелел от взрыва, но ходил с обгорелыми усами.

Ветчинное рыло.

Подлейший из ангелов.

Старые анекдоты возвращаются.

До революции он был генеральской задницей. Революция его раскрепостила, и он начал самостоятельное существование.

Не гордитесь тем, что вы поете. При социализме все будут петь.

Самогон можно гнать из всего, хоть из табуретки. Табуреточный самогон.

У меня расстройство пяточного нерва.

Невинные на вид люди. Но при прикосновении к ним преображаются, как при ударе электричеством.

За срастание со львами — царями пустыни.

Бог правду видит, да не скоро скажет. Что за волокита?

Умалишенец.

Мрачная лавина покупателей, дефилирующая перед прилавками и, не останавливаясь, направляющаяся к выходу.

Носил все вещи с пломбами.

Это была обыкновенная компания — дочь урядника, сын купца, племянник полковника.

Он за Советскую власть, а жалуется он просто потому, что ему вообще не нравится наша Солнечная система.

Одеколон не роскошь, а гигиена.

Долговязыч и Сухопарыч.

Если у вас есть сын, назовите его Голиафом, если дочь — Андромахой.

Не красна изба углами,
А красна управделами.

И голова его, стуча, скатилась к ногам.

Лампа в 1000 свечей. Счетчик срывается со стены и летает, как гроб, по комнатам.

Девочка с пальмочкой на голове.

Не помню я, чтоб мой отец насаждал у нас дома коллективный быт.

Татуированные сотрудники.

Сумасшедший дом, где все здоровы.

* * *

— Вы культурное наследие царизма. Мы вас используем.

— Ну, не используете.

— Всосем.

— Нет, не всосете.

Что снится рыбе.

Осторожный и непонятный юридический язык.

«Собирайте кости своих друзей — это утиль».

Отправляясь в гости, собирайте кости.

Упражняйте свою волю. Не садитесь в первый вагон трамвая. Ждите второго.

А второй всегда идет только до центра.

Журнал «За рулетку».

Страдания глухого после внедрения звукового кино.

Костюм из шерсти дружественных ему баранов.

Эй, Матвей, не жалей лаптей.

Медали лежали грудами, как бисквиты на детском празднике.

Бисквитное сиденье рояльной табуретки.

Резонансное дерево. Скрипка цвета копченой воблы.

Дирекция просит публику не нарушать художественной цельности спектакля аплодисментами во время хода действия.

Торжество в восточном вкусе.

Июньский-Июльский.

Ледовитов.

Папахин.

Закусий-Камчатский.

Нерасторгуев.

Парижанский-Пружанский.

Младокошкин.

Командировочных.

Ослабленный страхом инженер. Личные его отношения с громкоголосым делопроизводителем.

Клубышев.

Кастраки. Плохачев.

Путаясь в соплях, вошел мальчик.

Каучуконосов.

Есть звезды, незаслуженно известные, вроде Большой Медведицы.

Поправки и отмежевки.

* * *

Выигрыш в 50 000 р. пал на гражданина нашего города Ивана Самойловича Федоренко (Виноградная, 17, кв. 5). Выигравший пожелал остаться неизвестным.

Хотели выменять граммофон без трубы в деревне, но мужики не взяли. Им нужен был с трубой, с идиотским железным тюльпаном.

За что же меня лишать всего! Ведь я в детстве хотел быть вагоновожатым! Ах, зачем я пошел по линии частного капитала!

Два-три человека могут изменить тихий город. Дать ему новые песни, шутки, обычаи.

Собака так предана, что просто не веришь в то, что человек заслуживает такой любви.

М е ж р а б п р о м ф и л ь м.

Система работы «под ручку». Работник приезжает на службу в 10 часов, а доходит до своего кабинета только в 4.

В огромной статье (800 строк) человек беспрерывно утверждал: «Товарищ такой-то отличается главным образом лаконичностью своего письма».

Всегда есть такой человек, который изо всех сил хочет высказаться последним.

Почему он на ней женился, не понимаю. Она так некрасива, что на улице оборачиваются.

Вот и он обернулся. Думает, что за черт! Подошел ближе, ан уже было поздно.

Ему важно только найти формулу, чтоб удобней было жить, лучше себя чувствовать. Ваша комната больше моей, но кажется меньше.

В защиту пешехода. Пешеходов надо любить. Журнал «Пешеход».

Переезжали два учреждения — одно на место другого. Одно выбралось со всеми вещами, а другое отказалось выехать. И оба уже не могли работать.

Крылечки. Видно, что люди собрались долго и тихо жить. Полковничий городок.

Побасенков.

Чтец-декларатор.

Романс:

> «Это было в комиссии
> По чистке служащих».

«Иоанн Грозный отмежевывается от своего сына» (Третьяковка).

Оказался сыном святого.

Еще ни один пешеход не задавил автомобиля, тем не менее недовольны почему-то автомобилисты.

Неваляшки, прыгалки, куклы-моргалки. Зайцы с писком.

Свежий пароходный ветер. Пароходная комната.

Вы, владеющий тайной стиха!

Смешную фразу надо лелеять, холить, ласково поглаживая по подлежащему.

Нашествие старых анекдотов.

Стойкое облысение.

Клуб «Домосед».

«Пешеходы что делают! Так под машинами и сигают».

Хвост, как сабля, выгнутый и твердый.

Появился новый страшный враг — луговой мотылек.

Пер-Лашезов.

* * *

Левиафьян.

«Она полна противоречий» (романс).

Обрывает воздушные шары. «Любит — не любит».

Странный русский язык на проекте Корбюзье. «Президюм». «Выход свиты». «Зала на 200 человек».

Велосипедно-атлетическое общество.

По линии наименьшего сопротивления все обстоит благополучно.

Утреннюю зарядку я уже отобразил в художественной литературе.

Входит, уходит, смеется, застреливается.

Два брата-ренегата. Рене Гад и Андре Гад.

Был у меня знакомый, далеко не лорд. Есть у меня знакомая дама, не Вера Засулич. Художник, не Рубенс.

— Вы марксист?
— Нет.
— Кто же вы такой?
— Я эклектик.
Стали писать — «эклектик». Остановили. «Не отрезывайте человеку путей к отступлению».
Приступили снова.
— А по-вашему, эклектизм — это хорошо?
— Да уж что хорошего.
Записали: «Эклектик, но к эклектизму относится отрицательно».

Счастливец, бредущий по краю планеты в погоне за счастьем, которого Солнечная система не может предложить. Безумец, беспрерывно лопочущий и размахивающий руками.

Ваше твердое маленькое сердце. Плоское и твердое, как галечный камень.

Ария Хозе из оперы Бизе.

Отрез серо-шинельного сукна. Теперь я сплю под ним, как фельдмаршал.

Когда в области темно-синего кавалерийского и светло-синего авиационного сукон обнаружатся новые веяния, прошу меня известить.

Мне обещали, что я буду летать, но я все время ездил в трамвае.

Вы даже представить себе не можете, как я могу быть жалок и скучен.

Утро. Тот его холодный час, когда голуби жмутся по карнизам.

Привидений господин Есипом не любил за то, что они появляются только ночью, а фининспекторов за то, что они приходят днем.

Если у нас родятся два сына, мы назовем их Давид и Голиаф. Давида мы отдадим вам, а Голиафа оставим себе.

Аппетит приходит во время стояния в очереди.

Можно собирать марки с зубчиками, можно и без зубчиков. Можно собирать штемпелеванные, можно и чистые. Можно варить их в кипятке, можно и не в кипятке, просто в холодной воде. Все можно.

Это я говорю вам, как Ричард Львиное Сердце.

Звезда над газовыми фонарями и электрическими лампами Сивцева Вражка.

Удар наносится так: «Дорогой Владимир Львович,— бац»...

Меня все время выталкивали из разговора.

Когда покупатели увидели этот товар, они поняли, что все преграды рухнули, что все можно.

Полны безумных сожалений.

Шляпа «Дар сатаны».

Кругом обманут! Я дитя!

Надо иметь терпениум мобиле.

Одинокий мститель снова поднял свой пылающий меч.

Что же касается «пикейных жилетов», то они полны таких безумных сожалений о прошлом времени, что, конечно, они уже совсем сумасшедшие.

Глуховатые, не слушающие друг друга люди. Большая часть времени уходит у них на улаживание недоразумений,

возникших уже в самом разговоре, а не из-за принципиальных разногласий.

Я был на нашей далекой родине. Снова увидел недвижимый пейзаж бульвара, платанов, улиц, залитых итальянской лавой.

Холодные волны вечной завивки.

Лучшего пульса не бывает, такой только у принца Уэльского.

Привидение на зубцах башни.

В клубе. Там, где милиция нагло попирает созданные ею самой законы, там, где пьесы в зрительном зале, а не на сцене, диккенсовская харчевня, войлочные шляпы набекрень.

* * *

Бернгард Гернгросс.

Т. Мародерский.

— Нам нужен социализм.
— Да. Но вы социализму не нужны.

Писатель со странностями всех сразу великих писателей.

Оробелов.

— Что у вас там на полке?
— Утюг.
— Дайте два.

Лодки уткнулись носами в пристань, как намагниченные, как к магниту.

Мы тебя загоним, как кота.

Сначала вы будете считать дни, потом перестанете, а еще потом внезапно заметите, что вы стоите на улице и курите.

Замшевый, кошелочный зад льва.

Попугаи с трудом научили свою руководительницу выступать в цирке. Долго ее ругают за нечистую работу после каждого представления.

«Дай поцелую, дай поцелую».

Над писательской кассой:
«Оставляй излишки
не в пивной,
а на сберкнижке».

«Знаете, после землетрясения вина делаются замечательными».

Построили горы для привлечения туристов.

Завел себе знатока и обо всем его спрашивал, всюду с собой водил. «Хорошо? А? Браво, браво».

Этой книге я приписываю значительную часть своего поглупения.

«Дано сие тому-сему (такому-сякому) в том, что ему разрешается то да се, что подписью и приложением печати удостоверяется.

За такого-то.
За сякого-то.

Учреждение «Аз есмь».

Кавказский набор слов, как поясок с накладным серебром.

Советский лук. Метание редиски.

Стоит только выйти в коридор, как уже навстречу идет человек-отражение. Служба человека-отражение.

* * *

Садик самоубийц.

Вы одна в государстве теней, я ничем не могу вам помочь.

Я не художник слова. Я начальник.

Толстовец-людоед.

Тыка и ляпа. Так медведи говорят между собой.

Он не знал нюансов языка и говорил сразу: «О, я хотел бы видеть вас голой».

По какому только поводу не завязывается у нас служебная переписка!

Он подошел к дяде не как сознательный племянник...

Бабушка совсем размагнитилась.

Кошкин глаз, полосатый, как крыжовник.

Пролетарский писатель с узким мушкетерским лицом.

Писатель подошел к войне с делового конца — начал изучать вопрос о панике.

Неправильную установку можно выправить. Отсутствие установки исправить нельзя.

Наш командир — человек суровый, никакой улыбки в пушистых усах не скрывается.

Я тоже хочу сидеть на мокрых садовых скамейках и вырезывать перочинным ножом сердца, пробитые аэропланными стрелами.

На скамейках, где грустные девушки дожидаются счастья.

Вот и еще год прошел в глупых раздорах с редакцией, а счастья все нет.

Стало мне грустно и хорошо. Это я хотел бы быть таким высокомерным, веселым. Он такой, каким я хотел быть. Счастливцем, идущим по самому краю планеты, беспрерывно лопочущим. Это я таким бы хотел быть, вздорным болтуном, гоняющимся за счастьем, которого наша Солнечная

система предложить не может. Безумец, вызывающий насмешки порядочных неуспевающих.

Почему, когда редактор хвалит, то никого кругом нет, а когда вам мямлят, что плоховато, что надо доработать, то кругом толпа и даже любимая стоит тут же.

В тот час, когда у всех подъездов прощаются влюбленные.

* * *

Печальные негритянские хоры.

«Как тебе не стыдно бить жену в воскресенье, когда для этого есть понедельник, вторник, среда, четверг, пятница и суббота.

Как тебе не стыдно пить водку в воскресенье, когда для этого есть понедельник, вторник...

Как тебе не стыдно...»

Бронепоезд (скульптура ранних кубистов).

Заяц считал, что вся атака направлена против него.

При виде танка самая хилая колхозная лошадь встает на дыбы.

Бронепоезд, декорированный зеленью.

Член Реввоенсовета сказал, что у меня вид обозного молодца.

Кладбище. Кресты, увешанные полотенцами и какими-то расшитыми фартучками.

Командир бронепоезда (бепо), похожий на Зощенко.

Фадеев, человек нерасторопный, наконец дорвался до атаки и солнца. Но тут ему в рамку попал режиссер. И Фадеев ужасным голосом закричал: «Назад!», так что атакующие остановились и стали оглядываться.

— Это не вам,— сказал Фадеев. И разрешенная кинооператором атака продолжалась.

Из отчета: «Заметно растет т. Муровицкая».

Нездоровая тяга к культуре.

Старый Артилеридзе.

Сдавала экзамен на кошку.

* * *

Наконец-то! Какашкин меняет свою фамилию на Любимов.

Парикмахер с удивлением говорил: «Вот это бородка! Это с добрым утром! Тут до вас армянин один приходил. Вот это две бородки! Это с добрым утром!»

Большинство наших авторов страдают наклонностью к утомительной для читателя наблюдательности. Кастрюля, на дне которой катались яйца. Ненужно и привлекает внимание к тому, что внимания не должно вызывать. Я уже жду чего-то от этой безвинной кастрюли, но ничего, конечно, не происходит. И это мешает мне читать, отвлекает меня от главного.

Зозуля пишет рассказы, короткие, как чеки.

Шолом-Алейхем приезжает в Турцию. «Селям-алейкум, Шолом-Алейхем»,— восторженно кричат турки. «Бьем челом»,— отвечает Шолом.

Выскочили две девушки с голыми и худыми, как у журавлей, ногами. Они исполнили танец, о котором конферансье сказал: «Этот балетный номер, товарищи, дает нам яркое, товарищи, представление о половых отношениях в эпоху феодализма».

«В погоне за длинным рублем попал под автобус писатель Графинский». Заметка из отдела происшествий.

Евгений ПЕТРОВ

ПРОПАЩИЙ ЧЕЛОВЕК

— ...Трудно приходится в борьбе, это что и говорить — очень трудно. Уж такой я человек — не могу молчать, да и только. Чуть увижу какой непорядок — пропал, погиб! Не могу молчать!.. Знаю, что не мое дело вмешиваться, а не могу — сознательность не позволяет. Оттого вся моя жизнь теперь не жизнь, а одно мучительное сострадание...

Он поник головой и покрутил грязный патлатый ус. Мы деликатно молчали. Редакция опустела, и только где-то за семью фанерными перегородками одиноко щелкала пишущая машинка, надрываясь под тяжестью запоздавшей переводчицы. Он попросил папиросу, суетливо затянулся и махнул рукой.

— Сейчас живу на вокзале, потому с последним билетом опять ничего не вышло. Я, видите ли, уже пять раз приобретал билеты — на родину ехать, да все никак не удается. В последний раз даже на поезд сел. Ну, думаю, теперь доеду. И даже на сердце полегчало. Доехал я до станции Малый Ярославец. Дай, думаю, за кипяточком сбегаю. Слез это я, честь честью, и побежал по путям к станции. Тут, вижу, идет человек в железнодорожной форме и несет мешок. Что, думаю, несет человек? Он от меня — я за ним... Даже не заметил я, как поезд ушел,— такое любопытство меня взяло... Пришли таким порядком в ближайшую деревню. Он в избу — я за ним. Что, спрашиваю, в мешке несешь, подозрительный гражданин? Оказалось — кот. Так я в Москву и пер по шпалам... Не могу переносить, когда непорядок какой или преступление. От этого все мои страдания на жизненном пути совершаются... Эх!.. Погибший я человек!.. На двенадцати местах служил... Везде ко мне придирались, потому правда-матка, она глаза колет, так-то...

— А скажите,— попросили мы робко,— как это у вас вышло, то есть как это к вам придирались и как вы ушли со службы?..

— Хорошо,— сказал он с готовностью,— я расскажу вам, как я погиб.

Он слезливо заморгал седовато-рыжими ресницами и начал...

РАССКАЗ
СЧЕТОВОДА БРЫКИНА О ТОМ, КАК ОН ПОГИБ

Служил я счетоводом у себя на родине, в провинции, в правлении треста «Кость и кожа». Хорошо. Семью держал — жена и дочка... Разряд имел, конечно, по сетке. Хорошо. И тут меня осенило. А оттуда пошла моя жизнь вверх тормашками. Погиб я от зава нашего, по фамилии был Канеръюмкер, Александр Исаакович Канеръюмкер. Хорошо. И узнал я, что Александр Исаакович сожительствует с посторонней женщиной, не зарегистрировавшись с нею по законам социалистической республики в загсе. Ходит к ней на ночь. Хорошо. Думал я, думал, и тут меня осенило. И написал мой первый стих, и от него все пошло. Хороший стих был. До сих пор наизусть помню. Такой был стих:

В нашем тресте «Кость и кожа»
Есть заведующий тоже.
Звать его Александр Исакич,
И любит он к служащим придираться.
А сам про себя не замечает
То, что каждый про него замечает,
Нахально спит он как с женою
С посторонней женщиной одною...

Там дальше все про него и выложил как есть. А кончался стих так:

Не пора ли поставить точку,
А то скоро Канеръюмкер будет иметь незаконную дочку.
Нужно прекратить безобразье
И покончить с развратом сразу!

И отнес в редакцию газеты «Трудящийся пролетарий». А подписал псевдонимом — «Красный очевидец». Хорошо. Не поместили. Оказалось, все они там одна шайка с нашим Канеръюмкером. Хорошо. И больно мне сделалось. И сразу я почувствовал, что не могу молчать, когда вокруг безобразие. А тут сослуживцы покою не дают. Дразнятся Пушкиным. «Пушкин, говорят, Пушкин, почему ведомость не готова?» Или: «Иди, Пушкин, в местком на собрание». Хорошо. Не стало мне покою от обиды, и решил я вывести зава нашего на свежую воду. Проходил я как-то поздно вечером мимо службы — смотрю, окошко у зава светится. А кабинет у него в первом этаже. Приник я к окну и вижу — сидит наш Александр Исакович, обложился делами для

виду, а сам водку трескает. Нальет из графинчика полный стакан и хлопнет сразу, даже без закуски. И стало мне грустно. Вот, думаю, до чего дошло моральное разложение. Никому ничего не сказал и решил хорошенько проверить. Прихожу на другой день. Сидит и хлещет. Прихожу на третий — то же самое. Надерется это до положения риз и едет на ночь к сожительнице. Такое безобразие! Пошел я в РКИ, доложил честь честью. Так, мол, и так, при исполнении служебных обязанностей... Не поверили. Однако против факта не очень постоишь. Составили междуведомственную комиссию по всем правилам с представителем от милиции, дождались десяти часов и двинулись... Хорошо. Смотрим через окно — так и есть! Сидит Канеръюмкер, как будто бы работает, а сам нет, нет — и нальет! Нет, нет — и выпьет. Тут я не мог больше выдержать. «Вот! — кричу я.— Вот где предаются интересы трудящихся и передового крестьянства! Вяжите его, социал-предателя!» Тут представитель милиции первый влез в окно, а мы все вокруг — через двери, да как его, раба божия, и захлопали со стаканом в руке... Вот оно что... Да-а-а-а. А ведь оказалось, что не водка была в графинчике, а вода. Ну, кто бы мог подумать!.. Так вот... Уволили меня со службы. С тех пор пошло... И стал я пропащим человеком. Поехал в Москву, до Калинина доходил, да так тут и застрял... Так-то.

Счетовод Брыкин замолчал и понурился. Нам стало неловко. Пора было уходить. В редакции давным-давно окончились занятия, и курьерша с ключами уже давно живым укором стояла в дверях. Мы стали собираться.

— Как же будем с заметкой? — хмуро спросил Брыкин.

— А заметочка ваша не пойдет! — с деланным весельем воскликнул секретарь.

— Почему же она не пойдет? — язвительно спросил Брыкин.

— Да помилуйте! Вы пишете, что начальник вокзала, на котором вы ночуете, купил своей жене новое пальто...

— Верно! Плюшевое пальто! Восемьдесят рублей выложил — тютелька в тютельку...

— Ну какое нам с вами до этого дело?

— Значит, не пойдет?

— Не пойдет... к сожалению.

— Гм... Тогда дайте справку.

— Какую справку?

— Да вот, что не пойдет.

— Зачем же?

— Ладно. Скоро узнаете зачем. Тогда другое запоете. А то — не пойдет, не пойдет. Присосались тут к аппарату, бюрократы... Да уж ладно... Брыкин все знает. От него не вывернешься...

Поспешно уходя из редакции, мы слышали, как Брыкин говорил курьерше:

— ...Уж такой я человек... Не могу молчать... Люблю правду-мат...

Где он теперь, неугомонный счетовод Брыкин? Где он, этот светлый идеалист на трудном, тернистом пути общественного деятеля? Какие пороги он обивает? В какие двери ломится? Уехал ли он уже из столицы или идет обратно по шпалам со станции Нара-Фоминское?.. Или, может быть, он сидит в приемной Калинина, дожидаясь, когда представится возможность прочесть всесоюзному старосте свои последние стихи?..

Кто знает!.. Кто знает!..

ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЙ ЗАЙЧИК

— Ах! Дети — это моя слабость! — прошептал поэт, мечтательно глядя на огонек папиросы.— Я люблю детей нежной материнской любовью... Я должен, немедленно должен написать детские стихи!.. Да, дети, я отдаю вам свое бессмертное имя! Я кладу к вашим милым ноженькам огонь высокого вдохновения и сладкое бремя моего долголетнего опыта. Кстати, за детские стихи, кажется, неплохо платят...

И поэт, муза которого в этот вечер была особенно благосклонна, написал нижеследующее стихотворение:

Зайчик

Ходит зайчик по лесу
К Северному полюсу...

— Детские стихи должны быть краткими и выразительными,— сказал поэт.

— Но не до такой же степени! — испугались его друзья.

— Не беспокойтесь,— холодно ответил поэт.— Для небольшого аванса они достаточно кратки и выразительны.

В издательстве «Детские утехи» стихи очень понравились.

— Прекрасные стихи,— сказали поэту,— дети будут в восторге. Вот записочка в кассу.

— Ах! Дети — это моя слабость,— ответил поэт, небрежно пряча записку в жилетный карман.— Вы не поверите, но для этих шаловливых карапузов я готов в огонь и в воду.

Однако ни в огонь, ни в воду поэт не пошел, а вместо этого направил свои стопы в издательство «Неудержимый охотник».

— Охота — это моя страсть! — воскликнул поэт, войдя в кабинет редактора.— Вот настоящие охотничьи стихи, краткие и выразительные.

Редактор одел очки и нерешительно прочел:

Ходит зайчик по лесу
К Северному полюсу...

— Хм... Да... Стихи интересные, но причем тут, собственно говоря, охот...

— Ка-а-ак! А зайчик!

— Да. Действительно. Зайчик... Но...

— Что «но»? Ничего не «но»! Картина! Живопись! Полотно!.. Представляете себе — лес, густой темный лес... Охотник в болотных сапогах, сжимая в руках ружье и ломая сучья, пробирается к снежной поляне. Снег. Синь. Тишина... В это время на поляне появляется зайчик. Его следы четко синеют на пушистом снегу. Уши приподняты. Он весь — движение, весь — порыв!.. Э, да что говорить! Такого зайчика, как у меня, вы нигде не купите...

— Снег... Следы...— прошептал редактор.— Ветки хрустят... Ладно. Покупаю зайчика... Скорее берите аванс.

В редакции журнала «Лес, как он есть» поэта встретили с энтузиазмом.

— Вот! Наконец-то и поэты одумались и повернулись лицом к лесному хозяйству! — радостно сказал редактор.— Ну-ну, показывайте, что вы принесли. Ага!..

Ходит зайчик по лесу
К Северному полюсу.

— Гм... Это, конечно, очень литературно, но не имеет ничего общего...

— Как не имеет? А лес! Прочтите еще раз. Тут же ясно сказано: «Ходит зайчик по лесу». Не по какой-нибудь там ниве или лужку, а именно по лесу. А вы говорите — не имеет общего.

— Это, конечно, верно. Про лес тут говорится. А вот о сохранности леса ничего не выявлено...

— Вчитайтесь, милый! Ведь по лесу не козел какой-нибудь гуляет вонючий, а зайчик. Понимаете? Зайчик-вредитель...

— Ну разве что вредитель... А вот тут непонятно, почему зайчик идет по лесу.

— Очень просто. Зайчик испортил лес, а потом пошел на Северный полюс, и если мы не будем зорко следить за сохранностью лесов, то зайчик и там чего-нибудь испортит. Тундру, например. От него все станется...

— Ну, разве что тундру. Вы оставьте рукопись... Что? Аванс? Это можно. Для такого отчаянного любителя лесов, как вы, с нашим удовольствием.

В журнале «Красный любитель Севера» стихи были приняты моментально. Хвалили так убежденно, что даже поэту стало совестно. Просили приносить побольше про север. Дали аванс.

В «Вестнике южной оконечности Северного полюса», солидном географическом еженедельнике, «Зайчик» произвел такое потрясающее впечатление, что престарелый редактор впал в обморочное состояние, а придя в себя, сказал поэту:

— Благодарю вас от имени всех честных любителей полюса.

Дали большой аванс.

Незначительная заминка произошла лишь в редакции бюллетеня «Успейте застраховаться». Однако моментально выяснилось, что машинистка ошибочно вместо «полис» написала «полюс», и поэт, провожаемый сотрудниками редакции, сел в автомобиль и уехал домой.

Поэт заслужил свой отдых.

— Ах, дети, дети! — сказал поэт, наполняя бокал шампанским.— Пью за ваше здоровье, дети! Живите, дети! А с вами, бог даст, не пропаду и я...

ДАВИД И ГОЛИАФ

Футбольный матч
Украина — РСФСР

— А я вам говорю, что украинцы раздавят ресефецеровцев как котят! Во-первых, они в этом году уже давно тренируются. У них, на юге, можно тренироваться с февраля месяца. А во-вторых, они захотят отплатить Москве за

прошлогоднее поражение! Уж я-то знаю! Еще в тысяча девятьсот тринадцатом году, когда Одесса играла с Ленинградом, я сказал: «Южане всегда будут бить северян».

Эту фразу произнес огромный усатый мужчина, вытирая лоб и щеки платком. Усатый мужчина потел. Пот стекал с него шумными весенними ручьями. Галстук душил его. Судьба зло пошутила над усатым. Когда, оттеснив толпу жирными плечами, он пробился к кассе и потребовал билет, ему задали простой житейский вопрос:

— Вам на какую трибуну? На северную или на южную?

И усатый, почувствовав себя вдруг квартиронанимателем, сказал:

— Конечно, на южную.

Теперь, сидя лицом к беспощадному солнцу, он потел и скалил зубы.

— Не выиграет Украина. Куда ей! — воскликнул маленький мальчик, сосед усатого.— Во-первых,— в голу стоит Соколов, а во-вторых,— наложат украинцам как пить дать.

По сравнению с усатым Гулливером мальчик казался лилипутом. Мальчик не обливался потом, не скалил зубов. Он дружил с солнцем. Немигающим взглядом смотрел он на зеленое поле и ждал.

Гулливер покосился на лилипута сверху вниз. С минуту он соображал: стоит ли вступать в спор с таким маленьким? Потом не выдержал.

— Это кто же кому наложит? — спросил он ироническим басом.

— Москва наложит Украине! — звонко ответил мальчик.

Усатый затрясся от негодования.

— А известно ли тебе, мальчик, что украинцы тренируются с февраля? — язвительно спросил он.

— Известно,— ответил мальчик.— Мне все известно. Только куда им до наших. Украинцы мелкие. Не хватит выдержки.

— Знаешь что, мальчик,— сказал Гулливер, стараясь смягчить густоту своего голоса,— давай заключим пари. На три рубля! Я говорю, что победит Украина. Хочешь?

— Пожалуйста, дяденька,— заметил мальчик,— я охотно. Только у меня таких денег нет.

— А сколько у тебя есть?

Мальчик встал и принялся рыться в карманах. Он вытащил хорошую костяную пуговицу, самодельный перочинный нож и потертый двугривенный.

— Это все,— со вздохом сказал он,— больше ничего нет.

— Ладно,— вскричал азартный Гулливер,— ставлю три рубля против ножа, пуговицы и двугривенного.

Мальчик побледнел. Ближайшие полтора часа могли лишить его всего накопленного с таким трудом богатства. В то же время прельщала возможность неслыханно, легендарно увеличить основной капитал.

— Идет! — прошептал мальчик, закрывая глаза.

Давид и Голиаф ударили по рукам.

Сорокатысячная толпа заревела. Казалось, начинается землетрясение и за первыми глухими его ударами последуют такие удары, которые разрушат бетонный стадион, подымут и понесут пыль Петровского парка и заставят померкнуть солнце.

На поле выбежала Украина в красных рубашках. За нею РСФСР — в голубых.

Мальчик издал замысловатый возглас, который, очевидно, должен был изображать военный клич краснокожих, вцепился ручонками в колено своего мощного соседа и уже затем в продолжение всего матча не двигался с места.

Игра сразу же пошла быстрым темпом. Нападение Украины ринулось вперед. Мяч легко перелетал от красного к красному, минуя голубых. Последний москвич остался позади. Еще секунда, и украинец вобьет в ворота противника первый мяч.

Из-под усов Гулливера вырвался рокот. Мальчик закрыл глаза. Послышался сухой удар. Стадион замер. И сейчас же задрожал от криков. Вратарь сделал невозможное. Он задержал «мертвый» мяч.

— Ч-ч-черт! — прошептал Голиаф.

— А-а! — слабо вскрикнул мальчик.— Классный голкипер Соколов. Мировой голкипер!..

И еще сильней вцепился в тучное колено соседа.

Москвичи рассердились. Теперь инициатива была в их руках. Мяч с математической точностью переходил от голубого к голубому. Его вырывали, посылали к воротам Москвы, но он снова, неумолимо, как чемпион бега, приближался к Украине. Центр полузащиты — Селин — передал его центру нападения Исакову. Исаков «обвел» украинского бека и передал мяч инсайту. Путь свободен. Инсайт несется вперед. Украинский голкипер растопырил руки...

Гулливер закрыл глаза и отвернулся.

— Дае-ошшь! — крикнул мальчик, сверкая глазами.

Удар! И мяч полетел в сторону, минуя ворота.

— Тьфу! Шляпа! — с омерзением сказал мальчик.— Ш-ш-ляпа!

Гулливер захохотал.

— По воротам не могут даже ударить! — завизжал он.— Ей-богу, в тысяча девятьсот тридцатом году этого бы не было. По воротам, молодой человек, нужно уметь бить, бить-с, бить-с!

Первая половина игры окончилась вничью.

Давид и Голиаф смотрели друг на друга с нескрываемым отвращением. Голиаф пробился в буфет и притащил оттуда две бутылки ситро. Одну он утвердил между ногами — про запас, а из другой долго с наслаждением пил, фыркая, как конь, и с удовольствием отрыгиваясь. Давиду он не дал даже глотнуть.

— Плакала твоя пуговица, мальчик,— издевался он,— плакал твой ножик, плакал двугривенный! Наложат украинцы москвичам.

— А ты что, одессит? — грубо спросил мальчик.

— Я харьковский,— ответил толстяк,— у нас, слава богу, в футбол умеют играть. Не то что у вас в Москве.

— Смотри, дядя, за своей трешкой, а моего ножика раньше времени не касайся.

Вторая половина игры велась с необыкновенным упорством. Игроки падали, подымались, снова падали и снова бросались в бой.

И вдруг, совершенно неожиданно, на пятнадцатой минуте московский игрок забил гол в ворота Украины.

— Что? Слопал? — крикнул мальчик.

— Сейчас отквитают,— ответил толстяк дрожащим голосом.

С этого времени мечты Голиафа сосредоточились на одном: на том, чтобы украинцы отквитали гол. Мечты Давида были обратно пропорциональны.

Все усилия Украины разбивались о каменную защиту. Времени оставалось все меньше и меньше.

«Ничего,— думал толстяк,— осталось пять минут. Успеют отквитаться!»

Он не терял надежды даже тогда, когда до конца матча осталась минута. Свисток судьи прозвучал для усатого траурным маршем. Все кончилось. Усатый встал и зашатался. Обезумевший мальчик, забыв про пари, бросился вниз, чтобы вдоволь покричать и посмотреть, как качают игроков.

Толстяк, удрученный так, как будто бы его обокрали, смешался с огромной толпой и направился к выходу.

Трамваи брали с боя. Сесть в трамвай представлялось делом совершенно невозможным. Толстяк пошел пешком.

На Триумфальной площади его схватил за ногу какой-то мальчик. Это был Давид. Каким-то чудом ему удалось настигнуть Голиафа. Радости его не было границ.

— Это я, дяденька,— сказал он тяжело дыша,— давай три рубля.

Толстяк оглянулся по сторонам, вокруг шла нормальная городская жизнь. Все было на месте — трамваи, автобусы, милиционер. Никто не бежал, никто никого не «обводил», никто не кричал. Все было тихо, мирно и прилично.

Тогда он одернул пиджак, поправил галстук и гордо сверху вниз посмотрел на мальчика.

— Давай три рубля! — повторил мальчик.

— Пошел, пошел, мальчик,— сказал толстяк.— А вот я тебя в милицию! — И, обращаясь к прохожим, добавил: — Прямо проходу нет от этих беспризорных! Еще, чего доброго, в карман залезут.

И мальчик понял, что дело его безнадежно.

— Сволочь! — презрительно сказал он.— Тоже! А еще болельщик называется! Сволочь!

ГОСЛОТО

Начало почти что из «Тараса Бульбы».

— А! Иностранец! А ну, повернитесь-ка! Да-а. Это матерьял. Не то что наш. В Берлине покупали?

— Да нет, помилуйте. Я в том самом костюме, в котором вы видели меня до отъезда за границу. Москвошвеевский костюм.

— Рассказывайте!

— Да ей-богу. Вот и марка. На боковом кармане.

— И в самом деле. А галстук небось миланский?

— Галстук с Петровки.

— Рассказывайте!

— Даю честное слово.

— А ботинки?

— Скороходовские.

Добрый московский знакомый озадачен. Потом смотрит на меня долгим страдальческим взглядом и спрашивает:

— Зачем же вы ездили?

— На предмет ознакомления с культурной жизнью поименованных стран,— вяло отвечаю я.

— Муссолини видели?

— Нет.

— Рассказывайте!

— Честное слово!

— Папу видели?

— Нет.

— Рассказывайте!

— Ей-богу, не видел!

— Ай-яй-яй! Быть в Риме и не видеть папу!

Я пожимаю плечами. Дескать, что поделаешь, раз папа такой нелюдим и из Ватикана ни ногой.

Верьте не верьте, но о Муссолини и о папе меня расспрашивали решительно все знакомые. Кончилось тем, что я начал привирать. Сначала, краснея и путаясь, бормотал, что видел Муссолини мельком, в автомобиле, но не совсем уверен в том, что это был именно он. Путанно рассказывал о каком-то торжественном богослужении в соборе Петра, на котором, кажется, был папа. Потом окончательно распоясался и заявил, что Муссолини видел три раза: дважды на параде и один раз совсем вблизи — «Вот так, как сейчас вас»,— а у папы был на приеме и всех удивил решительным отказом поцеловать у заместителя апостола Петра руку.

— Ну теперь расскажите, как вы ездили. Только по порядку.

Этого требовали решительно все.

Устраивались поудобнее, закуривали. И, приготовляясь слушать длинный интересный рассказ, сладко вздыхали.

— Ну. Действуйте. Но имейте в виду — по порядку. Понимаете? Все. Как садились в поезд. Как ехали. Одним словом, вы сами понимаете.

— Ну и вот,— начинал я спокойным, эпическим тоном,— получил это я паспорт, поставили мне визы, и сел я в поезд. Поезд, надо вам сказать, отходил в четыре часа десять минут. С Белорусско-Балтийского вокзала, а сам я живу на Арбате. Поезд хороший, скорый, прямое сообщение Москва — Столбцы...

На этом месте давно уже ерзавший ногами слушатель спрашивал, почем за границей брюкодержатели, или выражал надежду, что в Италии погода, вероятно, не такая подлая, как в Москве,— и я от систематического плавного рассказа переходил к быстрым кратким ответам на вопросы.

— Макароны ели?

— Ел.
— Вкусные?
— Ничего себе. Надоели только.
— Смотрите на него. Ему итальянские макароны надоели! Кьянти пили?
— Пил.
— Вкусно?
— Ничего себе. Надоело только.
— Смотрите на него. Ему кьянти надоело!.. В Колизее были?
— Был.
— Большой?
— Большой.
— Очень большой?
— Очень.
— Везувий видели?
— Видел.
— Дымился?
— Дымился.
Тут добрый знакомый задумывался, потом спрашивал:
— Очень?
— Что очень?
— Дымился.
— Ах, дымился? Да. Очень.
— На гондолах ездили?
— Ездил.
— Хорошо?
— Хорошо.

Пауза увеличивалась, грозя перейти в долгое томительное молчание. Но слушатель напрягал последние силы и выдавливал, как выдавливают из тюбика остатки зубной пасты, последний вопрос:
— Итальянки красивые?
— Нет.
— Неужели все некрасивые?
— Правду сказать, мне не удалось повидать всех итальянок. Может быть, и есть красивые.

На этом беседа об Италии обычно заканчивалась, и мы переходили на милые сердцу московские темы: гастроли театра Кабуки, спартакиаду, дожди и семейные дела сослуживцев.

Итак, все ясно. Добрые московские знакомые не умеют выспрашивать, а я не умею рассказать все по порядку, начиная с того момента, когда я сел в поезд, и кончая

чрезвычайно интересным, полным захватывающих положений обратным переездом границы.

Муссолини — король мелкой буржуазии, царь и бог лавочников, театральных импрессарио, футболистов, хозяев велосипедных мастерских, карьеристов-гинекологов, боксеров и бесчисленного количества молодых людей без определенных занятий.

Жизнь этих людей сера, как солдатское сукно. Утром — «кафе-латте» — кофе с молоком, вернее молоко с кофе, светленькая бурда, которую итальянцы, набросав предварительно хлебных кусочков, хлебают ложкой. Потом — лавка.

С двенадцати до двух Италии не существует. Закрыто все: банки, церкви, музеи, полиция, почта. Обыватель обедает. Ест пасташюту (в это понятие входят и макароны и вермишель. Слово pasta означает тесто). Миланец ест пасташюту по-милански, неаполитанец — по-неаполитански и генуэзец, как читатель, вероятно, уже догадывается, — по-генуэзски.

В неаполитанской пасташюте преобладают помидоры, в миланской — мясные крошки, в генуэзской — соус из гадов — спрутов, каракатиц, морских ежей или лягушек.

На второе итальянец ест мясо или рыбу. Потом — фрукты и сыр. Все это запивается отличным вином. Вино в Италии — самая дешевая вещь. Литр отличного «Барбера» стоит четыре лиры, то есть 40 копеек.

После обеда — лавка, в сумерки — лавка и вечером — лавка.

Но обыватель скуки не чувствует.

Его убедили, и убедили самым серьезным образом, что он, итальянский обыватель, не кто иной, как древний римлянин, и что французские и немецкие обыватели не стоят его подметки.

В соответствии с этим итальянский лавочник старается вести себя так, как, по его понятиям, вели себя Марк Антоний, Вергилий или Петроний в кинофильме итальянской стряпни «Кво-вадис». Здоровается обыватель, вытянув правую руку под углом в сорок пять градусов и повернувшись в профиль. Вывешивает на самом видном месте портрет Муссолини в венке, с латинской подписью — dux, или в виде Наполеона, в треуголке и со скрещенными на груди руками. На лацкане пиджака обыватель носит эмалированный ликторский значок с позолоченными пучком розг и топориком — эмблемою фашизма.

Разговаривая о войне с Германией, итальянский обыватель объясняет победу союзников исключительно силою итальянского оружия. При этом снисходительно добавляет:

— Французы нам немного помогли. Надо же, черт возьми, быть справедливым!

Муссолини сыграл на самой чувствительной и уязвимой струнке нехитрого инструмента, именуемого обывателем,— на тщеславии.

Вообразите себе пожилого, скучного, как кисель, рыхлого человека. Жизнь почти прошла. В висках седина. Под глазами мешки. Дети ходят в школу. Некрасивая толстоногая жена не вылазит из церкви и аккуратно каждый год рожает по ребенку. Лавка приносит умеренный доход. Дни похожи один на другой, как свечи.

А между тем, где-то, когда-то была совсем, совсем другая жизнь. Звенели мечи, ржали кони, консулы произносили речи, неистовствовал плебс, в город возвращались с войны увенчанные лаврами легионы Цезаря. Тогда цвела романтика и колоннады римского Форума были жарко освещены солнцем военной славы.

И вдруг серая жизнь итальянского обывателя резко изменилась. Появился человек, который сказал:

— Обыватель! Ты вовсе не сер и не туп. Это все выдумали твои исконные враги — англичане, французы, немцы, австрийцы, турки и сербы.

— Обыватель! Ты велик! Ты гениален! Ты сидишь в своей боттилерии, траттории или сартории, толстеешь, плодишь себе подобных, и никто даже не подозревает, какой номер в мировом масштабе ты вдруг можешь выкинуть!

— Обыватель! Ты любишь значки! Возьми и вдень в лацкан своего пиджака четыре или даже семь значков.

— Обыватель! Ты имеешь возможность записаться сразу в восемь различных фашистских синдикатов.

— Обыватель! Ты сможешь отныне хоронить своего соседа фруктовщика Сильвио с военной пышностью по древнеримскому церемониалу. Ты сможешь нести впереди похоронной процессии бархатную подушечку, увешанную значками покойного. Кроме того, ты сможешь произнести над могилой речь, начинающуюся словами: «Римляне!» Сознайся, что до сих пор тебе не приходилось произносить речей? Вот видишь!

Человек, сказавший это, был Муссолини.

И итальянский обыватель зашевелился. Жизнь обывателя стала интересной и полной.

По улицам ходят оркестры, стены покрылись плакатами и трафаретными изображениями Муссолини. Стало много различных праздников, торжественных встреч, юбилеев, проводов, парадов, закладок и открытий. Почти каждая неделя приносит обывателю какую-нибудь новость.

— Муссолини борется с папой! Уж он-то покажет папе, где раки зимуют!

И вдруг — полная неожиданность. Стены, колонны и афишные тумбы густо облепливаются портретами папы и лозунгами: «Да здравствует папа».

Муссолини помирился с папой и лихорадочно стал его популяризировать.

Прошла неделя. И снова новость.

Принц Умберто с принцессой нарядились в средневековые костюмы и по сценарию Муссолини участвуют в самом настоящем средневековом турнире в Турине.

Через неделю снова афиши.

«По инициативе Бенито Муссолини в Веронском амфитеатре пойдут «Риголетто» и «Турандот», с участием Лаури-Вольпи».

Муссолини, ища популярности, не брезгует ничем. Он готов даже отбивать хлеб у прославленного тенора.

Авантюра Нобиле *, из-за которой газеты учетверили свои тиражи,— предприятие чрезвычайно типичное для Муссолини.

И обыватель ликует.

Снова пышные проводы. Снова речь Муссолини, начинающаяся словом: «Римляне!» Снова тысячи рук, поднятых под углом в сорок пять градусов. Снова сенсация.

Генерал Нобиле в молодости.

Генерал Нобиле в кругу семьи.

Генерал Нобиле прощается с женой.

Генерал Нобиле в черной рубашке.

Генерал Нобиле в гондоле «Италия».

Собачка генерала Нобиле Титина в молодости.

Собачка генерала Титина в кругу семьи городского головы города Милана.

Собачка Титина прощается с другой собачкой.

Титина в черной попоне.

Титина в гондоле.

Папа вручает генералу Нобиле крест.

Муссолини целует Нобиле.

Нобиле целует Титину.

Титина целует другую собачку.

Другая собачка целует городского голову города Милана.

И — «Джовинецца».

«Джовинецца» — на корсо Виктора Эммануила. «Джовинецца» — на корсо Венеция, на пьяцца Дуомо, у замка Сфорцеско. Милан оглушен пошлым шарманочным мотивом фашистского гимна. Мотив «Джовинеццы» страшно напоминает студенческую песенку «От зари до зари, лишь зажгут фонари, то студенты толпой собираются».

Но вот Нобиле с крестом и собачкой улетел.

И началась новая сенсация. В витринах магазинов появились карты с точным указанием полюса и звездочкой в том месте, где отважным генералом сброшен крест.

Потом — тревога. И — что совершенно невероятно для современной Италии — никакого ликования.

Обыватель хватает газету и под бесконечными «приказами вождя», «напутствиями папы», «интервью с Габриэлем д'Анунцио» и «предположениями городского головы города Милана» — находит, где-то внизу, на задворках, заметочку о продвижении «Малыгина» и «Красина».

Обратно пропорционально росту «приказов вождя» и «напутствий папы» уменьшается надежда на спасение.

И вот однажды (я хорошо помню этот ослепительный знойный день) из галереи Виктора Эммануила выкатилось слово — Бабушкин. В пять минут это слово облетело Милан. В пять минут Бабушкин стал популярнейшим человеком Италии.

— Бабушкин исчез. Бабушкин пропадал. Бабушкин прилетел.

— Сам прилетел.

О! Если бы эта популярность выпала бы на долю итальянского летчика! Он оглох бы от звуков «Джовинеццы»! Ордена не поместились бы на его груди! Он полинял бы от поцелуев вождя, короля, папы и городского головы города Милана! Сто красавиц подарили бы ему сто собачек! Сто американских миллионерш прислали бы ему сто официальных предложений руки, сердца и миллионов. Ему подарили бы сто золотых пучков розог и такое же количество топориков. Руки, поднятые под углом в сорок пять градусов, не опускались бы в течение ста дней.

Но Бабушкин оказался русским.

— Русские нам немного помогли. Надо же, черт возьми, быть справедливыми!

Я имел честь познакомиться на днях с Бабушкиным. Он был в синей военной блузе с одиноким красным орденом. На нем, не говоря уже о топориках и пучках розог, не было ни металлических блях, ни орлов, ни перьев, ни погребальных султанов. Собачки у него тоже не было, креста тоже. Это был человек, настоящий великолепный образец человека.

Хорошо, что итальянские обыватели его не видели. Они были бы изрядно разочарованы.

О том, что было в Италии после полета Чухновского, я не знаю. Я уехал накануне этого замечательного дня.

Когда я уезжал, надежды на спасение группы Вильери были потеряны.

Вся Италия играет в лото, в государственное, так сказать, всенародное лото.

Еженедельно, по субботам, в вечернем выпуске всех газет появляются пять цифровых комбинаций. Каждая комбинация соответствует одному из пяти городов: Риму, Милану, Турину, Флоренции и Неаполю. В каждой комбинации пять однозначных или двухзначных цифр.

В течение целой недели тысячи специальных государственных контор принимают ваши лиры и закрепляют за вами указанные вами цифровые комбинации.

Вы можете играть на два числа по всем городам. Тут есть кое-какие шансы на выигрыш, но выигрыш очень мал: на лиру — лир шестьдесят. Можете играть на два числа по одному городу. Если вы поставили, положим, лиру на восемь и пятьдесят шесть по Флоренции и если эти цифры явились первыми в цифровой комбинации именно по Флоренции — вы выигрываете лир двести. Но шансов на это очень, очень мало. Затем вы можете играть на три, четыре и пять чисел по всем городам или по одному в отдельности. Угадавший, например, пять чисел по одному городу выигрывает на лиру миллиона полтора. Таких случаев, кстати, до сих пор не было.

Еженедельно по городу расклеиваются афиши с портретами нескольких счастливцев, выигравших по пятьдесят — шестьдесят тысяч лир.

Но, в общем, обыкновенная девятка-грабительница, польский банчок или штосс по сравнению с итальянским гослото — верное средство разбогатеть.

Итальянцы играют. Лира — не деньги. Но зато сколько надежд! Каждую субботу обыватель ждет, волнуется и вырывает из рук газетчика вечерний выпуск.

Есть игроки по вдохновению. Они быстро входят в контору и, не задумываясь, называют первые попавшие на язык цифры.

Есть специалисты, играющие по сложным, выработанным годами упорного труда таблицам.

Проигрывают и те и другие с легкостью необыкновенной.

— Ну и черт с ним! — говорят они.— Лира не деньги, но зато...

И ровно через неделю, одни по вдохновению, другие по таблицам, идут в контору, платят свои лиры и называют цифры.

Правительство, как говорится, «не щадя затрат и всецело идя навстречу», решило успокоить мучения игроков и ввело в каждой конторе толстые справочные сонники.

Вам больше не нужно гадать, не нужно составлять трудных таблиц. Вам необходимо только почаще видеть сны и хорошенько их запоминать.

Правительство любит заботиться о благополучии граждан.

Вот солидный плешивый обыватель с женой. Они добросовестно перелистывают сонник. Он видел во сне граммофон, который играл «Джовинеццу». Вместо иголки в мембрану почему-то вставлена сардинка. Жене приснились какие-то ангелочки, которые летали по кухне. Один из них попал в духовой шкаф и там превратился в лангусту.

Страницы толстой книги приманчиво шелестят.

— Не унывай, Лоллиточка, государство нам поможет.

И точно. Слово «граммофон» обозначено цифрой 11, мембрана — цифрой 83, сардинка — 67.

Жена тоже удовлетворена. Ангелочки идут под цифрой 38, кухня — 13 и лангуста — 24.

Яснее ясного.

Остается определить город, и денежки можно считать в кармане. Но и этот вопрос при правильной постановке дела решается безболезненно.

— Где живет мой шурин Никола? В Неаполе или не в Неаполе? В Неаполе. Факт? Факт! Ставлю на Неаполь.

— Где живет твоя мамаша? В Турине или не в Турине? В Турине! Ясно, как кофе. Ставим на Турин.

Муж подходит к конторщице и шепчет номера. Конторщица берет две лиры, записывает цифры, выдает квитанцию и любезно улыбается.

— Желаю вам счастливой игры! Надеюсь, синьор, если вы выиграете полмиллиона, вы меня не забудете?»

— О! Как можно! Добрая синьора может быть спокойна. Пять или даже пятнадцать, э, да что там, пятьдесят тысяч считайте в своем кармане!

И пара, тяжело переступая порог и потом направляясь к трамвайной остановке, нисколько не сомневается в выигрыше.

А в конторе уже новые люди роются в соннике, ищут слово «лошадь» и выслушивают от конторщицы невинные просьбы о подарке в шестьдесят тысяч лир.

Среди конторщиц лото упорно держится явно вздорный слух о каком-то чудаке, выигравшем триста тысяч и подарившем барышне продавщице тысячу лир. С тех пор конторщицы лото обращаются с просьбой «не забывать» ко всем игрокам. На всякий случай.

Недавно в Неаполе появился пророк.

Сначала о нем носились темные, неясные слухи. Передавали, что пророк предрекает совершенно точные цифры, говорили, что цифры эти он сообщает кому угодно.

Сведения о пророке появились в газетах. Писали, что пророк никогда не ошибается. Называли людей, которые неизменно выигрывают, ориентируясь на пророковые данные.

И вот какому-то шустрому репортеру удалось выпытать у пророка очередные цифры, которые совместно с портретом святого появились в газетах.

Пророк сообщил только две цифры по всем городам.

Государственные конторы не успевали выдавать квитанции. Сонники покрывались пылью. Суббота приближалась.

Цифры выиграли. Платили, правда, немного, но слава о великом пророке из Неаполя облетела всю страну.

Началась новая неделя.

— Что скажет пророк?

Этот вопрос так сильно волновал обывателей, что на время заслонил очередной маскарад принца Умберто, очередной автомобильный рекорд и очередную речь вождя, начинающуюся словом: «Римляне!»

И пророк оправдал возложенные на него надежды.

На этот раз он назвал пять цифр по одному городу. Одна лира, поставленная на эти цифры, должна была принести миллиона полтора. Но в эту неделю государственные конторы превысили минимальную ставку до пяти лир.

Улицы были наводнены публикой. У контор вились пышные хвосты. Полиция сбилась с ног. Лиры вливались широкими потоками в подвалы казначейства.

В среду ажиотаж дошел до апогея. Ставки были увеличены. Весь четверг и всю пятницу бойко торговали барышники.

Казалось, знойный субботний день никогда не кончится. Любители подсчитали, что, если выиграют цифры пророка, Италии придется сделать внешний заем, равный десяти золотым запасам Уолл-стрита.

Вечерние выпуски газет вышли в удесятеренном тираже.

Цифры пророка не выиграли.

Неаполитанцы — народ экспансивный. Пророка решили бить. Но привести в исполнение этот энергичный план не удалось.

Дом пророка был своевременно оцеплен карабинерами, и пророк под защитой дюжих парней во фраках и треуголках тихо уехал в автомобиле.

О пророке никто больше ничего не слыхал.

Пророк смылся.

Долго не мог успокоиться итальянский обыватель.

Но потом жизнь вошла в привычную колею. Появились сенсационнейшие сведения о новой монете, приобретенной королем нумизматов Виктором Эммануилом, и вождь сказал новую речь, начинающуюся словом: «Римляне!»

ПРИМЕЧАНИЯ

В настоящем издании собраны сатирические произведения, получившие в свое время (а время это — расцвет советской сатиры, 20-е годы) самые лестные оценки читателей и критики, обеспечившие своим авторам стойкую популярность. Все эти писатели провели молодые годы в Одессе, некоторые опубликовали здесь свои первые произведения. Понятие одесского юмора знакомо всем, хотя сформулировать его четко довольно трудно. Комизм проявляется даже в тех драматических ситуациях, которым, казалось бы, комическое чуждо. Определений дать можно много, но все они будут приблизительны. Многие из писателей-одесситов начинали как очеркисты, авторы коротких новелл, фельетонов, при создании которых они использовали специфический язык жителей своего приморского города. Литераторов объединяло органически присущее им чувство юмора, хотя зачастую жизнь давала мало поводов для веселья, но чувство юмора как чувство самосохранения не покидало писателей.

Первый из представленных в сборнике — И. Бабель. Своей художественной манерой он выделялся даже среди ярких и своеобразных литературных дарований 20-х годов. В нем, по выражению А. Воронского (главного редактора журнала «Красная новь», где было опубликовано большинство рассказов писателя), «...мечтатель сталкивается... с реалистом, ощутившим глубокую правду непосредственной реальной жизни, может быть, грубой, но полнокровной и цветущей. Столкновением этих противоположных эмоций и настроений питаются основные движущие мотивы его творчества, причем реалист в Бабеле решительно побеждает мечтателя». Бабель прекрасно знает и ту особую среду, и тех персонажей, которых описывает. Над «Одесскими рассказами» витает особый дух Молдаванки, странная смесь бандитизма и местечкового мещанства: торговки «тети Песи», «аристократы» и богачи Тартаковские и Эйхбаумы, раввины и приказчики образуют с бандитами свой мир с особым бытом, правилами и этикой. Сам главный герой «Одесских рассказов» Беня Крик — причудливое сочетание этого молдаванского мещанства, бандитской смелости, изумительной изворотливости и ловкости... Герои Бабеля всегда в движении, в действии. Бабель прекрасно владеет диалогом. Действующие лица говорят у него своим языком, в диалоге нет литературщины, стилизации.

Особое место в советской литературе 20-х годов занимает роман Ю. Олеши «Зависть», главным героем которого является слабый, не-

устроенный, рефлектирующий человек Николай Кавалеров. В живое, энергичное время, время интенсивной организации новой жизни пассивный созерцатель, мечтатель, поэт был мало уместен... Однако Олеша описал совершенно реальный тип современности — своеобразный сатирический вариант «лишнего человека». Но Кавалеров — неудачник, приживал, унижаемый всеми, проигравший свою жизнь,— тем не менее в чем-то выше героев-победителей Андрея Бабичева и Володи Макарова. Слабости Кавалерова оборачиваются его достоинствами: он слаб, но поэтому деликатен, он пассивен, но поэтому наблюдателен, он бездеятелен, но он поэт. Однако симпатии и антипатии писателя не мешают его ироничному отношению к изображаемым людям и событиям. Олеша смеется над Кавалеровым, его завистью, его капитуляцией перед жизнью, смеется над «колбасником» Андреем Бабичевым — удачливым, сильным, целеустремленным человеком, который видит мир лишь через свое строящееся пищевое предприятие. Смеется над Иваном Бабичевым — этим повелителем тьмы, вызывающим чудовищ, над его мнимым величием. На самом деле это старый, неопасный человек, который, не осилив магии, начинает повелевать пошлостью. Поэтому роман «Зависть» — это трагикомедия, искрящаяся блестящей, тонкой иронией.

Е. Зозуля — имя, наверное, менее других знакомое сегодняшнему читателю. В настоящем сборнике представлены несколько рассказов этого писателя. Здесь и рассказ-аллегория «Живая мебель», направленный как против рабского в человеке, так и против подавляющей личность буржуазной социальной системы. Есть и рассказы, направленные против наших доморощенных недостатков. Так рассказ «Подвиг гражданина Колсуцкого» является меткой характеристикой унылого, бескрылого мещанского эгоцентризма, трусости и слепоты. Есть рассказы-притчи («Кошка», «Личность и общество»). Все эти произведения объединены тонкой иронической интонацией. Автор вполне доверяет читателю, считая, что достаточно намека, и тот расставит акценты сам, таким образом Зозуля имеет соавтора в лице читателя...

Имя В. Катаева хорошо известно советским читателям, но известен он преимущественно как романист («Время, вперед!», «Белеет парус одинокий», «За власть Советов» и др.), автор нашумевших повестей («Кубик», «Трава забвения», «Святой колодец»). Но Катаев — фельетонист-сатирик основательно подзабыт. А сатирик он талантливый, оказавший влияние на многих своих коллег, в частности, на Ильфа и Петрова. В 20-е годы сатирическое направление в его творчестве является доминирующим. Приблизительно за пять лет Катаев создает целую галерею образов приспособленцев: от наивных («[illegible]») до агрессивных («Емельян Черноземный»). За это время написан целый ряд юмористических миниатюр («Козел в огороде», «[illegible] малютка» и т. д.), но ведущее место занимают рассказы, направленные против обывательщины, воинствующего, суетливого мещанства («[illegible] за границей»,

«Игнатий Пуделякин», «Два гусара»). Немало создано Катаевым и фельетонов, которые принято считать жанром злободневным, недолговечным. Но писатель сумел выбрать темы, актуальные и сегодня. Таковы, например, зарапортовавшиеся бюрократы в «Тяжелой цифромании» — ни дать ни взять сегодняшние любители дутой статистики. Таков очумевший от нескончаемого потока больных горе-доктор («Беременный мужчина»). Совершенно современен и применим к любой области нашей деятельности тяжелый образ «долгого ящика» (фельетон «Долгий ящик»).

Новый этап развития советской сатиры ознаменовало творчество И. Ильфа и Е. Петрова. Это блестящие сатирики, книги которых знают в нашей стране буквально все. Их романы «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» обошли весь мир. Плодотворным был творческий союз этих писателей. После выхода в свет романа «Двенадцать стульев» ими был создан ряд значительных произведений, среди которых повесть «1001 день, или Новая Шахерезада». Некоторые эпизоды из нее в переработанном виде вошли позднее в роман «Золотой теленок», как и запоминающиеся сатирические образы бюрократов, хамелеонов, перерожденцев и даже целых учреждений («Гелиотроп», контора по заготовке Когтей и Хвостов). Вместо внешних, подчас довольно сумбурных мотивов авторы умело выявляют внутренние стимулы поведения персонажей (страх потерять «покойную службу», стремление хорошо пожить под прикрытием партбилета и т. п.). Все события повести искусно вяжутся в единый узел посредством фабульного приема, стилизованного под цикл арабских сказок «Тысяча и одна ночь». Другая повесть — «Светлая личность» — основана на чисто фантастическом сюжете, но ее фантастический характер не помешал авторам подметить ряд отрицательных социально-бытовых явлений.

Мишенью сатириков стали руководитель-бюрократ и писатель-халтурщик, брюзга-обыватель и кляузник, чванливый партиец и интриган чиновник, мещане и приспособленцы разных мастей и величин. Живучесть осмеянных Ильфом и Петровым явлений и высокое литературное мастерство авторов способствуют популярности этих произведений среди наших современников.

В настоящем издании представлены произведения, являющиеся как плодом сотрудничества, так и написанные порознь. У каждого из писателей были свои индивидуальные художественные особенности. Петров отдавал предпочтение отделке сюжета, Ильф — ситуации, детали, Петров любил диалог, Ильф больше тяготел к описаниям. Впрочем, эти определения нельзя применять к их прозе чересчур строго, каждый из них, как и любой художник, развивался, овладевал новыми приемами. Е. Петров в своих воспоминаниях об И. Ильфе писал: «...стиль, который выработался у нас с Ильфом, был выражением духовных и физических особенностей нас обоих. Очевидно, когда писал Ильф отдельно от меня или я отдельно от Ильфа, мы выражали не только каждый себя, но и обоих вместе»

(газ. «Литература и искусство», 1942, 18 апр.). Их объединяли острый интерес к жизни, сатирическая направленность творчества, стремление обнажить скрытый комизм событий.

Начиная с 30-х годов амплитуда объектов сатирического изображения сужалась, острое содержание выхолащивалось. Те, кто призывал к развитию сатиры (например, В. Правдухин), и те, кто прибегал к ее оружию (например, М. Зощенко), подвергались гонениям. Многие из писателей от активной сатиры отошли. На диспуте «Нужна ли нам советская сатира?» в Политехническом музее в январе 1930 г. раздавались голоса: «Сатира нам не нужна. Она вредна рабоче-крестьянской государственности... Понятие «советский сатирик» так же нелепо, как понятие «советский банкир» или «советский помещик» (В. Блюм). Дело, конечно, не только в этом. В эпоху регламентации общественного сознания, унификации искусства, в 30-е, 50-е годы сатира была принципиально нежелательна. Нужно было немалое мужество, чтобы писать сатирические произведения. Ильф и Петров, скажем, это мужество имели.

Не вина, а беда сатиры, что она слишком долго молчала. Ныне нужно спешить наверстывать упущенное. Сегодня, когда стал возможен открытый разговор о социальных, нравственных проблемах общества, в участии объективной, глубокой, талантливой сатиры в этом разговоре мы остро нуждаемся.

Будут и новые произведения, несомненно. Но тем более мы должны оглянуться на наши достижения в этой области. И не только для того, чтобы убедиться, что у нас есть богатая литературная история, но и для того, чтобы вновь расчехлить это славное оружие, не потускневшее от времени.

БАБЕЛЬ Исаак Эммануилович (1894—1941).

Родился в Одессе. В 1915 г. переехал в Петроград. Первые рассказы были опубликованы в 1916 г. в журнале М. Горького «Летопись». С 1917 по 1924 гг. переменил несколько профессий, воевал в Первой Конной армии. Как пишет сам автор, по совету М. Горького изучал жизнь, набирался жизненных впечатлений.

С 1923 г. начинает публиковать отдельные рассказы, которые потом составили знаменитые циклы «Конармия» (отдельное издание — 1926 г.) и «Одесские рассказы», часть из которых (5 из 13) публикуется в настоящем сборнике.

Произведения И. Бабеля широко переводились за рубежом.

Был репрессирован и расстрелян в 1941 году.

Все публикуемые в настоящем сборнике рассказы, за исключением «Фроима Грача», были опубликованы автором в год написания.

Все рассказы публикуются по изданию: Бабель И. Избр.— М., 1957.

Рассказ «Король» впервые опубликован в газете «Известия Одесского губисполкома, губкома КП(б)У и губпрофсовета».— 1923.—14—16 мая. В том же году в журн. «Леф».— № 4.

Рассказ «Как это делалось в Одессе» впервые опубликован в «Литературном приложении» к газ. «Известия Одесского губисполкома, губкома КП(б)У и губпрофсовета».—1923.—5 мая. В том же году в журн. «Леф».— № 4.

Рассказ «Отец» — впервые опубликован в журн. «Красная новь».— 1924.— № 5.

Рассказ «Любка Казак» впервые опубликован в журн. «Красная новь».—1924.— № 5.

Рассказ «Фроим Грач» впервые опубликован в журн. «Знамя».— 1964.— № 8.

ОЛЕША Юрий Карлович (1899—1960)

Родился в Елисаветграде (ныне Кировоград). Детство и юность прошли в Одессе, там же начал заниматься литературой. В это время знакомится с В. Катаевым, Э. Багрицким, И. Ильфом, с которыми входил в «Коллектив поэтов». С 1922 г. жил в Москве, работал как фельетонист в редакции газеты «Гудок», с которой сотрудничали также в это время и многие другие известнейшие советские писатели и поэты (М. Булгаков, В. Катаев, И. Ильф и Е. Петров и др.).

Первое крупное произведение Ю. Олеши — роман-сказка «Три толстяка» — сразу же получило признание читателей, которым пользуется до сих пор.

Роман «Зависть» опубликован в 1927 г. журналом «Красная новь» — ведущим в то время литературно-художественным органом печати. Роман сразу вызвал широкий отклик среди читателей, полемик среди критиков. По мотивам «Зависти» Ю. Олешей была написана пьеса «Заговор чувств». Поставлена в театре им. Евг. Вахтангова в 1929 г.

«Три толстяка» и «Зависть» многократно издавались за рубежом.

Крупных литературных произведений Ю. Олеша после этого не создал (опубликован сборник рассказов разных лет, поставлены пьесы и кинопьеса, сценарии, статьи, очерки, рецензии, воспоминания). Уже после его смерти была издана книга «Ни дня без строчки» (1961), представляющая собой синтез дневниковых и автобиографических записей.

Роман «Зависть» печатается по тексту в сб. «Ни дня без строчки».— Минск, 1982.

ЗОЗУЛЯ Ефим Давыдович (1891—1941).

Родился в Москве. Детские годы провел в Одессе и Лодзи. В Одессе были опубликованы его первые рассказы. С 1914 г. рассказы Е. Зозули

помещаются в известном петербургском журнале «Новый Сатирикон», что означало его признание как профессионального литератора.

Занимался живописью.

В 20—30-е годы был уже достаточно широко известен как автор маленьких рассказов. В конце 20-х годов было издано собрание его сочинений в 3-х томах. Произведения Зозули выходили в переводах на иностранные языки — французский, немецкий, английский, чешский, итальянский.

С конца 20-х и все последующие годы работал в газетах.

Погиб Е. Зозуля во время Великой Отечественной войны.

Рассказ «Живая мебель» впервые опубликован в кн. «Граммофон веков».— М., 1923.

Рассказ «Подвиг гражданина Колсуцкого» впервые опубликован в альм. «Сегодня».—1927.— № 2.

Рассказ «Интересная девушка» впервые опубликован в журн. «Огонек».— 1927.— № 27.

Рассказ «Каплюшки» впервые опубликован в журн. «Чудак».—1929.— № 20.

Рассказ «Личность и общество» впервые опубликован в журн. «Чудак».—1929.— № 33.

Рассказ «Кошка» впервые опубликован в сб. «Собрание новелл».— М., 1930.

Все произведения Е. Зозули, помещаемые в настоящий сборник, публикуются по тексту сб. «Я дома».— М., 1962.

КАТАЕВ Валентин Петрович (1897—1986)

Родился в Одессе. Первая публикация — в детстве (стихотворение в газете в 1910 г.). В 1914 г. познакомился с И. Буниным, это многое определило в жизни и творчестве В. Катаева.

Воевал на фронтах первой мировой войны. Писал военные корреспонденции. В 1919 г. был мобилизован в Красную Армию. С 1922 г.— в Москве, сотрудник газеты «Гудок». Его фельетоны печатаются также в «Правде», «Труде» и других газетах и журналах. Начало 20-х годов — время фактического вступления В. Катаева в большую литературу, в периодической печати и издательствах появляются его рассказы, романы. Двадцатые годы — период очень плодотворный для В. Катаева. Один за другим издаются несколько сборников его рассказов, несколько романов, повесть, несколько пьес. К В. Катаеву приходит популярность, его произведения отмечает пресса.

В середине 20-х годов,— когда была написана и опубликована бóльшая часть рассказов, помещаемых в настоящем сборнике,— В. Катаев работал в газетах, сотрудничал с журналом «Крокодил».

Рассказ «Козел в огороде» впервые напечатан в «Рабочей газете» 5 августа 1923 г. В 1925 г. (№ 22) опубликован в журн. «Смехач».

* *Г. Шенгели* — Георгий Александрович Шенгели (1894—1956), русский советский поэт, в творчестве которого ощутимо влияние футуризма (конец 10-х годов), акмеизма (20-е годы). Разрабатывал преимущественно революционные темы. В 20-е годы разрабатывал теорию стиха, занимался переводами. В. Катаев в качестве эпиграфа приводит, видимо, строку из стихотворения Г. Шенгели.

Рассказ «Бородатый малютка» впервые опубликован в журн. «Смехач».— 1924.— № 9.

Рассказ «Выдержал» впервые опубликован в журн. «Смехач».— 1924.— № 16.

* *СТО* — Совет Труда и Обороны — центральный орган государственного управления в Советском государстве, на правах комиссии при Совнаркоме РСФСР (1920—1923 г.), при Совнаркоме СССР (1923—1937 гг.).

Рассказ «Лунная соната» впервые опубликован в харьковском журн. «Красная оса».— 1924.— №№ 27—28.

Рассказ «Искусство опровержений» впервые опубликован в журн. «Желонка».— 1924.— № 2.

Рассказ «Игнатий Пуделякин» впервые напечатан в журн. «Смехач».— 1927.— № 31.

Рассказ «Емельян Черноземный» впервые опубликован в журн. «Смехач».— 1927.— № 39. Шаржируются эпигоны С. Есенина, пародируются их стихи.

Рассказ «Похвала глупости» впервые опубликован в журн. «Чудак».— 1929.— № 25.

* *МХАТ II* — театр, организованный в 1924 г. под руководством М. Чехова, на основе 1-й студии МХАТ, созданной К. Станиславским и Л. Сулержицким. Существовал до 1936 г. В 1928 г. М. Чехов уехал за границу.

** *«Бронепоезд* 14—69» — пьеса Вс. Иванова.

Рассказ «Наши за границей» впервые опубликован в журн. «30 дней».— 1928.— № 9.

Рассказ «Два гусара» впервые опубликован в журн. «Крокодил».— 1934.— № 16.

В первой части рассказа приведено подлинное письмо А. С. Пушкина П. А. Вяземскому (14 и 15 апреля 1825 г.).

Фельетон «Чудо кооперации» впервые опубликован харьковским журн. «Красная оса».— 1924.— №№ 23—24.

Фельетон «Тяжелая цифромания» впервые напечатан в газ. «Гудок».— 1926.— 13 янв.

Фельетон «О долгом ящике» впервые напечатан в газ. «Гудок».— 1926.— 17 янв.

Фельетон «Беременный мужчина» впервые напечатан в газ. «Гудок».— 1926.— 17 апр.

Все помещаемые в настоящий сборник произведения В. Катаева печатаются по тексту: Катаев В. Собр. соч.: В 9 т.— М., 1969.— Т. 2.

ИЛЬФ Илья (Илья Арнольдович Файнзильберг, 1897—1937) и ПЕТРОВ Евгений (Евгений Петрович Катаев, 1902—1942).

Оба будущих соавтора родились в Одессе. И. Ильф начал заниматься литературой с 1918 г., но настоящая профессиональная литературная работа началась с 1923—1924 гг. в Москве в газете «Гудок», хотя тогда И. Ильф еще не отдал предпочтения сатире. Е. Петров — так же, как и И. Ильф,— переменил несколько профессий прежде, чем начал в 1924 г. в Москве сотрудничать в газете «Красный перец». В это время оба активно выступают с очерками, фельетонами — пока порознь. В 1926 году Е. Петров переходит в «Гудок».

Начало совместной работы И. Ильфа и Е. Петрова — 1927 г., роман «Двенадцать стульев». После этого работа соавторов была интенсивной и весьма результативной: за десять лет они написали более 100 рассказов, очерков, фельетонов, два романа, повесть, четыре сценария (впрочем, время от времени публикуясь и по отдельности). Произведения Ильфа и Петрова пользовались громадной популярностью среди читателей, критиков. Уже к началу тридцатых годов сотрудничеством с ними дорожил редактор любого периодического издания. Пришедшая всего лишь за четыре года совместной работы слава объясняется и талантами обоих писателей, их высокой трудоспособностью и, разумеется, отличной школой, которую они прошли. В этом смысле им везло: в «Гудке» их коллегами были В. Катаев, М. Булгаков, Ю. Олеша, К. Паустовский; в журнале «Чудак», где они работали в 1928—1930 гг. и где была опубликована бо́льшая часть их фельетонов и очерков,— их окружала не менее блестящая плеяда — В. Маяковский и Ю. Олеша, Демьян Бедный и Л. Никулин, М. Кольцов (бывший главным редактором «Чудака») и М. Светлов, В. Катаев и М. Зощенко, Е. Зозуля и А. Зорич, Кукрыниксы, Б. Ефимов и др. Работа Ильфа и Петрова получила широкий отклик за рубежом.

В 1937 г. от туберкулеза скончался И. Ильф. Многие работы остались незавершенными. Е. Петров продолжал работать один.

В 1942 г., возвращаясь из фронтового Севастополя, Е. Петров погиб при аварии самолета.

Повесть «Светлая личность» впервые опубликована в журн. «Огонек».— 1928.— №№ 28—39. К этому времени Ильф и Петров уже являлись авторами романа «Двенадцать стульев», повести «Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска». В «Светлой личности» заметны мотивы и образы, получившие дальнейшее развитие в романе «Золотой теленок». Повесть создана по заказу журнала всего за шесть дней. Впоследствии

повесть была переиздана только в собрании сочинений. Печатается по тексту: И л ь ф И., П е т р о в Е. Собр. соч.: В 5 т.— М., 1961.— Т. 1.

Цикл сатирических новелл **«1001 день, или Новая Шахерезада»** впервые опубликован в журн. «Чудак».—1929.— №№ 12—22. Переиздавался только в собрании сочинений. Печатается по тексту: И л ь ф И., П е т р о в Е. Собр. соч.: В 5 т.— М., 1961.— Т. 1.

Рассказ «Прошлое регистратора загса» впервые опубликован в журн. «30 дней».—1929.— № 10 как самостоятельный рассказ, однако представляет из себя неизданную главу из романа «Двенадцать стульев». При жизни авторов больше не переиздавался ни в романе, ни отдельно. Печатается по тексту: И л ь ф И., П е т р о в Е. Собр. соч.: В 5 т.—М., 1961.— Т. 1.

Рассказ «Довесок к букве «Щ» впервые напечатан в журн. «Огонек».— 1930.— № 16. Печатается по тексту: И л ь ф И., П е т р о в Е. Собр. соч: В 5 т.— М., 1961.— Т. 2.

Рассказ «Обыкновенный икс» впервые опубликован в журн. «Огонек».— 1930.— № 30. Печатается по тексту: И л ь ф И., П е т р о в Е. Собр. соч.: В 5 т.— М., 1961.— Т. 2.

Фельетон **«Мала куча — крыши нет»** впервые опубликован в журн. «Чудак».—1930.— № 4. Печатается по тексту: И л ь ф И., П е т р о в Е. Собр. соч.: В 5 т.— М., 1961.— Т. 2.

Фельетон **«Халатное отношение к желудку»** впервые опубликован в журн. «Огонек».—1931.— № 27. Печатается по тексту: И л ь ф И., П е т р о в Е. Собр. соч.: В 5 т.— М., 1961.— Т. 2.

Рассказ **«Широкий размах»** впервые опубликован в газ. «Правда».— 1935.— 12 апр. Печатается по тексту: И л ь ф И., П е т р о в Е. Собр. соч.: В 5 т.— М., 1961.— Т. 3.

Фельетон **«Как создавался Робинзон»** впервые опубликован в газ. «Правда».— 1932.— 27 окт. Печатается по тексту: И л ь ф И., П е т р о в Е. Собр. соч.: В 5 т.— М., 1961.— Т. 3.

Фельетон **«Любовь должна быть обоюдной»** впервые опубликован в газ. «Правда».—1934.—19 апр. Печатается по тексту: И л ь ф И., П е т р о в Е. Собр. соч.: В 5 т.— М., 1961.— Т. 3.

И. ИЛЬФ. Печатается по тексту: И л ь ф И., П е т р о в Е. Собр. соч.: В 5 т.— М., 1961.— Т. 5.

Очерк **«Москва от зари до зари»** впервые опубликован в журн. «30 дней».—1928.— № 11.

* *Дворец труда* — здание на ул. Солянка, 12.

** *ВСНХ* — Высший Совет Народного Хозяйства.

*** *Ермаковский ночлежный дом* — городской ночлежный дом им. Ф. Я. Ермакова, Каланчевская, 1-й Дьяковский пр.

**** *Деловой клуб на Мясницкой* — Мясницкая — ныне ул. Кирова. Вероятно, имеется в виду клуб им. Дзержинского работников народного хозяйства (Мясницкая, 7).

***** *МОГЭС* — ныне Московская ГЭС № 1 на Раушской набережной.

Фельетон «Путешествие в Одессу» впервые опубликован в журн. «Чудак».—1929.— № 13.

* *ОДН* — общество «Долой неграмотность!».

** *Литвинов М. М.*— с 1922 г.— зам. наркома, в 1930—1939 гг.— нарком иностранных дел СССР.

*** *ВУФКУ* — Всеукраинское фотокиноуправление.

Из записных книжек.

Записи делались И. Ильфом в разное время с 1925 по 1937 г.— и относятся как к совместным с Е. Петровым замыслам, так и не связанным с ними. Среди записей можно узнать заготовки к будущим рассказам, романам — ситуации; фамилии; намечены характеры. Записывались также афоризмы, подсмотренные сценки. Единственный раз издавались в: Ильф И., Петров Е. Собр. соч.: В 5 т.— М., 1961.— Т. 5. Публикуются выборочно.

Е. ПЕТРОВ. Печатается по тексту: Ильф И., Петров Е. Собр. соч.: В 5 т.— М., 1961.— Т. 5.

Рассказ «Пропащий человек» впервые опубликован в журн. «Смехач».— 1927.— № 7.

Рассказ «Всеобъемлющий зайчик» впервые издан в журн. «Смехач».— 1927.— № 32.

Рассказ «Давид и Голиаф» впервые опубликован в журн. «Чудак».— 1929.— № 23.

Очерк «Гослото» впервые опубликован в сборнике Е. Петрова «Шевели ногами» в 1930 году. Варианты очерка публиковались ранее — в 1928 году в №№ 10 и 11 журнала «30 дней». Написан под впечатлением от поездки с И. Ильфом в Италию в 1928 году.

* *Нобиле Умберто* — итальянский конструктор дирижаблей и полярный исследователь. В 1928 году возглавил итальянскую экспедицию к Северному полюсу на дирижабле «Италия», закончившуюся трагически: на обратном пути дирижабль потерпел аварию. Спасение уцелевших участников экспедиции — во многом заслуга советской авиации и ледокола «Красин».

О. Филимонов

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДАНИЕ

ОДЕССКАЯ ПЛЕЯДА

САТИРИЧЕСКИЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
20—30-х ГОДОВ

Составление, примечания
О. В. Филимонова

Художник *В. И. Барыба*
Художественный редактор
Г. Т. Конев
Технический редактор
Т. М. Мацапура
Корректор
Т. В. Грузинская

ИБ № 4568

Сдано в фотонабор 28.04.89.
Подписано к печати 07.09.89.
Формат 84×108 1/32.
Бумага типографская № 2.
Гарнитура Таймс.
Печать высокая с ФПФ.
Усл. печ. л. 23,52.
Усл. кр.-отт. 23,625.
Уч.-изд. л. 25,108.
Тираж 400 000 экз. (3-й завод
200 001—350 000 экз.)
Заказ 9-197. Цена 5 р.

Киев, издательство
художественной литературы
«Днипро».
252601, Киев-ГСП,
ул. Владимирская, 42.

Харьковская книжная
фабрика им. М. В. Фрунзе.
310057, Харьков-57,
ул. Донец-Захаржевского, 6/8.

Одесская плеяда: Сатир. произведения 20—30-х го-
О-41 дов / Сост., примеч. О. В. Филимонова.— К.: Дніпро, 1990.— 446 с.: ил.
ISBN 5-308-00669-5

В книгу вошли избранные произведения известных русских советских писателей, жизнь и творчество которых связаны с Одессой.

Главная общая особенность рассказов и повестей сборника — искрометный юмор, самобытность которого подразумевает ироничное вышучивание недостатков, особый жаргон с присущей ему интонацией и стилистикой. Некоторые из произведений (например, рассказы И. Бабеля) не являются юмористическими или сатирическими в собственном смысле слова, однако и они окрашены авторской иронией.

О $\frac{4702010101-132}{М205(04)-90}$ 132.90 ББК 84Р7-4я43

5 p.